

К 1159627

Каллистрат Жаков



Под
ШУМ
СЕВЕРНОГО
ВЕТРА



Каллистрат Жаков

Под шум
СЕВЕРНОГО
ВЕТРА

рассказы
очерки
*сказки
и
предания*

К 1159624

РС

~~87.3(2) + 63.5(2)~~ + Кр.

Ж 23

**Составление, вступительная статья и комментарии
доктора филологических наук**

А. И. Туркина

Художник В. И. Краев

ISBN 5-7555-0273-0

© Составление, вступительная статья, комментарии — Тур-
кин А. И., 1990

Каллистрат Фалалеевич Жаков

Писатель, фольклорист, этнограф, философ и лингвист Каллистрат Фалалеевич Жаков представляет собой значительное явление коми национальной культуры. На примере его жизни мы видим, какие сокровища ума могут быть скрыты в среде малочисленных народов.

К. Ф. Жаков родился 30 (18) сентября 1866 г. в деревне Давпон Вьльгортской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Коми АССР) в семье коми крестьянина. Отец — Фалалей Иванович — помимо земледелия занимался отхожим промыслом, брал подряды мастерить иконостасы для местных церквей и часовен. Мать — Устинья Осиповна — крестьянка из соседнего села Шошки. Каллистрат был одиннадцатым и последним ребенком. Мать хотела назвать сына Иваном, но поп полистал засаленные святцы и окрестил младенца Каллистратом, изрекая: «Чем мудрёнее святое имя, тем мудрее будет человек».

Если всматриваться в страницы биографии К. Жакова, поражает его почти легендарная, трудная жизнь, основным смыслом которой было стремление к знанию. В годы раннего детства, с четырехлетнего возраста, он вместе с отцом много ездил по коми селам и деревням, где его отец вырезал иконостасы. С семи лет отец, знавший русскую грамоту, начал по часослову и псалтыри учить сына читать по-русски. В 1876 г., с десяти лет, Каллистрат поступил в школу в с. Вьльгорт, где пробыл всего одну зиму и окончил два класса. Затем отец держал его около года, дома, думая приучить к плотницкому и столярному ремеслу. В конце концов отец понял, что из сына не получится хороший мастер, и разрешил ему продолжать образование в Усть-Сысольском уездном училище. Через два года, в 1879 г., Каллистрат окончил училище, и отец вновь попытался сделать из сына мастера, на что ушло полтора года. Окончательно убедившись в невозможности приобщить сына к ремеслу, после продолжительных семейных совещаний было решено, что Каллистрат должен

стать сельским учителем, что только таким путем он приобретет новые знания и будет полезен обществу.

Осенью 1881 г. К. Жаков поступает в Тотемскую учительскую семинарию и через три года, весной 1884 г., блестяще ее заканчивает. Сохранились пространные воспоминания его товарища по семинарии Ф. Шошина.

«Впервые я встретился с К. Ф. Жаковым в августе 1882 г. на приемных экзаменах при поступлении в Тотемскую семинарию. Жаков был среднего роста, сложен хорошо, шапка черных и довольно длинных волос прикрывала голову, крепко сидевшую на смуглой шее, угреватое лицо тоже было смуглое. Выразительные карие глаза придавали живость и привлекательность этому некрасивому и угрюмому на первый взгляд лицу. Одет он был в пиджак и брюки из «чертовой кожи» коричневого цвета, производя в общем впечатление деревенского парня-подростка лет 15-ти, в каковом возрасте и был действительно К. Ф. при поступлении в Тотемскую учительскую семинарию. В семинарию был принят даже на казенную стипендию, хотя конкурс был весьма велик... Он поражал меня стремительностью суждений и готовностью от слов перейти к делу, а более всего меня удивили быстрота и легкость, с какими он усваивал новые для него идеи... Вообще К. Ф. был довольно общителен и подчас очень остроумен, любил поспорить, особенно на отвлеченные темы — очевидно, будущий философ уже начинал сказываться в нем.

Из преподаваемых предметов К. Ф. любил больше всех математику... Отличался в кулачных боях с мещанами, занимался гимнастикой, тяжелой атлетикой (поднимал гири до 200 или 300 раз), был искусный пловец.

Какое редкое и счастливое сочетание физической силы с гениальностью духа. И как горько, обидно, что гигантские силы этого богатыря были преждевременно сломлены выпавшим на его долю тернистым жизненным путем, который так живо описан им самим в его увлекательной автобиографии, метко озаглавленный «Сквозь строй жизни»...

Это была кристаллически чистая душа, горевшая жаром кипучей деятельности. Отличительной чертой его была детски наивная доверчивость к окружающим и полнейшая непрактичность и неприспособленность к обыденной жизни, каковым он, видимо, остался до конца своей жизни.

Уже будучи на родине и ожидая места учителя, К. Ф. был увещан через Земскую Управу, что распоряжением

гражданского начальства он лишен учительских прав, а вместе с ним подверглись той же каре и двое его товарищей...»¹

К исполнению обязанностей народного учителя К. Жаков не был допущен как атеист, не признающий бога.

В 1885 г. в отношении его по всему учебному округу было распространено секретное циркулярное предписание Министерства народного просвещения о «воспрещении педагогической деятельности»². В том же 1885 г. К. Жаков отправляется в Вятскую губернию и занимает чернорабочим на железнодорожном Холуницком заводе, как он сам пишет в автобиографии, «увлеченный желанием ознакомиться с бытом рабочих»³. Поработав на заводе один год, трудясь по 15 часов в сутки и получая всего 20 копеек в день, К. Жаков покидает завод, возвращается на родину и устраивается волостным писарем в с. Корткерос с жалованием 15 рублей в месяц, чтобы сколько-нибудь материально помочь своим престарелым родителям.

Однако страстная жажда знаний не покидала его и здесь. Сидя в своей писарской каморке, К. Жаков искал новые пути для продолжения учения. Так как в захолустном селе посоветоваться об этом было не с кем, то в 1887 г. он решил отправиться в губернский город Вологду, надеясь на месте разузнать возможности учебы. В Вологде, по наведенным справкам, он мог поступить в один из старших (пятый) классов местного реального училища г. Вознесенского, попутно зарабатывая средства на существование от репетиторства детей состоятельных родителей и местных чиновников. Восстановив старые знания, отчасти прибавив новые по некоторым предметам, овладев теоретическими знаниями немецкого языка, К. Жаков сдал экзамен за полный курс реального училища и отправился в Петербург. Осенью 1891 г. прекрасно выдержав вступительные экзамены, К. Жаков поступил в Петербургский лесной институт, лелея мечту о возвращении на родину сведущим и полезным для общества лесничим. Тяжелые условия городской жизни вызвали у К. Жакова отчуждение к естественным наукам и недоверие к городской культуре вообще. Он подает прошение в Синод, чтобы ему разрешили поехать священником в один из северных приходов. По рекомендации Си-

¹ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. I, ед. хр. 13.

² ЦГИА СССР, ф. 472, оп. 38 (415 / 1995), д. 10.

³ Архив АП СССР, Ленинградское отделение, д. 102, оп. 2, ед. хр. 113.

пода К. Жаков должен был в целях подготовки в священники некоторое время побыть в монастыре. В канун рождества 1891 г. он оставляет институт и поступает в послушники в Заозерский монастырь около г. Вологды. Находясь в монастыре, К. Жаков ведет среди монахов антирелигиозные беседы. После пятимесячного пребывания он вынужден был бежать из монастыря.

В 1891 г., будучи еще студентом Лесного института, К. Жаков привлекался Петербургским жандармским управлением в качестве свидетеля по одному политическому делу. В Петербурге он был в близких отношениях со студентом Найденовым и его товарищами. Впоследствии Найденов и его друзья-студенты были арестованы по политическому делу и сосланы, а К. Жаков был взят под полицейский надзор и должен был около шести лет без права выезда жить в Вологде. Позднее об этом периоде он писал так: «Между тем встречался я со студентом, которого впоследствии обвинили в государственном преступлении: одних его товарищей посадили в тюрьму, других сослали, а меня сочли неблагонадежным»⁴.

Ему, как находящемуся под гласным надзором, было запрещено заниматься даже репетиторством. В эти годы он сильно бедствовал. Но несмотря на лишения, К. Жаков неудержимо предавался научным знаниям, мечтал для продолжения образования поступить в университет. В течение шести лет, которые он пробыл там, в Вологде, К. Жаков прошел университетский курс математики по лекциям знакомых студентов, занимался астрономией и читал труды по естествознанию. Параллельно с этим изучал древнегреческий и латинский языки. Несмотря на чинимые препятствия со стороны местного начальства, в 1895 г. он выдержал все экзамены в Вологодской классической гимназии и получил аттестат зрелости.

В апреле 1891 г. в Вологде он обвенчался с Анной Александровной Шепелевой.

В 1896 г. К. Жаков был освобожден от полицейского надзора, ему дано было право поступления в университет, за исключением столичных — Московского и С.-Петербургского. В том же году К. Жаков поступает на естественное отделение физико-математического факультета университета св. Владимира в г. Киеве. В университете наряду с естественными науками и математикой (у проф. Ермакова) К. Жаков много занимается философией и психоло-

⁴ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 2. СПб., 1912. С. 33.

гией, принимая деятельное участие в психологических семинарах проф. Г. И. Челпанова, и историей литературы под руководством проф. Н. П. Дашкевича.

Со второго курса он переходит на историко-филологический факультет. Вот как он сам мотивирует переход: «В 1897 году я перешел на историко-филологический факультет, и тут стало для меня чрезвычайно ясно, что моим настоящим делом является народоведение, изучение народа со стороны его языка, литературы, антропологических и бытовых особенностей и т. д. Мое происхождение из среды финских инородцев и моя любовь к народам Севера с одной стороны, неисследованность и важность так называемого финского вопроса с другой — заставили меня взяться за изучение именно финских племен»⁵.

Нам очень мало известно о киевском периоде жизни и учебы К. Жакова. Известно, что здесь он знакомится с карело-финским эпосом «Калевала», жадно читает зарубежных классиков, пишет вдохновенное сочинение о Пушкине и получает стипендию им. Кирилла и Мефодия, сам начинает писать стихи.

С третьего курса историко-филологического факультета К. Жаков оставляет Киевский университет и осенью 1899 г. поступает на третий курс словесного отделения историко-филологического факультета в Петербургский университет, намереваясь посвятить жизнь своему любимому Северу в качестве его бытописателя и собирателя старинных сказаний. В университете он занимался под руководством проф. И. Н. Жданова, И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, А. И. Соболевского, историка А. С. Лаппо-Данилевского, этнографа Д. А. Коропчевского. В годы учебы в Петербургском университете К. Жаков начинает научную деятельность. Будучи студентом, Академией наук он был прикомандирован в Вологодскую губернию для сбора этнографического материала среди коми-зырян. После экспедиции 13 октября 1900 г. на заседании отделения этнографии Русского географического общества К. Жаков выступает с докладом «Этнологический очерк зырян», за который Общество присуждает ему серебряную медаль. Позднее, в 1901 г., это исследование было опубликовано в журнале Общества «Живая старина» (вып. 1, 1901).

В университете под научным руководством опытных

⁵ Архив АН СССР. Ленинградское отделение, ф. 102, оп. 2, ед. хр. 113.

преподавателей-профессоров студенты приобщались к научной работе. Они писали рефераты и выступали с ними на филологических беседах перед аудиторией. Представляет интерес тематика рефератов студента К. Жакова: «Место изучения былины» (декабрь 1899, руководитель проф. И. Н. Жданов), «Разбор памятника 1414 г.» (апрель 1900 проф. А. И. Соболевский), «К вопросу о воле» (1900, проф. А. С. Лаппо-Данилевский), «Оригинальная мифология сказок у зырян и заимствованные с Востока па мотив «О подземном царстве» (1900, проф. И. Н. Жданов), «Параллель между сказками восточных финнов и сибирских инородцев» (1900), «Идеализм и естествознание» (1900), «Киевский поменник XV в.» (1900, проф. А. И. Соболевский), «Научная словесность как метод изучения психологии народа» (1900, проф. И. Н. Жданов), «Методы изучения психологии народа (исторический, антропологический, политический и литературный) на основе данных из жизни восточных финских племен» (1901), «Финские племена в русской летописи (опыт объяснения летоинских названий финских племен)» (1901, проф. А. И. Соболевский) и другие. В эти же годы были опубликованы первые научные исследования К. Жакова: «Языческое мирозерцание зырян» — в журнале «Научное обозрение» (№ 3, 1901) и уже отмеченный «Этнологический очерк зырян».

Студентом К. Жаков начал активно выступать со своими докладами и рефератами на заседаниях Неофилологического общества при Петербургском университете. Это научное Общество было организовано в 1885 г. академиком А. Н. Веселовским с целью привлечь к научной работе более широкие круги лиц, интересующихся филологией. Более 30 лет Общество служило главным центром научно-исследовательских работ по самым различным языкам и литературам. На литературном и лингвистическом отделениях Общества К. Жаков выступал со следующими докладами: «Зырянские сказки и методы фольклора» (1900), «Поэзия леса у зырян» (1900), «Образование падежей в финских языках пермской группы» (1903), «Особенности мордовского языка» (1903), «Из наблюдений над мордовским языком» (1903), «О родстве японского языка с восточно-финским» (1912).

В 1901 г. К. Жаков заканчивает университет с дипломом первой степени и с кандидатским сочинением «Народная словесность зырян и русские сказки», оцененным руководителем проф. И. Н. Ждановым «весьма удовлет-

ворительно»⁶. По представлению И. Н. Жданова К. Жаков был оставлен при Петербургском университете на кафедре русского языка и литературы для подготовки к профессорскому званию.

По инициативе проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ на факультетском заседании был поднят вопрос о прикомандировании К. Жакова для продолжения образования в Гельсингфорский (ныне Хельсинкский) университет. В своем письме И. А. Бодуэну-де-Куртенэ К. Жаков писал: «Гельсингфорский университет для меня так же будет необходим для финской лингвистики, как Киевский и Петербургский были нужны для уяснения принципов исследования явлений народной словесности и народной психологии»⁷. В деле сохранились документы, представленные для ходатайства прикомандирования в Гельсингфорский университет: а) автобиография; б) реферат в объеме 9 листов с изложением основных задач изучения финно-угорских племен; в) печатные работы (три публикации); г) устные рефераты (14 докладов и сообщений). Мы пока не располагаем материалами о том, как проходила стажировка К. Жакова при Гельсингфорском университете. Из автобиографии, представленной в Юрьевский (ныне Тартуский) университет, узнаем, что он «был в Гельсингфорсе и учился угро-финскому языкознанию»⁸.

После смерти своего покровителя, проф. И. Н. Жданова (1901), К. Жаков был вынужден оставить преподавательскую работу в университете. Начался весьма неустойчивый период в его научной и педагогической деятельности. Позднее он писал: «Я падал ниже всех и видел черные бездны бытия, и ужасом наполнялась душа моя... Тяжело мне было последние 10 лет — это пытка, а не жизнь»⁹.

С 1901—07 гг. К. Жаков преподавал русский язык, историю и логику в различных учебных заведениях Петербурга в женском пансионе, в польско-католическом училище при костеле св. Станислава, в 1-й, IX-й и X-й гимназиях Министерства народного просвещения, вел занятия на Петербургских курсах ораторского искусства. В 1906 г. К. Жаков читал философию на «Курсах Энциклопедии Высшего знания». С 1905 по 1917 гг. он числился

⁶ Архив Всесоюзного географического общества, разряд 53, оп. 1, № 91.

⁷ Архив АН ССР, Ленинградское отд., ф. 102, оп. 2, ед. хр. 113.

⁸ ЦГИА ЭССР, ф. 2100, оп. 2, № 1061.

⁹ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 1, 1912. С. 54, 116.

преподавателем на Общеобразовательных Черняевских курсах и в его реальном училище (1906—11 гг.), читал логику на педагогических курсах Фребелевского общества (1909—17 гг.). Два года К. Жаков читал лекции по грамматике коми языка в Петроградском университете. С февраля 1908 по февраль 1917 гг. научная деятельность К. Жакова была тесно связана с Психоневрологическим институтом.

Так называемый Петербургский (Петроградский) период до февраля 1917 г. знаменуется активной научно-педагогической, литературной и лекторской деятельностью К. Жакова. Он становится заметной фигурой не только в научных, но и в политических кругах. После смерти А. А. Шепелевой в Петербурге К. Жаков вторично женится на учительнице Черняевских курсов Глафире Никаноровне Николаевской.

К этому времени относится и оригинальная манера одеваться — К. Жаков носил декоративный костюм собственного изобретения. Это длинный сюртук, жилет, белая рубашка со стоячим воротником, галстук или бабочка, высокие сапоги и романтическая шляпа, прикрывавшая длинные, спадавшие почти до плеч волосы; маловыразительное лицо украшали жидкая борода и усы. Так обычно одевались молодые люди литературной богемы. Таким он нам известен почти до конца своей жизни.

С 1901 по 1904 гг. К. Жаков под руководством И. А. Бодуэна-де-Куртенэ сдает магистерские экзамены по санскриту, сравнительному языкознанию, о исторической грамматике латинского и древнегреческого языков. В 1902 г. он защищает магистерскую диссертацию «О грамматическом строе зырянского языка». В 1904 г. К. Жаков издает философскую книгу «Теория переменного и предела в гносеологии и в истории познания», в 1905—07 гг. у него выходят сборники рассказов «На севере в поисках Пама Бурморта», «Из жизни и фантазии», которые имелись в личной библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне¹⁰.

Как уже отмечалось, с 1905 по 1917 гг. К. Жаков преподавал логику, этику, психологию, теорию словесности и грамматику на Общеобразовательных курсах А. С. Черняева. Крестьянин из Вологодской губернии А. С. Черняев, работая официантом в трактире, сдал экзамены на аттестат зрелости, а затем окончил университет. В 1901 г. он на личные сбережения открыл свои курсы, подобные

¹⁰ Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Ч. 1, 1958. С. 287.

Бестужевским, впоследствии названные его именем. К приходу К. Жакова курсы насчитывали 800 слушателей. Лекции на Черняевских курсах читали такие известные ученые как В. М. Бехтерев, С. А. Венгеров, Н. Е. Введенский, И. Ф. Федосеев и другие. Многие преподаватели, в том числе и профессор К. Жаков, читали свои лекции бесплатно. После смерти А. С. Черняева в 1916 г. К. Жаков некоторое время руководил курсами.

Бывший слушатель курсов Ф. П. Чукичев вспоминал: «Большинство слушателей считало Каллистрата Фалалевича не столько официальным преподавателем, сколько «душою курсов, учителем жизни». После лекции К. Ф. чувствовался... подъем силы и энергии, и многие занимались напролет ночи. Нужно сознаться, что умел Жаков заражать людей беспредельной любовью к истине, науке и искусству.

Это был действительно оригинальный «анатом душевных переживаний», возбуждавший своих слушателей к неумолимой, упорной работе»¹¹.

В феврале 1908 г. известный психиатр академик В. М. Бехтерев пригласил К. Жакова на должность приват-доцента логики в основанный им Психоневрологический институт. Звание профессора он получит позднее, в 1911 г.

Институт стал весьма популярным высшим учебным заведением России. Учиться сюда валом повалили молодые. Здесь предполагалось дать подлинно широкое гуманитарное образование, обещанное содержанием учебной программы. Данный институт еще в одном отношении был необычен и уникален для России. Сюда принимались слушатели обоего пола, имеющие аттестат об окончании средних учебных заведений, без различий национальности и вероисповедания, не требовалась справка о благонадежности. Учеба здесь была платной, но лишь для тех лиц, которые могли платить. Отбором занималось студенческое самоуправление — Совет представителей более мелких объединений — землячеств. Деньги на оплату учебы неимущих студентов собирались на благотворительных вечерах, лекциях и концертах. Не было в Петербурге знаменитости, хоть раз отказавшей студентам в выступлении на таком вечере. Беднейшие студенты пользовались в столовой института бесплатными завтраками и обедами.

¹¹ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 13, л. 8.

Всей научной жизнью института руководил Совет профессоров во главе с президентом, которого выбирали тайным голосованием. Кстати, эта была единственная в институте, по настоянию президента В. М. Бехтерева, неоплачиваемая должность.

Институт стал подлинной и единственной в России вольной высшей школой. Открывшиеся при нем клиники и лаборатории целиком предназначались единственному научному направлению: познать человека во всех его многочисленных проявлениях норм и патологии.

В. М. Бехтерев привлек к работе в институте крупные силы профессорско-преподавательского состава. Упомянем хотя бы физиолога Н. Е. Введенского, ботаника В. Л. Комарова, зоопсихолога В. А. Вагнера, литературоведа С. А. Венгерова, лингвистов Л. В. Щербу и И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, историка Е. В. Тарле, социолога М. А. Рейснер, анатома П. Ф. Лесгафта и многих других, активно и плодотворно работавших впоследствии в Советской России.

За годы своего существования Психоневрологический институт дал России несколько тысяч образованных людей. В институте были и революционно-демократически настроенные студенты, в том числе и большевики, как, например, Семен Рошаль, член партии с 1914 г.; студентом он вел партийную работу на Путиловском заводе, впоследствии погиб в годы гражданской войны; известная писательница Лариса Рейснер, послужившая прообразом комиссара в пьесе В. Вишневского «Оптимистическая трагедия»; Николай Кузьмин, участник гражданской войны, комиссар Балтийского флота; Михаил Кольцов, активный участник Октябрьской революции, впоследствии известный писатель, журналист-правдист. Здесь учились и такие, которые затем стали видными писателями, учеными, хозяйственными и партийными работниками.

Сразу же, в первые дни работы в институте, К. Жаков по рекомендации П. Ф. Лесгафта единодушно был утвержден Советом института в должности заведующего студенческими делами. Выбор оказался на редкость удачным. За весь период работы в институте К. Жаков пользовался любовью и уважением студентов. По инициативе К. Жакова в институте был организован ряд научно-исследовательских кружков, которые он сам вел. Руководил историко-философским кружком, по теории познания, всемирной сказки и даже кружком шахматистов. В них изучались философские идеи К. Жакова, его взгляды на

общество и природу, прочитывались и разбирались литературные произведения своего учителя. Обладая неиссякаемой энергией, серьезными всесторонними познаниями и обширной начитанностью, К. Жаков умел зажигать студентов. Он приобщал их к исследовательской работе, прививал навыки сбора и обобщения материала, помогал составлять рефераты, научные доклады, статьи, которые затем рассматривались на заседаниях кружков.

К. Жаков был ответственным и за институтскую библиотеку, на пополнение которой ежемесячно тратил свои сбережения. В перерыве между лекциями К. Жаков в коридоре института разворачивал книжный киоск и торговал своими книгами.

Как заведующий студенческими делами, К. Жаков из всех преподавателей института ближе всего стоял к студентам, к их жизни и взглядам, был в курсе всех событий. Он давал разрешение на проведение студенческих собраний и вечеров, создание кружков и землячеств, организаций. Например, по инициативе К. Жакова было устроено нелегальное чествование 100-летия со дня рождения революционного демократа Т. Г. Шевченко в 1914 г. в здании нынешнего театра им. Ленсовета, где он сам выступил. В ноябре 1915 г. Жаков организовал литературное утро, посвященное памяти Л. Н. Толстого, в аудитории Психоневрологического института с участием М. Горького, И. Репина и других известных писателей и художников того времени. На этом утре он прочитал отрывок из автобиографической повести «Сквозь строй жизни». Сразу же после выступлений начался сбор денежных средств для политических заключенных¹². Однако в годы реакции под неусыпным полицейским оком не всегда удавалось осуществлять и выполнять требования студентов¹³.

Нередко сам К. Жаков читал платные публичные лекции, весь сбор от которых поступал в распоряжение землячеств или организаций. При участии К. Жакова с октября 1911 г. было начато издание институтской газеты «Листок студентов-психоневрологов». Редактором стал ближайший ученик и помощник К. Жакова М. К. Костин.

¹² Назаренко Я. В ноябре 1915 года.— Нева. № 5, 1968. С. 218—219; Он же. Летопись славной жизни.— Нева. № 8, 1959. С. 210; Воспоминания литературоведа Я. А. Назаренко о К. Жакове. Запись 24.12.1968 г.

¹³ См. Канев С. Чужан муё бёрсё эз во. Каллистрат Жаковлõн олõм да политической туйвизь.— Югьд туй, 1989, 18 мая.

Общественно-политические взгляды К. Жакова во многом определялись его деятельностью и той обстановкой, которая царила в институте. Постоянное общение со студентами, участие в их собраниях и диспутах, знакомство с марксистской литературой накладывали определенный отпечаток на его образ мысли и суждения. Он постоянно подвергался резкому осуждению своих более умеренных коллег и чиновников из Министерства народного просвещения. В списке книг, рекомендованных студентам института для изучения, были Вл. Ильин (Ленин) «Материализм и эмпириокритицизм», Ф. Энгельс «Анти-Дюринг» и «Людвиг Фейербах». В архиве института сохранилось донесение попечителю С.-Петербургского учебного округа за № 25 от 4 января 1913 г. от градоначальника генерала Драчевского. В нем сообщалось: «...необходимо отметить, что большинство как слушателей, так и преподавательского персонала Психоневрологического института по своим убеждениям являются лицами неблагонадежными в политическом отношении... из числа профессоров Психоневрологического института особенно выделяются своим левым направлением профессор социологии Де-Роберти, Тарле и заведующий студентами Жаков...»¹⁴.

В разные периоды на квартире К. Жакова собирались студенты. Вначале это были его земляки-коми, которые изучали жизнь финно-угорских народов, пользуясь богатой библиотекой хозяина по этому вопросу. Квартира К. Жакова была своеобразным клубом для научных и литературных диспутов. Ее двери были открыты для всех желающих принять участие в обсуждении вопросов этнографии и языка финно-угорских народов, законов развития общества и природы, литературы и философии, астрономии и математики. Здесь бывали студенты, готовящиеся к предстоящим экзаменам, начинающие писатели и журналисты, земляки ученого. Беседы нередко затягивались за полночь. В них принимала участие супруга и помощница К. Жакова Глафира Никаноровна.

Литературовед Я. А. Назаренко вспоминал, что он посещал философский семинар под названием «Логика» Миля па квартире на Большой Гребецкой, д. 47, кв. 29 (ныне улица Пионерская). Семинар начинался в воскресенье днем, в 12.00, и заканчивался в 16.00. Комната была маленькая, и на семинаре было не более 15 человек.

¹⁴ Архив музея им. В. М. Бехтерева, ф. 5, № 87, л. 1.

Прислуги не было. Дверь открывала жена Глафира Никаноровна. Она же клала па стол поднос с едой. Пили чай с сухарями ванильными, булочками. Жаков сам пил чай с селедкой. Обедом не угощал. Жил очень бедно...

У него были темные волосы, лицо покрытое оспой и загорелое, носил сапоги, длинный сюртук. Посещали семинар В. Шкловский, А. Чапыгин, И. Садофьев. П. Сорокин часто бывал. Он себя считал учеником К. Жакова... Уже потом я встретил А. Чапыгина, сразу узнал его и напомнил ему: «Мы встречались у Жакова». Чапыгин ответил: «Да, чудесный человек был, я изредка бывал у него». На семинаре К. Жаков читал отдельные главы из «Сквозь строй жизни»¹⁵.

Известный советский литературовед и писатель В. Шкловский весной 1913 г. в кружке К. Жакова встретил писателя Александра Грина, который жил в Петербурге по чужому паспорту¹⁶.

Друг юности К. Жакова Ф. Шошин вспоминал: «В Петербурге удалось видеть профессора Жакова и даже побывать у него в квартире, куда учащаяся молодежь из числа его почитателей собиралась тесным кружком и в домашней обстановке слушала и обсуждала под руководством хозяина делаемые кем-либо доклады и рефераты по тем или иным научным вопросам или просто вела беседы на различные темы текущей жизни. При полной непринужденности все чувствовали себя свободно и просто, и время шло незаметно. Уже поздней ночью молодые гости с сожалением расставались с радушными хозяевами, унося в душе отраду и мир от общения с добрыми и сердечными людьми, какими остались навсегда в воспоминаниях молодежи профессор Каллистрат Фалалеевич и его симпатичная супруга Глафира Никаноровна»¹⁷.

За квартирой К. Жакова и за ним самим было установлено наблюдение. В особом журнале Совета Министров от 2 июля 1914 г. зафиксировано о «...состоявшихся в 1912 и 1913 годах на квартире заведующего студенческими делами института профессора Жакова систематических собраниях учащейся молодежи из разных учебных заведений столицы для чтения якобы научных лекций, но

¹⁵ Воспоминания литературоведа Я. А. Назаренко. Запись 24.12.1968 г.

¹⁶ Шкловский В. Тропа в старый Крым.— Юность, № 7, 1967. С. 91.

¹⁷ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 13, л. 10

на деле — для обсуждения политического свойства вопросов...»¹⁸

Наконец, осенью 1915 г. Совет института принял решение отстранить К. Жакова от исполнения обязанностей заведующего студенческими делами. Студенты возмутились таким решением. 16 декабря 1915 г. они преподнесли К. Жакову адрес, в котором говорилось: «Наш учитель, наш друг и товарищ! В черную годину лихолетья и реакции, накладывающей свою тяжелую руку на всякую творческую идею, Вы шли прямой дорогой... и всемерно содействовали росту нашей самостоятельности»¹⁹. Под адресом стояло 400 подписей, что говорит о широкой популярности К. Жакова среди студенческой молодежи института.

Продолжались и ширились попытки закрыть и это уникальное научно-учебное заведение. В составленном градоначальником непосредственно царю донесении об институте особо отмечалось «определенно выраженное противоправительственное направление как преподавательского его персонала, так и всего состава слушателей, а также вредное влияние этого института на другие учебные заведения столицы и на рабочее население этого района, где расположено названное учреждение». Царь собственноручно сделал пометку на полях доклада: «Какая польза от этого института России? Желая иметь обоснованный ответ»²⁰.

На какое-то время президенту В. М. Бехтереву удалось оттянуть закрытие института, т. к. слишком много высокопоставленных пациентов, в том числе сама императрица, лечились у него. Наконец, в феврале 1917 г. был подписан приказ о закрытии первого «вольного» высшего учебного заведения России. До взрыва Февральской революции оставалось три дня.

С 1900 по 1912 гг. почти каждое лето К. Жаков был в научных командировках и экспедициях на Севере по поручению Академии наук, Русского географического общества, разных департаментов и министерств. Несколько раз он побывал у коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и мордвы. Во время этих поездок он не только изучал быт и нравы родственных народов, но и вел разнообразную просвети-

¹⁸ Архив музея им. В. М. Бехтерева, ф. 5. № 99, л. 6.

¹⁹ Северное утро. 1916, 15 ноября.

²⁰ Губерман И. Бехтерев, читаемый сегодня (К 50-летию со дня смерти). — Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 13. Москва, 1977. С. 127.

тельную работу, а иногда и политическую борьбу.

В 1907 г. Государственный департамент земельных имуществ пригласил К. Жакова, как знатока Севера и исследователя коми народа, в Печорскую экспедицию в Вологодскую губернию для исследования северных земель и их природных богатств. Таково было официальное назначение экспедиции. Осенью, когда экспедиция завершила работу, К. Жаков вернулся в Петербург. Ему показалась странной деятельность экспедиции, которая вместо изыскания природных богатств искала земли, пригодные для заселения.

В 1908 г. экспедиция вновь была снаряжена и К. Жаков снова принял участие в качестве статистика. На этот раз его помощником поехал студент Психоневрологического института П. А. Сорокин. Сомнения К. Жакова окончательно подтвердились: экспедиция уже второй год занималась колонизационными вопросами. Оказалось, что прибалтийские бароны, пользовавшиеся поддержкой и влиянием при царском дворе, убедили правительство переселить бунтующих латышей, вызвавших беспорядки осенью 1905 г., из прибалтийских губерний на Север, в Вологодскую губернию. Данный факт страшно возмутил К. Жакова. Во-первых, он не хотел быть невольным исполнителем этого плана. Во-вторых, в поселении латышей он увидел обоюдную опасность как для латышей, так и для своих земляков коми. Это изменило бы условия существования обоих народов. Возникла ссора между начальником экспедиции П. М. Соколовым и К. Жаковым. Сразу же были уволены как К. Жаков, так и его помощник П. Сорокин. Категорически требовалось сдать все собранные статистические материалы. Государственному департаменту земельных имуществ причину увольнения начальник экспедиции объяснял так: «Означенное устранение вызвано политическими взглядами г. Жакова, развившимися в самый разгар работы в необходимости осуществления зырянской автономии... и свои убеждения (о которых было известно и полиции) пытался распространять среди населения, а равно намеревался высказывать их в будущем отчете»²¹.

Для урегулирования конфликта на место, в Усть-Сысольск, был отправлен ревизор землеустройства. К. Жаков решил довести начатое дело до конца через Академию наук, где нашел сочувствие и поддержку. Академия

²¹ ЦГИА СССР. ф. 396. оп. 4. 1908—1910, № 689.

наук согласилась с доводами К. Жакова о том, что переселение будет губительно как для коми, так и для латышей, и послала в Государственную Думу записку с раскрытием подлинных планов Печорской экспедиции. Дума отказалась в дальнейшем финансировать экспедицию. Колониальные планы немецких баронов были пресечены. На основании собранного материала К. Жаков написал и издал объемную работу «Историко-статистический очерк зырянского населения» (СПб., 1909, 77 с.). «Отчет о летней поездке к зырянам в 1908 г.» он сделал на одном из заседаний Императорского географического общества, где на данных статистики обрисовал современный социальный быт коми, осветил вопросы колонизации Севера, продемонстрировал фотографические снимки и на фонографе воспроизвел около 30 коми народных песен²².

После поездки к удмуртам К. Жаков опубликовал очерки «Вотяки» (Научное обозрение, № 11, 1902), «Некоторые черты из исторической и психической жизни вотяков» (Живая старина, вып. 1—2, 1903). О поездке к коми-пермякам К. Жаков рассказал в очерке «По Иньве и Косе» (Живая старина, вып. 4, 1903).

К. Жаков горячо любил свой народ, проявлял постоянную заботу о нем. Он с болью писал: «Как несчастна, малокультурна зырянская среда. Интеллигенции у нас нет, чиновники или ограбленные люди, или карьеристы, от них, кроме стеснений, не жди ничего. Кто спасет народ мой, кто уменьшит горе мое?»²³

Он мечтал о систематическом обследовании всех древних городищ и могильников Коми края, об этнографической коллекции, объемлющей быт родного народа, о словаре географических названий с соблюдением всех особенностей говоров, о карте Архангельской губернии с народными названиями мест, сел, рек и прочее. Он хотел, чтобы при Обществе изучения Русского Севера образовали секцию языковедения для изучения языков местных инородцев, а для освоения методов финно-угорского языкознания считал весьма желательным послать несколько молодых людей в Будапештский или Гельсингфорский университеты²⁴.

К. Жаков добивался открытия в Усть-Сысольске тех-

²² Архив Всесоюзного географического общества, разряд 53, оп. 1, № 123.

²³ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 2, 1912. С. 33.

²⁴ Известия Архангельского общества изучения Русского Севера, № 15, 1913. С. 713.

нического училища, неоднократно подчеркивал необходимость образования для коми: «Зыряне — способный народ, живущий в стране, где одного земледелия недостаточно, необходимо развитие промышленности. Зырянский край нуждается в науке и технике несравненно более, чем жители черноземной полосы. Лесная промышленность — главная в нашем крае, у нас нет и одного лесного завода. Необходимо зырянам техническое образование. Нефть, каменный уголь, медь, золото — богатство почвы, обработка их требует людей, знающих технику и науку о природе»²⁵.

В 1909 г. К. Жаков ходатайствовал об издании газеты на коми языке²⁶.

Он требовал предоставления коми большей самостоятельности, условий для государственного и культурного роста, для расширения влияния на соседние, менее развитые народы. В самостоятельности «новых» народов он усматривал резервы для оздоровления культуры «уставших» народов Запада. «Я должен показать первобытным народам, что силы много в их груди, терпения, непочатый угол — стремлений, что буря... Мы способны к науке, к искусству, ко всему высокому и благородному. Первобытные народы — источник жизни грядущей»²⁷.

Ежегодно на протяжении 14 лет К. Жаков совершал поездки по стране с публичными лекциями на самые разнообразные темы. Пропагандистская работа являлась одной из форм политической борьбы. Наряду с лекциями по философии, литературе, эстетике, много лекций К. Жаков прочитал на религиозные темы. Лектор, обладая хорошими ораторскими данными, обычно сразу овладевал аудиторией, а превосходно составленные лекции с богатыми фактами и оригинальными выводами вызвали острые диспуты. «...Один интеллигент остался недоволен: «Что же вы читаете на философские и литературные темы, лучше бы прочитали для рабочих что-нибудь о Дарвине...» Люди, подобные этому господину, думают, живя старыми идеями 50-х годов, что рабочий только нуждается в знании теории Дарвина... На одном Дарвине

²⁵ Жаков К. Ф. О необходимости средних учебных заведений для зырян. Доклады Устьсысольского земского собрания. Усть-Сысольск, 1908. С. 504.

²⁶ Вологодская жизнь, 1909, 26 августа.

²⁷ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 3. Вып. 1, 1914. С. 51.

далеко не уедешь среди современных «простых людей»²⁸.

Выступления К. Жакова на религиозные темы вызывали протест у присутствующей на лекциях публики: «...Многие недовольны были религиозностью моей. Газеты некоторые бранили, обвиняли меня, что я не понимаю классовой борьбы, что литературные явления объясняю из мировоззрений, а нужно-де из экономических условий. Звали меня изучать Карла Маркса... Некоторые добрые люди говорили: «Его религиозность — его личное несчастье»... Я слушал всех, но продолжал дело свое так, как разумевал я сам»²⁹. Как известно, православная религия составляла одну из важнейших частей идеологии царского самодержавия России.

В 1912 г. К. Жаков совершил многомесячную лекционную поездку по крупным городам Урала, Сибири и Дальнего Востока, расположенным по транссибирской железнодорожной магистрали, побывав в Китае и Японии. На обратном пути К. Жаков по свежим впечатлениям подготовил лекцию «Япония и японцы» и прочитал ее в Вятке (ныне г. Киров). Давая краткую характеристику японской литературе, он завершил лекцию словами: «Придет время, и в Японии будет свой Горький»³⁰.

Литературное наследие К. Жакова (повести, рассказы, сказки, легенды, стихи, пьесы) нуждаются в особом, отдельном рассмотрении. На формирование его литературных взглядов и приемов, эстетических вкусов оказали непосредственное влияние Л. Толстой, Ф. Достоевский, Л. Андреев, скандинавские писатели Кнут Гамсун, Оскар Уайльд, Генрих Ибсен. Творчество последних оказало большое влияние на декадентскую литературу всех стран, в том числе и на русскую. Общественно-политические взгляды и мировоззрение К. Жакова сложились под влиянием немецких философов-идеалистов И. Канта, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, М. Штирнера.

Литературное творчество К. Жакова продолжалось более двух десятков лет и в разные периоды претерпевало значительную эволюцию. В ранний период (1901—1913 гг.) творчества им были созданы рассказы и очерки, реалистически изображающие крайне нищенское и бесправное существование народов в дореволюционной России. Сатирически обрисованы образы их эксплуататоров.

²⁸ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 3. Вып. 2, 1914. С. 122.

²⁹ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 3. Вып. 2. СПб., 1914. С. 92—93.

³⁰ Вятская речь, 1912, 21 сентября.

С общедемократических позиций, с явным сочувствием изображал он трудящихся, крестьян-бедняков и представителей молодого рабочего класса России³¹.

Своеобразным писательским мастерством и талантом отмечены следующие сборники рассказов и очерков: «На Север в поисках Пама Бурморты» (1905), «Очерки жизни рабочих и крестьян на Севере» (1906), «Из жизни и фантазии» (1907), «В хвойных лесах» (1908), «Под шум северного ветра» (1913) и другие.

В 1910—11 гг. многотысячным тиражом были изданы философская сказка К. Жакова «Мудрый Пам. Легенда крайнего Севера» (Изд-во «Библиотека-копейка», Спб., 1910) и коми народное предание «Царь Кор. Чердынское предание» (Архангельск, 1911). Эти дешевые издания были рассчитаны для низов — рабочих, мастеровых, городской бедноты.

Наиболее значительным литературным произведением К. Жакова является автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни» (ч. 1—4, 1912—1914), в которой много страниц посвящено жизни и быту коми народа в конце XIX—начале XX вв., даются реалистические зарисовки об экономической и социальной жизни Коми края, а также история человека, «искателя знаний и истины», стремящегося «постичь причины тяжелого горя... беспомощно страдающего любимого народа», «тысяч бедствующих рабочих».

Повесть «Сквозь строй жизни» обратила на себя внимание великого пролетарского писателя А. М. Горького. Мы точно не знаем, когда вообще творчество К. Жакова попало в орбиту внимания М. Горького. Товарищ К. Жаков по Тотемской семинарии вспоминает; «Особенно сильное впечатление произвела на меня одна газетная заметка, насколько помнится, М. Горького, в которой автор характеризует профессора Жакова как вновь народившуюся большую научную силу. В другой газете называли его зырянским Ломоносовым»³².

Можно предположить, что М. Горький читал и «Мудрого Пама», и «Царя Кора», и другие жаковские рассказы и легенды, публиковавшиеся в ежемесячном научно-популярном журнале «Вестник знания» (1902—1914 гг.). К. Жаков был в дружеских отношениях с редактором

³¹ Соблюдать партийность в освещении вопросов истории.— Красное знамя, 1977, 15 сентября.

³² ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 13, л. 19.

журнала В. В. Битнером. 11—19 июля 1911 г. в Киеве состоялся съезд подписчиков журнала. К. Жаков был одним из организаторов и его председателем, выступил с несколькими докладами. На съезде он высказал идею создания Народной Академии, которая была встречена с большим восторгом.

Известно, что М. Горький был исправным читателем журнала «Вестник знания».

Вероятно, под впечатлением от только что прочитанного первого тома «Сквозь строй жизни» М. Горький весной 1912 г. сообщает своему другу Л. Андрееву: «Знаешь, в России есть интересный писатель Жаков, зырянин. Любопытнейшая фигура!»³³ Но Л. Андреев давно уже был лично знаком с К. Жаковым, считал его пропагандистом и исследователем своих произведений. Он, вероятно, и сообщил М. Горькому адрес К. Жакова, и великий русский писатель уже пишет восторженное письмо своему коллеге — писателю зырянину: «...Сейчас прочитал Вашу книгу «Сквозь строй жизни» — А. Т.), очень взволнован ею и весьма усердно прошу Вас: познакомьте меня со всеми Вашими трудами. Чувствую, что это должно быть очень интересно, может быть, важно»...³⁴

В ответном письме К. Жаков писал: «Я получил Ваше письмо в Екатеринбурге, по дороге в Сибирь, и чрезвычайно был тронут. Сейчас же хотел послать все свои работы, но ничего, как оказалось, не было с собой, кроме старого экземпляра «Бурморты» и «Хвойных лесов», которые и посылаю, ибо не в силах удержаться. В сентябре по возвращении пришлю все свои работы. В Сибири я читаю публичные лекции. Ваше письмо вдохновило меня на новые работы, сердечный тон его не будет забыт мною никогда»³⁵.

К. Жаков искал личной встречи с А. М. Горьким. С декабря 1913 г. Горький жил на даче в Мустамяках (ныне — Горьковские) и находился под «наружным наблюдением» — агенты охраны не спускали глаз с него. Однако дача в Мустамяках никогда не пустовала. К Горькому часто приезжали друзья. Здесь бывали деятели большевистской партии, видные писатели, художники, ученые. В

³³ Литературное наследство. Горький и Леонид Андреев. Т. 72, М., «Наука», 1965. С. 346.

³⁴ Вологодский листок, 1913, 9 июня.

³⁵ Архив А. М. Горького при ИМЛИ АН СССР, ф. 23725. КГ—П 2—82; Цит. по: История коми литературы. Т. 2. Коми кн. изд-во: Сыктывкар, 1980. С. 88—89.

начале мая М. Горького посещает К. Жаков и дарит ему 2-й и 3-й тома автобиографической повести «Сквозь строй жизни», сопроводив дарственной надписью: «Дорогому писателю — Гараморт»³⁶. 7 мая Петербургская судебная палата прекращает «уголовное преследование» Горького за опубликование повести «Мать»³⁷, а 9 мая 1914 г. М. Горький сообщает А. Н. Тихонову: «...Жаков был, оставил книги свои, 2-й и 3-й тома «Сквозь строй», — это, батенька, тоже глубоко интересно, до жути!»³⁸

Между М. Горьким и К. Жаковым установились дружеские отношения. В ноябре 1915 г. М. Горький принял участие в литературном утрае памяти Л. Н. Толстого, состоявшемся в Психоневрологическом институте. По воспоминаниям литературоведа Я. А. Назаренко, эту встречу организовал К. Жаков. Он лично ездил на Кронверкский проспект на квартиру М. Горького. В 1916 г., завершив эпическую поэму «Биармия», К. Жаков отправляет ее на суд М. Горькому. Проявив горячую заинтересованность к поэме, М. Горький попросил составить предисловие. Такое обширное введение было написано на 20 страницах и отправлено М. Горькому. Ныне этот экземпляр поэмы «Биармия» хранится в личном архиве М. Горького при Институте мировой литературы АН СССР.

Накануне Великой Октябрьской социалистической революции оценка М. Горьким творчества К. Жакова изменилась, и дружеские отношения, очевидно, прервались.

В ранний период в литературном творчестве К. Жакова нужно выделить еще одну грань — «художественно-философская критика». Особенно ярко эта сторона деятельности писателя и ученого проявилась в анализе творчества великих русских писателей Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и Л. Н. Андреева, норвежского писателя Кнута Гамсуна, француза Альфонса Доде. К. Жаков пишет большие исследовательские работы к известным произведениям этих писателей. Так, к книге Л. Н. Андреева «Рассказ о семи повешенных» (1909) К. Жаков написал предисловие «Леонид Андреев и его произведения (опыт философской критики)», а творчеству Ф. М. Достоевского была посвящена большая исследовательская работа «Иван Карамазов». Попытка философского толко-

³⁶ Личная библиотека А. М. Горького в Москве: Описание. Кн. 2. М., 1981. С. 40.

³⁷ Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Т. 2. 1958. С. 434.

³⁸ Горьковские чтения. 1953—1957. Издание АП СССР, М., 1959. С. 48.

вания романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1909). Эти две работы вместе с другими исследованиями К. Жакова были опубликованы в 1909 г. в приложениях к журналу «Ясная Поляна», издаваемых в Петербурге последователями Л. Н. Толстого в целях пропаганды произведений великого писателя. С Л. Н. Толстым согласовывалось содержание всех выпусков, и каждый номер журнала высылался ему в Ясную Поляну.

Особый интерес представляет развернутый план лекций К. Жакова «Леонид Андреев как выразитель идеи и настроений нашего времени», прочитанной 26 июля 1909 г. в г. Усть-Сысольске.

1) Своеобразные условия возникновения и развития литературы (лирика и драма раньше эпоса). Белинский и Буслаев в этом вопросе.

2) Отдельное, независимое развитие народного эпоса и художественной искусственной литературы (до Пушкина наша литература — чужеземное растение).

3) С Пушкина видим мы сближение этих двух великих начал поэзии. Народность и реальность стали главными особенностями нашей поэзии (Лермонтов от реальности перешел к пессимизму, Гоголь — к юмору).

4) Три течения идут от Пушкина: а) Пушкин — Тургенев — Чехов; б) Пушкин — Гончаров — Толстой; в) Гоголь — Достоевский — Гаршин — Альбов — Андреев.

5) Андреев — аналитик, психолог, пессимист, художник-символист.

6) Содержание его поэзии — индивидуализм, солипсизм, нищезанство, пессимизм (идеи и настроения нашего общества).

7) Он примыкает к писателям (к школе Ницше и Достоевского); Кнуту Гамсуну, Бьернстерне Бьернсону, Оскару Уайльду, Ибсену, Габриэлю д'Анунцио.

8) Необходима философская критика произведений Андреева. Крайнихфельф, Волжский, Михайловский, Неведомский, Арабажин, Скабичевский, Разумник-Иванов только отчасти поняли его. Метафизика и поэзия — две стороны одного и того же состояния века.

9) а) Бытовые произведения Андреева «Валя», «Жили-были» и др.; б) Символические — «Степа», «Ложь», «Смех», «Ангелочек» (неокантианство и позитивизм); в) Произведения и пьесы, выражающие идеи Ницше и Шопенгауэра — «Рассказ о Сергее Петровиче», «Мысль», «Жизнь человека», «Василий Фивейский» и «Савва»; г) Моральная — «К звездам», «Тьма», «Бездна», «В ту-

ман», «О семи повешенных» и др. «Проклятие зверя» (о личности и мировое «я», страх смерти).

10) Опыт перехода к оптимизму — «Мои записки» (целесообразность мира).

11) Возврат к символизму и пессимизму — «Черные маски».

12) Женские типы и дети (Маруся, Муся, Таня Ковальчук и др.).

13) Наше время — момент зарождения новых ценностей (гносеологических, метафизических и художественных).

Древняя и новая поэзия (быстрота творчества нашего времени и отсутствие религиозного отношения к искусству)³⁹.

О творчестве К. Гамсуна К. Жаков написал историко-литературную статью для драматической трилогии «У врат царства» (СПб., 1909), а о творчестве А. Доде — предисловие к его рассказу «Последний урок» (рассказ был переведен на коми язык, об издании сведений нет). Специальную статью К. Жаков посвятил анализу женских образов в произведениях А. П. Чехова⁴⁰.

К. Жаков был одним из первых исследователей и популяризаторов литературы и культуры коми. Он разработал методику изучения северного народного эпоса, первым обратил внимание на произведения И. А. Куратова. Имя коми поэта ему было известно еще до 1900 г.⁴¹. Не случайно финский ученый, доцент Гельсингфорского университета Ю. Вихман в 1901 г. перед поездкой в Коми край упорно искал встречи с К. Жаковым в Петербурге. На основании дневника Ю. Вихмана можно судить о том, что такая встреча состоялась в сентябре и, вероятно, финский ученый получил от К. Жакова нужную информацию о произведениях И. А. Куратова. Во время своей поездки Ю. Вихман дольше всего (57 дней) находился в с. Визинга. Всего экспедиция длилась около 8 месяцев: в других населенных пунктах Ю. Вихман останавливался на очень короткое время. Длительность пребывания финского ученого в с. Визинга можно объяснить только тем, что он входил в доверие к родственникам поэта, надеясь получить доступ к его рукописям, что ему и удалось.

³⁹ ЦГИА СССР, ф. 396, оп. 4, № 689.

⁴⁰ Жаков К. Ф. Женские типы Чехова. — Мстинская волна, №№ 302—309, 1912, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 января.

⁴¹ Жаков К. Этнологический очерк зырян. — Живая старина. Вып. 1, 1901. С. 23.

В своей автобиографии К. Жаков сообщает: «Писал всю жизнь сказки». В совершенстве владея родным языком, К. Жаков во время многочисленных поездок по Северу собирал сказки и легенды, старался записывать точно, чтобы сохранить своеобразие народной фантазии и язык устного повествования. Однако при переводе на русский язык многое терялось. Он с грустью отмечал: «Этот дословный перевод, необходимый для науки, нанес большой ущерб литературной стороне дела. Красота языка, меткость и картинность речи исчезли»⁴².

Многие аллегорические сказки были созданы богатой фантазией писателя: «Уриила», «Венулитто», «Беженада-Вирси-Урго», «Мили-Кили», «Неве-Хеге», «Тогай» и др.

Фольклором пронизаны и вдохновлены им такие сборники К. Жакова, как «На севере в поисках Пама Бурморта» (1905), «В хвойных лесах» (1908), «Под шум северного ветра» (1913) и др.

К. Жаков руководил кружком «Всемирной сказки» в Петербурге и в Пскове, затем в Юрьевском университете: «Суть кружка — чтение и изучение народных сказок преимущественно племен угро-финской расы. Будут читаться зырянские, вотские, тунгусские и т. д. сказки, такие мои сказки: Уриила, Пам-Бурморт, Биармия, Беженада-Вирси-Угро и др... Чтение народных сказок имеет огромное культурное значение: развивает эстетический вкус у молодежи, любовь к быту народа, возбуждает нравственные идеалы, ведет к пониманию психологии народа...»⁴³

Философские сказки К. Жакова печатались в научных журналах и газетах Архангельска, Вятки, Вологды, Перми и Петербурга. В Пскове он писал свою лебединую песню «Светлые сказки земные», рукопись которой, к сожалению, еще не найдена.

Хотя К. Жаков и писал свои произведения по-русски, он боролся за утверждение родного коми языка. Он писал: «Язык — душа народа. Для каждого народа язык — его величайшее сокровище. Отнимая язык, мы отнимаем у народа не только его вековую привычку, его удобства, но отнимаем еще своеобразие психических переживаний, понятий миров... Кто желает познать все богатство человеческого духа, тот должен изучать языки в их сущности, в их внутренней логической стороне. Если это невозможно,

⁴² Живая старина. Вып. 1, 1908. С. 93.

⁴³ ЦГИА ЭССР, ф. 2100, оп. 2, № 1061.

то долг каждой нации сохранить свой язык и охранять чужие языки, долг каждого человека — серьезно и свято относиться не только к своему, но и к чужому языку, не только к языку современных культурных народов, но и к языку народов, не попавших в светлый круг культурно-исторической жизни, народов исчезнувших или исчезавших.

Как все великое, язык есть произведение бессознательных сил человека, и потому он не подражаем, самобытен, оригинален, подобен природе, каждый язык — единственный в своем роде. Вот почему народы так упорно, настойчиво, инстинктивно охраняют чистоту своего языка.

Можно переменить место жительства, можно изменить свои привычки, вкусы, можно отказаться от родных, от друзей, но невозможно утратить то, что связывает с родиной, что неразрывно связано с душой, что одно делает частью великого целого — нации, народа, невыносимо отказаться от родного языка, от тех незабываемых звуков, которыми была произнесена первая детская мысль, которые в историческом течении жизни народа выразили национальную религию и национальную поэзию, ибо язык есть зеркало жизни и истории народа»⁴⁴. Как актуальны эти слова, сказанные почти 70 лет тому назад, как не хватало их нам в борьбе за чистоту и права коми языка!

В нашем распоряжении нет документального материала, который позволил бы отнести К. Жакова к числу революционеров или считать его марксистом. Политическая характеристика, данная ему в первом издании Большой Советской Энциклопедии (т. 24, 1932, с. 614), требует уточнения. Вопрос об участии К. Жакова в революционном движении Вологды и Питера в ранние годы его деятельности на основе архивных документов фактически не исследован. Что касается его богохульства, то это, по всей вероятности, было кратковременным явлением. Если в годы молодости, в период студенчества К. Жаков был атеистом-материалистом, то начиная с 1901 г. он переходит на путь религиозного мистицизма. Перебирая некоторые факты из его личной жизни, читая автобиографическую повесть «Сквозь строй жизни», мы видим, что до последних дней своей жизни К. Жаков оставался глубоко религиозным человеком. Вера в бога, мистицизм настолько глубоко пустили корни в его творчество, что, читая повесть «Сквозь строй жизни», чуть ли не на каждой стра-

⁴⁴ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 8, л. 9—10.

нице содержится призыв к богу, восхваление его величия, могущества и милосердия: «Я молюсь богу моему: «Отец мой, святой источник бытия небесного и земного, ни за что не оставь меня, ни на секунду не покидай меня, чтоб не умер я. Шествуй со мной беспрестанно. Изгладь беззакония мои, дерни за руку меня, от падения оберегай»⁴⁵. «Всю жизнь пою о Нем, Его ищу, к Нему стремлюсь и жив я Им же»⁴⁶. «Бог мой! Зову тебя в свидетели дел и помыслов моих. Научи меня жить на свете, поручаю свою волю святой, беспредельно мудрой воле твоей»⁴⁷. «Все мы умрем, друзья мои, по душа не вся умрет, она перейдет в скрытое состояние для того, чтобы воскреснуть на иных мирах»⁴⁸.

Нам привычно было бы слышать подобные изречения из проповеди фанатика-священника с церковного амвона, а не из уст профессора-философа прогрессивного учебно-го заведения.

Утверждение о том, что К. Жаков «в партии не входил», не соответствует действительности. В годы первой русской революции 1905—1907 гг. К. Жаков вступил в политическую партию Демократический союз конституционалистов (сокращенно ДИСК), образованный 5 ноября 1905 г. Д. Н. Бородиным. В него входили учителя, военные чины, некоторые буржуазные круги, студенты и даже рабочие. Вскоре в партии возникли разногласия, и ее организатор Д. Н. Бородин сложил свои обязанности. Председателем стал К. Жаков как один из видных руководителей ДИСКА. Из программы Демократического союза конституционалистов видно, что его члены были напуганы размахом революции, забастовками рабочих, борьбой крестьян в деревне. По вопросу о государственном строе России ДИСК стоял за конституцию и верховное главенство царя. Союз выступал против уничтожения царской власти и провозглашения России республикой, против требования созыва учредительного собрания, выдвигаемых революционными и демократическими партиями, т. е. стоял на правом фланге буржуазной демократии⁴⁹.

Партия К. Жакова стремилась привлечь на свою

⁴⁵ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 3, 1914. С. 22.

⁴⁶ Там же. С. 58.

⁴⁷ Там же. С. 31.

⁴⁸ Жаков К. Ф. Под шум северного ветра, СПб., 1913. С. 28.

⁴⁹ Демократический союз конституционалистов. Воззвание. СПб., 1906. С. 4—9.

сторону широкие демократические массы. Для этого организованы клубы, дешевые столовые и бесплатные обеды для безработных. Но ДИСК не смог заручиться поддержкой широких масс, и во время выборов в I Государственную Думу потерпел поражение. Чтобы сохранить партию от развала, ее руководители решили провести реорганизацию и приняли новое название — Союз народной правды, но программа не изменилась.

В 1906 г. в России господствовал разгул реакции, большая часть губерний находилась на военном и чрезвычайном положении, во многих областях действовали карательные отряды, беспощадно расстреливали и вешали участников освободительного движения. Проведенная реорганизация и новое название не дали ожидаемых результатов, и вскоре Союз народной правды исчез с политической арены. К. Жаков отошел от партийной деятельности⁵⁰. Позднее он писал: «К политическим партиям я не принадлежу, отщелкивать не умею, наоборот, я всех жалею, хотя меня никто не жалеет»⁵¹.

После поражения революции 1905—07 гг. среди буржуазной интеллигенции наблюдалось упадническое, пессимистическое настроение, усилились религиозные, мистические увлечения. Эти пессимистические настроения появляются и в произведениях К. Жакова, опубликованных в годы реакции. В 1910—12 гг. наблюдается оживление рабочего и общедемократического движения, а затем и начало нового революционного подъема, что оказало определенное влияние на настроение К. Жакова. В обстановке острейшего противоборства различных политических сил в обществе стоять вне политики оказалось невозможным. К. Жаков сближается с революционно настроенным студенчеством, его квартиру, как мы знаем, посещали люди разных политических убеждений, в ней хранилась нелегальная литература. К этому периоду относится донесение помощника начальника Вологодского жандармского управления по северным уездам начальнику Государственного жандармского управления от 16 августа 1913 г. Составлено оно секретным сотрудником охранного отделения по кличке «Черный»: «Доход от лекций, прочитанных в это лето и в городах вверенного мне района приват-доцентом Петербургского психоневрологического института Жаковым, в действительности же передавался Жа-

⁵⁰ Канев С. Чужан муё бѣрсе эз во. Каллистрат Жаковлѳн олѳм да политической туйвизь.— Югид туй, 1989, 15 мая.

⁵¹ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Ч. 3. Вып. 1, 1914. С. 74.

ковым в пользу политических ссыльных. В г. Устюг сбор передан Жаковым ветеринарному врачу Павлу Яковлевичу Окошникову и студенту Варшавского ветеринарного института Александру Ильичу Сидельникову, которые и распределили его между ссыльными. В городе Устьысольске сбор был 270 рублей, который Жаковым передан иеродьякону Феодосееву, а последний распределил между ссыльными. Сбор, сделанный в других местах, передан был Жаковым проживающим в г. Устюге Штембергу и Иоффе, которые погасили долг ссыльных в магазине Сумарокова в с. Котлас, а остальные распределили между ссыльными Сольвычегодска и Яренска. В каком размере сбор был в Устюге и других городах за исключением Устьысольска, не выяснено. Ротмистр Р. Сошальский»⁵².

В это же время К. Жаков сотрудничает в кадетской газете «Архангельск», где публикует некоторые свои рассказы, сказки и статьи. Уже находясь в вынужденной эмиграции в Эстонии, К. Жаков в одной докладной записке ректору Юрьевского университета просит разрешить ему читать лекции в здании университета, чтобы «развить в людях правосознание и уничтожить легковременное отношение к «вредоносным», «ненаучным» «доктринам» (вроде марксизма) и заронить в сердцах искру религиозного сознания»⁵³.

Приведенные факты позволяют сделать вывод, что у К. Жакова никогда не было четкой и твердой политической платформы.

К. Жаков является автором свыше десятка книг и брошюр по вопросам философии, преподавал этот предмет в учебных заведениях Петербурга — Петрограда, Пскова и Юрьева (ныне Тарту). Мировоззрение К. Жакова базировалось на дуалистической философии. С одной стороны, он являлся материалистом, точнее механическим и вульгарным материалистом, а с другой — идеалистом, критикующим субъективный идеализм с позиции идеализма объективного. Он создал свое оригинальное философское учение — лимитизм, название которого происходит от латинского *limes* «предел», то есть «философия предела». Суть лимитизма заключалась в том, что для человеческого познания существует предел как в области философии, истории, математики, физики, так и в

⁵² Государственный архив Вологодской области (ГАВО), ф. 108, оп. 1 ед. хр. 5578 л. 85 об., 90, 92.

⁵³ ЦГИА ЭССР, ф. 2100, оп. 2, № 1061, л. 15 об., 16 об.

других областях наук. Человек не может познать высшие законы, установленные богом. Таким образом, лимитизм синтезирует науку, искусство и религию. Сам К. Жаков подчеркивал, что все известные до сих пор философские учения разработаны философами, а не философами-математиками. Лимитическая же философия основана на математически точно вычисленных положениях, а потому лимитизм есть совершенное философское учение. О лимитизме К. Жаков издал несколько работ: «Основы эволюционной теории познания (лимитизм)» (СПб., 1912), «Лимитизм. 1-я лекция» (Валк, 1917), «Лимитизм. Единство наук, философий и религий» (Рига, 1929) и др.

За три дня до Февральской буржуазной революции Психоневрологический институт был закрыт. Еще раньше были закрыты Черняевские курсы. К. Жаков остался в неопределенном положении. К этому времени распался брак с Глафирой Никаноровной. Он создал новую семью со своей студенткой латышкой Алидой Ивановной Предеде. «Я видел, что начинается революция в России. И говорил сердцу моему: Революция зло, и погибает Россия...»⁵⁴ — писал он позднее.

К. Жаков намеревался временно покинуть Петроград, отдохнуть в Латвии на хуторе родителей жены, поправить здоровье, заодно переждать революционную бурю, а осенью вернуться в столицу и с новыми, окрепшими силами приступить к научной и педагогической деятельности. Но судьба распорядилась иначе. Бурные политические события Февральской буржуазной революции, Временное правительство, затем Октябрьская социалистическая революция, установление Советской власти изменили планы К. Жакова. Временный отъезд из Петрограда стал окончательным, и до самой смерти он больше не увидел города, где прошла его юность, началась научная и педагогическая карьера, где было написано большинство его книг и исследований.

Прибалтийский период жизни и деятельности К. Жакова плохо изучен, здесь много неясностей и неточностей. Отъезд его из Петрограда рассматривался бегством от революции, белоэмиграцией.

Весной 1917 г. К. Жаков приехал на хутор родителей жены возле города Валк на границе Эстонии и Латвии. Он бродил по здешним лесам, гулял по станциям, читал

⁵⁴ Жаков К. Ф. Лимитизм. Единство наук, философий и религий. Рига, 1929. С. 40.

лекции в воинских частях. Так прошло лето, наступила осень. В Петрограде установилась Советская власть. К. Жаков решил не возвращаться туда: неопределенность с работой, нежелание жены ехать в голодный Петроград...

В середине декабря 1917 г. К. Жаков из Валка переехал в Псков, где пробыл до 24 августа 1919 г. Псковский период пестр событиями. В момент переезда К. Жакова в Псков здесь была Советская власть. С февраля по ноябрь 1918 г. город находился под немецкой оккупацией. В ноябре Псков снова стал большевистским на шесть месяцев. С 25 ноября 1918 г. по 25 августа 1919 г. в Пскове хозяйничали белоэстонцы и части Северо-Западной белой армии генерала Юденича.

В Пскове сначала К. Жаков вел курс высшей математики в Маринской женской гимназии. Затем в августе 1918 г. он был приглашен в качестве преподавателя педагогики и психологии в Псковский учительский институт и коммерческое училище. В Пскове К. Жаков собрал небольшой кружок своих учеников, занимался изложением истории философии в популярной форме — писал значительный труд своей жизни «Древняя философия в сказках».

В Пскове, как при Советской власти, так и при немецкой оккупации, К. Жаков вместе со всеми жителями города сильно бедствовал, его мучили голод, холод, давала знать застарелая болезнь желудка. Он впал в глубокий пессимизм: «Полагаю, что мои братья, северяне, все-таки вспомнят добрым словом и мою бесплодную жизнь. Ведь я пионер, первый лесной человек, поднявшийся до высоты европейской культуры — профессуры и писательства — при том сохранивший облик своего племени. Скажем, я надорвался, я не прозрел правильного пути, но идущие за мной — другие лесные люди — будут учиться на моих ошибках и избегать их. Полагаю также, что из родных лесов придут еще много, много здоровых, сильных людей и победят науки и искусства. Дай бог, чтобы хоть часть их после этой победы могла бы еще вернуться обратно в родные леса, то, чего я не мог (слишком уж заражен микробами!) и от чего так страдаю»⁵⁵.

Из Пскова, а может быть еще раньше, К. Жаков в поисках работы писал в разные учебные заведения Рос-

⁵⁵ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 12, л. 12.

син. Он был избран профессором философии в Тамбовский университет, преподавателем в Институт народного образования в Усть-Сысольске. Выезд задерживался из-за объективных причин: шла гражданская война.

24 августа 1919 г. К. Жаков уехал из Пскова в Эстонию, которая к этому времени получила государственную самостоятельность. Таким образом, в Пскове он находился 20 месяцев. В ночь на 26 августа белогвардейские войска вместе с белоэстонцами покинули Псков. В городе была восстановлена Советская власть.

В старинном городе Юрьеве К. Жаков надеялся найти работу в организуемом национальном Эстонском университете. Он возлагал на этот университет большие надежды. Во-первых, его имя хорошо было известно в Эстонии, здесь проживали некоторые его ученики эстонской национальности. Во-вторых, он считал, что, имея общее финно-угорское происхождение, эстонцы лучше поймут его. Однако в действительности все оказалось намного сложнее. В докладной записке от 19 июля 1919 г. в Ученую комиссию по устройству Эстонского университета он писал: «Узнавши, что в г. Юрьеве создается Эстонский университет, я считал бы за высокую честь быть в нем лектором финских, приуральских языков (зырянского и вотского) и профессором философии, психологии, логики и гносеологии»⁵⁶. В дополнительной записке от 24 июля 1919 г. К. Жаков, «зная о трудности при выборе», рассказывает о себе, о своих трудах по философии, этнографии и лингвистике.

Приказом Министерства просвещения Эстонской республики от 12 сентября 1919 г. К. Жаков был назначен лектором зырянского языка при кафедре уральских языков, а с 7 сентября до прибытия проф. Каэласа — заместителем профессора по философии. Все, казалось бы, складывалось наилучшим образом. Но скоро начались материальные трудности, недоразумения и самые настоящие мытарства. Эстонский национальный университет был организован по образцу европейских и скандинавских университетов. К. Жаков по своему внешнему виду и духовному облику, по поведению сильно отличался от своих «рафинированных» коллег-преподавателей, приглашенных из Финляндии, Венгрии, Швеции и Германии. Из-за отсутствия иностранных профессоров заседания

⁵⁶ ЦГИА ЭССР, ф. 2100, оп. 2, № 1061. Личное дело К. Жакова. Далее все ссылки на материалы личного дела.

проводились на немецком языке, основные лекции читались по-эстонски, а не владеющим этим языком преподавателям предлагалось учить эстонский язык. Поскольку слушателей курса коми языка оказалось немного, то 20 марта 1920 г. К. Жаков обратился к ректору с докладной запиской разрешить ему читать в университете платные лекции. Разрешение было дано, но уже 31 марта ректорат запретил читать какие-либо платные лекции в здании университета. На такое решение 26 апреля К. Жаков отвечает ректору: «Буду читать бесплатные лекции. Но в уме возникают вопросы. Цель лекций моих была — углубить национальное самосознание в эстонском народе, любимом мною, потому что я зырянин, человек той же расы, и читать я обязан для народа, ибо для этого живу я. Хорошо, найдем мы зал в другом месте и там будем читать платные лекции по воскресеньям. Но вот отправлюсь я (рано или поздно) к зырянам, к землякам.

— Как отнеслись же к тебе эсты, когда служил ты знанием, сердцем и душою этому народу?

Что отвечу я зырянам?

Лгать я не умею. Я скажу: «Профессора воспретили читать платные лекции по воскресеньям в здании университета».

9 июня Совет университета решил запретить К. Жакову читать лекции по философии по учебному плану. По воспоминаниям современников, для этого были причины. К. Жаков якобы читал студентам не столько философскую дисциплину, сколько пропагандировал свое учение лимитизма. На этой почве он поссорился с университетскими профессорами.

Итак, у К. Жакова остались только лекции по коми языку, что поставило его в очень трудное материальное положение. 17 августа он обращается с заявлением, чтобы ему разрешили читать лекции по коми языку один месяц, а затем на месяц сделать перерыв. В это время он собирался читать лекции на кафедре этики и эстетики в Рижском университете, а также публичные лекции в городах Эстонии и Латвии. В это же время К. Жаков обращается с докладной запиской к министру народного просвещения с просьбой разрешить ему читать логику в Юрьевском университете на основе курса, прочитанного им в Психоневрологическом институте в 1908—1917 гг. Резолюцию министра от 28 сентября — «Разрешаю читать на должности приват-доцента» — университет на своем заседании не утвердил.

Тогда профессор философии решается на последний отчаянный шаг. 4 октября он обращается к попечителю учебного округа с заявлением разрешить ему защищать на звание магистра философии ранее изданные работы «Теория переменного и предела в гносеологии и истории познания» (СПб., 1904), «Основы эволюционной теории познания (лимитизм)» (СПб., 1912). После долгого хождения по инстанциям в правление университета поступило письмо от 25 октября декана философского факультета Я. Йыгевера о том, чтобы К. Жаков с просьбой о защите диссертации обратился в другой университет, поскольку должность преподавателя философии в Юрьевском университете является вакантной.

Постоянные материальные лишения, нервная обстановка в университете сильно подорвали здоровье К. Жакова. Врачи нашли у него расширение сердца, сильно выраженный склероз сосудов, язву желудка и общее ослабление нервной системы. Поскольку крайняя бедность не давала возможности получения квалифицированной врачебной помощи, то единственную надежду К. Жаков возлагал на чистый воздух и на диету. Он постоянно проживал в маленьком городке Валке и занятия по коми языку со своим единственным студентом вел письменно, посылая ему «Зырянские сказки» и главы из «Грамматики зырянского языка», над которой он работал по заданию университета. По болезни К. Жаков не смог посещать лекции по финскому и эстонскому языкам для преподавателей. Поскольку письменное (заочное) обучение студентов не было предусмотрено университетским уставом, то его недоброжелатели решили использовать данный факт в своих интересах. Университет решил, что два семестра 1921 учебного года К. Жаков не читал лекции по коми языку и поэтому он с 1 июля 1921 г. освобождается от должности лектора коми языка. Со следующего семестра к своим обязанностям приступает вернувшийся из научной командировки штатный профессор по уральским языкам Ю. Марк, и коми языку в учебном плане было отведено второстепенное место.

Таким образом, К. Жаков и его семья остались без всяких средств к существованию на иждивении родителей жены. В личном деле К. Жакова сохранилось письмо на имя министра просвещения Эстонской республики от 24 сентября 1921 г. от военнослужащего И. Якуновича и бывшего ученика К. Жакова по Петрограду Э. Паймала: «...По независимым от него причинам из Тартуского

университета уволен Жаков, который сейчас проживает в Валке. На наших глазах погибает от нищеты старый труженик на ниве финно-угроведения: как сам Жаков, так и его семья. Его попытки устроиться преподавателем в гимназии не увенчались успехом, с курсами также очень плохо. Кроме того, Жаков не очень здоров, т. к. его жизнь была ужасная (сейчас ему 55 лет)...

Так как нищета держит его в своих когтях и не дает работать, мы обращаемся к господину Министру за какой-либо помощью (пособие или что-то другое) профессору Жакову, чтобы он впредь мог продолжать свою работу, что, безусловно, полезно для взаимного знакомства восточных и западных финно-угров. Так заслужили бы благодарность от зырян. Ввиду нынешней ситуации зыряне сами своему учителю помочь не могут, и таким образом такая моральная обязанность падает на финно-угорские племена» (перевод наш — А. Т.).

Но и это письмо, по существу крик души посторонних людей за судьбу ученого, осталось без ответа. К. Жаков через частное лицо обращался к финским ученым в надежде получить какую-нибудь незначительную материальную поддержку, но безрезультатно — финские коллеги не откликнулись.

1 октября 1921 г. К. Жакову исполнилось 55 лет. Философское общество в г. Валке устроило юбиляру чествование в доме Валкаских объединенных организаций. В газете появилось следующее сообщение: «Ученому-отшельнику. Сегодня исполняется 55 лет от роду проживающему в городе Валке русскому ученому Каллистрату Фалалеевичу Жакову... Вот его письмо в редакцию: «Я считаю жизнь свою уже ликвидированною. Мне пятьдесят пять лет. Я стар и болен. Нензъяснимая тоска сжимает душу мою, ибо погибло все вместе с Родиной... Вся моя жизнь — скорбь, но ничто не сравнится с печалью последних лет»⁵⁷.

Находясь в Эстонии, а позднее в Латвии, К. Жаков принимает участие в выходящей в г. Ревеле (ныне Таллинн) газете «Последние известия». В этой газете активно сотрудничали А. Аверченко, И. Северянин, А. Куприн, И. Бунин и другие. Газета отличалась своей антисоветской направленностью. Однако К. Жаков на страницах газеты выступал очень редко, в основном публиковал свои сказки и вообще не участвовал в кампаниях против

⁵⁷ Последние известия, 1921, 1 октября.

Советской власти. Так, в 1920 г., в канун рождества он публикует рождественскую сказку-быль «История одной шубы»⁵⁸, затем сказку «Мировая загадка»⁵⁹. В следующем году, снова в рождественском номере газета печатает только краткое пожелание-поздравление К. Жакова: «О, придет ли на погибающую землю еще раз Божественный Младенец и даст нам пламеннейшую любовь к живущему? Да, Он придет — это мы ожидаем. Только религия спасает человечество»⁶⁰.

Работая в Юрьевском университете, К. Жаков зондировал почву в Латвийском университете. 16 июля 1920 г. в одной из аудиторий университета в присутствии преподавателей историко-филологического факультета и при большом стечении как студентов, так и посторонней публики он прочитал пробную лекцию о лимитизме, изложив в ней свое учение. Однако на факультете он не был попят, и его ходатайство о предоставлении ему кафедры философии в Латвийском университете было отклонено без указания мотивов. Тогда К. Жакову пришла мысль о том, что для распространения идеи лимитизма нужно создать общество. Эта идея была встречена сочувственно. Во второй половине сентября 1920 г. в бывшей Ломоносовской гимназии состоялось первое организованное собрание, где было создано «Общество лимитивной философии в Латвии». Председателем Общества был избран ученик К. Жакова Э. Гросвальд. Однако Общество было зарегистрировано и утвержден его устав только 7 декабря 1921 г. Одновременно с Обществом лимитистов возникла «Академия философии лимитизма» во главе с бывшим слушателем Психоневрологического института, также учеником К. Жакова Э. Бароном, незадолго до этого осенью 1921 г. вернувшегося из Советской России. Эти две организации не только конкурировали между собой, но и враждовали. Академия располагала обширной библиотекой и солидным рукописным отделом. Впоследствии Э. Барон сыграл весьма отрицательную роль в жизни К. Жакова.

Не найдя работу в университете в г. Риге, К. Жаков снова возвращается в г. Валк. Единственным источником его существования теперь было чтение публичных лекций. Для этого пришлось разъезжать по городам Латвии и Эстонии. Но территория этих республик оказалась

⁵⁸ Последние известия, 1920, 25 декабря.

⁵⁹ Последние известия, 1921, 6 марта.

⁶⁰ Последние известия, 1922, 24 декабря.

слишком малой, чтобы длительно поддержать лектора. Вероятно, в это время распалась его третья семья с латышкой А. И. Преде, от которой он имел уже двух дочерей. Жил он на чердаке, и некоторую материальную помощь ему оказали эстонские офицеры местного гарнизона, которые заинтересовались идеями лимитизма и изучали его под руководством К. Жакова.

Наконец, после полутора лет исключительно тяжелой в материальном отношении жизни К. Жаков в декабре 1921 г. решил окончательно переселиться в Ригу. Здесь он продолжил чтение публичных лекций. На одной из таких лекций появился Э. Барон. Зная огромный научный багаж и потенциальные возможности своего учителя, Э. Барон задался целью использовать К. Жакова в своих интересах, чтобы поднять авторитет Академии и заодно поправить свое финансовое положение. Весной 1922 г. ему удалось убедить К. Жакова поехать на хутор своего отца. На хуторе К. Жаков прожил все лето и часть осени до ноября, усиленно работал, писал статьи, лекции, в том числе исследование «Методология наук». Все это оставалось в руках Э. Барона, несмотря на неоднократные требования К. Жакова. Часть работ была опубликована Э. Бароном, но гонорар К. Жаков не получал.

В ноябре ученики К. Жакова тайно вывезли его в Ригу и сняли для него комнату. Здесь его заметила хозяйка квартиры Мария Яковлевна Заринь. Она была секретарем Общества лимитистов, увлекалась наукой и с большим вниманием слушала лекции К. Жакова. М. Заринь согласилась работать его личным секретарем, а впоследствии они стали мужем и женой. Эта добрая латышская женщина морально поддержала больного ученого в последние годы жизни.

В Риге К. Жаков начал новый период своей лекционной деятельности. 16 января 1923 г. в зале Государственного архива состоялась первая лекция на тему «Что существует». Прочитанная с большим подъемом лекция имела огромный успех. Этим выступлением К. Жаков открыл цикл лекций, который он читал непрерывно в течение трех лет до самой смерти. Чтение проходило 2—3 раза в неделю продолжительностью около 2-х часов с одним перерывом. Бесплатное помещение выделило Латвийское общество лимитистов, организацию лекций взяла на себя М. Заринь. Она же записывала текст лекций, переводила на латышский язык, размножала в типографии и после этого распространяла среди интересую-

щихся. Лекции проходили в помещении 27-й латышской основной школы с первой половины февраля 1923 г. и закончились там же 17 декабря 1925 г. последней лекцией «Учение о прекрасном».

Чтение лекций было единственным источником существования К. Жакова в последние три года жизни. Читал он без перерыва зимой и летом, проявив изумительную работоспособность и гигантскую энергию неопценимой культурной важности. Все 350 лекций он изложил письменно, которые до сих пор не изданы.

Замечательным явлением его лекций был чрезвычайно разнохарактерный состав слушателей. На его лекциях можно было видеть людей с высшим образованием от министра до профессора, рабочих и полуграмотных хуторян, ибо К. Жаков захватывал жизнь в общем и реальном содержании. Имеются сведения, что лекции К. Жакова слушали народный поэт Латвии Я. Райнис, художник Н. Рерих, бывший в то время в Латвии, Ю. Палецкис, писатель и поэт, впоследствии известный советский государственный и общественный деятель, и другие.

Поскольку К. Жаков не владел ни эстонским, ни латышским языками, то его окружение, естественно, было русскоязычное. Это бывшие политические и общественные деятели, его ученики, эмигрировавшие из революционной России. Вот как пишет коми-пермяк И. Мошегов (читателям он больше известен под псевдонимом И. Мэсшер), побывавший в Риге летом 1923 г.: «Зайдя к Жакову, я встретил у него группу русских эмигрантов (бывшие общественные деятели). Все они с большим интересом спрашивали о том, что знают в Финляндии о современном состоянии России, и с уверенностью утверждали, что Советское правительство скоро падет и эмигранты все возвратятся домой. Мне показалось, что Жаков был под полным влиянием русских эмигрантов-черносотенцев и верил им, что они говорили о России и о будущей судьбе ее, ссылаясь, что они — эмигранты — имеют прямую связь со многими видными комиссарами, которые подготавливают переворот в России»⁶¹.

К. Жаков получал неоднократные приглашения вернуться на родину. Замечательным в этом плане является обстоятельное письмо-приглашение на Родину коми студента из Петрограда. Имя этого студента А. С. Забоев (Сан-Антус), впоследствии коми литературного критика.

⁶¹ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 12, л. 4.

К. Жаков не решился ответить на это письмо, полагая, что студент может пострадать за переписку с ним. И. Мошегов советовал ему все же ехать на родину. «Однако Жаков на это мне ответил, что он еще подождет ехать, ибо у русских эмигрантов имеются определенные сведения обо всем, что творится в России и по этим сведениям советское правительство в ближайшее время падет. На это я Жакову возразил, что скоро будет 10 лет, как русские эмигранты уверяют весь мир, что советское правительство падет, но однако оно не падает. Жаков на мое замечание улыбнулся добродушно и сказал: «Это тоже правда, это тоже правда, друг мой»⁶².

После перехода Советской России к новой экономической политике некоторые эмигрантские круги встали на путь сотрудничества с Советской властью. Многие патристически настроенные представители творческой интеллигенции, бывшие военные, воевавшие против Советской власти, начали возвращаться на родину. Наконец, созрело желание К. Жакова вернуться на родину, и он официально обратился с этой просьбой. Заместитель наркома просвещения М. Н. Покровский откликнулся на его просьбу организовать в Пермском (Уральском) университете кафедру языков народов Севера. К. Жаков намеревался приступить к работе в январе 1926 г.

Находясь в Прибалтике в крайне тяжелых материальных и бытовых условиях, К. Жаков все же не прекращал свою научную деятельность. Он написал большое исследование «Методология наук», «Грамматика зырянского языка», «Японо-зырянский словарь» (руководство), «Зырянская мифология» и другие работы, судьба которых до сих пор неизвестна. Наиболее полный список трудов К. Жакова опубликован в его работе «Лимитизм. Единство наук, философий и религий» (Рига, 1929) и насчитывает более 400 наименований, из них более 300 в рукописи.

За научные заслуги он был избран членом Архангельского общества изучения Русского Севера, Московского и Петербургского психологического общества, Петербургского философского общества, Иркутского археологического общества и Парижского астрономического общества.

Постоянная тоска по родине, крайняя нищета окончательно подорвали здоровье К. Жакова. Он часто жало-

⁶² ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 12, л. 5.

вался на сильную усталость. Незадолго до смерти его снова посетил И. Мошегов, который постоянно проживал в Гельсингфорсе: «В последний раз мне пришлось быть у Жакова 11 ноября 1925 г... С первого взгляда я Жакова на этот раз почти не узнал, вид его был исхудалый, бледный, немного осунулся, говорил с трудом, хотя голос был вполне чистый, звучный, малейшее неосторожное слово его раздражало и сердило...»⁶³

На просьбу учеников и друзей меньше работать он всегда и неизменно отвечал: «Мое имя Каллистрат, что значит добрый воин, и я поэтому до смерти пробуду на своем посту и не покину его; мое назначение работать, и я до окончания жизни своей останусь верным призыву бога моего!» И продолжал работать с таким же напряжением. Но болезнь все усиливалась. С большим трудом К. Жаков прочитал свою последнюю лекцию 17 декабря. Накануне Нового года он выразил желание исповедоваться и приобщиться. В час дня 31 декабря 1925 г. его просьба была выполнена. Через две недели — 15 января 1926 г. — здоровье К. Жакова настолько ухудшилось, что он сам счел свою болезнь смертельной и об этом было сообщено окружающим. В среду утром, в 11 часов 20 января, началась агония, а в половине третьего он произнес последние слова: «Где мои мысли?» При вскрытии обнаружился рак печени, перешедший на стенки желудка и распространявшийся на правое легкое. 24 января в сопровождении большого количества друзей, учеников и слушателей тело профессора К. Жакова было похоронено на православном Покровском кладбище в г. Риге.

Буквально на следующий день появляется уже известный Э. Барон и получает разрешение на изъятие тела покойного из могилы для бальзамирования. Тело было сдано Э. Бароном в университетский анатомикум, где тотчас же приступили к бальзамированию. Среди лимитистов существовала договоренность, что после смерти тело К. Жакова будет бальзамировано и установлено в специальном для этого храме лимитизма. Проект храма был заказан ведущим латышским художникам и архитекторам.

Общество лимитистов, а также родственники покойного из Петрограда усмотрели в этом кощунство и потребовали отстранить Э. Барона от тела покойного. Мест-

⁶³ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 12, л. 4.

ные власти отменили свое решение, тело К. Жакова было взято из анатомикума и 21 февраля 1926 г. предано вторичному погребению.

Смерть известного ученого-философа, педагога и писателя потрясла многих его поклонников как в Эстонии, Литве и Латвии, так и в Советской России. В «Известиях» от 27 февраля 1926 г. Отдел Совнацмена наркомпроса РСФСР и Представительство Автономной области Коми при ВЦИК с прискорбием извещали о кончине коми ученого профессора К. Ф. Жакова. Некрологи о смерти К. Жакова были опубликованы в эстонских, латвийских и советских газетах и журналах. Некролог в «Коми му» (№№ 1—2, 1926) завершался так: «У коми народа есть свои крупные исторические личности, принадлежащие каждой своему времени. Каждая из этих имен — эпоха, которую надо изучать с бесстрашием историка, с пламенем любви к национальному возрождению и с почтительным уважением к своему родному прошлому»⁶⁴.

«Со смертью проф. Жакова зырянская-литература потеряла крупную величину, своего пионера и лучшего работника, беззаветно преданного делу развития культуры северных народностей СССР»⁶⁵.

«...Смерть проф. К. Ф. Жакова является огромной потерей не только для литературы области Коми, но и для всей России и вообще для всех людей, которым дороги интересы науки, ибо Жаков поистине является новым Ломоносовым, с которым он имеет много общего и сходного и по разнообразию научных трудов, и по своему крестьянскому происхождению, и по тем тернистым путям, какими обоим им приходилось пробираться к вратам науки, с тою разве разницею, что путь этот для Жакова, как инородца, был еще труднее»⁶⁶.

«После Ломоносова, разумеется, не так уж удивительно наблюдать, как зырянский «каги» (ребенок) проходит в профессора, но в биографии Жакова есть нечто такое, чего нет в героической биографии Ломоносова: неусыпное искание внутренней Божьей правды...

Единственную партию признавал он — «Союз добрых». К образованию такого союза для активной борьбы со злом мира во всех его проявлениях и призывал покойный. «Добрые всего мира, соединяйтесь!» — вот девиз и

⁶⁴ Янович Д. Каллистрат Фалалесвич Жаков.— Коми му, №№ 1—2, 1926. С. 6.

⁶⁵ Жаков К. Ф.: (Некролог) // Волна, 1926, 18 июля. С. 6.

⁶⁶ ЦГА Коми АССР, ф. 945, оп. 1, ед. хр. 13, л. 22.

завещание профессора. Этого странного и непонятого нашему времени человека, запоздавшего родиться по крайней мере на 500—600 лет,—такого чуждого материалистическому веку, единственное оправдание которого разве только в том, что и в нем, этом веке материализма время от времени могут рождаться Жаковы...»⁶⁷

Сын полуграмотного коми крестьянина, разносторонне одаренный человек, собственными усилиями и природным талантом пробившийся в большую науку, К. Жаков стал известным ученым, оригинальным писателем, профессором прогрессивного русского высшего учебного заведения. Его имя дорого нам как имя человека, стоящего у истоков коми литературы, культуры и науки.

А. И. ТУРКИН,
доктор филологических наук.

⁶⁷ Светлой памяти проф. К. Ф. Жакова.— Перезвоны, № 13 (5), 1926, с. 377.



рассказы



ЖИЗНЬ ФАЛАЛЕЯ

(Рассказ из зырянского быта)

I

Недвижный морозный воздух дремал над лесом еловым, покрытым белой пеленой снега.

Узкая лесная дорога вилась между старыми деревьями.

Мало было едущих и проходящих по ней, только мужик из деревни Джиан бревно недавно повез к себе домой, понукивая свою бурушку, да ямщик проехал с колокольчиком к селу с хлопанием кнута, кряхтя от мороза и ударяя одной меховой рукавицей о другую ради тепла.

Человек с кокардой сидел в санях, в медвежьей шубе.

— Видно, инспектор какой приехал, а может быть, сам инженер, — говорили мужики, провожая ямщика на станцию...

— Ну и мороз! — сказал человек с кокардой, закуривая папироску.

— Да, — ответил ямщик, — вороны падают на лету нынче... летит, летит — и, как сноп, свалится.

Солнце шло к паужину, играя поздними косыми лучами в снежных узорах ветвей бесконечного леса...

Маленький мальчик Фалалей бежал по этому волоку, восьми лет. Он был нищий, сын девицы Матрены из деревни Давпон. На ногах у Фалалея — кожаные коты, на плечах — тоненький армячок, на голове — ушан...

Бежит, бежит Фалалей к Джиану, по тому же волоку, где ямщик проехал... Ноги коченеют у него. Быстро садится Фалалей на кочку, бросает коты с правой ноги и надевает на нее шапку-ушан и опять бежит, нагревается правая нога, но левая совсем окоченевает.

Тогда Фалалей снова садится на снег и вместо левой коты надевает шапку-ушан, и снова бежит... Нагрелась левая нога, но правая снова замерзла... Так весь волок в 20 верст бежал он, и добегает быстро до деревни. Захо-

дит в первую черную избушку. Жарко. Удивляются, что восьмилетний мальчик не замерз на волоку...

— Христов мальчик,— говорят бабы, раздевают его, натирают ему ноги водкой, а потом укладывают Фалалея на печку. Утром просыпается он здоровый, улыбается. И идет по деревне просить милостыню...

Таковы первые дни Фалалея.

II

Фалалей подрастал, бродя по деревням, питаясь тем, что дают добрые люди. Ему уж 12 лет. И вот заметил он, что деревенские мальчики учатся в одной избе у старого дьяка. Старый дьяк лежит на полатах, а ученики его около стола по складам читают: аз, буки, веди... И дальше, и дальше читают по-церковнославянски. Дьяк все знает наизусть и поправляет их с полатей:

— Нет-нет, Сидор,— буки рцы, аз... пропустил...

Сидор поправляется...

Фалалей хотел попасть в избу, но его не пустили. Тогда он на поленницу полез и приложил ухо к стеклу единственного окна, и стал слушать.

Когда же ученье кончалось, Фалалей слезал с поленницы и собирал милостыню. На другой день повторялась та же история. Так прошел Фалалей азбуку... Он дошел до часослова. Но тут наступило лето, и отправился он волоками в свою деревню Давпон, где проработал у одного крестьянина целое лето и нажил 40 копеек. А осенью, когда птицы улетели на юг, когда иней стал покрывать по утрам узорами травы, изгороди, кусты жимолости и можжевельника, когда красная рябина горделиво выставила между своими ветвями гроздья ярко-пурпурных плодов, тогда Фалалей отправился к старому ратнику, мужику Терентию, участвовавшему в Наполеоновской войне, с просьбой научить его часослову...

Терентий, с одной ногой и с другой на деревяшке, часто рассказывал соседям о своих военных подвигах.

— О!— говорил он,— мы шли за Наполеоном, он убежал из России, мы за ним побежали.. до Парижа шли... но много раз еще возвращались назад... Наполеон-то пугал нас и поворачивал на нас... и мы обратно бежали, но он снова направлялся в Париж, и мы за ним... О, братцы мои, видел виды я, и город Париж видел, не обхватишь, велик, как солнце, город Париж.

К этому одинокому вояке пришел Фалалей учиться...

Две недели учил его Терентий часослову... и не раз больно бил его деревянной своей ногой... Получив сорок копеек через две недели, прогнал он Фалалея... и тем учение последнего кончилось.

Растет Фалалей.

Нищенствовать стало стыдно ему.

«Не взяться ли мне за работу»,— думает он.

Ему минуло уже 15 лет, хозяином быть еще он не мог, поэтому поступил в работники.

Зажиточный крестьянин по прозвищу Коколь жил в селе Визинге со своей женой, бездетный и лентяй... К нему поступил Фалалей в работники.

Пришла сенокосная пора...

— Приготовь косы,— приказал Коколь Фалалею,— завтра пойдем косить...

Фалалей все приготовил.

Наступило утро для начала сенокоса...

Коколь спит на полатах и не хочет вставать...

— Эй, Коколь, пойдем косить,— говорит Фалалей...

— Подожди, что поешь, как петух.

— Ну так как быть?— спрашивает Фалалей.

Жена Коколя проснулась, давай толкать мужа в плечо...

— Вставай, вставай, лентяй.

Коколь встал, умылся, обулся и вышел на улицу— думали, он на работу собрался. Не тут-то было... Коколь пошел в кабак.

— Иди-ка, Фалалей, поищи Коколя-то,— говорит жена. Фалалей пошел в заведение.

Коколь сидит в кабаке, смеется, бородой трясет.

— Коколь! Ведь косить надо идти!— говорит Фалалей.

— Но!— отвечает.— Вот пристал: косить-косить. Иди с женой!

Но Фалалей чуть не силой привел его домой...

— Что-то голова болит,— говорит Коколь,— полежу на полатах немного...

Фалалей и хозяйка собираются...

Посмотрели на полати— Коколя нет...

Он в слуховое окно исчез...

— Ищи, ищи Коколя,— приказывает хозяйка Фалалею...

Фалалей опять идет в кабак: «Он там, больше ему негде быть».

Верно.

Сидит Коколь в кабаке, смеется, бородой трясет...

— Коколь, ведь надо же косить...

— Но! вот пристали, косить да косить... Иди с женой...

— Да как же ты меня посылаешь с женой, я молодой человек, твоя жена молодая, долго ли до греха,— урезонивает Фалалей...

— Но! успеется еще идти косить...

Так маялся Фалалей со своим хозяином.

III

После косьбы перед жатвой работал Фалалей на подсеках, в ста верстах, в дремучем лесу. Выкорчевывал он пни, сжигал костры, подготавливал рыхлую почву для посева ржи.

Эта работа продолжалась и после жатвы.

Трудно было очищать леса для подсеки, еще труднее тащить пестерь на плечах пуд весом, нагруженный припасами, мотыгой, топорами и разными земледельческими орудиями, идти день и ночь по лесным тропинкам... Такой тяжелый труд не понравился Фалалею.

«Нет, нужно учиться ремеслу»,— думал он...

И ушел он после Покрова дня, когда по утрам иней покрывал резьбу крыш домов, ветви деревьев, ушел он от Коколя и поступил к плотнику, и стал учиться делать рамы оконные, косяки в дверях, строгать дерево и красить его...

Через два года Фалалей стал хорошим опытным плотником.

Его звали все соседи вставлять новые рамы в окнах и красить их в разные краски. По праздникам угощали его вином. Но Фалалей не пил и отказывался. Оделся он в синий «казакин», на голову надел белую шляпу... К такому костюму он привык и носил его всю жизнь. Если по дороге идет человек в синем кафтане и в белой шляпе— это верно плотник Фалалей.

Между тем думушку думал Фалалей, думушку великую... Он часто в церкви, бывало, жарко молился Богу и угодникам, слушал пение божественное с клироса, и слезы текли у него из глаз... Глядел он также на иконостас, на царские двери, на колонны, покрытые золотом, на резьбу, на ангелов и херувимов, на «облака» над иконостасом, на Господа Саваофа, который в руке держал всю землю... Изумлялся Фалалей и спрашивал себя:

— Чьи пальцы сделали это, чья голова построила это?

И больше, и больше думал он.

О, как было бы хорошо, если бы и он был таким же резчиком?! Но где ему: он умеет только делать косяки для мужицких дверей и рамы оконные!.. Думал Фалалей месяц, думал другой. Он слышал, что где-то есть Сибирь и славный город Екатеринбург, где живут резчики именитые... Тогда решил он отправиться в Сибирь, куда издавна отправлялись его земляки жить там и поживать... В Сибири привольно, говорили ему его соседи, там хлеба много родится, там лугов много, не то, что у нас на севере, где теснота кругом.

IV

Надел на свои плечи белую котомку Фалалей и отправился на восток, к славному городу Екатеринбургу. Он шел вверх по Сыsole, а с верховьев Сыsole через Кайгородский волок — в пермяцкие края. Пермяки, живущие по Иньве, ему там очень не понравилось.

«Язык, как наш, а живут как плохо», — думал Фалалей.

Особенно его поразило, что пермяки загоняли своих коров в избу на ночь из-за холода. А дело было уже к зиме. В одно утро проснулся спящий на полу Фалалей между ногами коров, мирно глядевших, и телят, которые ходили по нем...

— Ну и пермяки, — рассуждал Фалалей, — коровьи рубцы вместо стекол, черные избы, а телята бегают по людям.

Поспешил удалиться Фалалей от пермяков.

Прошел он через губернский город Пермь, где пробыл только два часа: заходил в церковь, помолился Богу. В церкви удивили его слова «епископ пермский и екатеринбургский». Раньше он все слышал молитвы за «епископа вологодского и устюжского».

Долго шел Фалалей через Кунгур к Уральским горам. Он увидал высокие горы, покрытые густым еловым лесом. Деревья были одеты в толстые саваны белого снега. На крутизнах возвышались огромные глыбы камня. Дивился Фалалей, глядя на все это. «Вот он где, «каменный-то пояс» земли: он проведен поперек земли для прочности ее, чтобы не было расклейки».

Хижины встречали Фалалея на горах... Там бедно жили; ячменя и ржи не сеяли, это были заводские люди. Заводы же были построены в долинах... И были очень богаты...

Через несколько дней перешел Фалалей Уральские

горы, над которыми летали в зимнее время только вороны да ястребы.

И вот прибыл он в Екатеринбург, город его мечтаний и вождений.

Ходил он по улицам города, спрашивал каждого о столбах, о резчиках... Наконец кто-то указал ему на маленький домик с тремя окошками: там жил резчик Осипов.

V

Резчик Осипов был человеком маленького роста, но мастер великий. Единственная слабость его была — любовь к выпивке. Жена его Елена была высокого роста, дорожная женщина, не любившая пьяных. Она часто била мужа за его расположение к рюмке.

Фалалей понравился Осипову, и поступил к нему в подмастерья.

Работают они, и с ними вместе молодой человек, Ульянов. Созидают иконостас в церкви Св. Параскевы. Мастер часто оставлял подмастерьев одних, а сам удалялся в местах, где можно было выпить.

Немного погодя, обыкновенно, слышались крики:

— Фалалей, Фалалей, иди скорей, жена меня колотит!

Фалалей поспешал на выручку своего хозяина. Он видел обычную картину... Осипов бежит от своей жены кругом верстака, а Елена со сжатыми кулаками бежала за ним со словами:

— Ах ты стервотник, широкая глотка, опять задаток пропил, я тебе!

— Ой, Фалалей, ой, Фалалей, выручай!

Фалалей, хотя был небольшого роста, но отличался железными мускулами, он бросался на Елену и, несмотря на ее сопротивление, брал ее за руки и выпроваживал из комнаты...

Осипов всхлипывал, клал свою голову на грудь Фалалея и проливал слезы горькие. Фалалей, как мог, утешал его.

Если же Фалалей не успевал вовремя прийти, обыкновенно Елена брала мужа за бороду и таскала его вокруг верстака...

— Чудеса! Бывает же так, — говаривал Фалалей Ульянову, — что жена сильнее мужа...

(Фалалей не знал грядущего: в наши дни жены стали господами во всех областях; если бы это он знал, еще больше удивился бы.)

Живет Фалалей в Екатеринбурге. В будни работает он, подражая великому мастеру Осипову. Когда последний бывал трезв, быстро и хорошо работал: вырезывал резьбы из ольхи, из березовых досок выгибал арки, колонны, белилами покрывал лица ангелов и херувимов, а одежды их — золотом.

Дивились подмастерья Осипову, как он чертил планы иконостасов, владея циркулем и линейкой; иконостас был почти уже в церкви Св. Параскевы. Это был сплошной гимн Богу. Внизу стояли апостолы, над ними — пророки, наверху — ангелы и херувимы, а над всеми — Бог Саваоф.

Слезы проливал Фалалей, глядя на оконченный иконостас.

В праздники Фалалей ходил по улицам Екатеринбурга, одетый в полушубок, опоясанный красным кушаком, с меховой шапкой на голове. Однажды встретил он земляка Елькина, молодого человека, прибывшего учиться плотничьему и столярному делу. Елькин пригласил Фалалея в питейное заведение выпить по случаю счастливой встречи, но Фалалей отказался. Он убедил идти пить чай к себе, на квартиру к Осипову. Здесь за самоваром возникли новые думы у Елькина и Фалалея. Ульянов, который тут же сидел, сказал им: «Не пора ли, братцы, нам самим взять подряд, без Осипова?»

Фалалей возражал: «Мы не умеем планты чертить, нам одним не сладить с делом». Но Елькин и Ульянов были настойчивы и убедили-таки Фалалея вернуться на север, на родину, и взять самим подряд — сделать иконостас в какой-нибудь церкви.

Верный Фалалей сообщил Осипову о своем намерении идти на север: «Там приходов много, — говорил он, — резчиков нет, туда бы нам идти, деньги заработаем».

Дело кончилось тем, что и Осипов решился идти на берег Вычегды, чтобы там поработать и нажить денег...

К концу зимы в розвальнях отправились все из Екатеринбурга: и Осипов с женой, и Фалалей, и Елькин, и Ульянов.

Встретились им высокие горы, покрытые синееющим весенним снегом, по склонам гор — бесконечные еловые леса, вечно рассказывающие сказки задумчивым вершинам гор, а те передавали облакам, порой низко опускающимся на эти вершины...

Встретились нашим путникам одинокие деревни по склонам, затерявшиеся в снегах, и тут веяло какою-то таинственностью и от одиночества, и от серых избушек; и

дальше, и дальше ехали, то на запад, то на север Осипов и его подмастерья. Леса умножались, села стали реже, уже дороги, шире реки... Они приближались к Вычегде. Холмы, покрытые красными соснами, длинные села с высокими церквями посередине! Колокольным звоном встречали великого резчика и его челядь...

Так прибыл Осипов в село Шешку и с ним — Фалалей, и Ульянов, и Елькин...

(О село Шешка, построенное на песчаной террасе, окаймленное, с одной стороны, синей Сысолой, с другой — высокими холмами и сосновыми лесами! Помнишь ли, как въехали под твою сень известный резчик Степан Васильевич Осипов и с ним — Фалалей, впоследствии знаменитый? Конечно, помнишь день и час, ведь не много на севере людей искусных, с умом обширным, с пальцами золотыми, как Фалалей.)

VI

Осипов и подмастерья его делали иконостас в селе Шешке. Наступила весна. Синяя Сысола-река разломала ледяной свой покров и величественно направила свои волны в Вычегду между лесистыми берегами. Поплыли неуклюжие барки с хлебом из Ношуля, а народ на берегу дивился, любясь, как кормчий и гребцы на барках боролись с течением реки. Птицы давно прилетели из-за южного моря в северные леса и оживили молчаливые дистри...

И ожило сердце Фалалея. Раз увидел он в окно красивое девичье лицо и задумался. Румяные щеки, русые кудри и синие глаза поразили его...

На Фалалея в синем казакине в белой шляпе на голове глядела Устинья, сестра Нялая, первая красавица в Шешке.

Ей было 17 лет, Фалалею — 23 года...

Осипов дал совет ему разумный: «Женись, Фалалей, чем задумываться да сохнуть, а я буду тебе заместо крестного отца».

Дело начато, дело к концу идет. Понравился Фалалей веселой, остроумной, быстрой Устинье. Серьезность Фалалея была ей любя, да и «пальцы золотые у него», рассуждала она.

Началась свадьба.

Плачет Устинья среди подруг, соблюдая обычай старинны и повинуюсь сердцу, которое всегда боится новизны.

Покрывшись белым платком, ударяя себя по коленям, залилась слезами милая Устинья, краса севера:

— Села я в красный угол своей горницы
И плачу я, бедная, о своем великом девичестве.
Поплыла я по великой реке,
От одного берега отстала,
К другому пристану ли?
Сидела я крепко, как пень в лесу,
Не могли меня выкорчевать 12-тью ломами,
Сидела я камнем,
12-тью жердями не могли поднять меня.
Прохожий молодец
Словом мягким, как масло растопленное,
Выманил у меня мое девичество.
Унес его на подоле быстрыми шагами,
Унес его на губах своих за сине море.
Плачь, плачь, бедная,
Не возвратятся тебе прежние дни твои.
Плачь, голубка,
Скоро, скоро чужие люди придут
И возьмут тебя из гнезда твоего.

Фалалей был на девичнике и сам заплакал, слыша горькие слова своей невесты.

— Зачем замуж выходят девицы, если уж так горько это?

Устинья на эти слова не обратила внимания, она действительно увлекалась своими словами и плакала, но бабы сказали Фалалею:

— Нельзя без этого: кто не плачет, выходя замуж, тот не будет смеяться в жизни с мужем.

Только много спустя, Устинья, подняв платок, взглянула на Фалалей хитро и ласково, и Фалалей утешился.

Как было не плакать Устинье и не задумываться Фалалею. Великое таинство новой жизни ожидало их... Мудрый Мамант родился впоследствии от этой жизни!

— О милая мать моя, Устинья,— писал 40 лет спустя Мамант,— ты дала начало моему существованию, и вечно радуюсь я, глядя на великую природу, и вот плачу я, живя между людьми, не умеющими жить на земле.

Да, может быть, все последующее предчувствовали каким-то образом Устинья и Фалалей!

Сыграна была свадьба. Много было там гостей, самым же почетным — великий мастер Осипов. Мать Устиньи и

брат ее, Елькин, усердно угощали его чем и как могли.

Между гостями был также старый дьяк, остряк и пьяница. Он насмешил все собрание после свадьбы вечером. На его просьбу покурить все ему отказывали. Тогда он спустился в голбец и оттуда стал кричать:— Идите, идите, помогите вытащить, я нашел куль табаку.

Все бросились к голбцу и увидали дьяка, который тащил лист табаку между мизинцем и безымянным пальцем.

На другой день этот дьякон, прощаясь, сказал Фалалейю:

— Фалалей, золотые пальцы! Выслушай старика. Люби свою жену и думай, что она лучшая из женщин, живи с ней. Я думал иначе и погиб. Я изменил своей жене в юности, а она — мне, и вот я стал пьяницей. О, мой друг, в этом вся мудрость. Знай, один из сыновей твоих будет мудрецом и восхвалит, и вознесет отца своего и мать свою. Живи с Богом.

Так дьяк сказал и ушел. Может быть, спяна он это говорил, а может быть, что-то предвидел, никто не знает этого... Но впоследствии Фалалей вспоминал эти слова.

VII

Женился Фалалей и жил счастливо. Устинья была быстрого и острого ума, но не хозяйка, зато Фалалей был кремнем по части хозяйственных расчетов.

Иконостас между тем был уже окончен на диво крестьянам села Шешки. Он весь блистал красной краской и золотом сусальным.

Знаменитый Осипов уехал на Печору на новые подряды, а Фалалей был задержан односельчанами; «крикуны» и «горлопаны» на сельских сходках села Вильгорта убедили крестьян выбрать в сборщики податей Фалалея, как человека богатого.

Делать было нечего! Нельзя идти против мира. Фалалей переехал со своей Устиньей и, поселившись на квартире у мужика Дидока (а у Фалалея в селе не было ничего — ни кола ни двора), стал исправлять должность сборщика. С кошельком и с «книжкой окладных сборов» ходил он по селу и выколачивал подати. Полученное отмечал крестиками, неполученное — нолями. Радовались бедные, которых он щадил, не продавал у вдов коров и телушек, как некоторые делали, наоборот, приставал к зажиточным и там был неумолим...

— Эй, Василий! подати, подати давай. У тебя сена много, хлеба также... Не уйду, пока не заплатишь,— говорил он, «торкая» в окно палкой.

Водки требовали у Фалалея ораторы на сходках, писаря — не давал водки Фалалей. «Вино винит человека, не надо пить его, пусть чиновники пьют, а мужику некогда и не на что».

Рассердились на него «горлопаны» и на сходах требовали ревизии над Фалалеем, который казенные деньги в свой карман кладет.

Ревизоры стали ревизовать Фалалея.

— Недостаток есть,— говорили они,— под суд пойдет Фалалей.

— Нет недостатка,— говорил Фалалей, и сам считал на счетах при всех, и верно выходило.

Тогда решили избить Фалалея-писаря вместе с мужиками, требовавшими водки. Но Фалалей незаметно укрылся из волостного правления на вышку. Искали-искали его полупьяные мужики, но не нашли.

Год прошел, так Фалалей никого водкой не угостил, а деньги снес в казначейство.

— Негодяи, привыкли глотать водку, от меня не возьмешь,— твердил он.

Отбив службу сборщика, он, наконец, вырвался из своего села и взял большой подряд в селе Вишере, зажил там мирно опять среди икон, вырезывая резьбы, выглаживая колонны, покрывая все это красками и золотом...

— Фалалей — золотые пальцы,— говорили ему мужики, низко кланяясь, приходя к нему в праздничные дни вечерить. Фалалей учил их, как на свете жить.

— Водки не пейте, братцы, о брюхе думайте меньше, брюхо не решето, не видно, что положено. Дома сидите, в Питер не ходите. «Питер все бока вытер»,— говаривали мне старые люди.— О душе думайте, мы гости здесь, в этом мире.

Когда он видел грустные лица мужиков, рассказывал им повести интересные и сказки, и дивились мужики, сидя до поздних петухов у Фалалея.

— Дока Фалалей, дока,— говорили вишерцы.

(О, божественное утро! Гляжу я с умилением в твои синие глаза и думаю о прошлых временах, об утре человечества.)

На севере еще люди живут в утре дней своих, и Фалалей недурно провел со своей Устиньей свою многообразную жизнь.

Не самая ли лучшая жизнь — жизнь крестьянина, да еще кустика, умеющего наживать себе на подати.

Я часто думаю об этом, видя незавидную жизнь мужиков, попавших в город. Посмотрите вы на этих ломовиков, извозчиков, дворников, таскающих тяжести квартирантов на огромные чудовища каменных домов — и тогда вспомните невольно жите-бытье средней руки крестьянина.

И жизнь Фалалея протекла, хоть и не без горя, но озаренная каким-то сиянием.

Отбыв должность сборщика податей и переехав в большое село Вишеру, стал делать здесь иконостас в большой каменной церкви. Все старание, все искусство употребил он и сделал нечто, достойное удивления.

Резьбы блистали червонным золотом, капители над колоннами были как живые цветы, иконостас весь окрашен в величественный пурпурный цвет. Херувимы на облаках, как живые, глядели на мятежное племя людское. Наверху иконостаса, па облаках сидел Бог — Саваоф — и держал в руке шар земной, по правую сторону его сидел Сын, по левую — Дух, голубь носился над водами... Все это дышало величием и таинственностью. Вся мудрость древняя и новая вылилась под пальцами Фалалея в светносные образы, врезающиеся в душу жизненностью своей... О искусство! Твои тайны постиг Фалалей! (Отчего я, бездомный странник, все дни лью слезы и не могу и не умею тронуть сердце человеческое моими бытописаниями и мечтами. Искусство не подвластно мне! О горе, о горе! Счастлив ты, Фалалей, резчик-кустарь великого Севера!)

Кончил Фалалей иконостас и, стоя посреди храма в синем казакине, держа в руке белую шляпу, усердно молился.

Вишерский народ стоял кругом, подавленный великолепием, созданным руками Фалалея. Пришел староста и обнял Фалалея: «Спасибо, друг, пальцы твои золотые». Пришел священник и поцеловал в лоб резчика: «Мастер, ты исполнил долг перед Богом и людьми». А Фалалей стоит, изумленный сам тем, что вышло из-под его рук, и тихие слезы льются по его щекам!

Милый мастер! Имя твое не умрет никогда на прекрасном Севере!

Вечер. Золотая заря над сырыми лесами... По песчаной дороге едет задумчивый Фалалей на рыжей лошадке

верхом (Устинья давно уже уехала в Вильгорт, чтобы начать постройку дома).

Порою вечерняя роса капает с ветвей на белую шляпу Фалалея и на его синий казакин... Но он не чувствует это. Он думает, где и где построить еще ему иконостасы, чтобы народ молился, не забывал бы правды на земле.

(Северяне! Не забывайте правды, не оставляйте родины... Пусть образ Фалалея вдохновит вас к деятельности; или не доходит до вас голос мой? Верно, некогда услышите меня!)

Мудрый Фалалей! Ты был здоров и крепок душой и телом! Ты мирно жил и праведно с Устиньей своей. Мы измельчали, колеблемся и хромаем на оба колена. Не стало у нас ни телесного, ни душевного здоровья! Как дальше будем мы жить, не знаю).

Прибыл резчик в деревню Давпон. Крестьяне уже дали расторопной Устинье земли для постройки избы. Бревна уже были привезены и свалены у высокой ели.

— Эта ель будет хранить наш дом,— сказал Фалалей,— не срубайте ее!

Через полгода все было готово. Изба в четыре окна была выстроена. В одной половине была горница, в другой — черная половина, наверху — чердак...

У дома поставлен был белый крест с иконой Николая Чудотворца... Дом построен был из крепких бревен (он и теперь, обшитый тесом, встречает путников, идущих из города в село, хотя Фалалей уже спит в земле, и Устинья также... Крепки были старые деревья, как и старые люди!)

Что же дальше делал Фалалей, рассказывать ли? К чему? Нынешний народ слабый во всех отношениях, не сочтет его за образец, не будет подражать ему, да и сам я не имею сотой доли разума Фалалея. О чем волнуюсь, к чему стремлюсь, не знаю вовсе!

VIII

Оставил Фалалей жену Устинью с детьми, а сам отправился на Ижму на подряд. Дело было зимой. Долго везли Фалалея в розвальнях. Когда настигал их ветер в лесистых волоках, выскакивал резчик из розвальней, чтобы погреть ноги, и бежал за санями. Тут взглядывал он на небо, усеянное тысячами звезд. Между ветвями сосен и елей блистали они над снежным, холодным, величавым Севером.

«И кто их зажег в таком числе,— думал Фалалей...—

Видно Бог-то любит свет и зажигает свои ночные лучины». Дальше казалось ему, что звездное небо — это иконостас, арка над царскими воротами. «Там, в небесном-то алтаре, Он видно, живет: раньше показывался людям, а теперь перестал... Да и что нынешние люди: потеряли они стыд, и вот Он не показывается», — так думал резчик, поглядывая на небо, и снова бежал за ямщиком, сидел в розвальни, скрипящие от мороза.

Привезли Фалалея в богатое село — Ижму. Там много церквей, и — звонкие колокола на колокольнях. Остановился Фалалей в богатом доме, у церковного старосты Данилы.

Вскоре пришли мужики ижемские, широкоплечие, бородатые, и сели около стола. Между ними сидел Фалалей.

— Вот, резчик, сделай нам иконостас, да покрасивее. Денег дадим много, деньги у нас есть. Водкой будем угощать, хоть каждый день. Только правило у нас такое: «Пей да не напивайся.»

— Умное правило у вас, — ответил Фалалей, надевая ремешок на голову, чтобы волосы не падали, после чего развернул план иконостаса и стал рассматривать, что он сделает и в какую краску выкрасит, каким золотом покроет, сколько всякого материала нужно. Ижемцы поняли, что резчик — основательный человек, и, хлопая по плечу, говорили ему: «Угодишь, потрафишь нам, мы потрафим тебе». Долго беседы шли у ижемцев с Фалалеем за самоваром с пивной котел; и о священном писании заговорили, и тут Фалалей поставил в тупик вопросами и ответами. «Мы писания не знаем, но законы знаем, чтобы от чиновников отбояриваться», — говорили мужики... Довольные друг другом, расстались резчик и крестьяне села Ижмы. На другой день началась работа у Фалалея.

Раз утром рано шел на работу Фалалей в церковь, повстречался ему самоед и сказал: «О (ангел, хороший человек, второй день ищу кума себе, никто не идет, иди, окрести моего сына».

Взглянул резчик на широкое, темное лицо самоеда и отвернулся. Долго стоял яран — самоед — и вслед глядел Фалалею, и все говорил: «О, ангел, человек, окрести сына моего».

Пришел резчик в церковь и задумался над работой... «Самоед разве не человек? У него ведь такая душа, как у всякого крещеного. Почему же не иду в кумовья ему?»

На другой день опять встретился ему тот же самоед и сказал те же слова. Фалалей согласился и окрестил его

сына. Яран не знал, как благодарить Фалалея, и подарил ему малицу и пимы...

Пока резчик работал на Ижме, Устинья с детьми жила в Давпоне. Она не была из тех женщин, которые умеют сберечь нажитое мужем. Добрая, щедрая, остроумная Устинья быстро раздала трудом скопленные деньги кому в ссуду, кому так. То Гришка-хохотун придет к ней и просит на праздник казакин Фалалея, то мужик Харитон умоляет Устинью дать ему ржи пять пудов на посевы, то вдова Матрена со слезами на глазах выпрашивает овса.

Так все расхищали имение Фалалея, благодаря щедрой Устинье. Кроме того, Устинью всегда все угощали в селе и в городе вином, как жену знаменитого резчика и как умную, красивую женщину, поражающую острым словом.

Идет по городу Устинья в весеннее время, на голове у нее красивый платок из казанского шелка, теплый синий сарафан блещет на пей цветом синего неба, на ногах у Устиньи сафьяновые сапожки, украшенные цветами из разноцветной шерсти и шелковых ниток. Красива, статна и быстра Устинья; и вот зовет ее то просфирня на чашку чая и считает своей сватьей, потому что у Устиньи пятилетний мальчик Арсений, а у просфирни дочь, то попадья городская угощает ее чаем со сладкими кренделями.

Отовсюду почет миловидной, молодой Устинье, и она привыкает к вину и к общественной жизни. Долго не является Фалалей с далекой Ижмы, а дом его пустеет.

Но вот, наконец, летом прибыл резчик, посмотрел на свой амбар, заглянул и сосчитал, что есть в «куме» (в кладовой)— все кругом пусто, видит он. Тут впервые строгий Фалалей берет ремень и уму-разуму наставляет молодую женщину; Устинья плачет, дети кричат и хватают за руки отца, но неумолим резчик и считает удары, наносимые красивой Устинье, приговаривая: «Где казакин мой синий? Где рожь в амбарах, где сапоги? Все раздала, думаешь наполнить пустую глотку Гришки, дырявые карманы Харитона, дело ли женское пить вино, тратить не наживая». Так он приговаривал, думая пришить разум к подолу жены своей; не тут-то было, не достиг мудрый резчик-кустарь цели своей и богатым не стал на протяжении своей жизни.

Через месяц Устинья, забыв немилость мужа, принесла из города четверть водки...

— Устинья, где же взяла это?

— Меня все любят: попадья-сватиха подарила.

Пьют Фалалей с Устиньей помаленьку вино и допили до дна на протяжении трех дней. Сидит Фалалей, радуется, наивный, уму жены своей, ногой качает, бородой потряхивает. На четвертый день пошел он в амбар и видит — нет мешка муки.

— Ой, Устинья, воры были, целого мешка муки нет.

— Нет, воров не было,— отвечает Устинья.— А что сам-то пил все три дня? Даровое любишь, а пил ты муку. Я мешок продала и купила тебе четверть.

Ахнул Фалалей, но ничего не мог поделать. Женщина перехитрила его.

— Если любишь пить чужое, Фалалей, знай, что амбары опустеют твои,— добавила Устинья.

С того времени начиная, всю жизнь Устинья брала верх над ним острым умом и богатым воображением. Только золотые пальцы спасли Фалалея от нищеты, да Бог хранил.

IX

Сменялись времена года на севере. За пышным летом с полевыми цветами и ягодами — черникой, земляникой — за временем крестьянских забот по сенокосу и жатве хлеба наступила осень, когда листья падали с деревьев и только одна рябина украшала своими ярко-красными плодами лесные серо-зеленые поляны, когда птицы с трубными звуками далеко улетали на юг к далеким горам; а за осенью зима попевала со снежными дорогами между деревнями, с холодными ночами, с искристыми звездами, с многолюдными ярмарками по селам и деревням; но солнце обыкновенно не забывало северян и снова возвращалось к полярным станам, полюбоваться картинами мирной жизни, тундрами и болотами,— и весна наступала.

Так вращались и незаметно проходили годы Фалалея за бесперывной работой. Он спокоен был, надеялся на Бога, но печали и заботы часто посещали его.

Дети Фалалея были неудачны, хотя много было их (пока не родился мудрый Мамант, но он появился только в годы старости Фалалея). Старший Арсений, хотя был недурной столяр, однако любил выпивать. Бывало, темной ночью зимой унесет из амбара Фалалея мешок ржаной муки и пропивает с деревенскими парнями.

Так он жил, прохлаждаясь, пока не взял его в солдаты. Второй, Василий, покупал гармоники, ломал их и починял, пока не научился делать их сам. Любовь к мо-

лодечеству и к удалству отвращали его от сердца степенного Фалалея. Устинья тоже не стала мудрой, расточала мужнее состояние...

Сколько ни паживал мудрый Фалалей — все уходило прахом...

Дочь его Ирина вышла замуж за мещанина с хорошинами пашнями и лугами, но бестолкового и пьяницу. Ирина ничего не ведала, пока не убили ее мужа в селе Нытве пильщики...

Да, полна была трагедией жизнь Фалалея.

Или на земле не бывает ничего без трагедий? Ко времени начинающейся славы Фалалея появились на севере капиталисты-резчики и стали вытеснять кустарей-столяров. Иконостасы в городе и в больших селах брались на подряд капиталистами, у которых работали наемные резчики.

Слава Фалалея еще спасала его, во второстепенных селах все же брали его, а под старость он делал иконостасы только в часовнях.

О горе! Таланты бессильны перед капиталом, перед механикой жизни, да и всякое искусство развивается. Стали иконостасы иные. Пошли в моду пышные резьбы, изукрашенные колонны, выписанные иконы из Москвы. Стали давать предпочтение резчикам с дипломами, полученными в столичных городах.

Но Север велик, и Фалалей держался до конца дней и родил одиннадцать детей, последний был Мамант.

Школьные успехи Маманта утешали его, а под старость увидел Фалалей успехи сына своего.

(А что если и Маманта забьют новые времена и новые люди? О, как быстро меняются люди и таланты, как непрочно все на этой земле! Падают кумиры и возникают новые! Чудеса, да и только. Все течет в этом мире.)

Плачет Фалалей, живя в деревеньке, окруженной сосновыми лесами. Не о том он плачет, что богатые резчики отнимают у него работу в больших городах, не о том, что он не знает строения небесного свода, ибо он думал, веря в Бога, что не его дело знать судьбы неба и земли; даже не о том плакал он (о чем плакать ему можно было бы), что обижают его попы-завистливые глаза и старосты церковные или что дом его и сокровища не прибывают... Резчик плакал, сидя у Макара Ивана за столом, и выпивал пиво из енды: его сына Арсения взяли в солдаты, а другой сын, Василий, со своей женой Василисой отделился от него, нагрубив ему, как только было можно...

Чудеса! А мать Устинья все на стороне детей была, не защищала Фалалея. Да, даровитая, быстроумная, красивая Устинья, необходимая для того, чтобы произвести на свет Маманта, редко жалела своего мужа и все бранила его за скупость и расчетливость. Но плакал Фалалей о сыне своем Арсени, Макар Иван же утешал его: «Полно, старик, Бог всему судия, не гневись на него, не ропщи».

— Во грехах родился я,— говорил Фалалей,— и, быть может, гневаю Бога ропотом моим. То жалуюсь, что все дети, кроме Маманта, в мать пошли, то жалко опять их... Укуси-ко ты свой палец, ведь больно — так жалко нам детей своих.

Ничего. Крепко был и мудр столяр севера. Парясь в бане на другой день горячим веником вместе с волосатым Макаром Иваном, утешался Фалалей: жар бани достиг до сердца и умягчил все кости. Только на третий день, вырезывая красивый нос и красивые щеки херувиму, снова, руп, руп, заплакал Фалалей, вспомнив сына Арсения.

Правда, вдова Пелагея, у которой остановился знаменитый резчик на квартире, увидав слезы на его щеке, сказала: «Не плачь, Фалалей, у тебя ведь не один сын, кормильцы еще вырастут».

На этот счет последний ответил: «Не видала ли ты, Пелагея, как иногда солнце, нагоняя луну, прикусывает ей ухо, и та быстро идет к ущербу, так горе укусило мою душу — и вот я плачу».

— Полно, полно, золотые пальцы, веником горячим изгони ты горе-горькое, да приятной беседой со мною, ведь вдовствую 15 лет.

— Все-таки,— ответил Фалалей, твердый как сталь,— Устинья-то меня заест, если я буду поглядывать на тебя...

— А как же жена узнает?— спросила Пелагея.

— Жена непременно узнает, ей люди скажут. Люди же знают не только то, что делаешь, а и что думаешь. А узнавши, нарочно скажут.

Так рассуждали Пелагея и Фалалей. Последний закончил свою беседу словами: «Все тайное будет явно, говорит писание». Прикусив язык, ушла Пелагея от твердого в делах и в мыслях Фалалея.

Через пять лет вернулся сын его Арсений, со службы же все писал письма, которые начинались так:

«Дражайшему отцу моему, бесценному, достолюбезному, многопочитаемому родителю, давшему мне жизнь, охранявшему в детстве от всякого зла, от сына Арсения,

недостойного во всех отношениях. Отец мой! Ты пишешь, что обижает тебя брат Васька и сват Егор, я скоро приеду и защищу тебя. Я им покажу и докажу, каково обижать отца храброго солдата, унтер-офицера Арсения и т. д.»

Эти письма вызывали слезы умиления из глаз Фалалей. И вот сын приехал, и настала новая эпоха в жизни резчика, однако этот новый период был не без неприятностей.

Х

Вернулся солдат Арсений со службы со своей женой Харитиной и с детьми. Вернулся с деньгами, ибо на службе он последние годы столярничал, работал у разных высоких лиц и накопил денег. Карманные часы считал он предметом необходимости и постоянно носил с собою. Гым-гам, приехала крытая телега: из нее вышел Арсений и его семейство. Изумленный брат Василий и соседи вышли встречать Арсения. Фалалей же дома не было. Он работал в селе Эжол. Через несколько дней солдат, давши строгий выговор брату Василию и свату Егору, отправился к отцу Фалалею. Правда, хотели избить парни деревни Давпон Арсения, но он, вставши посередине их и бросив солдатскую фуражку, сказал: «Бейте, но до смерти, ибо, если я останусь жив, укукошу каждого порознь». Слова солдата подействовали. Арсения никто не решился тронуть. Мужество, энергия и сильное слово — везде в почете.

Зажил Фалалей мирно с сыном Арсением и с маленьким, подрастающим Мамантом, и продолжал делать иконостасы. Когда он возвращался домой, сват Егор уже не смел являться в пьяном виде к нему и куражиться над резчиком, и брат Василий был укрощен.

Так протекали мирно дни, месяцы и годы... и все они промчались быстрее птицы. Стар становился Фалалей. Скажут: ничего великого не сделал он, зачем же описывать его жизнь. Был мудр он и честен, и образ его привлекает душу мою. Нигде, ни в одном селе, ни в одной деревне, где работал он на протяжении долгой жизни, никто не скажет о нем ни единого дурного слова. Это ли мало значит? Жил долго на земле резчик, а никого не обманул, не обидел, ни у кого ничего не украл. «Если, бывало, увижу я,—говорит,—двугривенный, закричу: кто потерял монету, я могу украсть». Таков был Фалалей. Но не таковы были дети, и об этом плакал он всю жизнь.

Сын Арсений отделился от него. Фалалей купил ему дом за 40 руб. Дочь Анна вышла замуж. Пышная свадьба была устроена... И все прошло, один остался Фалалей с Устиньей своей, и Мамант уехал учиться в южные страны, и молва доходила об его успехах.

Скоро в сказке сказывается, да не скоро дело делается. Много Фалалей, старея, странствовал еще по северу, служил Богу и людям, созидал иконостасы в церквях. Как великий пожар медленно угасает, когда загорится дремучий лес севера, иной раз кажется, что уже нет огня в лесу, а смотришь, где-нибудь кустики тлеют между черными, обгорелыми соснами, так медленно ослабевали силы резчика. Сначала ослабели глаза, потом слух потерял свою прежнюю чуткость. Руки уже не так быстро двигались, и пальцы теряли свою гибкость.

Но и это ничего, люди угасают на земле только для того, чтобы искры их духа снова зажглись на иных мирах, и Фалалей это знал, будучи религиозным. Он только о грехах своих молился. «Много грехов у меня, Отец мой, простишь ли все». И, стоя перед иконами, он читал тропари и кондаки каждый праздник...

Ум Фалалея долго сохранял свою силу. Никто не мог с ним спорить на севере. Он, бывало, спросит зазнавшихся, заумничавших мужиков, пришедших к нему в гости: «А ну-ка скажите-ка, что такое епакта?» Мужики переминались с ноги на ногу и не знали, что сказать. «Фалалей Иванович! многое мы слышали от питиряков и от тех, кто странствовал по Сибири, но что такое епакта, этого никто не сказывал».

«И никто не может,— отвечал Фалалей.— Кроме меня и Маманта, сына моего милого, знать этого никто не может».

Таков был, дети мои, на севере Фалалей, который ездил из погоста в погост на рыжей лошадке верхом в синем казакине и с белой шляпой на голове.

Но и он постарел, повинуюсь непреклонному движению времени.

Удастся ли нам прославить имя его, мы не знаем, ибо и сами безвестны среди людей севера и юга, но знаем достоверно, что имя Фалалея не забудется в лесах Севера.

Теперь скажем мы, исполняя долг свой, о последних годах жизни Фалалея и Устиньи.

Леса просыпались на севере, стяхивая с себя белые снежные малицы. Ручьи на холмах заговорили между камнями. По небу неслись синие облака, свесив свои тучные груди над землею. Солнце изобильно посылало свои лучи на речные льды, и текучая вода ломала их, не зная преграды. Птицы появились неизвестно откуда на Севере великом.

Свежестью и смолою запахло от сосновых и еловых лесов.

— Опять весна господня начинается,— сказал Фалалей.

— Весна-то весна,— ответила Устинья,— да вот работать-то некому будет летом, пора бы нам на покой, старик.

— Что ж, обменяемся избами с Василием и дадим ему вотчину пусть он работает и кормит нас.

Так рассудили резчик с женой. И правда, все отдал Фалалей: свой хороший, обшитый тесом дом сыну Василию, а сам переселился в маленькую избушку своего сына и здесь стал жить. Их кормила и поила молодая вдова, жена внука Ивана. Строптивная была эта вдова и несладко приходилось Фалалею.

— Все грозитя Матрена бросить нас с крыльца вниз головой, да потом, однако, не бросила,— рассказывал Фалалей соседям.

Порою молился Фалалей, чтобы Бог спас его от нищеты на старости. И Он спас его. Скоро они стали получать от Маманта деньги ежемесячно.

Старики быстро ослабевали. Устинья была, как свеча, худая, бледная. В эту пору в летнее время приехал в Вьльгорт Мамант. Он был в цилиндре и в хорошем пальто, и удивлялись северяне.

Старики увидали его и заплакали, как дети. Устинью спустили с печи, откуда она редко сходила.

— Дорогой мой сыночек,— говорила она по-прежнему,— я бы ничего, да вот похудела.

Долго плакали все трое — Фалалей, Устинья и Мамант. Последний обнимал стариков, как детей своих. Мамант дал много денег и молодой вдовушке, и отцу.

— Такого человека, как Мамант, не было на севере и не будет,— твердила Устинья, когда пришли соседи.

Вот почему с таким трудом родила его, когда была еще молода, так говорила она старческим, но еще звонким голосом.

Вскоре Мамант уехал. Это было последнее свидание с матерью. Устинья умерла.

(Все мы умрем, друзья мои, но душа не вся умрет, она перейдет в скрытое состояние для того, чтобы воскреснуть на иных мирах.)

Устинья умерла для того, чтобы с новыми силами родиться на иных мирах. Вымыли ее белое, исхудавшее тело соседки и одели в белую рубашку и в синий сарафан. Невестки пролили слезы, Фалалей же молчал, горе его было так велико, что он не плакал, даже на вопрос, надо ли мыть ее, он ответил: «Она была в бане при жизни, зачем мыть после смерти?»

Отвезли сыновья и зять Илья Устинью на кладбище и похоронили ее там. Белый деревянный крест поставил Илья на ее могиле. И грустно шептали деревья кругом и можжевельники, и ветерок, скрывшийся в кустах ивы.

Арсений взял одинокого Фалалея к себе в дом. Резчику было восемьдесят лет.

И там жил он, читал Библию и разные книги, которые попадались ему под руку, и думал о путях жизни своей.

Когда Арсению надоело держать старика, хотя Мамант постоянно посылал деньги и сам приезжал еще раз за два, резчика перевели к дочери его Анне.

И там он жил года три. Но раз долго не было писем от Маманта, ни денег также.

Тогда резчик ушел от дочери Анны к Марье и здесь скончался... Мамант послал денег на похороны отца... И с колокольным звоном похоронили резчика, всю жизнь служившего Богу и людям. Над его могилкой тоже крест поставлен.

И спят теперь Фалалей и Устинья за селом, около мельницы, в березовой роще, на кладбище, спят милые, безгрешные, праведные люди в ожидании конца жизни великой земли.

Конец будет и грехам ее, и начнется новая жизнь на солнце, которое будет планетой, вращающейся около звезды Веги, и там Мамант обнимет вновь друзей своих в лучах нового солнца.

Я же в ожидании всего великого живу, обновляя свою душу созерцанием картин неба и земли.

ОХОТНИК МАКСИМ

Скитаясь по северу, прибыл я раз в одну деревеньку близ богатого села Усть-Вымь. Дело было летом, и утром рано шел я проселочной дорогой, приближаясь к деревне Керос. Издали увидел я человека высокого роста, идущего вдоль деревни навстречу мне. В руке он держал уздечку, видно, искал свою лошадь...

Каково же было мое удивление, когда, поравнявшись с ним, я почувствовал себя маленьким ребенком!— так он был высок, что голова моя была не только ниже его плеча, но почти вровень с его поясом. Он, наклонившись ко мне, трубным голосом спросил: «Кого ищешь?»

— Сказки собираю,— ответил я с невольной робостью.— Вот мужиков ищу, кто рассказал бы мне сказки...

— Зачем тебе это?— спросил меня великан.

— Чтобы старину узнать, как старики жили..

— А-а! Вот зайди к Василию, он расскажет.— И с этими словами удалился человек с уздою...

Я облегченно вздохнул и зашел в избу Василия. Тот обувь свою починял, сидя на лавке, жена его качала ребенка в люльке. Я рассказал, зачем пришел, и Василий пригласил меня сесть к столу под иконами.

Вскоре самовар был поставлен, и мы с Василием разговорились. Он стал мне сказки рассказывать. К моему счастью день был воскресный, и работа не отвлекала мужика от разговоров. Он объяснил мне, что встреченный мною большого роста крестьянин был охотник Максим. Немного погодя и сам Максим пришел, все еще с уздою в руке, видно, лошадь-то не нашел. Изгибаясь в три погибели, вошел он в дверь и, пройдя под полатями, встал посреди комнаты, как сосна. Я со страхом глядел на него. Борода у него была рыжая, волосы белые, усы — светлые. Ни одного седого волоса не было видно нигде, хотя Василий сказал, что Максиму уже шестьдесят лет. Рубашка самотканая, синяя и белые холщовые штаны покрывали его огромное тело, а красный стянутый крепко пояс с подвешенной к нему охотничьей сумочкой с кремнем и трутом давал ему некоторую стройность.

Максим подсел к нам, к столу, по зову Василия, и я посмотрел охотнику в глаза. Светло-серые его глаза выражали детскую кротость и наивность лесного человека...

Разговор зашел у нас о зырянах и о русских. Я им рассказал, что жители Двины — крупные и здоровые лю-

ди, больше ростом, чем жители Вычегды, также говорил о том, что русских очень много, а зырян мало.

Максим слушал меня внимательно, а потом сказал: «Что значат русские? Я сам бывал на Двине и знаю... двадцать нужно русских для одного зырянина!»

Я осторожно возразил ему, что не все зыряне такие, как он, что русские очень могучи... Но Максим остался при своем мнении. Это упрямство его меня тоже удивило...

Когда у нас затем разговор зашел об охоте, о суевериях, о страхе, Максим опять высказал свое мнение: «Что значит бояться?—спрашивал он, подобно Пильваню из Ипатьдора.—Что же это ногу, что ли, жмет?»

Когда Максим ушел опять искать свою лошаденку, Василий подробно рассказал мне его жизнь. Поздно вечером вернулся я в богатое село Усть-Вымь и здесь написал повесть о Максиме Охотнике, может быть, кто-нибудь прочтет и облегченно вздохнет, вспомнив старину великую. Вот она эта повесть.

Максим всю жизнь охотничал. И много было случаев интересных в лесной его жизни. Передать все невозможно, по некоторые нужно вспомнить. Раз он охотничал вместе с земляками, где был и Василий-сказочник. Между реками Емью и Вишерой в еловых пармах нашли они медвежью берлогу недалеко от охотничьей избушки... Василий, бродя на лыжах между елями и соснами, первый догадался о берлоге по отталым ветвям елилки, росшей у подошвы холма. Он сообщил об этом вечером, сидя у каменки в лесной избе, Максиму и товарищам. Разговоры веселые сейчас же прекратились ввиду завтрашней важной охоты, и все стали молча приготовляться. Рассмотрели ружья, острия копий, и рано легли спать охотники на нарах, сегодня не утешая уже друг друга сказками.

Утром рано, как только синие сумерки спустились с небесного полога на покрытые снегом ели и сосны, а восточный край неба едва засветился холодными лучами восходящей зари, Максим и его товарищи вышли из избы, крестясь и созывая собак словами «тэт, тэт»; Василий, ловко лавируя на лыжах между деревьями и кустами, шел впереди, скользя по снегу, указывая дорогу к берлоге. Приблизились и увидели, что снегу было меньше на одной стороне елилки. Значит, дыхание выходило из

берлоги: там дремал лесной житель и во сне сосал свой палец, питаюсь жиром своим.

Охотники стали очищать снег копытами и расчистили большое пространство, покрытое кустарниками, топорами стали бросать и вынимать верхний дерн над берлогой. В это время собаки вдруг все залаяли, видно, спящий старик повернулся на другой бок. Наконец берлога была почти открыта, и с ревом выскочил оттуда проснувшийся медведь. Охотники хотели приколоть его копытами, а некоторые прицелились, но Максим удержал их: «Стойте, братцы, шкуру испортите». И бросился он на медведя, и взял его за уши, и стал с ним бороться. Медведь, стоя на задних лапах, был почти вровень с Максимом. Лесной старик, однако, не шутил: он стал кусать левую руку охотника. Тогда Максим, изловчившись, правую руку сунул в рот медведю и взял его за язычок. Последний не знал, что делать, только мотал головою... Потом Максим опрокинул медведя на снег... В это время другие охотники, дальше не слушаясь слов Максима, ножами прикончили лесного старика. Максим только одно говорил: «Берегите, братцы, шкуру да и не мучьте старика. Надо сразу убить его».

Медведь умер. Теперь больше не увидит он наступающей весны и солнца над лесом, не полакомится коровками деревни Джнан на Вишере.

Когда сняли шкуру его, он, как человек, лежал на снегу... А Максим шептал ему, наклонившись: «Не сердись, старик, не чужие убили, а свои... И не от себя, а по воле Божией».

Другой раз Максим вместе с усть-вымскими и пожежскими охотниками промышлял около речки Виледь... Они были в 150 верстах от всякого жилья. Огромные сосны росли на холмах, сумрачные ели в ложбинах, а по берегам замерзших ручьев тянулись ольхи и березы. Светло и весело было в светлой горнице севера. Однажды рано поутру, как только раскрыла свои золотые крылья утренняя заря над холодными лесами, усть-вымская партия встретила виледских охотников. Исподлобья взглянули друг на друга сыны севера. Потом стали обмениваться «крылатыми» словами. Спор зашел о правах охотничьих в этих лесах, которые были ближе к реке Виледи, чем к Пожегу.

Главою партии, где был Максим, являлся старый кол-

дун из деревни Шила — Софрон с черными глазами, в которых «глазной ангел» был вверх ногами... Но и у той партии был свой знахарь. Они-то и заспорили главным образом...

Дело близко было до кулачной расправы, Максим уже спрашивал, рассердиться ему или нет: «Если рассержусь, много сорву голов», — говорил он.

— Нет, не сердись, — ответил ему Софрон, — я предложу тому знахарю со мной сыграть в шашки.

Охотники сделали шалаши из еловых елок, развели костер, и колдуны сели около огня за шашечную доску.

Первую партию выиграл Софрон, вторую — виледский знахарь. Тогда стали они состязаться в познаниях своих.

Софрон сказал:

— Я заговорю ваши ружья, запру чутье у собак, вам не поймать ни одной дичи.

— А я, — ответил виледский знахарь, — запру, загорожу для вас выход из леса...

После этих прений обе партии разошлись мирно.. Виледские охотники ничего не могли поймать. Стреляли по белкам, тетеревам и не попадали, собаки их чутья лишились и вовсе не лаяли или же лаяли невпопад. Пожегские охотники настреляли дичи так много, что не знали, как утащить это все домой. Наконец, наступило время оставить охотничьи избушки, и охотники, таща длинные нарты-сани с добычей, направились к дому на лыжах. Идут пожегские охотники, впереди их Софрон. Идут, идут и все ворочаются на прежнее место, все те же холмы, все те же леса и те же избушки.

Рассердились охотники. Максим, потрясая в руке длинное копьё, сказал: «Пойду, перебею всех виледских охотников». Но Софрон удержал его. Он пошел в избушку виледского знахаря и снова с ним сразился. Зайцем стал скакать колдун с реки Виледи, сам Софрон волком завыл около елок. Наконец, пришли они в разум и помирились. Софрон открыл чутье у собак, исправил ружья сильным заговором своим, а тут его противник очистил дорогу им в лесах своими таинственными словами. Не пришлось на этот раз Максиму приложить свою силу.

Но не всегда бывало так, если верить словам Василия, остроумного рассказчика деревни Керос.

Через год Максим с Василием охотничали опять между реками Вишерой и Вымью.

Зима была снежная, звезд мало видели Максим с Василием. Однажды последний остался в охотничьей избуш-

ке и снимал шкурки с белок, а Максим отправился один. Он стрелял, стрелял по белке, не попадал, рассердился и давай ругаться в лесу.

В это время подошел к нему какой-то человек, длинный-предлинный, выше Максима, взял ружье из рук охотника, прицелился и — хлоп — выстрелил. «На, возьми белку,— сказал человек и сам, позвав собаку «тэт, тэт», удалился, но из-за деревьев сказал громко: «Охотник! Скажи Кокле-Макле, что сына его взяли в солдаты и что он убит на войне».

Максим вернулся в охотничью избушку с одной белкой да и говорит Василию: «Одну белку принес, да и то не сам застрелил».

— Ну тебя, кто же застрелил.

— Какой-то человек в синем армяке, да и сказал он: «Передай Кокле-Макле, что сына его убили на войне». А где же я найду Коклю-Маклю, чтобы передать эти слова...

При этих словах Максима половица поднялась в избе, и кто-то быстро выскочил из голбца с криком: «Пы-ы-ыр!»

— Видно, под полом жил Кокля-то Макля,— сказал Максим.— Ну ладно, значит, искать не надо...

На этом охотники успокоились, поужинали и спать легли на нары.

— Бывают же всякие чудеса,— сказал Василий засыпая.

— Да,— ответил Максим.

На другой день Максим опять один пошел.

— Пойду поищу человека в синем армяке,— сказал он и ушел со своей собакой. «Тэт, тэт»— говорил он, удаляясь между деревьями.

Долго шел Максим, потом увидал он в лесу большую избу.

Дело было уже к вечеру, в окнах светились огни... Максим поднялся на крыльцо, постучался, кольцом побрякал, подвешенным к пробою. Дверь открылась, и охотник в избу вошел. Посреди комнаты стоял человек высокого роста, выше Максима...

— Милости просим,— сказал тот,— садись.

Охотник сел.

Хозяин и говорит ему:

— Давай попробуем силу, если я сильнее, убью тебя, если ты сильнее, ночуешь у меня спокойно.

— Давай,— говорит Максим.

Сели они за палку. Оба сильны: тянут-тянут, наконец, Максим перетянул.

— Молодец,— сказал хозяин.— Садись за стол, поужинаем.

Сели за стол, хозяин принес много кушаний. Максим возьми да и перекрестись.

Как перекрестился, все и исчезло... Смотрит он — сидит на пне и держится за куст жимолости, а собака возле него жалостливо глядит на хозяина.

Только к утру вернулся Максим в избушку свою, все плутал в лесу в темноте. И рассказал Василию. Сила спасла Максима.

В те годы, когда шишек было мало на деревьях и белки убегали за уральские горы, Максим занимался рубной бревен и сплавом их по реке Вычегде. По пояс в снегу они с Василием пилили на куски огромные сосны и ветвистые ели, затем на лошадях вывозили их к истокам малых речек. Когда лед таял на реках, а с холмов бросались разъяренные потоки весенних вод, бревна плыли по речкам, их собирали северяне при устьях их, связывали в плоты и плыли на них вдоль реки.

Раз Максим, Василий и многие другие устьвымцы направились на плотах до Архангельска.

Хозяин у них был Забоев, купец из Усть-Сысольска, человек маленького роста, но бойкий в делах торговых, он замышлял вести прямую торговлю с Англией, минуя длинных рук архангельских лесных фирм.

На плотах его и собрались Максим с Василием и другие емчане до Кардора-Архангельска. У огня сидел охотник, баловался чаем или насыщал себя ячменной кашей, а плоты пыли ровно и спокойно длинными караванами. Но вот острова встретились им, а плоты плыли не по главному течению.

— Эй, Максим, Максим, берись за весла,— кричали мужики. Максим брался за тяжелое, сосновое весло и силою рук своих спасал плоты, направляя по главному течению, отдаляя от полоев и курьи. После того, ничего не говоря, снова садился к огню и продолжал чаепитие.

Берега меняли свои виды, села перемежались дремучими лесами, глядящимися в зеркало вод. А вечерней порой, когда заря широкой лентой раскидывалась над водами и над лесами, веселые огни зажигались на плотах... И острили мужики над Максимом.

— Уймитесь,— говорил он,— а то раскидаю вас всех с плотов.

— Нет-нет, не сердись, мы сказкой угостим тебя,— говорил Василий.

И начинал Василий длинную сказку. Мужики сидели кругом около него и около огня, а Максим, растянувшись, лежал на бревнах, так же уютно чувствуя себя на воде, как на нарах охотничьих в лесных избушках.

Светлые голубые сумерки летней ночи внимали сказкам Василия. Разве только ночной филин прерывал их течение своими глухими звуками, или крестьяне с берега задавали вопросы...

— Эй, чьи плоты?

— Забоевские, — отвечали им.

— Не видали ли Кирьяновских?

— В курье сидят, — на это отзывались с плотов.

Эхо раздавалось над рекой, и снова все умолкало.

А Василий дальше продолжал сказку свою, а Максим храпел невдалеке от него.

Ниже Сольвычегодска, миновав желтые пески, Вычегда вливает свои воды между островами в широкую Двину, которая от Тотьмы до Устюга протекает между высокими красными берегами, а ниже Устюга до Котласа ударяется своими могучими волнами о красную окаменевшую глину высокого правого берега и дальше устремляется, слившись в братские объятия с Вычегдой в холодное Белое море. За волнами ее поплыли и наши плотоводы: Максим, Василий и другие до самого Кардора, Архангельска. Здесь, однако, мало приятного встретили они, получили только половину денег из обещанного им.

Купцу Забоеву сильно не повезло в его попытке связать торговые дела прямо с Англией. Архангельские фирмы, узнавши об этом, вступили в соглашение с капитаном английских пароходов и продали лес дешевле, чем нужно. Забоева никто не поддержал, и бревна его качались бесцельно на волнах Двины, они даже не допущены были до берега. Вот каково вступать в конкуренцию с архангельскими богачами.

Усть-сыольский купец обеднел и заплатил только половину своим рабочим, и то слава богу. Сам же, убитый горем, вернулся обратно в Усть-Сыольск. Бьют слабых в этом мире, самостоятельность наказывается жестоко.

Рабочие с Вычегды выпили у пристани и в спор вступили с моряками с английских пароходов. Те были люди крупные, они набросились на Василия и на его товарищей и стали бить их нещадно. Максим медлил и спрашивал, рассердился ли ему.

— Помогай, скорее рассердись, — говорил Василий, которого колотил английский матрос.

Тогда Максим, недолго думая, взял одного англичанина за плечи, за крепкую блузу его и давай бить его ногами остальных матросов. Он телом матроса опрокинул человек 10 англичан, остальные отступили к шлюпке со словами: «Это черт, а не человек». Когда они отплывали от берега, еле живого бросил Максим англичанина, который оказался орудием в его руках...

Капитан парохода не простил такого унижения его матросов и нажаловался губернатору, требуя жестокой кары виновных.

В то время, как утром на другой день на постоялом дворе чай пили Василий, Максим и другие и весело разговаривали о вчерашней стычке, толпа городских вошла в их квартиру. Они прямо направились к Максиму и арестовали его. Максим стоял между ними, как ель между кустами ивы...

— Иди-иди, тюлень,— толкали его городовые...

Тогда Максим взял одного из них за кушак и поднял к потолку, как это делают ученики старших классов в школах с младшими. Городовые обнажили шашки... Максим выхватил шашку у поднятого левой рукой и быстро подвинулся, опрокинув на пути многих в угол комнаты, и, взмахнув шашкой, сказал:

— Василий! Рассердиться или нет, перерубить головы, аль не надо?..

— Нет, не надо,— ответил Василий.

— Значит, берите меня,— сказал Максим и шашку возвратил.— Только не троньте меня, я сам пойду.

Городовые повиновались ему, они были ошарашены и, опомнившись, дивились силе Максима и великодушию его.

Максима, Василия и товарищей повели в тюрьму.

Но не долго они просидели там. Губернаторша, узнав от своего мужа о силаче Максиме, упростила его освободить их, и кроме того, потребовала привести и показать ей охотника... В кожаных лаптях, в армяке, рыжебородый с белыми волосами, с глазами детскими вошел в палаты губернаторские Максим, окруженный городовыми и околоточными. Губернаторша, увидев его, пришла в изумление: по пояс выдвигался он над толпой городских.

— Хочешь быть моим кучером?— сказала барыня, не без страха подойдя к великану.

Максим почесал в затылке, оглянулся кругом, нет ли Василия, чтобы спросить его. Но один городской сказал ему в ухо, подскочив: «Согласись, дурень, денег дадут».

— Хочу,— сказал Максим, и все остались довольны.

Отвели охотника в людскую комнату, нарядили в кучерскую одежду, накормили там, сама барыня приходила в людскую, смотрела, как ест, и любовалась им, как диковиной. Целый год кучерил Максим у губернатора, и через год отпустили его на родину к жене Аграфене, о которой часто тосковал он. По городу пошла молва, что у барыни родился сын больших размеров, с белыми волосами, а муж ее был брюнет, что это-де сын Максима... Так молва говорила, но как можно верить ей? Но, с другой стороны, нет основания и не верить...

Как бы то ни было, Максим вернулся на родину с деньгами.

Как только справили Максим с женой все полевые работы, к Ильицу дню нарядилась Аграфена, жена охотника, в новый сарафан из кумача, надела кофту шелковую, а на ноги сафьяновые сапожки. Серьги в ее ушах были, как лесные ягоды, бусы, как красные кисти рябины. Удивился сам Максим, увидав нарядную жену, дивились и малые дети.

Соседи же позавидовали и пустили дурную молву: «Не от денег мужниных нарядилась павлином гордая Аграфена, а на деньги инженера, который проездом останавливался у ней в отсутствие охотника». Эта молва быстро облетела все деревни. А Максим ничего не знает. Когда он отправился в Усть-Вымь, в богатое село, посмотреть на девичьи хороводы, покалякать с мужиками, на него все указывали пальцем. «Жена-то его с инженером жила». И парни навеселе толковали: «Ты силен, Максим, а ума нет у тебя, не глядишь за женою, которая оделась теперь Милитрисой Кирбитьевной. А на чьи деньги?»

— На мои,— говорил Максим.

— Держи карман, на твои!— Окружили мужики и парни Максима, один толкнет его, другой дернет за рукав пестрядиной рубашки, толкали его и смеялись над ним.

Тогда Максим, раздвинув толпу руками, ушел к себе домой. Драться же он не хотел со своими земляками. Пришел он в дом, сел у стола, поглядел на жену, та нарядная, доподлинно все, сидит напротив его и орехи шелкает.

— Аграфена,— говорит Максим.— Рассердиться мне или нет?

— На кого, за что?— отвечает бойкая жена, блистая

темно-карими глазами и играя красными зернами блестящих бус, гремящих на ее белой шее.

— На тебя,— сказал Максим.— Говорят, без меня инженера ласкала за деньги, а вот теперь принарядилась.

Побледнела Аграфена и встала на колени перед мужем.

— Не сердись, Максим. Пустое говорят завистливые бабы. Инженер стоял на фатере — то правда, но о грехе и помысла не было.

— Так не сердиться?— спрашивал Максим.

— Нет-нет, не сердись и не верь никому. А инженер дал только пятишник за чай да за куру...

— Большой он был ростом, али малый,— продолжал вопросы Максим.

— Маленький, тебе в пояс, ниже сынка моего Николки, так с Матвейку.

— Ну так пустяки,— говорил Максим.— Поставь, жинка, самовар мне, сегодня Ильин день. Завтра в лес пойду.

Поставила Аграфена самовар с пивной котел. И дую на чашку с чаем, не спеша пили чай муж с женой, разговаривая о хозяйственных делах и поглядывая в малое окошко на улицу, где девицы ходили, взявшись за руки.

Когда же Аграфена в окно увидела Степаниду, крикнула: «Ага, вы хотели поссорить меня с мужем, а вот я чай пью с ним. Зайди, угощу, услащу злой язык твой». Степанида ничего не сказала, прикусив язык, пошла дальше.

Так жил Максим на белом свете, на свете вольном, по мнению Василия.

Прежде, чем уехать из Усть-Выми, я еще раз хотел взглянуть на рыжебородого охотника. Пошел к деревне Керос. Не доходя до деревни, я увидел его. Он шел куда-то в лес. Огромный кузов-пестерь был за его спиной. Я думаю, любой мужик мог бы поместиться в этом кузове-пестере. Из-за дерева смотрел я на Максима, на его светлые усы, на волосы белые, не от седины, а от природы, на его рыжую бороду, на плечи широкие. Он оглянулся и, кажется, заметил меня сквозь прозрачные ветви елилки, по крайней мере, шапку заячью приподнял и слегка как будто кивнул головой и дальше забрел за густые деревья.

«Куда он идет, зачем?»— думал я.

Да, остались еще кое-где исполины, но все меньше и меньше их. Я двух только знал на севере: Сед-Якова в Ипатьдоре и Максима в Керосе. И мирно, и долго живут эти богатыри на севере спокойном. Но вот сменяют их другие поколения. Маленькие хитрецы наполняют землю.

ПАРМА СТЕПАН

I

Солнце тихо плыло по голубому скату неба над дремучими лесами, над елями островершинными, над кудрявыми соснами по холмам, над ольховыми рощами в ложбинах по берегам речек — Котьем и Прупью, над горницами — полянами, посаженными белыми березами и рябинами с вырезными листьями, над ивами, вечно гнущимися у болот, и карликами-тополями, малютками-липами, над гигантами лиственницами и кедрами ореховыми — над всем этим великим морем зелени, которое простиралось от Чердыни по Колве до Усть-Нема на Вычегде.

На этом пространстве не было ни деревень — сикт, ни сел — грезд, не было дороги в описываемое время. Это был непочатый уголок мира, каких все меньше и меньше становится на земле. Звери и птицы жили здесь, как в те времена, когда человека не было на земле, или как в древнем раю, утраченном нами навсегда.

Здесь, посреди диких, недоступных гор, холмов, увалов и долин, озаренных солнцем, в зелени лесов жил старик Бурмат со своей единственной дочерью Зарниной в маленькой избушке.

Они жили мирно, уж много лет в уединении, ибо, кроме охотников, никто никогда не бывал здесь, да и последние редко показывались в этих дебрях.

Но сегодня заглянули в хижину Бурмата заботы и горе, непрошенные гости. Как только солнце поднялось из-за лесов и, как небесный лебедь, понеслось по вольным голубым пространствам неба, Бурмат услышал, как ворон заклехтал на соседней елке.

Как будто кого-то звал к себе, может быть, слабого, еле оперившегося сына, или же затосковал по своей черной подруге и ее кликал; только ворон издавал самые причудливые звуки, как бы желая превзойти самого себя в разнообразии издаваемых им тонов.

Бурмат сидел у окна и починял сети. «Ишь, как заливаются ворон-то, — думал он, — и курк и карк, чего только не скажет, видно, тоже болит душа или мне что предсказывает.

И дочь моя где-то тоже пропала. Экой пострел, экой огонь, ведь ушла на минуту, а нет и нет, и печку затопить некому; мать ее, покойница, царство ей небесное, такая

же была: чуть покрасивее охотник остановится, бывало, у нас, того и гляди исчезнет из дому. Диво!»

Дочь же Бурмата, Зарниныл, как звал ее отец, была быстрая, сильная девушка с русой косой и с темными глазами, как вода в реке Прупью. Она в этот час купалась в прозрачной реке, играя алмазными брызгами воды в лучах утреннего солнца между близкими зелеными берегами. Она плавала, как рыба, каждое утро перед топкою печи. Тело ее было бело, как пена, застрявшая у ветвей ивового куста, темная, длинная коса вырисовывалась, как излучина быстро бегущего потока среди желто-белых песков на реке Вычегде.

Весело и свободно она жила, но в это утро случилось негаданное событие. Какой-то охотник, молодой парень, привлеченный в сторону Бурмата клехтанием ворона, пошел к берегу, где Зарниныл купалась, и, удивленный и смущенный ее красотой, сел на берег в том месте, где лежала ее одежда. Охотник сидел и молча глядел, по-видимому, не менее пораженный, чем купающаяся Зарниныл.

— Иди отсюда, зайди в избушку к старику-отцу, мне нужно одеться,— наконец сказала она.

Парень не отходил.

— Если замуж обещаешь выйти за меня по-староверскому чину, уйду от берега, иначе просижу тут весь день,— говорил он.

— Ты некрасивый, нехороший, я не пойду за тебя,— кричала дочь Бурмата и брызгала в него водой.

Но малый был упрям. Наконец, Зарниныл стала зябнуть в реке и согласилась быть женой незнакомца по-староверскому чину. Тогда охотник отошел от берега и дал ей одеться.

Они пришли вместе к старику Бурмату.

— Этот человек хочет жениться на мне, что скажешь, старик?

— Очень хорошо, скажу,— отвечал седой Бурмат, осматривая бравого парня старыми, слабыми глазами.

— По-староверскому чину он хочет.

— Пускай. Бог послал тебе мужа, так и будет. Кто сам придет в великий волок, это Бог послал его, дочь моя; затопи печку и угости суженого, да и ворон клехтал сегодня и звал свою черную подругу, так и быть, значит, уж эти птицы все-то знают, все-то ведают. Теперь ты скажи нам, как звать тебя и откуда родом ты, дородный человек?— спросил старик Бурмат охотника.

И рассказал парень.

— Зовут меня Степаном, родился я в деревне Жежим за Усть-Немом.

— О, как далеко!— воскликнула Зарниныл, затопляя печку, причем румянец покрыл ее щеки.

— Дальше рассказывай,— сказал Бурмат, глядя на охотника.

— Я меньшей сын в семье у моего отца, у которого было три сына и три дочери. Сестры наши давно вышли замуж и оставили отчий дом. Мы же три брата построили из сосен новую избу.

Отец нам сказал, что вотчины мало у нас и каждый должен избрать какое-нибудь ремесло, и приказывал нам, чтобы мы по очереди и в одиночку почевали в пустой новой избе и рассказывали бы ему свои сны, какие мы увидим. Старшему брату приснилось, что он в поле пашет землю. «Быть тебе земледельцем и сидеть дома и кормить меня»,— сказал старик. Второй брат увидал во сне большую книгу, и отец послал его учиться к староверам.

На третью ночь я пошел в новую избу. Мне приснился старик с длинной, седой бородой, который мне сказал строго: «Труд и лишения встретишь ты в жизни и горе на старости лет».

«Тебе странствовать»,— отец сказал, и с тех пор три года живу я в чужих людях: то в Усть-Неме, то в Чердыни.

Так рассказал Степан о своей жизни. Зарниныл наклонила головку и промолвила: «Не на печаль ли ты явился сюда?»— И сама после этих слов, как стрела, вылетела из комнаты.

— Ты не обижайся,— сказал Бурмат,— она, как молодой олень, скачет и бодается, а потом присмирет, сон твой и меня смутил, но да уж я стар и буду верен слову, ты будешь мужем моей дочери.

II

Живет Степан в доме Бурмата, женившись на его дочери Зарниныл.

Степан был счастлив. Он пахал и сеял, косил острой косой, выкорчевывал пни, расширяя пожни и луга, коканом-мотыгой поднимал он дерн и увеличивал поля. Зарниныл помогала ему усердно, хотя была как лесная птица... С утра убежит, и долго ее нет, вернется с грибами и с ягодами, никому ничего не говоря, ляжет на печку, к вечеру запоет песни или же заплачет и жалуется отцу,

что муж ее не любит. Зимой одна, на рыжей лошадке отправится в лес и на дровнях везет конду. Степан часто говорил ей: «Зарниныл, если скучаешь, поедем в село». Она в ответ на это надует губы: «Меня там любить не станут, смеяться начнут, затем и зовешь ты». И после этих слов блеснет своими искристыми глазами и убежит куда-нибудь надолго.

Степан не сердился на нес, как научил его Бурмат. «Ты не сердись, она как птица лесная, а птицу лесную хлебом и лаской приучить можно». И тут старик рассказывал длинные истории о том, как он ловил птиц и зверей, как приручал медведя, как выучил он язык лесных жителей и узнал от них чудеса: и заговоры, и песни. Конца не было рассказам Бурмата.

По зимам охотники захаживали к Степану и распространяли молву о нем, называли его Парма Степаном; многие завидовали его счастью, а старик, отец его, узнавши об этом, сказал себе: «Неужели сон и пророческое слово мое сбудутся на нем?»

Раз Парма Степан нашел гусиное гнездо и принес домой гусят. Целый год он держал их, поил, кормил, на улицу выпускал, вырезал им перепонки на лапках.

Через год, когда наступила осень, он выпустил двух, и те улетели в южном направлении при гоготании остальных, которых заперли в голбце, приготовив их для пищи.

Как же удивился Парма Степан, когда на следующую весну гуси прилетели и сели на его поле. Он узнал их и издала клал им крохи хлеба. Целое лето гуси бродили около его дома с малыми гусятами, которых вывели они в эту пору. Часть стаи была украдена Степаном, а другая с шумом улетела к южному морю Саридз поздней осенью. Так гуси, говорят, всю жизнь улетали и прилетали к Степану, оживляя его дни в лесу, доставляя ему даровую пищу.

Так протекало, как воды в реке Прупью, время в лесу, в избушке Бурмата, где жили Парма Степан и Зарниныл. У них родилось уже трое детей, три белоголовых мальчика, которые бегали вокруг темно-зеленых с красными шишками елок, росших у окон лесного дома.

«Все в отца»—говорили ночевавшие у них охотники.

Только одна беда случилась: Бурмат ослабел. «Скоро умру,—говорил он Степану,—слушай же меня, не лови молодых рыб в реке, и икры Божьей не собирай, тогда всегда будет много рыб в Прупью, не стреляй самок и детей зверей, птиц, не обижай их, они нас так любят,

разве не видал ты, как белки мимо нашего дома бегут, даже через крышу избы и через баньку скачут, от одного места в другое, где больше Бог дал урожая сладких шишек. С миром живи и люби Зарниныл». Так он поучал Степана. В последний день, перед смертью попросил еще вынести себя на солнце. «Хочу еще посмотреть на Божий мир, а уже потом закрыть глаза и перейти в потусторонний свет».

Умер Бурмат. Парма Степан и Зарниныл вынесли его на носилках и похоронили в светлом бору, в сухом песку. Зарниныл долго плакала, причитывая над отцом, а белоголовые мальчики глядели на нее широко раскрытыми глазами, а потом спрашивали Степана: «Когда придет дедушка обратно?»

«Придет, только не скоро»,—ответил Парма Степан, глядя по голове мальчиков.

III

Люди быстро растут на лоне природы, и хорошими работниками стали дети Парма Степана. Но жизнь последнего к концу сильно изменилась. Внезапно умерла Зарниныл при рубке конды, и Степан стал тосковать.

Женился было он на вдове Анисье, но из этого ничего не вышло, кроме горя. На Анисью же указал непутевый Гаврила, бойкий мужик, которого судили несколько раз за кошунство, он иногда захаживал, отправляясь на косьбу в лес в казенных дачах, и раз заговорил о том, что вдовцу Степану надо бы жениться и тут же подал совет относительно Анисьи.

Степан послушался, сыграна была свадьба, но, к удивлению всех, новая жена не прожила п году со Степаном, она умерла от простуды. Тогда лесной хозяин, как звали Степана, женился третий раз на горе себе и взял молодую, бойкую, грамотную Аграфену из Усть-Нема. И тут-то и сны его стали сбываться, и пророческое слово отца.

IV

Аграфена была ревнивая женщина. Как только Степан, бывало, заговорит о Зарниныл, она вся покраснеет. Если Парма Степан хвалил красоты Зарниныл, ее кроткое сердце, Аграфена ворчала про себя: «Воображаю, какая лесная волчица была твоя Зарниныл, недаром людям не показывал». Дети Степана уважали Аграфену за ее тол-

ковость и грамотность, особенно старший сын, который бывал уже на заводах и имел свой толк и взгляды на жизнь и хозяйство. «Наш отец ничего не понимает, а Аграфена смекает все». Не проходило дня, чтобы Степан не бранился со своей молодой женой, от слов переходили к драке.

Шустра была Аграфена и язычлива. Плохо приходилось лесному человеку, к тому же молодая жена грозила убить его, перерубить топором во время сна.

Часто Степан уходил из семейства и со слезами поднимался на яг, где похоронены были Бурмат и Зарниыл, и горько жаловался на судьбу свою, стоя на могиле. «После вас, милые мои, не стало мне счастья, помолитесь за меня, чтобы Господь послал мне смерть».

После таких бесед с умершими приходила Степану мысль уйти из дому, но и самого его ревность удерживала. Он подозревал, что старший его сын любит Аграфену.

Чем бы окончилось все это, мы не знаем, если бы один случай не разрешил узел жизни Степана.

Было лето, лесной хозяйин с женой шли по берегу реки и о чем-то спорили. Степан, как бы ненароком, столкнул молодую жену в реку Прупью.

Аграфена совсем не умела плавать. Она погрузилась в воду, упавши с крутизны, и больше не показывалась на поверхности.

Степан пошел и рассказал все сыновьям. Последние, хотя и скоро нашли тело Аграфены, но в чувство не могли привести ее.

Тогда они отвезли Степана в Усть-Нем и выдали суду.

Усть-немский старшина и урядник отправили лесного человека в город. Без шапки, босой, палимый лучами солнца, шел Степан по пыльной дороге, через многолюдные села и деревни. Его сопровождали десятские. Старые и малые выходили из домов и смотрели на Парму Степана.

«Он убил свою жену, и вот за убийство ведут его в тюрьму»,— говорил народ, указывая пальцем на проходившего лесного человека, утиравшего пот со лба рукавом своего азяма. «Да, странствовать пришлось мне,— думал он и терпел горе и лишения на старости лет.— Рок нагнал меня».

Суд был над ним в городе.

«Ты убил свою жену?»— спрашивали его. «Я столкнул ее в реку»,— отвечал он, и больше этого от него ничего не добились. Да, Парма Степан мало думал о том, что

говорил и что спрашивали его. Он все смотрел на судей, на их светлые пуговицы с орлами, затем широко раскрытыми глазами он озирает палату, где судили, глядел на большие, прозрачные окна с большими, ясными стеклами. «Вот где живут жалованные люди, чиновники-судьи», — думал он. Он даже мало вникал в смысл приговора, прочитанного ему.

Его присудили к каторжным работам на 8 лет. Когда солдаты выводили его из зала суда, встречные мужики объяснили Степану, что он будет 8 лет добывать золото и серебро в земле для казны. Только тогда Степан немного задумался о совершившемся.

Его посадили в тюрьму до отправки в Сибирь.

Сидит Степан в тюрьме и пригорюнился. В камере темно, только малое окошечко у потолка. Не видать ему больше дремучих лесов, нет около него ни Бурмата, ни Зарниыл. Слеза катится по морщинистой щеке Степана.

Тут он засыпает и видит сон. Приходит к нему Бурмат и говорит: «Не горюй, Степан, а подними последнюю у стены половицу и спустись туда в голбец, там вырой яму и выйди под стеною отсюда и беги в лес». Проснулся лесной человек, с большим трудом поднял половицу у стены и спустился под пол. В две недели он вырыл яму под стеной и убежал на Вычегду. Все поиски были тщетны за Парма Степаном, которому в лесу были знакомы все тайные тропинки, пещеры, пустые берлоги медведей.

Парма Степан поселился в Уральских горах у староверов и стал схимником, его научили читать старые священные книги. Там он прожил еще много лет. Гуси прилетали к его келье и гоготали у его окна, а в золотую осень снова улетали с шумом к южному морю Саридз. Но вот в какой-то год не прилетели гуси. «Я умру, — сказал Парма Степан, — гуси не прилетели с жаркого пояса». И действительно умер Степан, и старики похоронили его меж лесистых скал «Каменного пояса».

«Отчего же гуси не прилетели в последний год?» — спрашивают дети, выслушав рассказ о жизни Пармы Степана.

Оттого не прилетели гуси, отвечают старики, что со смертью лесного человека старая старина улетела от нас вместе с серо-белыми гусями, которые теперь гогочут в неизвестной стране под голубой крышей неба.

СТАРИК МАТВЕЙ

I

Арсений Замурин подъезжал к Ивадору.

«Вот оно — это село! Сердце заволновалось снова, когда увидел я его вдалеке в лучах солнца. Сосновые черные избы, как утята на пригорке близ лесного ручья, между ними синяя церковь, как старая береза между кустарниками.

«Ивадор! Там я жил в юности!!!» — Так думал Арсений, подъезжая к земской станции. Черноволосый, черноглазый парень стал хлопотать около Замурина — и самовар поставил, и калачиков принес, и уху сварил.

— Елена жива? — спросил его Арсений, напившись чаю с калачиками, твердыми, как кремь.

— Нет, умерла.

— Умерла, — произнес протяжно Замурин и задумался, и долго сидел, забывшись, у стола, а парень не мог надиться на него.

— Дети ее живы, не хочешь ли их видеть? И старик Матвей в лесу, ее брат.

Ничего не сказав на это Замурин и направился он от станции к берегу речки Важью, и ходил там по берегу, разговаривая сам с собою. И снилась ему молодая девочка, Елена, с белыми волосами, а он, подросток Арсений, собирал ей цветы и красивые ракушки па песчаном берегу Важью. Не слышал и не видал он, как мужики махали ему руками с горы, где они налаживали фундамент для каменной церкви и хотели посоветоваться с Замуриным по поводу плана.

Арсений не слышал, углубленный в свои мечты. Он переехал реку Важью в утлой душегубке и направился в дремучий лес.

«Да, серые облака, укрыли вы от меня синее небо, и жаркое солнце исчезло за вашим темным пологом, так же исчезло в волнах времени солнце моей юности. Елены нет, о чем мне больше думать?»

В дремучей парме увидел он избушку, построенную нескладно из мелких сосен. В ней было одно окошко.

Замурин подошел к ней и, скрипнув дверь, вошел туда. Старик в грубой, холщовой рубахе разгребал уголь в каменке, низко наклонившись к ней. Увидевши гостя,

он попросил его отдохнуть и сам, покончив с печкой, подсел к Арсению.

Он был совсем седой, глаза были впалые, брови нахмурены, высокий лоб в морщинах.

— Что вы здесь делаете,— спросил его Замурин, оглядывая некогда могучую, но теперь согбенную его фигуру.

— Жду смерти. Забыла она меня здесь между деревьями. А вы что, ходите по лесам?— спросил гостя в свою очередь Матвей (так звали старика ивадорцы).

— От горя и скуки хожу по земле,— ответил Замурин,— ищу, не найду ли где блаженный остров, где можно было бы отдохнуть.

— Скоро придем,— сказал Матвей.— Зимой земля проходит по темным местам, а «там», говорят, еще темнее.

— Кто тебе это сказал?

— Один монах в лесу.

После этих слов Матвей попотчевал гостя ячменной кашей и ключевой водой.

— Скажи мне, старик,— обратился Арсений к хозяину после того, как они закусили и расположились молча на нарах,— зачем ты здесь живешь, разве нет места тебе в деревне?

— Он привел,— ответил Матвей, указав пальцем вверх,— поди, он же и тебя привел сюда, в дремучий лес.

Долго упрашивал Арсений старика, чтобы он рассказал ему свою жизнь, но Матвей отказывался.

— Дай слово,— наконец сказал он,— что никому не расскажешь о том, что услышишь.

— Даю.

II

Я из села Ивадора,— так начал Матвей,— жил богато, был женат, имел детей. В молодости учился немного. Охотник первый был в селе. Раз промышлял я по снегу. Не нужно было дороги—везде скатертью она лежала. Лоси встречались, олени... Много тетеревов, рябчиков положил в свой лузан. Брожу, брожу, не хочется домой (видно, уж суждено было так).

Снег растаял после праздника, ручьи уже зашумели в ложбинах. Пора бы домой—посеять ячмень нужно. Нет, не возвратился...

Иду с ружьем, около паужина было. Смотрю—тропинка. Гляжу—по тропинке идет моя сестра. Так и вижу,

как теперь ее... На ногах коты, чулки с черными полосками, на плечах синий кафтан, за спиной белая котомочка, на голове белый платочек.

— Это ты, Матвей? Как я испугалась,— говорит.— Что же долго охотничаешь?

— Ой, говорю, задержался. А ты откуда?

— Из монастыря.

— Поди, устала, пойдем, отдохнем в моей избушке...

— И то,— говорит,— мозоли уже на ногах.

Пошли в мою избушку. Она бросила котомку и кафтан, осталась в ситцевом сарафане, потом обувь сняла и прилегла на лавку. А я каменку растопил и стал уху варить. И смотрел на ее босые ноги, и у меня как бы голова закружилась, в глазах стало темно... Я подошел к ней и стал целовать ее. Она слабо оборонялась.

— Я,— говорю,— сплю,— только и сказала.

И тут грех случился! Я с ней провел ночь, как муж с женой.

На другой день солнце взошло. Она оделась, и я довел ее до тропинки. У меня на сердце была тоска, и она все вздыхала.

— Теперь,— говорю,— ты иди по тропинке, а я вернусь, как бы с охоты.

Она головой кивнула, пошла по тропинке и вернулась в свое семейство (детей у нее было много), а я в свое.

И тоскую я, и тоскует она, и в церкви оба плачем, на нее не гляжу я там.

Как только пойдем за грибами или на сенокос, или она идет искать коров, непременно найдем друг друга. И все так жили: и плачем, и тоскуем, а отстать не можем. Никто, конечно, не подозревал, потому что мы были брат и сестра.

И стала чахнуть моя сестра. Я же все преследовал ее.

Наконец, в весну, около времени посева ржи, мне сказали, что она умирает. Я пошел к ним в дом, в котором не был десять лет.

«О Господи, прости его»,— прошептала она, увидавши и узнавши меня.

Она умерла, стали мыть ее, я тут же оставался в комнате покойницы, и никак не могу уйти оттуда, и последний раз смотрели на нее...

— Ох! Велика сила его!..

— Что же дальше было,— спросил Замурин Матвея, когда он остановился, как бы задумавшись.

— Больше уже нечему быть,— ответил Матвей.— Я

постарел, и тогда уже был не молод, дети выросли мои, потом и жена умерла, тогда почувствовал я вот здесь (он указал на грудь) тяжесть, пришел сюда и вот здесь живу.

После этих слов брови нахмурились у него и лицо омрачилось. Но это скоро прошло, и он прибавил: «Иногда она и теперь сюда приходит».

Когда я поздно вечером варю кашу и сижу спиной к двери, то в сенях что-то скрипнет, и слышу я шаги, как будто в котлах идет кто-то, раз белое вошло сюда и встало за печку.

Как-то (все скажу тебе, как на исповеди) в темную ночь она пришла ко мне и мы провели с ней ночь, как бывало раньше. Только она казалась мне как бы воздушная, неимчивая».

Тут Матвей умолк, глаза у него стали влажные, губы задрожали...

Арсений тоже молчал и поглядывал на каменку, где тлеющие уголья уже погасли, и прислушивался к шуму дремучего леса, и ему казалось, что вот-вот дверь скрипнет и что-то белое и страшное войдет к ним в избу...

На улице уже темнело. Он встал и стал прощаться с хозяином, который в глубокой задумчивости сидел в углу.

— Как звали твою сестру,— спросил Арсений.

— Еленой.

— Как Елена?! Неужели!...— вспыхнул Замурин и почувствовал, как сердце застучало в нем и ноги застыли.

— Гер Вась Елена она была,— ответил спокойно Матвей,— а что?

Тут Замурин хотел что-то сказать, но запнулся... Пошел к дверям и только сказал: «Я очень тронут, прощай, Матвей». И вышел на улицу.

III

Удаляясь из избы Матвея между темными елями, Замурин посмотрел назад: огонек засветился в единственном окошке Матвея.

Уже огоньки бисером зажглись в Ивадоре, когда пришел туда Арсений. Переночевал он на станции. А на другой день рано уехал из Ивадора.

«Лечу ширококрылой птицей над великим севером. Леса, отдаленные холмы и горы осматриваю с вышины. Чем дальше видишь, тем прекраснее кажется земля!!!»

Тут перед Замуриным встал образ Матвея и его сест-

ры в когах и в синем кафтане, с котомкою на плечах. Она идет, босоногая, узкой тропинкой между соснами и елями... и горе мира прокрадывается в сердце Арсения.

«Жизнь, ты загадка, кто поймет тебя?»— сказал он, въезжая в дремучий лес.

«Длинной дорогой тянется она, моя жизнь, и чего только не было на пути моем и что еще страшного впереди?»

УДАЛЕЦ И МУЗЫКАНТ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

I

Белоголовый мальчик Степан часто бегал по деревне Дав между избушками. Все его знали, но никто не обращал внимания на то, чем занимается он в жаркое лето и в долгую, холодную зиму. Матери у него не было, она давно лежала в земле, Степан даже не помнил лица ее.

Мальчик жил и рос с отцом, но часто он убегал в соседний лес и дудки делал там, и играл на них, подражая пастушьей свирели. В праздничные же дни проводил время на лугу у ручья в борьбе и в драке с детьми. Когда ему было 10 лет, пошли на него жалобы: он бил детей и ушибал взрослых. Когда ему было 12 лет, он где-то нашел старую гармонику и давай починять ее. До того починял ее, что совсем сломал. Потом, нажив денег молотьбой, а он был мастером молоть, купил новую гармонику и ту разломал.

Отец бранился, что поделывать ничего не мог с упрямым сыном. Тот купил третий раз гармонику, хотя обуви на ногах не имел, и снова разломал ее, но также снова починил.

Он теперь стал мастером делать гармоники, починять их и стал наживать себе деньги на обувь, на одежду, даже на лакомства, на орехи и на вино. На гармонике он играл так хорошо, что бабы, приложив руки к щеке, слушая его, плакали. А потом головой качали и приговаривали: «Ах Степанушка, что-то из тебя будет». Никому, конечно, в голову не пришло отдать его в школу.

Ученье еще не вошло в обычай на севере пустынном. Отец его был занят крестьянством, да и убежден он был, что, пожалуй, сын научится на подати наживать пальцами своими.

Возрастал Степан. Леса наполнились звуками его гармоники. Что он играл, о чем он думал и что ему отвечали деревья — никому и не было известно, да никто и не спрашивал его об этом.

Только Аграфена, девушка, дочь Харитона, иногда глядела на него нежными глазами и, кажется, задумывалась, потому что кто же больше будет думать о добром молодце, как не красная девица. Но Степан был еще молод, и Аграфена не дождалась его. Отец выдал ее замуж за Демита, буйного человека, который потом всю жизнь бил жену свою.

Возрастал Степан, и драки его умножились. Если он не играл в лесу на гармонике своей, которая пела и плакала под пальцами, то он подвизался на улицах Дав в стычках великих. Ударит, бывало, Степан любого парня в ухо, и тот с ног свалится, как сноп, а сам Степан после этого заиграет на гармонике и плачет слезами горькими вместе с обиженным, сидя на земле.

Плачет и жалуется на горькую долю свою. «Ах, зачем мне Господь дал силушку великую, а не дал ума-разума да житейской сметливости?»

Печалился отец, чесал в затылке у себя, но что делать с сыном, не знал. Раз и скажи он Степану, когда они сидели в лучах осеннего солнца на завалинках: «Слышь, Степанушко, люди добрые идут на заводы в Сибирь, сходи-ко и ты, принесешь пожитку отцу старому, от твоих гармоник ведь только на орехи хватает».

«Можно и на заводы сходить,— ответил Степан, задумчиво глядя на заходящее солнце,— можно и на заводе побывать». И на другой же день, получив задаток в Волостном правлении от заводского агента, стал он собираться в путь-дорогу. Дома было нечего больше делать, сено собрано, и хлеб вымолочен на гумне.

Отправился Степан на завод через верховья Вычегды, волок Усть-Немский, прошел он через Чердынь-город, на горе стоящий... Из этого города видны синие отроги Уральских гор и города Полюд-горы и Кваркуша...

Играя на гармонике, шел Степан все дальше и дальше к «Каменному поясу», покрытому лесом еловым. И горы перешел, проходя мрачные долины, и вершины лесистые,

ночюя в избах у горных жителей, хлебом не богатых, но тароватых на словах...

У заводского люда он был, бойкостью и речистостью своей удивили они его... Сам же поражал всех, утешал и забавлял игрой на гармонике. Иногда на волоку садился на камень придорожный и глядел на далекого ястреба, парящего над лесом, играл печальные песни и тихо плакал, неизвестно о чем...

Прибыл на Кутимский завод и, не интересуясь вопросами жизни, взявши что нужно было от конторы, в лес удалился, в курени, и там стал пилить дрова. Когда зима наступила, в праздничные дни бродил он по лесным тропинкам, играл на гармонике. Мохнатые, покрытые снегом ели и сонные белки между ветвями слушали его игру.

Добрый молодец Степан Васильевич, одетый в полушубок, опоясанный красным кушаком, в тяжелых валенках и мохнатой заячьей шапке на голове, любил более общество молчаливых деревьев, чем людей, и среди них проводил часы досуга...

Весною деньги он отцу послал, но на родину не вернулся, а пошел на другой завод, Тагильский...

И случилась с ним впервые беда... Молва народная донесла об этом до ушей его отца и односельчан. Эта многоустная, неуловимая молва говорила, что полюбил Степан русскую девушку с большой косой на чужой стороне, что забыл он отца, ведь известно всем, что возлюбленная всего дороже человеку...

Досужие люди даже говорили, что там-де, на чужой стороне, Степан сидит дни и ночи на крыльце ее дома и играет на гармонике и слезы проливает, что в горницу не принимают его, лица девушки не показывают...

Да и девушка-то больно крепка оказалась. Даже прибавляли, что Степан с горя ушел к остякам, на Обь великую, и работал там на берегу вместе с ними, вместе с йэгра-яранами.

Как это ни странно, молва была на этот раз правдива...

Действительно, Степан, отправившись на Тагильский завод, встретил на постоялом дворе, в домике между лесными горами, статную девушку, белолицую, с голубыми глазами, с косой большой. Взглянув на нее, он потерял рассудок... И вместо того чтобы идти дальше, он остался там.

Ему сказали, что эта девушка, Елена Ивановна, живет вместе с матерью-староверкой. Отца ее нет в живых.

Но жених уже-де есть у Елены Ивановны, пиसेц заводской конторы, не чета-де дроворубам. «А и вправду,— прибавляли,— игра стоит свеч, невеста богатая, и мать строгой жизни». Вместо того, чтобы идти дальше, Степан остался на постоялом дворе, живет, обедает, чай пьет на последние деньги.

Игра его на гармонике поразила Елену Ивановну. Она с улыбкой раз сказала Степану: «Играй, играй, молодец, и здесь живи. Хочешь, тебе работу найду я». И Степан был весел. Лицо сняло его радостью. В другой раз Елена Ивановна, взглянувши ему в лицо, прибавила: «Отколы ты будешь, когда-нибудь расскажи».

Но не удалось Степану рассказать о жизни своей светлой девушке, ни ей послушать о нем. Суровая вдова, узнавши о парне, играющем на гармонике и заглядывающем на ее дочь, приняла крутые меры. Внезапно уехала вместе с дочерью, оставив на время постоянный двор на руки приказчику, и говорят, заставила чуть не силою обвенчаться по-староверскому свою дочь с богатым писцом заводской конторы... Больше ничего не было известно.

Степан ждал-ждал возвращения вдовы с дочерью, пока окончательно не убедили его, что она уже замужем на Тагильском заводе.

Тогда отправился Степан на завод, хотел еще раз увидеть Елену, но его никуда не приняли, и тогда ушел он в Сибирь, к осякам; и жил между ними шесть лет.

II

Было красное лето на севере. В деревне давно праздновали все Троицын день. И тут юноши и девы, гулявшие вдоль улицы, увидали человека высокого роста, в плечах — косая сажень, грудь — дугою, волосы кудрявые, одет чисто, по-городскому, под мышкой гармоника...

Этот человек вошел в деревню Дава быстрым шагом. Все ахнули, узнавши в нем Степана Васильевича. Да, это был он, вернулся на родину, вернулся к отцу своему через семь лет.

Дивились все, когда собрались в его избу и когда услышали, что он рассказал им, сидя за столом с отцом своим. И одежда, и речь, и вид поражали всех жителей Дава. А когда он заиграл на двухрядной гармонике с колокольчиками, сидя в кумачевой рубахе у открытого окна, вся деревня собралась и замерла от неслыханных

звучок новой гармонике, на которой играл новые песни Степан Васильевич.

Бабы всплакнули, мужики прослезились.

«Никогда не слышали мы подобное...» «Да, да, вернулся снова к нам Степан Васильевич,— гудела толпа.— Да и где же погибнуть такому молодцу со звездой во лбу...»

Праздник прошел, и заботливые будни наступили... Все вошло в колею свою...

Но через неделю молва другая пошла. Все шептались: «Степан-то не в рассудке». Парни сказывали, что в лесу все сидит Степан и играет, играет и плачет, вспоминает какую-то Алену. Действительно, раз застали его сидящим на пне в задумчивости. И когда подошли к нему девушки и парни, он им сказал:

«Аленушку не могу забыть. Синие глаза, большая русская коса до пят, лицо, как снег...» Тут заплакал Степан, а потом безумно заиграл. Испугались все. Не в рассудке-де он. Только старуха Матрена догадалась и сказала раз сердито в праздничный день, обратившись к толпе: «Дуры и дураки вы... думаете, зазнобушка скоро забывается. Не с ума он сошел, а вы все рехнулись. Лучше нашли бы ему невесту, чтобы вылечить... жениться ему пора, доброму молодцу. Да и вы, девки, дуры... была бы я молода, сама бы пошла».

Вот так сказала сердитая Матрена; сначала посмеялись над нею, но потом все раздумались: может быть, и вправду так — жениться бы Степану, тогда он забыл бы Аленушку... Но вскоре обнаружили другие черты характера Степана Васильевича.

В простые дни он был вежлив, любезен со всеми, но в праздники выпивал вина зеленого — и тут беда...

Хотя отец принимал меры, прятал его одежды, но Степан в одной рубашке выходил за деревню и прислушивался, нет ли где драки.

Ему и скажут, что дерутся у ручья давпонские парни с давскими и одолевают даже... Спешит Степан на драку, не спешит — летит, как бы не прозевать, не опоздать.

И вот является в схватку... давский парень Егор ударяет Арёпа давпонского. Арёп падает. Тогда Данило из Давпона ударяет Егора, и Егор падает с ног... Но вот Степан бросается на Данилу и ударяет его в левое ухо, и падает как сноп Данило, и бегут в страхе давпонские парни... Не было большего развлечения для Степана, чем эти столкновения между деревнями.

Прошло лето, наступила зима. На девичьих игрищах первый музыкант Степан... девушки заглядывались. Лучшая из них вышла бы за него замуж, не глядя на отца и мать, если бы не пил вина он и не дрался...

Но вот случилось в Сретенье большое столкновение вьльгортских мужиков в деревне Кочпон.

Парни из Чита, буяны, напали на вьльгортских юношей, прибывших в Кочпон на праздники... Степан обедал у родственника...

Как только он услышал, что бьют его земляков, не окончив обеда, даже не допив третьего стакана вина, побежал выручать своих. Хотели было удержать его: «Полно, Степан, брось, добром не кончишь ты это дело».

— Не благославляю,— говорил отец.

Но Степан уже был в толпе дерущихся.

Быстро победа перешла на сторону вьльгортцев.. Но случилось несчастье. При всем народе Степан ударил кулаком одного парня из Чита, и тот замертво упал на снег...

Дело не прошло так. Родители убитого были богатые люди... Суд да ряд начался. И обвинили Степана, и засудили его.

Был зимний солнечный день, румяный, холодный... Толпа гудела на улице деревни Давпон. Старые и малые высыпали из домов, и одно все твердили: «Степана ведут в тюрьму». Да, Степана вели в тюрьму. Вот он показался в нашей деревне — широкий в плечах, статный, в вятском полушубке, опоясан красным кушаком. Он тихо шел, наклонив голову между двумя рядами крестьян.

Справа и слева его шли десятские. Дойдя до белого креста, стоявшего около дома Фалалея, Степан остановился, посмотрел на низкое румяное солнце на голубом небе и на народ, густой стеной стоявший перед ним... Потом бухнулся он в землю и кланялся народу, стоя на коленях, прося прощение... Поклонился на юг, поклонился на север, на восток и запад. Потом встал на ноги и обратился к солнцу: «И ты меня, светлое батюшко солнце, прости... прости, прощай небо родное. И вы все, братья и сестры мои, земляки, мне простите».

Народ заволновался, у всех вздрогнуло сердце. «Все ходим под богом»,— старики забормотали. Бабы зарыда-

ли, закрывая лицо платком: «Милый наш Степанушко!» Дети прижались к матерям и к отцам. Мудрый Фалалей, глядя из окна, промолвил: «Да, хороший человек был, может быть, но вино сгубило его, да и молодость — опять же некому учить было...» А Степан между тем повернулся к городу и медленно зашагал по снежной дороге, за ним десятские шли, как верные жены, народ тянулся длинной веревкой, тихо разговаривая о трудностях жизни. «Здесь мы только гости на земле, главная жизнь там будет, — говорили старцы, упираясь на посохи свои. — Души бы не сгубил он, раскаялся бы в грехах своих, Бог-то ведь многомилостлив».

Степана сослали в Сибирь после тюрьмы. Трудно жить и тесно жить в узком горлышке бутылки, в северной деревне, да и в южной тоже, человеку, широкому в плечах.

Сибирь великую увидал Степан за «Каменным поясом», реки широкотекущие, отражающие вершины деревьев дремучих лесов, и горы высокие, идущие к облакам, сочные груди висячих облаков касались круглых голов высоких гор... И жил он там долго, двадцать лет...

IV

Была опять зима в деревне Дав. Седой старик прибыл с котомкой за плечами и с посохом... и зашел к дальней родственнице отца Степана. Этот старик и был сам Степан. Прошло двадцать лет, и все изменилось, и он изменился. В руке он держал не гармонику, а Библию. Народ собрался к нему, в избу Христины, у которой он поселился, и рассказал Степан о своем житье-бытье на каторге, в Енисейской губернии на вольном поселении. После рассказа о своей жизни заговорил он о божественном: «Дети мои, — сказал он, — нужно учиться и знать законы человеческие и божеские. Школ нужно побольше да получше, да вот эту книгу надо изучать».

И стал он передавать содержание книги пророков.

Народ, слушая, снова прослезился. «Как изменился он», — думали они...

Еще пять лет жил Степан, поучая народ каждый вечер, и переводил им на их язык слова Священного Писания...

Около него собрались понимающие, и создалась школа переводчиков и толкователей нравственного учения.

Бородачи думали, как бороться с невежеством и с пьянством, и со всеми болезнями жизни...

Степан умер, но ученики его остались и продолжали дело его.

ИЗ ИНЬВЕНСКИХ БЫЛЕЙ

*Жизнь — тайна,
Человек — загадка.*

I

Странный был человек Нешатаев, сельский учитель в Тимине! Двадцатидвухлетний здоровяк, краснощекий, кудрявый, ходил он летом в красной рубашке и соломенной шляпе, всегда обувал лапти и при посещении властями его школы больше страдал от необходимости натягивать на свое могучее тело пиджак, чем волновался за исход ревизии. Дело свое он вел прекрасно, и его школа считалась образцовой. В свободное от занятий время ходил он по селу, разговаривал со старыми и малыми, трезвыми и пьяными, часто на своих плечах таскал последних в «холодную», приговаривая: «Пьешь, мошенник, забыл честь и совесть, пьешь при деле и без дела, о семье и хозяйстве не думаешь; посиди теперь и поразмысли!» И он запирал слабо сопротивляющегося пьяницу в «чижевку» при волостном правлении.

В летнее время вставал он с восходом солнца, раньше всех шел по сонному селу к пожням и косил там целые дни. А зимой ходил по всем вечеринкам и был первый плясун и певец. Деревенские девушки любили его, да и парни охотно признавали его первенство. «Не будет Михайлы Васильевича, не будет и веселья!»— говорили все.

Нешатаев был сын плотника Василия из того же села Тимина. Он кончил сельскую школу и учительскую семинарию в Казани, и вся семья смотрела на него, как на будущую свою опору. Раз зимой отец его простудился и умер. Последние слова его Михайло Васильевич помнил: «Смотри, Миша, Бог-то ведь есть, ты не думай суетно, живи хорошо и не забывай мать». Помнил он эти слова, помнил и споры свои с отцом на полях и на лугах, где,

бывало, вместе они работали, споры о том, есть Бог или нет его. Несмотря на любовь свою к отцу, семинарист Миша отрицал Бога и уверял, что мозг и душа — одно и то же. С чужими, однако, он говорить об этом не любил, а думал лишь про себя. После смерти отца, ставши учителем, Михайло Васильевич стал задумываться чаще, но никто не знал, о чем он думает. Работает, работает лучше любого мужика и вдруг остановится, встанет, как столб, с косою в руках или с граблями и куда-то глядит расширенными голубыми глазами, не замечая ничего вокруг.

«Опять нашло на Мишу», — говорили мужики и бабы жалостливо на него смотрели. «Эх, зайдет у него ум за разум, — вздыхали мужики, — от больших-то мыслей это бывает». «Испортил кто-нибудь!» — пугливо шептали бабы и давали разные советы его матери. Сухонькая, с печальным вдовьим лицом, Аксинья души не чаяла в сыне и на непрошенные советы всегда отзывалась коротко и уклончиво. Она вместе с дочерью своей Аграфеной уважала Мишу как ученого и задумчивость его про себя называла «скукой». «Не с кем ему об учености поговорить, сторона наша дикая», — подтверждала степенная пожилая девушка Антонина.

Нешатаев был всегда ровен с матерью и сестрой, помогал им во всем, жалованье отдавал из копейки в копейку, хотя жил отдельно, один в своем училище.

II

Урожайное лето прошло в селе Тимине; наступили дожди. Бесконечные серые, лохматые облака шли над почерневшим от сырости селом и над окружающими лесами, словно сказочные чудовища, наполняли небо и землю.

Полевые работы кончены, а учење еще не начиналось — самое тяжелое время для тиминского учителя.

Нешатаев сидел у окна и смотрел целые дни куда-то вдаль, в одну точку и все думал и думал. Иногда он вставал и, вздыхая, ходил по комнате, резко нарушая притаившуюся по всем углам тишину, и взор его снова застывал на каком-нибудь предмете.

— Тесно мне здесь, грустно мне здесь! — иногда вырывались тяжелые слова и пропадали в тишине угрюмой комнаты. — Смысла не вижу я... Как всю жизнь провести в горле бутылки? Для чего я родился, к чему даны мне силы, которых избыть не могу?

Иногда, вырываясь из-под власти своих дум, выходил он из дому и, не глядя на проливной дождь, высокий и мрачный, с невидящими ничего кругом глазами, направлялся в соседнее село к учительнице Александре Павловне. Та, молоденькая еще девушка, всегда в чистом ситцевом платье, встречала его приветливыми словами. В уютной девичьей комнате с белыми занавесками шумел самовар, Александра Павловна наливала чай, смотрела слегка испуганным взором на молчаливого гостя, старалась развлечь его рассказами из жизни соседей-крестьян, иногда прочитывала ему что-нибудь из Чехова или Горького.

— Это все не то!— говорил Нешатаев,— это меня мало питает. В какой-то книге я читал, что два пути у человека даны ему на выбор — по которому хочешь, иди. Первый — мирное созерцание, дремота, ибо жизнь — сказка, а природа — страдающее божество. Душевного покоя нужно искать, а остальное все смертно, тленно и не имеет никакой цены. Второй путь — это шествие вверх, к совершенству. Делая добро, мы идем к небесам. Восхождение Отца в лоно. Так было написано, я это понимаю, недаром меня называли в семинарии атеистом. Но что вернее, куда идти, какого компаса держаться?

— Ну что об этом говорить!— возражала Александра Павловна, наливая десятый стакан чаю Нешатаеву, который пил без конца,— не нашего это ума дело, расскажите-ка лучше мне, как вы жили в семинарии.

И рассказывал Михаил Васильевич, каждый раз увлекаемый своими похождениями, драками, спорами с законоучителем; карцером, куда сажали его не раз на хлеб и воду за вину и безвиние... А Александра Павловна смеялась, переспрашивала, сама добавляла разные случаи из своей жизни в Епархиальном училище. Так молодые люди коротали время.

Вечером, когда Нешатаев возвращался лесами с палкой в руке, казалось ему, что жить можно еще в Тимине; даже приходила мысль жениться. Но на другой же день тяжелые думы снова овладевали им.

Замолк голос учителя на вечеринках; угрюмый приходил он и через несколько минут, ни слова не сказавши, а лишь глубоко вздыхая, уходил обратно. «На этот раз сильно на него нашло»,— говорили кругом и опасливо посматривали на потемневшее, изменившееся лицо учителя.

Бесконечная вереница вопросов, жгучих, неотвязных, словно горячим молотом ударявших в мозг, так подавила

его, что он решился оставить родину и службу. «Вот вам последние деньги,— сказал он матери,— я еду в Казань учиться, мне нужно. Если не поступлю никуда, вернусь обратно».

— Ах, сынок мой,— заплакала Аксиныя,— отца похоронили, ты уйдешь, видно, и мне умирать надо.

— Полно, не охай, вернусь, не оставлю, благослови меня.

Сборы были короткие у Нешатаева: написал прошение инспектору об увольнении его, собрал свои пожитки в небольшой чемодан, нанял мужика, чтобы тот довез его до парохода — вот и все. Когда это было сделано, пошел к матери проститься; после обычных слез и причитаний сели на сосновые скамьи Аксиныя, Аграфена и Михаил Васильевич, потом встали, помолились Николаю-угоднику, а Михаил Васильевич, крестясь, думал: «Если помешают мне люди идти к тебе, поверить в тебя, то помоги, если существуешь ты, тем, которые после меня остаются одиноки и сиры».

После этого он вышел из старой избушки своего отца, сел в телегу мужика Семена и уехал, сопровождаемый восклицаниями, вздохами и благословениями матери и сестры.

«Странный человек, и как будто того...— говорил об учителе земский начальник Аксенов своим знакомым.— Порой весельчак первый и насмешник, иногда задумчивый и печальный; здоровяк с виду, а болен душой; был учителем, жил прекрасно и учил превосходно, но вот блажь пришла — и уехал в Казань учиться, даже не дождавшись ответа от инспектора, чудак». Так аттестовал Аксенов Нешатаева, который помогал в этнографических работах, не чуждому ученого тщеславия помещику, доставлял ему народные песни, описания быта, сказания о прошлом, минувшем.

Между тем Михаил Васильевич приехал в Казань. В красной рубашке, поверх которой был надет армяк, в лаптях и в соломенной шляпе ходил он по улицам, поглядывал на высокие мрачные дома, к небу идущие шпили колоколен, красивые мечети с луною на шпицах; одиноко бродил он по городу, вспоминая свои прежние проказы в семинарии или размышляя о смысле жизни, к чему должен идти человек. Явился он в ветеринарный институт с прошением о принятии его в число учащихся.

— Вы откуда?

— Соликамского уезда. Хочу учиться, чтобы узнать смысл жизни.

— Где раньше учились?— спрашивает директор.

— В семинарии.

— Отчего вы в лаптях — оригинальничаете?

— Я сын народа, который испокон веков в кóтах и лаптях. Лапти я предпочитаю кóтам.

— О! Вот вы из какой оперы. Нигилистов мы не принимаем.

— Я не нигилист, я хочу учиться, чтобы служить народу.

Но директор его не слушал, он убежал, сказав швейцару, чтобы тот не принимал его.

Михаил Васильевич отправился в учительский институт.

— Я кончил семинарию, примите меня в институт,— обратился он к инспектору — худосочному старику.

— Держите экзамен,— ответил тот, а затем, взглянув на его костюм, прибавил,— в таком костюме, конечно, на экзамен я вас не пущу.

— А если у меня нет другого костюма?

— Все равно, это меня не касается.

Где-то на время взявши нужную одежду, Нешатаев вместе с другими явился на экзамен. По математике Нешатаев выдержал блестяще; экзаменаторы удивились, но сочинение его было забраковано, найдено не моральным, антихристианским. Тема была «Значение романа».

В этом сочинении Михаил Васильевич доказывал, что если сжечь 99/100 всех романов, то мир приблизится к решению общественных и философских проблем сразу на несколько веков. В конце он добавлял, что самые важные науки — астрономия и философия. Преподаватель русского языка, осмеяв содержание сочинения словами «Если прав Нешатаев, то нужно упразднить литературу, тогда и мы бесполезны», прибавил: «Язык его и слог напоминают времена Кантемира и еще ранние».

Много других учебных заведений было посещено Михаилом Васильевичем, но никуда его не приняли. Между тем он знакомился с учащимся людом и расспрашивал, кто из преподавателей поученее. Гимназисты указали ему на одного учителя физики. Он пошел к нему и встретил высокого роста человека, улыбающегося, с окладистой бородой.

— Что скажете?

— Учиться хотел бы, да никуда не принимают.— И

Нешатаев рассказал ему свои похождения: то находят его великовозрастным, то не приходится ко двору.

— Да, трудно вам поступить при вашем характере, а если бы и поступили, трудно ужиться при нашем учебном режиме. Двери мира открыты не для вас,— говорил, мягко улыбаясь, с окладистой бородою человек.

— Видно, надо в ремесленники мне идти, а науками заниматься одному в своей каморке.

— Да, это хорошо. Вот если бы столяром, заказал бы я вам мебели рублей на двадцать: мы ведь сами, прохвосты, ничего не умеем делать, как только переваривать пищу.

— Мне вот сказали про вашу ученость, объясните мне, как узнали люди расстояние до Солнца?

— Это по треугольникам.— И учитель физики нарисовал Землю, Солнце, треугольники и объяснил.

— А как, по-вашему, что такое то, что существует?

— А этого, я думаю, никто не знает,— говорил учитель физики, ставши лицом к окну и глядя куда-то вдаль.— Тут всякий на свой лад говорит. Никто материи не свел на дух и духа на материю. Этого я, голубчик, не знаю,— прибавил он, ласково взглянув на Нешатаева.

— А для чего мы живем?— продолжал допрашивать тот.

— О! Какие вопросы задаете вы. Мы об этом никогда не думали. Одни думают, что в карты играть — настоящее дело; другие книжки читают, для иных театры необходимы, музыка нужна, а я вот без музыки живу, люблю решать задачи. В конце концов, думаю,— это, конечно, мое мнение: что люди и мухи — одно и то же. Вот тут мухи летали, пока было тепло, наступили холода, и замерзли они. Так и люди замерзнут, как тараканы, когда остынет Солнце или какой-нибудь хвост кометы сметет нас, как метлой, в один прекрасный день.

После долгой беседы, проведенной в том же духе, учитель физики с той же мягкой улыбкой, величественными манерами, поглаживая свою большую окладистую бороду, проводил нежданного гостя приветливыми словами из своей квартиры.

III

Не поступивши никуда, к зиме вернулся на свою родину, в угрюмое Тимино, село у замерзшего ручья на покато холме, Михаил Васильевич Нешатаев.

Он не тосковал, но был мрачен и побледнел. Кроме светлого мира, окружающего нас, который мы мало понимаем и в котором так плохо умеем жить, есть еще темные бездны, называемые душой.

Там бури и ураганы бушуют, незримые для глаза. Там что-то таинственное совершается, часто ломающее всю нашу жизнь.

Зима прошла, солнце вернулось на север, за солнцем птицы прилетели к холодным окраинам мира. Зашумели леса, травы высунули свои головки из-под земли и глядели на солнце; люди вышли на поля и думали о работах. Что же учитель? Не учил он своих детей, он бродил по лесам и болотам, по кочкам и думал о жизни и смерти.

Мать его плакала о том, что сын без места, что инспектор обратно не принял его, а послал нового учителя; сестра ломала руки: «Как будем жить, о Господи!»

Михаил Васильевич, глядя на деревья, на ели с красными и зелеными шишками, спрашивал: «Для чего мы живем? Ты, Солнце, сияешь для чего? К чему вечерней порой золотые звезды льют свои нежные лучи на холодную грудь земли? Увы! Не разбираем мы золотой азбуки неба. Там прочитали бы, вероятно, о смысле жизни. Жизнь! Но смерть еще таинственнее жизни! Давно хочу я испытать, что такое смерть, сон ли простой или нечто большее. Какая пленительная задача испытать, узнать это! Нужно ли еще жить после смерти или кончается с нею все? Или наши дни — жизнь куколки, запертой в темную оболочку, а за смертью наступят светлые дни легкопорхающей бабочки. О куколки мира! С темной пленой на глазах вы хотели напугать меня. Захлопнули предо мною все двери жизни и познаний, но главная дверь открыта — это смерть, и ничего не боюсь я, други и недруги мои! Загадка только прельщает меня...

Смерть, ты что такое? Истинная ли дверь познаний, открытая для всех, или дверь великого покоя? Как ты влечешь меня к себе!..

Позади меня — вся мелочь жизни, чиновники, дела, учителя, инспектора, ревизоры, мелкота и поверхность ровная, а впереди предо мною глубокая бездна... Идите, посмотрите сюда в эту глубину, в этот темный, бездонный колодец, сюда, где нет ни верха, ни низа, ни дна, ни крыши, сюда, где не видно отдаленных звезд неба, где под ногами нет земли, матери-земли, которую топчете вы, не ведая ее тайн. Смерть! Ты царица красоты, мать загадок, утешение мира, отдохновение и покой, заколдован-

ное жилище, где все — тайна и где все, покрытое тайной, обитает, все великое... О как много выиграю я, если за этими железными дверями, охраняемыми драконом — страхом, буду жить в новом замке, на отдаленных звездах, в чистых горницах Неведомого... Как много выиграю я, если после твоего первого поцелуя, желанная смерть, навеки уснет моя душа, и никогда она не проснется, и сны не посетят меня.

О, как сладко!»

Что-то безликое, властительное, зовущее, то сверкающее теплою весенней лаской, то надвигающееся, как невидимая темная рать нездешней силы, овладело душой Миханла Васильевича. Училище, ребята, книги, мать, поездка в Казань — все оказалось чем-то очень далеким, давным-давно пережитым, маленьким, неинтересным, как бы даже не относящимся к нему!

И целыми днями бродил он между кустами жимолости, ломая рукой ветки волчьих ягод, спускаясь с холмов, покрытых белым ягелем, в темные низины, где вечно прохладные ручьи текут, скрытые от людского взора мощными широкими руками темно-зеленых елей.

Голубые глаза его стали суровые и глядели куда-то внутрь, лицо осунулось и потемнело еще больше; на губах вспыхивала и пропадала улыбка, словно бывшая веселость и смех его переживали предсмертную агонию. «Да, этого меня никто не лишит, этого не отнимут, это мое», — шептал он время от времени и застывал на несколько мгновений в одной позе.

IV

Женское сердце Александры Павловны чувствовало беду; она заметила, как побледнел в эту зиму Михаил Васильевич после неудачной поездки в негостеприимный город Казань.

Хотя она редко видела его, только тогда, когда Нешатаев после своих скитаний по лесам иногда заходил к ней выпить чаю у ее приветливого самовара, все же этих встреч и кратких разговоров было достаточно, чтобы она догадалась, что какая-то струна оборвалась в душе Нешатаева.

Раз она ему сказала в глаза, когда он после большой прогулки по лесам в жаркий летний день зашел к ней в училище:

— Странно, право! Вы человек сильный, а как на вас подействовала неудачная поездка в Казань: как будто белый свет клином сошелся, есть же другие города и другие учебные заведения, если хотите вы учиться, а если нет, есть работа в народе...

— Не об этом я думаю, не это меня смущает, что не приняли никуда, а другое...— возразил Нешатаев.

После этого встал он и зашагал по комнате. «Не боюсь я жизни, но сил у меня много, а мне тяжело; что делать, не знаю я... Ах, как сил у меня много!» С этими словами взял он огромный стол с наваленными на него разными вещами и переставил все как перышко на другое место.

«Во мне много силы, а я жажду смерти»,— с этими словами вышел он от Александры Павловны...

Шел он лесом верст десять и дошел до знакомого холма, на котором росла высокая ель. Солнце уже закатывалось, вершина леса была озолочена его прощальными лучами. Михаил Васильевич встал на колени у корня дерева, взглянул на голубое небо и сказал: «Великий старик, вечно живущий, все знающий, ты простишь меня, своего ребенка».

После этого полез он на дерево и к толстому суку привязал веревку, которая была у него в кармане; в середине веревки устроил петлю, продел свою голову в эту петлю и повис... Веревка сжала ему шею больно, ноги задрожали, руки сжимались и разжимались... Круги разноцветных цветов замелькали перед глазами—желтые, синие, красные... и потом черная тьма покрыла взор, и тело успокоилось...

Он узнал смерть—решение смысла жизни.

Птицы кружились над деревом. Солнце взошло и опять закатилось, дни пролетали, шумели леса, а он неподвижно висел на дереве.

Дождь шел и переставал. Луна обернулась белым лебедем кругом земли, все осматривая на ней, тихо, молча, зная решение загадки мира. Веревка вонзилась в шею и перерезала ее. Туловище упало на землю, а голова в соломенной шляпе осталась в петле.

Через месяц мать нашла сына своего в лесу.

Через неделю после этого приехал в Тимино этнограф из Петербурга и пил чай у земского начальника Аксенова. Тот с чувством удовлетворенного тщеславия показывал

ему свои этнографические материалы, приготовленные им для статьи в «Живую старину».

— А вы разве знакомы с пермяцким языком? Вот в ваших описаниях приводятся пермяцкие выражения и описаны изумительно точно некоторые, знакомые мне по зырянам, пермяцкие обычаи.

— Нет, помилуйте! Это такая тарабарщина — наши инородческие языки, мне некогда этим заниматься. Признаться, эти материалы собирал и доставлял наш бывший учитель, который учился пермяцкому языку и даже умел говорить с этим народом.

— Как?— обрадовался гость.— Этот человек — находка, знает язык да и работать, видимо, умеет. Мне очень нужен помощник в этом деле, я с охотой взял бы его к себе.

В ответ ученому Аксенов рассказал трагическую судьбу молодого тиминского учителя.

«Бедняга!— подумал старый этнограф.— Глубокая и чистая душа, которой не нашлось места на земле, потому что люди не смогли понять его, а сосны и ели родного леса не смогли рассказать ему о том, чего жаждал он».

Вечером он уехал из Тимина, и в грустном шуме соснового леса, что плотным кольцом окружал село, слышались ему тяжелые вздохи погибшего учителя, зловещие сны и неразгаданные тайны носились над мрачным тиминским лесом.

АГАФЬЯ

Она была мещанка из города Усть-Сысольска, лежащего далеко-далеко на севере. Мужа Агафьи три года тому назад убили в Нытьве на заводе. Он был пильщиком, и редки те из людей, которые видели его когда-либо трезвым. С артелью товарищей или один Данила странствовал немало по белу свету, бродил даже по Сибири, но всегда, бывало, вернется ни с чем. По пути к дому зайдет в Вильгорт к тестю Онуфрию.

— Ну что, Данила, несешь что домой, аль нет?— спрашивает Онуфрий.

— Да есть маленько, только вот сапог не запас, дома

уж куплю, тяжело носить по далеким местам,— отвечает босой и оборванный Данила.— Дай, батя, твоих-то сапог, городом только пройду, а то посмеются люди, что из Сибири-де, а босой идет.

— Дал бы я, да ведь сапоги мои малы, а у тебя ноги, что горы.

— Я же ведь не надену их, Онуфрий Иванович, а только через плечо перекину, всякий видит, что с сапогами, а известно, сапоги не дешевы, беречь надо.

— Ну бери,— с грустной покорностью соглашается Онуфрий, наперед зная, что зять пропьет сапоги.

В ближайшем кабаке пропивает Данила сапоги и все, что можно пропить, а затем полуголодный, пьяный и свирепый является к своей жене.

Если хоть одно слово скажет Агафья, он возьмет, что под руку попадет, и жестоко изобьет ее.

«Ах ты, батюшки мои, несчастная моя судьба, зачем выдали меня семнадцати годков замуж, поторопилась мать, словно мачеха; что за житье мое!»— плачет Агафья и спасается от пьяного мужа к колодцу, куда собирались бабы для взаимных излияний.

— Сам-то, видно, гостинец с заводу принес!— язвит рябая Матрена.— Поглядела я давеча, как же. Изодранный весь, неумытый идет Данила, поди, ни гроша в кармане, люди сказывают, что в кабаке его видели.

— Что делать-то! Божья воля,— примирительно шамкает бабушка Дарья.— Против Бога да мужа не пойдешь, закон есть.

Агафья только дрожала от горя и обиды и причитала жалобным голосом перед своими ребятишками, которые тоже спешили подальше укрыться от грозного тятки.

Но всему есть конец, лишь бы терпенья хватило. Выросли дети. Тихие, молчаливые дочери вышли замуж. Сын Федя уродился в отца и с 15 лет научился пить водку. А беспокойный Данила, вступивший в драку с заводскими молодцами, был убит насмерть, и Агафья вдовой осталась. Зятя не жаловали ее за постоянное нытье и вздохи, сынпил горькую, и пошла Агафья в няньки к купцу Забугину. Наступила жизнь сытая и покойная. Агафья спала с ребенком день и ночь, просыпалась только затем, чтобы чаю напиться с баранками да с кухаркой поругаться. Купчиха Забугина всецело отдала своего семимесячного Митеньку на попечение няньки, а сама сидела за кассой в лавке да глядела за мужем и приказчиками. Через год такой жизни из слезливой, хмурой и тощей жены Да-

нилы Панюкова стала толстая, румяная женщина, ленивая и самодовольная. У купчихи, как и полагается, дети рождались ежегодно, и конца не предвиделось детскому писку. Агафья становилась все нужнее и нужнее. Хорошо жилось ей у Забугиных, но явилось неожиданное искушение, захотелось Агафье новых благ.

Был у нее брат, крестник, последний сын старика Онуфрия. Он ушел от родителей десятилетним мальчиком в большие города и с той поры все учился да учился. Молва ходила, что он высоко пошел и барином стал. Был он года два тому назад у родителей, весь в светлых пуговицах, дал старику-отцу 15 рублей. Народ толковал, что сам царь послал Никодима Онуфриевича посмотреть, как живут мужички на холодном севере, в какой тесноте и бедности. Брат Никодим всех расспрашивал, все записывал, со стариками в селе подолгу разговаривал. Сам становой читал его документы с царскими печатями и, не доходя, низко ему кланялся.

Вот и надоумили люди Агафью послать этому брату письмо. Все письмо наполнено было слезами и жалобами на горькую и одинокую судьбу. Все сиротство ее подробно описала молоденькая помощница учительницы, которая часто ходила к Забугиным и терпеливо выслушивала сетования Агафьи на прежнюю муку мученическую.

«И теперь, на старости лет, живу в чужих людях, сплю около зыбки. Авось, брат пожалеет и пришлет пять, а, может, и десять рублей; не мешают деньги, зятя больше уважать будут»,— думала Агафья.

Через месяц пришло письмо от сына к старику Онуфрию, и в том письме Никодим Онуфриевич звал свою сестру и крестную в столичный город Питер. Только что услышала об этом Агафья, поспешила к отцу в Вильгорт.

— Люди сказывают, что пришло письмо от брата и он меня к себе зовет в столицу.

— Вот слушай, я прочитаю письмо,— спокойно отозвался Онуфрий, надел очки и стал читать: «Дорогие наши родители! Получил я письмо от сестры Агафьи, где она говорит о своем горемычном житье. Если она здорова и в силах, то пусть приезжает к нам: мы с женой очень нуждаемся в хорошем и верном человеке, так как в Петербурге трудно такого найти, а в свою очередь мы Агафью вознаградим чем можем»,— тут старик что-то замялся.— «Ну, о тебе уж все, дальше нам пишет Никодим Онуфриевич. Так вот, Агафья, зовет тебя крестник к себе, что скажешь?»

— И денег 20 рублей прислал,— добавила быстро Филимоновна, мать Агафьи.

— Ах ты, ширококоротая,— рассердился Онуфрий,— 17 рублей стоит дорога до Питера, с харчами, я уж высчитал сегодня. Вполне довольно.

— Все утро сегодня считал, такой бойкий, как дело коснется рубль,— засмеялась над мужем старушка.

Агафья горько заплакала. «Да что это, батюшки мои, всю жизнь меня обижают! Выдали рано за пьяницу, все кости мне повылломал, в чужих людях живу от своего горя, спасибо вот брат пожалел, так и то три рубля отнимают. Нищему и копейка — великое дело...»

Но все жалобы и причитания были бесполезны: Онуфрий был кремнем, когда дело шло о деньгах. Он молча вложил письмо в старый часослов и, не слушая дочери и жены, пошел из избы.

Однако твердо решила Агафья ехать к брату. Взяла 17 рублей и по дороге к Забугиным с каждым встречным останавливалась, рассказывая о свалившемся счастье.

— Брат-то мой живет в трехэтажном доме, недалеко от царя,— давала Агафья простор своей фантазии,— полон дом у них прислуги, меня зовут, чтобы следила за всем, свой-де человек нужен. Не знаю, как посоветуете, добрые люди,— притворно спрашивала Агафья.

— Да чего уж тут, поезжай с богом, это тебе счастье Господь посылает за прежнее житье.

— Да уж, видно, так, надо ехать, нельзя ведь брата прогневать. Шутка ли, при самом царе служит,— продолжала упоенная собственными мечтами вдова Данилы Панюкова.— Только не знаю, Матренушка,— взволнованно обращается она к прежнему врагу,— одежду-то мою придется всю здесь оставить, а там платье модное надену, длинное-предлинное носят, с хвостами, как наша исправничиха. Брат-то с невесткой гостятся все с высокими людьми, надо и мне с ними ходить. Родная, скажет, сестра приехала, да к тому же и мать крестная. Ну да научусь как-нибудь столичным порядкам и хоть на старости поживу по-хорошему.

И слезы радости лились из глаз умиленной Агафьи, и крестилась она на отдаленные кресты церковей, и хотела бы крикнуть всему городу: «Вот она я, Агафья Панюкова!»

Слава о Никодиме Онуфриевиче в родном углу была действительно велика. Он первым учеником кончил школу, убежал от родителей и сам поступил в городское учи-

лице; кончил в губернском городе семинарию, учился во всех училищах, потом на казенный счет отправили его в столичный город дальше учиться, там он, говорили люди, лет двенадцать все учился высшим наукам, ученые книги сам писал, прислал одну отцу, так и заглавия-то никто не понял, а в книге такая мудрость, что и учительница ни одного слова не разобрала. «Это особые слова для самых ученых людей, их надо по словарю иностранному учить,— сказал писарь,— а вам, темноте, нечего тут и стараться, напрасно все!»

— Умная книга, нечего и говорить,— вздыхал старик Онуфрий,— смекаю я, что о душе тут хорошо сказано, да грамотен я мало.— И он благоговейно укладывал книгу на полку, близ божницы.

Все с завистью глядели на Агафью. «Этакое счастье дуре привалило!»— думала Матрена и ласково добавляла:

— Своих-то озолотишь тогда?

— Как же, как же, о ком мне и радеть, как не о дочках родимых. Конечно, уж не так жить они станут. Жалованье ведь большое получать буду, 15, а может, и 20 рублей, да подарки — не забугинским чета. Только стара уж я, без году пятьдесят лет, наряды уж ни к чему. Продам лишнее, а денежки и старухам сладки.

Купчиха Забугина, хотя и была огорчена, что останется без няньки, к которой привыкли детишки, но удерживать не решалась. «Кто себе враг?— думала она.— Уж если именитый брат зовет к себе нашу Агафью, так где ей в няньках у нас жить. За пять рублей в месяц не останется, да и не было бы какой неприятности, что отговариваем».

— Делать нечего, Онуфриевна,— ласково говорила она,— конечно, брата на меня не променяешь. При больших делах ему нужен свой человек. За верный да честный глаз никаких денег не жаль, что говорить.

— Не неволь меня, Анна Харитоновна,— с достоинством отвечала Агафья,— сама знаешь, брата прогнать нельзя, да и не одним купцам да господам сладкого хочется. И то всю жизнь радости не видела, пора отдохнуть.

При прощании вышел у них маленький спор. Агафья не дожидая до конца месяца десяти дней, и, рассчитывая, Анна Харитоновна хотела удержать эту часть жалованья, но Агафья выразила такое негодование, подняла такой вопль, что купчиха отступилась, и они со слезами на глазах расстались.

Напекла Авдотья своей матери ржаных лепешек, дала ей молока туис, и Агафья, крестясь и сморкаясь, села на

пароход. Холодно и грязно было ехать на пароходе, и не раз она, ложась на своей мешок, вспоминала лежанку у купчихи Забугиной.

— Пу да бог даст, доеду до столицы! У брата постель будет получше Забугинных. Пуховики да перины, наверно, везде. Слуг-то ихних заставлю каждый день мою пачину трясти, лягу, как в воду.

Мечты, основанные на том, что брат учен, следовательно и богат, вознаграждали Агафью за все неудобства долгого пути. Немало оживляли ее и разговоры, которые заводила она с попутчиками о своем знаменитом брате.

— Брат-то больно учен, 12 языков знает и от самого царя по всем народам ездит, доносит, где какое утешение. А невестка-то в Питере взята, тоже ученая, без приданого за ученье взял. Да на что ему приданое, коли сам царское жалованье агромадное получает. Отцу посылает каждый месяц 10, а то и 15 рублей. Старик уж и накопил немало. Много ли в деревне двоим нужно? Двух рублей не проедят, деньги-то чуть не гниют у него в подполье, так сушит их на огороде, как никто не видит.

Ее внимательно слушали, сочувственно кивали головой и втайне завидовали: вот-де простая баба, а такого брата имеет.

Пять дней ехала Агафья на пароходе, потом села на железную дорогу. Удобств стало еще меньше. В вагоне вонь, теснота, крик, споры, не только лечь, сесть было негде.

— Уж добраться бы до Питера, как в аду!— начинала ворчать и озлобляться Агафья.— Какую муку терплю для брата. За одну дорогу пенсию надо положить: все кости заболели, словно покойник Данила, царство ему небесное, поколотил!

— Садитесь, милая, здесь место есть!— вежливо обратился к ней пожилой господин в пальто и шляпе.

Агафья села на лавку и, подкупленная ласковым тоном соседа, решила вступить с ним в разговор:

— Вот я в Петербург еду, к брату Никодиму Онуфри-су Пенькову, поди знаете его, коли из Питера вы.

— Я из Петербурга, но такого не знаю,— улыбнулся незнакомец,— в Питере миллион народу, голубушка.

— Таких, как брат, немного, он у самого царя служит.

— А я на резиновой мануфактуре служу, и где же мне военных знать.

— Он не солдат какой-нибудь, а ученый, книги пишет.— И обиженная Агафья насупилась.

Через сутки приехали в Санкт-Петербург. Вместе с толпой Агафья вышла из вагона, мужественно перенося все толчки и окрики. С огромным мешком на спине и с пустым туйсом в одной руке, вытирая другой рукой катившийся по лицу пот, подошла она к первому попавшемуся извозчику:

— Вези меня к Пенькову, Никодиму Онуфриевичу.

— Пенькова дом не близко, — усмехнулся плутоватый парень, — рублик, тетенька, пожалуйста.

— Бог с тобой, бери, только вези скорее, — говорила измученная Агафья, с трудом влезая в пролетку.

Через четверть часа извозчик остановился у огромного дома и сказал, что это и есть дом Пенькова.

— Что же ты рубль взял, коли так близко, этак-то я и пешком дошла бы.

— А за науку, мамаша, всегда деньги платят: теперь знать будете, где найти — ступайте во двор, поднимайтесь в третий этаж и звоните.

Извозчик хлестнул свою лошадь, и Агафья смело вошла во двор; растерявшись на мгновение от множества подъездов, она выбрала более шикарный и, крихтя, стала подниматься. Вдруг словно из-под земли вырос перед изумленной деревенской бабой сердитый, весь в позументах человек с грозным окликом:

— Сюда торговкам и тряпичникам воспрещается ходить.

— Да я, мой батюшка, сестра Никодима Онуфриевича; к нему приехала по зову, у меня письмо есть. Пропустите вверх, сделайте милость.

— Никаких Онуфриевых здесь не проживает, дом казенный, уходи скорее, пока никто не видел.

— Да что это такое, батюшки! — взвизгнула Агафья, — к брату родному не пускают. Ты, мой батюшка, может, тоже большой чиновник и надзирать приставлен, а мне указал мой же ямщик, что брат здесь живет. Прямо сюды подвез; брат он мой в казенном, должно, доме и есть, у царя служит. Пеньковы — наше прозвище. Я не зря иду, а ямщик привез. Что это, в столичном городе да обижать сирот! Я, ваше благородие, родная сестра Никодиму-то Онуфриевичу, да и крестная мать, легко ли сказать.

Увлекаясь, Агафья постепенно повышала свой бабий голос, и обеспокоенный швейцар проводил ее в дворницкую. Дворники вдоволь насмеялись, узнавши про злую шутку извозчика, и когда Агафья извлекла из-под пазухи бумажку с адресом Пенькова, то младший вывел злопо-

лучную путешественницу за ворота и пространно растолковал, как идти на Петербургскую сторону.

Голодная, обескураженная неудачами, усталая до последней степени, без гроша в кармане, через четыре часа плутанья, Агафья подошла к деревянному флигелю, поднялась во второй этаж, и на ее звонок двери открыла бледнолицая женщина с ребенком на руках.

— Здесь живет Никодим Онуфриевич Пеньков?

— Что вам нужно?— спросила женщина, подозрительно поглядывая на огромный мешок вошедшей.

— Я его сестра, приехала по письму.

— Ах, так вы Агафья Онуфриевна!— и бледнолицая женщина радостно улыбнулась,— раздевайтесь, пожалуйста, садитесь, отдохайте, я сейчас положу Васю и самоварчик поставлю.

— Вы прислуга?

— Нет, я жена вашего брата, меня зовут Еленой Александровной.— И, унося ребенка в другую комнату, она скоро вернулась с какими-то пеленками, которые спокойно развесила в кухне.

Агафья сидела подавленная. Что же это? Квартира маленькая, прислуги, видимо, нет, сама невестка в ситцевом платье ставит самовар, приветливая, веселая, на барыню мало похожа.

— Вы без прислуги живете?

— Родная! Мой муж — начинающий ученый, о деньгах ему некогда думать, служить чиновником не может, я зарабатываю мало, потому что — ребенок, не с кем его оставлять. Вот мы и обрадовались, когда получили ваше письмо, вы нам будете очень полезны, и мы, надеюсь, устроим вам родной угол, где вас будут любить и уважать. Проживем мы с вами и без больших денег. Умойтесь-ка с дороги и давайте пить чай, я сейчас сбегаю за свежими булками.

Ласковая такая невестка, угощает хорошо, рассказывает про мужа, хвалит его, говорит, что они очень счастливы; но тяжесть залегла в сердце Агафьи.

— Отчего же царские печати у брата на документах, когда он приезжал на родину, и пуговицы светлые в два ряда?

— Он был тогда студентом и уже занимался исследованием инородцев, так ему и дают командировочные листы от университета и Географического Общества, а эти учреждения называются Императорскими.

— Какая же его служба и велико ли жалованье?

— Он готовится к профессорству, и университет платит ему 50 рублей в месяц; за статьи немного получит, да я приработаю, вот рублей 100 и наберется.

— 100 рублей — не малые деньги, а вы бедно живете, хуже наших чиновников, бедно у вас все и плохо.

— Чем же плохо, Агафья Онуфриевна, сыты, одеты, даже вот отцу можем помогать, а 100 рублей в столице, милая моя, небольшие деньги.

Не было легче на душе Агафьи. Квартира чистенькая, хотя всего три комнаты, одна крошечная, вся занятая книгами и бумагами; в самой большой, светлой ее поместили с маленьким Васей, но не мирится с этой обстановкой Агафья.

Живет, как во сне, и все порядки ей не нравятся. С невесткой говорит мало, а только вздыхает и чувствует себя, как в клетке. Прежние восторженные мечты сменились глухим недовольством и презрением к братниной жизни. Надменной, недоверчивой улыбкой отвечает она на речи невестки.

— К чему так много дворнику дала за прописку? Я не ссыльная и не беглая какая-нибудь, а по мужу-то мещанка.

— Столько нужно, Агафьюшка, 1 рубль отдаю на случай, если заболеешь, бесплатно тогда в больницу примут.

— То-то,—ворчит Агафья и ложится на постель.

Елена Александровна часа на три каждый день уходит, и Агафья спит без нее, а Вася иногда спит или с игрушкой возится, а иногда плачет, и приходится ей подушку на ухо класть, чтобы не мешал. Застала раз это невестка и даже побледнела еще больше.

— Как, Агафья, ребенок кричит мокрый и непокрытый, а вы спите с подушкой на голове! Это же нельзя так! Чужая дворничиха и то никогда так не делала. У вас голова, верно, болит?

— Теперь не болит, а заболит скоро от этого житья. Без прислуги живешь. Хотела чаю напиток, пока Вася спал, гляжу — вся посуда немытая. Что это за горе мне! Всякое дело делай, а о жаловании разговору нет... Я сирота, мне деньги нужны.

Пенькова молча достала из комода 4 рубля и, подавая Агафье, прибавила: «Каждый месяц вы будете получать эти деньги, что о том беспокоиться. Но, конечно, нужно знать свои обязанности — следить за ребенком, мыть его чаще, менять пеленки, не давать ему кричать».

Серьезный тон барыни совсем не понравился Агафье:

— Ты женщина молодая, не битая, все можешь делать, а мне без году пятьдесят, да только тело у меня белое да пухлое, а кости все разбиты. Мне покой да уход нужен.

Ничего не ответила Елена Александровна, а только менее ласкова стала; правда, не кричит, не бранит, кормит хорошо, а строго выговаривает, если пеленку не сме-нит или не услышит, как ребенок плачет.

Ночью сидит Елена Александровна, словно подневольная, то шьет, то читает, то пишет что-то, никуда на вечера не выходит, и гости все такие же, как и она, не нарядные, и все куда-то торопятся.

Утром Вася рано просыпается, в 5 часов, и барыня посылает Агафью с ним в сад. «Воздух теперь очень чистый, народу нет, да и я посплю немного, а в 8 часов возвращайтесь — вот вам булка и молока бутылка, возьмите с собой: в саду и попьете».

— Диво!— думает с обидой Агафья,— в 5 часов вставать надо, да ребенка в коляске в сад везти! У Анны Харитоновны спим с детками-то малыми до 9 часов, напьемся чаю с папушником, да опять спим. Нарочно окна, бывало, завешу шалью, чтобы спать солнышко не мешало. А теперь! Вот так житье! Нет, уйду от них, только брата дождусь. И что это он на целое лето от семейства уехал к каким-то некрещеным! За черемисов, известно, жалованье большое не положат. Разве нужны царю некрещенные?

И на все наказы Елены Александровны беречь Васю, не уронить из коляски, не оставлять мокрым, Агафья молчит и смотрит на невестку с нескрываемой враждебностью.

— Такая злющая, такая нехорошая, что жду не дождусь брата, нажалуюсь ему, спрошу денег, да и уеду на родину!— визгливо жалуется она соседней кухарке в то время, как барыня запирает за нею дверь, отправив ее на утреннюю прогулку.

— Барыня-то ровно бы добрая такая,— отвечает кухарка,— дворничиха очень ее одобряет. Здешняя-то дворничиха ведь у них все служила, а потом перед Пасхой-то свекровь ее в деревню вызвала, на работу. Пеньковы взяли прислугу молоденькую, а она и убеги на всю ночь к околоточному, после того старушка убогая жила у них, да видела плохо, говорят, ребенка-то уронила раз. Однако барыня ваша ее жалела, и ту старушку в богадельню на Кирочной улице определила; Пенькова-то барыня ведь у каких-то князей детей учит, так через них многое сделать может. А теперь вот и вы приехали, свой человек.

— У князей учит, а всего одно платье и то черное. До-

ма сама в фартуке обед варит и получает, говорит, немного. А брат будто каждое лето все ездит по каким-то диким местам. Как же прислуге тут жить!

— Это верно, что наша сестра ищет жалованья побольше, а они платить дорого не могут. Барин-то, кажись, не очень здоровый, а одна женщина, хотя бы и ученая, с ребенком много не заработает.

— Кабы я знала, что такая бедность, в жизнь не упустила бы места у Забугиных. Там 3 рубля получала да над ребенком-то была сама большая: что хочу, то и делаю.

Дома жила, с дочками-то каждый день виделась, а здесь как в тюрьме. Брат-от, видно, заучился, а она и мне книжку читать, да к чему старухе ученье? Я, грешница, и уснула, мальчик тоже дремал, чуть не упали оба мы со стула-то; ладно, она вовремя опомнилась и взяла Васютку-то. Ну, не кричи, на соску!— затрясла Агафья коляску, в которой беспокойно двигался ребенок.

— Вези уж мальчика-то, тут на площадке сквозной ветер, еще простудишь,— говорила кухарка, помогая Агафье провезти коляску через выходную дверь.— Полно, привыкнешь,— утешала она,— ведь у вас обращенье хорошее, да и после не оставят тебя; кум-паспортист из нашего участка сказывал, что Пеньков-то чины уже получает и до большого звания дойдет, бывали примеры. Теперь только они перебиваются. Не тужи, привыкнешь.

— Они и звали бы, когда до чинов дойдут. Сами перебиваются, а еще и меня выписали.

Кухарка повернула на рынок, а Агафья, неуспокоенная и сердитая, шла в ближайший сад и начинала свои жалобы перед нищими старухами у церкви Матвея Апостола, близ сада. «Такое дело, такое дело!»— бессмысленно и равнодушно вздыхали старухи, и недовольство Агафьи росло, и было оно тем больше, что высказать некому, да и не понимает ее никто. «Сама, дура, виновата: польстилась на Даниловы пожни и дом в городе, вот он тебе и вспахал спину-то!»— говорила, бывало, мать на ее жалобы во время тиранств покойного мужа. «И теперь сама виновата»,— шептал какой-то голос из глубины, но это было несосно.

— Всю жизнь, всю жизнь я несчастная, все меня обижают.

После полудня в сад набиралась публика, много детей, много прислуги. Агафья любила отводить душу с одной болезненной, истощенной женщиной, которая сидела с чулком в руках, в то время как два ее бледных, кривоно-

гих мальчика играли в песке. Она была жена швейцара в большом и богатом доме и уютилась со своими двумя детьми в треугольной клетушке под парадной, уставленной цветами лестницей.

— Отчего у вас детки такие бледные?— спрашивает Агафья.

— Без воздуха живем всю зиму, милая, да и летом-то едва урвешься из дому. Богатые господа швейцарам да дворникам, сами знаете, по одному образцу с собачьей конурой помещение делают, да из этакой-то конуры ребя-тенки и выглянуть весь день не смей. Еще у нас, спасибо, жить позволяют с семейством, а в другом месте и этого не дадут. Где хочешь, тут и живи.

— Теперь лето, в деревне воздух лучше, а здесь у вас в столице тяжело, пыль, грохот, вот у меня вся голова разболелась. Каюсь, что приехала в такое пекло. Ни покою, ни радости...

— Разве я не уехала бы в деревню!— с горечью воскликнула жена швейцара,— да ведь к кому? Сама я питомка, служила горничной, 12 рублей получала, да надоело дуре подневольное житье, к тому же и барин старый приставал, а барыня фыркать начала; ну, думаю, щей горшок да сам большой — а теперь близок локоть, да не укусишь! В деревне, в деревне!— возбужденно говорила женщина, быстро передвигая спицами,— была я одно лето у мужниной родни, так денег увезла 50 рублей, да и того мало на ихние недостатки, а потом в рабочее время смеяться до корить начали, что сижу дома у зыбочки, как старуха, да чулки вяжу... А я и рада бы, да серпа в руки взять не умею. Нет, нынче дорог стал воздух-то, продается только господам... А едят что в деревне, господи! Да я высохла вся там за лето, с одного воздуха сыт не будешь. А грязь-то у них, тараканы, ругань постоянная. Из-за старой ветошки дерутся. Нет, я не привыкла к такому обращению!

— Вот ведь какие жалованья бывают! 12 рублей девушка получает, а няньки у купцов здешних, чай, еще того больше,— завистливо промолвила Агафья, не интересуясьнисколько мнением петербургской горничной о деревне.

— С чайными-то иные и больше получают, особенно если у докторов модных или адвокатов. В нашем доме вот живет одна у доктора, так больше 20 рублей в месяц получит, да ума у дуры нет: на шляпки да ленты тратит все, а потом плюхнется замуж за какого-нибудь пьяницу,

либо на панель гулять. Наша судьба ведь известна очень хорошо, только ума ни у кого от этого не больше.

— Вот ведь по 20 рублей получают люди, верно же я думала, только место такое надо найти!— и Агафья со злобой думала о невестке, живущей в бедности.

— Так долго нельзя гулять, Агафья Онуфриевна,— встретила та Агафью по возвращении домой.— Васю пора яйцом кормить, мне на урок нужно идти, да и волнуюсь я, когда в срок не приходите. Пожалуйста, больше не запаздывать, чтобы это было в последний раз.

— И то я как в темнице живу, людей никого не вижу, денег не имею, доживу только до брата и уйду,— огрызулась Агафья.

— Разве уж у вас нет денег? Может быть, вы своим хотите послать, я могу дать еще рублей 6,— и она сосредоточенно задумалась, чего должна лишиться себя, чтобы выкроить эту сумму из строго определенного бюджета.

— Велики ли деньги 4 рубля, люди в прислугах по 20 получают,— вывела ее из соображений Агафья,— вы и без прислуги можете прожить, а я за четыре рубля не стану целые ночи глаза на подпорках держать. Мне знакомые прислуги найдут место у хороших господ, у богатых.

— Напрасно вы много разговариваете с прислугами.— Елена Александровна побледнела и потом тихо спросила:— Чем же вы недовольны? С вами ласковы, трудно, правда, возиться все время с ребенком, но ведь без труда нельзя, и муж мой, и я постоянно работаем. Сейчас, конечно, нам трудненько, но потом настанут лучшие времена. Никодим выпустит свою книгу, мы с вами продавать ее будем, защитит эту книгу перед учеными, тогда ему ученое звание дадут, будет учить взрослых людей, студентов, и получать, конечно, больше будем. Вася вырастет, мы хорошо тогда с вами заживем. Зачем идти к чужим людям? Кушайте, здесь суп и мясо,— заторопилась Елена Александровна,— а потом переоденьтесь, тяжело в вашем сарафане, возьмите себе мой серый капот, он мне широк. До свидания! Не тоскуйте здесь!— и, целуя своего Васю, молодая женщина поспешно вышла из квартиры с книжкой в руке.

Размякла под влиянием ласковых слов и подарков Агафья, но ненадолго. Опять разговоры с прислугами смущили ее покой, и скучна была ей жизнь у Пеньковой.

— До брата, поди, еще месяц, и я так похудела от

тоски, есть ихнего супу уж не хочу, только сладкое и могу теперь принимать.

Мало сплю, мальчишка беспокойный. Захворала я.

В один унылый дождливый день Елена Александровна, вернувшись с урока, опять застала Агафью лежащей на кровати, а Вася ползал по полу и набивал себе рот какими-то корками, неубранными после обеда. Не раздеваясь, схватила она мальчугана, вымыла ему лицо, извлекла из рта массу ненужных вещей и, наконец, оставила строгий и печальный взгляд на Агафью. Та лежала с платком на голове в пальто; рядом на стуле лежал какой-то узелок.

— Что же это значит?

— Ну вот и ладно, что пришла; мне невмочь было; хогела не дождавшись уходить, да Васю пожалела: все ведь своя кровь, племянник как-никак.

Глаза у Елены Александровны стали еще больше:

— Что такое? В чем дело? Куда это вы собрались?

— В больницу, Елена Александровна, хочу отлежаться до брата-то; он приедет, удивится, что худая такая стала да невеселая.

— Ничего не понимаю! Как же в больницу прямо, ведь вас не примут. Нужно, чтобы доктор осмотрел и нашел болезнь определенную. А что у вас болит?

— Вся больна, кости болят, голова болит, спину ломит, под сердце подкатывает, руки устали все ребенка поднимать, а ведь он тяжелый такой. Вся расхворалась.

— Из-за этого не примут в больницу. Скажут, отдохните дома.

— Как не примут?— Агафья спустила ноги с постели.— Как это можно не принять? Напрасно меня пугаете вы, за больницу целый рубль отдали, а не я деньги получала. За свой рубль я хоть неделю полежу, отдохну до брата...

С трудом Пенькова доказала, что рубль больничного сбора не является основанием непременно лечь в больницу в любую минуту на отдых. Агафья успокоилась только на второй день, когда Елена Александровна пригласила знакомого доктора осмотреть ее.

Тот с усмешкой посмотрел на толстую, краснощекую нянюшку, постучал ей в живот и сказал:

— Меньше нужно спать и есть полегче. Вы, Елена Александровна, дайте ей на 10 копеек *olei ricini*, тогда у нее голова не станет болеть, а таких болезней, как у нее, дай бог всякому. Вы несравненно более больны, чем эта ваша упитанная нянюшка.

— Вы мне, господин доктор, бумагу напишите, чтобы меня в больницу приняли, не пропадать же моему рублю,— кивнула она Елене Александровне,— а лекарство мне нужно дорогое, хорошее, а не на 10 копеек, этакие-то и в нашем городе есть.

— Откуда вы взяли такую дуру?— по-французски обратился доктор к Пеньковой.— Стоило выписывать такое вздорное существо!

— Да понимаете, Николай Петрович,— оправдывалась Елена Александровна,— мы ведь совсем иначе ее себе представляли, а знаете мое положение. На уроки ухожу, здесь хорошую взятку денег нет, а кое-какую, через контору да через дворников,— намаялась я с петербургской улицей.

— Эх, везде *rescupia odiosa*! Плохо приходится у нас начинающему ученому, а такому, как ваш супруг, тройне плохо: двери жизни устроены для среднего человека, а он ни ползком, ни ничком пройти не умеет. Однако предсказываю ему славную будущность. А я на днях слышал от секретаря географического общества — мы ведь приятели, что г. Пенькову нынче золотую медаль дадут за исследования каких-то там чукчей или черемис. Видите, слава уже улыбается, а там и деньги пойдут.

— Слава — еще не деньги, да и слава ли — медаль за специальный вопрос? Очень много похвал слыхала я Никодиму от старых ученых и пророчеств приятных. В специальных изданиях пишут о нем, как о серьезном ученом, уже два года, а видите, как живем. Вы знаете моего мужа и можете ли представить его с деньгами и в хорошей обстановке?

— Знаю, знаю, Елена Александровна, не от мира сего человек он! Не вовремя родился, либо опоздал, либо рано родился веков этак на пять. А нянюшку свою не забаловывайте, пусть помогает вам побольше,— говорил доктор, прощаясь.

— Ну, и доктор-то у них неважный,— ворчала недовольная Агафья,— на 10 копеек лекарства велит пить, а не послушал хорошенько и разговору моего, ничего не спросил, не разузнал, стукнул в брюхо да и все тут.— И снова думала она о том, как бы вырваться из постылой жизни.

Тут стал Вася хворать. «Растет малец, а кормят его мало, оттого и хворь,— говорила нянька, но доктора велели увозить его в деревню. Обрадовалась Агафья и стала

просить Елену Александровну приискать ей хорошее место.

— Вы, Агафья, неграмотная, с претензиями и не знаете правильного ухода за детьми, я не могу найти вам место на 15 рублей, а поскромнее, попроще — похлопочу с удовольствием, — ответила Пенькова, но Агафья решила сама найти богатое место. Подруга барыни и крестная Васи уговорила не брать Агафью в деревню, где она совсем не нужна, и осталась Агафья одна в квартире Пеньковых. Разменяла она десятирублевку, данную ей барыней, и деньги таяли, как воск: все купи, и все дорого. Целыми днями просиживала в саду, толкуя с прислугами, и насоветовали ей поступить на какое-то место, а то летом можно совсем без дела остаться. Послала Агафья часть денег дочери и написала через дворника, что хворают, что воздух в столице вредный, что сильно скучает по родине; о бедности брата ничего не сказала: стыдно было. Поступила к бакаленику на место. Пятеро детей маленьких, за всеми гляди одна, а пища много хуже, чем у невестки. Через неделю получила рубль и ушла к богатым евреям, золотом и серебром торгуют, положили жалованья 7 рублей, с девочкой годовой водиться. Квартира большая и хорошая; ласковая, ничего себе хозяйка, да с души рвет от еврейской пищи: мясо едят какое-то черное, ягоды дают в деревянном масле, чай жидкий и часто холодный — нет, не житье; ушла Агафья через девять дней и в больницу просилась. Не взяли, а только смеялись над ней. Сказала знакомая швейцариха, что место есть на 10 рублей у богатого протопopa, пошла туда Агафья. Протопopица к ней вышла молодая, красивая, в шелковом платье.

— Вы от кого, голубушка?

— К вам на место проситься, 10 рублей, говорят, жалованья даете.

— А есть у вас рекомендация?

— Я жила у барыни Пеньковой, недалеко отсюда, она вам меня похвалит; я честная и верная, чужого ни в жизнь не возьму; все у хороших людей жила.

Свежее румяное лицо Агафьи, ее простодушный деревенский вид понравился матушке, и она сказала:

— Принесите рекомендацию с последнего места, я посмотрю. Только у меня нужно одеваться по-городскому; волосы наперед завивать, платье коричневое шерстяное, белый передник и чепчик — ваши, жалованья первый месяц — пять рублей, а потом, если понравится, десять.

Приуныла Агафья. Платье надо, да чепец на голову,

волосы завивать, видно, как исправничиха или землемерша. «Батюшки мои, да ведь я вдова, и мне без году пятьдесят. Нет, правду старик-отец часто говорил: «Питер бока вытер». И никто тут не жалеет, все как осы; сколько знакомых женщин, сидели каждый день в Матвеевском саду, а никто чайку попить не позвал. Невестка добрая, да при бедности доброта мало значит». И опять обида на брата, на их обстановку овладела сердцем Агафьи. Мир недавних грез и мечтаний возбуждал горечь и досаду, и тихий родной город на севере начал казаться ее душе Иерусалимом. Пришла Агафья на квартиру, связала в узел две подушки, одеяло и, по совету швейцарихи из соседнего дома, снесла в ломбард, где ей дали девять рублей.

— Я ведь не чужое взяла, а у своих!— успокаивала она свою слабо протестовавшую совесть: шутка ли, сколько натерпелась из-за брата с невесткой. Недостающие на обратную дорогу деньги дал дворник: «Отдадут господу Пеньковы, не пропадет за ними»,— сказал. С разбитыми мечтами и с нагруженным всякими вещами мешком отправилась Агафья на родину.

В сентябре приехала с Васей Елена Александровна, скоро вернулся из путешествий и Никодим Онуфриевич.

— Что за непроходимая глупость и какое-то обидное упорство у нашей Агафьи! Ведь только из-за этого настрадалась бедняга!— закончила Пенькова свой рассказ мужу о родственнице.

— Это среда, из которой я иду, мой друг! Что делать! Бедный мой север! Агафья— не одна. Таковы все женщины у нас, не знающие ни школы, ни жизни; да и мужички не много счастливее. Трудно развиваться людям на холодной и далекой окраине. Много еще дела там культурным работникам, но будем ждать.

ИЗ ДНЕВНИКА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МАСЛОВА

I

Корень моего рода из одного северного городка. Предки мои были мещане среднего достатка. Однако, по причинам, о которых расскажу я в другом месте, я очень не-

высоко поднялся по лестнице жизни и в описываемое время был чиновником или, вернее, писцом в земской управе. Жизнь была очень однообразна у нас в долгую, холодную северную зиму и в короткое жаркое лето.

Придешь, бывало, в управу (дом, окрашенный в синюю краску, посреди города), там разговоры, сплетни о купцах, о купеческих дочерях, о мещанах, о чиновниках высшего ранга, каков лесничий, земский начальник и др. Потом сядешь за скучные бумаги, а товарищи твои играют в карты в присутственном месте. Да и чего смотреть? Члены управы — неотесанные мужики — только и норовят о том, как бы в карман положить себе, взять выгодный подряд от имени управы через своего кума или свата...

Такие самодуры! Так, один член управы ездил в свою деревню в баню на земских лошадях...

Да что говорить! Если бы все рассказать, это был бы том книги (а может быть, когда-нибудь расскажу). В моей же жизни ничего не было светлого и радостного.

Дома у меня был больной отец: хотя у нас вотчина большая, жить было трудно. Все заботы лежали на матери. Она постоянно была расстроена и меня бранила за бесхозяйственность, за безжизненность. Оно и верно было. Я мало думал о делах. Если, бывало, попадетя книжка Майн Рида или Франциль Венциан, или какое путешествие, то заберусь я на старый сеновал, закроюсь сеном, меня и не видно, хоть ищи день, меня не найдешь. А там в щелочку я читаю и мечтаю. Все собирался куда-нибудь в лес убежать, чтобы жить по-своему, и убежал бы, да одна печальная история разбила мое сердце.

II

В нескольких верстах от нас есть село Выльгорт. Там жил торгующий крестьянин Иван. Его лавка была в городе. Он каждое утро приходил из села, а на закат солнца возвращался к себе. У этого долговязого, скупого человека была дочь Христина.

Первый раз я увидел ее на волоку между селом и городом. Я гулял как-то раз по полям и лугам и вышел на мирскую дорогу. Осмотрелся я и вижу: идет девица с наберушкой в руке. Походка... ну как вам сказать... как будто гагара плывет по зеркальной реке.

Приблизилась ко мне и на меня взглянула, душа моя упала. Глубокий, мягкий взгляд ее черных глаз коснулся моего сердца и изранил навсегда. Я хотел подойти к

ней и заговорить, но не был в состоянии. Христина Ивановна прошла мимо меня и удалилась по направлению города, а я продолжал стоять, как каменный столб. Потом ко мне подошла знакомая мещанка (не знаю, где она была, я и не заметил ее) и сказала: «Ну что, поправились?» «Кто она такая?—спросил я» (я видел первый раз Христину Ивановну)... «Она дочь купца Ивана из села Вильгорта».

Вот начало моего несчастья. Конечно, на другой же день после службы я был уже в селе. Брожу по деревне, завожу разговоры (тогда я ужасно был глуп и со всеми говорил о том, о чем щемило только мое сердце), спрашиваю о девушке Христине Ивановне...

— О!—говорят,—умница, первая в деревне Дав. Со старыми говорит по-старчески, с молодыми — по-юному, никогда ни на кого не сердится. Всегда ровная, не много говорит и не много молчит.

Словом, так о ней много наговорили, что я вечером и зайти к ней не осмелился, только издали полюбовался их большим деревянным домом с раскрашенной крышей и с большими окнами.

В следующее воскресенье (конечно, в самое ближайшее) я отправился с некоторыми приятелями в село Вильгорт. Там были мы в церкви и простояли обедню, а на обратном пути, как бы ненароком, зашли мы к купцу Ивану. Какой-то предлог, помню, придумали приятели — ведь друзья услужливы. И пока они что-то важное сообщали Ивану, я подошел к Христине и представился. Она просто подала мне руку (и, кстати сказать, рука была жесткая и очень сильная, очевидно, она много работала) и, подавая мне руку, девушка промолвила: «Милости просим, мы людей не чуждаемся». Я начал с ней разговор о том, что скучно мне жить в маленьком городе и что я одинок (я страшно был неопытен в те годы и в первое же знакомство заговорил об одиночестве, да душа моя уж ныла — я сильно полюбил эту девицу). Она ответила мне приблизительно следующее: «Зачем вам грустить, вы живете в городе, там много барышень, там общество у вас... К тому же служба, значит, мало свободного времени».

Как ни просты были все эти слова, они падали на мое сердце, хотя тембр ее голоса не показался мне очень мягким. Но глаза, глаза! Когда она взглядывала на меня (ровно и спокойно), мне казалось, я погружался в глубокий омут, откуда вытаскивали меня на берег, как только она отворачивала взор...

Что за сила, боже мой!

Потом Христина Ивановна пригласила всех нас к самовару, а купец Иван куда-то вышел по делу (так приятели мои заняли его). Я подсел поближе к моей героине и глядел ей в профиль... Впоследствии узнал я греческие лица, тогда я не знал. Да, в профиль лицо у ней греческое, теперь могу это я сказать и клятвой подтвердить. Я говорил ей о книгах, которые читал. Она ответила, что любит читать, но что времени у ней мало. А что она читает, не сказала.

Так завязал я узел сердечной жизни, и с тех пор заладил ходить в село Вьльгорт. Крылатая молва известила всех, что я жених у Пылаевых.

Так как наши пожни были хороши, и я служил в земстве, то купец Иван ничего не имел против этой молвы.

Отчего Христина молчала, не знаю...

Все же она была очень сдержанна со мною. Только раз, после танцев на вечере у них, когда мы вышли с ней на крыльцо, я поцеловал ей руку... Она, ласково взглянув на меня (и в глазах ее как будто прошла буря), сказала: «Ладно, ладно, милый мальчик, но подождем немного».

III

Я был близок к счастью. Еще два-три шага — и был бы я на вершине, зажил бы солидной, серьезной жизнью...

Но угодно было злему духу запутать наши дела. На эту пору (дело было зимой) приехала из Вятки одна барышня, Забоева. Она училась в Вятской гимназии. Мы же с ней были соседи и знали друг друга с детства. Даже наши родители, шутя, называли нас женихом и невестой. Вот она и приехала, Марья Забоева. Я у ней был раза два-три и забавлялся ее остроумными разговорами. Это была бойкая, ветрогонная девица.

Она и скажи своим подругам такое слово: «Я, говорит, приехала и сразу же Сашу Маслова отбила от этой холодной принцессы Пылаевой».

А подруги, не будь дуры, передали тотчас все это своим подругам, украсив прибавлением, что я будто бы объяснился в любви Марье Забоевой и отрекся всенародно от Христины Пылаевой. Из уст в уста передавалась эта новость, пока в виде сложного сказания не донесли ее моей героине сердца. И вот разбита моя жизнь из-за нелепого случая, в котором я был ни в чем неповинен. Я

побежал в село Вильгорт объясниться, и меня не приняли... Сначала я вспылил, потом горько заплакал... Шел лесом я обратно в город и все тропинки оросил слезами... О, ручьи и озера, осененные еловыми лесами, вы помните и можете подтвердить ежечасно, как я тосковал, проходя мимо вас. На другой день написал я большое послание, где возносил свои мольбы к несравненной Христине Ивановне и просил ее пощадить меня, грозя в случае отрицательного ее ответа наложить на себя руки.

Послание мое вернулось ко мне нераспечатанным, может быть даже, его и не видала Христина Ивановна, потому что отец и братья ее знали мой почерк и могли вернуть мне его, не читая и не показывая ей...

Что было бы дальше, не знаю... Но больной мой отец, заклиная меня, чтобы я его не убил каким-нибудь шагом, отправил меня по одному делу в село Жежим, верст за сто от нас: дело шло о каких-то старых долгах и лесных пожнях. Я, боясь убить своего отца непослушанием, отправился в Жежим и пробыл там две недели.

В это время дела Христины Ивановны приняли невозвратный характер.

Христина Ивановна решила идти в монастырь (женский монастырь тогда как раз был выстроен в сосновом лесу на берегу одной северной реки). Мне потом рассказывали соседи, что семь дней она валялась у ног своего грубого отца, прося его благословения. Купец Иван был против монастыря. Раз в гневе, когда она лежала у его ног, в слезах, умоляя отпустить ее в монастырь, он грубо толкнул ее своими сапожищами, окровавив ее лицо. Все соседи, бывшие там, с воплем обратились к жестокому торговцу не тиранить свою дочь и отпустить ее в монастырь. И он, будто бы пораженный кровью, текущей из ее лба, благословил ее иконой. Также говорили соседи и соседки, что ушла она в монастырь вымаливать грехи своего отца, который стал богат неправедными путями.

IV

Теперь приближаюсь я к тому моменту времени, когда совершено было мной святотатственное, кощунственное преступление, которое оплакиваю я всю жизнь и которое свет моей жизни обратило в темную, глубокую ночь.

Христина Ивановна стала монахиней. Прошло уже два года, как она скрыла свою девическую красоту под сенью уединенного монастыря.

Я плакал каждый день. Наконец, я лишился рассудка и стал лелеять в своей груди преступное намерение.

Летом в жаркую, прекрасную погоду отправился я тайно от всех к монастырю, который был от нас в нескольких сотнях верст.

Подхожу на пятый день утром рано к монастырю. В дремучем лесу он выстроен. Как волк, приближающийся к стаду, я осторожно обошел три раза вокруг монастыря, высматривая, как дикий зверь, где бы я мог перескочить через забор...

После долгого и глубокого размышления я пришел к заключению, что лучше всего расположиться в лесной части монастыря, за ручьем, протекающим у внутренней ограды.

Туда прокрался я и там засел. Три дня и три ночи я ждал там, питаюсь сухарями и ягодами. На четвертый день... О, судьба! Какими путями ведешь ты человека! Утром рано вышла за ограду мимо меня монахиня Христина Ивановна. Лицо у нее было бледное, взор казался унылым, я пошел за ней и, когда она скрылась за деревьями, я, быстро перебежав мимо елок и можжевельников, внезапно явился перед ее глазами и бросился в ноги, безутешно рыдая. Молчаливая и бледная, она надо мной стояла. Что чувствовала она, не знаю. Но потом тихо сказала: «Пойдем туда дальше, чтобы нас не увидали».

Когда мы с ней углубились в лес и остановились у одного столетнего дерева, я быстро обнял ее, прижав к своей груди сильными руками. Она стала обороняться.

«Что ты, безумный?»—говорила она, и в глазах ее сверкнул огонь.

Я в припадке сумасшествия держал ее своими руками, как железными тисками. Потом, в борьбе, оба упали мы на землю. Клокочущая страсть помутила окончательно мой разум, даже плохо помню, что случилось тут...

Только вот (дальше помню я ясно) она села на кочку и зарыдала, и так зарыдала горестно, что я заплакал сам, как неутешный ребенок.

Солнце уже высоко поднялось, и за полдень уже пошло, и мы сидели с потухшими глазами.

Наконец, Христина Ивановна подняла на меня глаза (о, никогда не забуду я этого взгляда, в нем было все: и ужас, и любовь, и негодование) — и сказала едва слышно: «Уйди отсюда сейчас же».

Как покорная овца, послушная зову пастуха, встал я

со своего места и вышел из леса, и отправился к реке. Перейдя ее, попал на лесную дорогу, которая привела меня к тракту.

V

Зверь успокоился во мне, но разум мой вернулся, и душа смертельно затосковала.

Я стал в городе жить, но нигде места не находил себе. Написал письмо в монастырь монахине Антонине (Христине) Пылаевой, где в притчах излагал свои желания и тоску душевную, просил ее расстричься и оставить свою тесную келью. Но ответа не было.

Жива ли она, не наложила ли на себя руки? Опять был в тех местах, сторонкой расспрашивал и в соседних деревнях, и в самом монастыре, где я был в одежде пилигрима. Узнал, что жива, но что редко видят ее, редко выходит из своей кельи, стала схимницей.

Кажется, я раз видел ее (казалось, что это она): какая-то молодая монахиня шла от просфорни, а я был на другом конце монастыря, и вот показалось мне, что это она. Я был этим доволен и дальше не делал попыток с ней объясниться.

После этих событий, которых тяжесть так глубоко налегла на мою душу, я отправился путешествовать. И был я пять лет в Сибири и только недавно вернулся в свой губернский город, теперь здесь служу в управлении государственных имуществ.

Справлялся о Христине Ивановне Пылаевой и узнал, что она переехала в какой-то отдаленный монастырь на самом крайнем севере.

И больше о ней ничего не знаю.

Все потеряно отныне для меня, личной жизни у меня больше нет. Только думаю о том, как бы облегчить жизнь людей на этой многострадальной земле и как научить их жить свободнее и больше дорожить человеческим, своей жизнью, своим счастьем.

Бесконечность важна и мировая гармония, но и момент имеет свое значение и человеческое желание счастья.

Звезда же личной жизни моей угасла давно, не дошедши до вершин неба...

МАРЬЯ СЕВАСТИАНОВНА ОПЛЕСНИНА

I

В те времена было много юношеской силы у меня... Когда, бывало, наступит золотистый летний вечер с его румяной зарей за темным лесом и покажется желтая луна из-за реки темной Сысолы, я направлялся с домброю в руке (со струнами из сухожилий барана) в деревню Дав на высокой горе. Туда отправлялся я, перешедши звонкошумящий ручей Дырносшор, текущий между крутыми темными горами по прохладной долине. С трепетом побегу я, бывало, через мостик, над которым висит белый вечерний туман; под этим мостиком жил всегда страшный дух, враждебный человеку, по имени Икота. Миновав это опасное место в позднее время, поднимался под гору, где красуется до сей поры деревня Дав. Длинные тени ложатся от луны, в воздухе тепло на высоком месте, и весело, весело на душе.

Сейчас увижу я Марью Севастиановну. Так и есть — она сидит на крыльце с книгою в руке. В ситцевом платье, в лучах луны читает. Поднимаюсь на крыльцо. Гляжу ей в серые глаза, отражающие небесный свод. Молода, хороша Марья Оплеснина.

— Беру из школы книги, от учительницы, и читаю, вот сейчас читаю повесть. Как хорошо. Как я люблю книги, как люблю ученых, только о них и мечтаю,— так говорит Марья Севастиановна и ласково глядит на меня.

Мне слышать это приятно, я сам учусь в школе. Не меня ли любит она? И душа моя в восторге. А луна все выше поднимается. Звезды кое-где замерцали. Воздух полон аромата. Долго, долго мы о грядущих днях говорили. Что будет впереди, счастье или несчастье испытаем мы.

Иные мечты зреют за мечтою, как лепестки шиповника. А заря уже скользит за северными лесами.

— Пора спать, прощайте.

— Прощайте.

Иду и оглядываюсь: она на крыльце. Лицо ее освещено уже утренней зарей, и каким счастьем и молодостью дышет оно!

Идут дни за днями в деревне Давпон и в деревне Дав. Солнце неустанно идет по небу, заходит и восходит, любя мир земной.

Каждый вечер сидим мы с Марьей Севастиановной на берегу ручья Дырносшор. Она цветы собирает, а я мечтаю, глядя на нее. И оба вздыхаем, полные любви. Вот еще годика два томиться нам в одиночестве, а тут будем мы свивать свое гнездо на высоком дереве жизни.

— Потерпим, потерпим,— говорит она, глядя на закат солнца; ветерок шумит и играет ее полою, и белые облака идут по небу, а наши думы скользят за ними. Что-то ждет нас в грядущем?

Наступила зима. Поля покрылись снегами, холодные ветры подули с полюса. Судьба бросила меня в далекий город. Я учусь, думая в науке найти высшее благо и через учење подняться на верхние ступени жизни. Прошли годы в тяжелой трудовой жизни на чужбине, вдали от Марьи Севастиановны.

Учење кончил я, наконец, и получил права. Теперь я мог быть сельским учителем или писарем. Опять была зима. Я приезжаю на родину, в деревню Дав, захожу к Оплесниной. Она радостно улыбается мне. «Наконец-то вижу я тебя, какой большой стал и умный». Самовар кипит на столе, сладких кренделей купила Марья Севастиановна. Пар клубом вьется от самовара, а наши думы зреют, думы новые роятся.

— Учиться, учиться хочу, еще дальше, чтобы постичь свод небесный,— говорю я.

— Разве можно все постичь? Звезды — царство божие, там никто не был,— она возражает.

— Годика два отдохну, послужу народу, буду волостным писарем или учителем. Служить, служить нужно людям...

— Зачем так?— кротко возражает она.— Не пора ли о себе подумать и о близких? Какое дело нам до посторонних? О нас никто ведь не думает...

Так беседа льется у нас, но речь была иная, чем в старые годы.

Между тем румяное солнце погасло, скрывшись за снежными избушками нагорной деревни Дав, и заря ку-

да-то улетела на своих широких крыльях, верно, ушла в царство мечты и сладких, неземных видений. Темная ночь на дворе. Собрались девицы Дава на посиделки, с прялками и с куделей в руках. Лучина горит в избушке, вставленная в железный светел, и угольки падают на деревянную дощечку, а девичьи песни раздаются до первых пухов.

Пригласили туда и Марию Севастиановну, и меня. Весело стало и приятно сидеть и слушать шуршание веретена, шутки, прибаутки сельского остроумия и пение звонкоголосых девиц. Скоро пришли молодцы деревенские с гармониками в руках; и удвоилось веселье вечера. Но вот вдруг огонь погас, и, как голуби с голубками, разошлись молодые люди парами для сердечных разговоров. Я сижу с Марьей Севастиановной в углу.

— Еще годину пространствовать я должен,— говорю я шепотом,— в груди горит еще огонь.

— Уж не пора ли о доме подумать, растратишь свое здоровье в этих странствиях, никого ведь не удивишь, сам только будешь в убытке и других заставишь плакать,— возражает тоже шепотом разумная Мария Севастиановна.

Поднимается луна, как далекий пожар из-за леса, и озаряет комнату своими лучами через замерзшие окна. Надо полагать, что звезды волхва далеко поднялись по небу, и запели петухи второй уже раз.

— Не пора ли домой?— сказали девы.— Спойте последнюю песню и — по домам; довольно напряли ниток, и лучины много сгорело в этот вечер.

III

В далеком городе я живу. Случилось так, что я женился. Беден я, холодно и голодно у меня.

Иду раз зимней порой по городу, встречаю Марию Севастиановну.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Хотели обрадоваться, а оба замолчали, хотели заплакать, а улынулись, хотели броситься друг другу в объятия и — удержались.

— Зайдите к нам,— говорю я.

— Зачем?— отвечала она.

«Потускнели вы для меня, поблекли цветы»,— так говорят ее глаза.

Видно, она все знает, да, она все узнала. Догадыва-

юсь, для чего она приехала в этот далекий холодный город. Ах! Опоздала она...

— Надолго ли сюда приехала?— спрашиваю ее.

— Нет, проездом. Хотела жить здесь, да не понравилось, поеду дальше — в другой город.

— Ну так прощайте — я спешу.

— Прощайте.

Далеко, далеко порхнула птичка, напуганная охотниками...

В дальнюю Сибирь уехала Марья Севастиановна.

IV

Дальше и дальше вращается колесо времени, украшенное солнцем. Десятки лет прошли, и снова с далекого юга устремился я на север.

Я в деревне Давпон, захожу к знакомой учительнице. Она встречает и угощает меня, как почетного гостя. Снова самовар на столе, и пар клубится и вьется у потолка. Я весел, говорю о новой новизне и о старых небылицах. Вдруг выходит из соседней комнаты старуха с опухшими глазами, желтая, желтая. Кто же она? Гляжу — Марья Севастиановна.

Села поодаль она и смотрит на меня. От чаю отказывается и молчит.

Я заговорил, но она нехотя, отрывочно ответила.

— Давно ли вы здесь и надолго ли, вы ведь жили во Владивостоке, будто бы стали богаты?..

— На отдых приехала,— ответила старуха Марья Севастиановна.— Людским же толкам не верьте, люди никогда правду не говорят. Богатства у меня никогда никакого и не было.

И она конфузливо умолкла.

Я пил чай и дул на кипяток, казалось, я только затем и приехал из жаркого юга в холодный север, чтобы напиться чаю досыта...

Вот оно — грядущее юных дней стало настоящим. Действительность взглянула на нас из-за розовой ширмы прежних сноведений. Юность, где ты? И что исцелит сердце наше и вернет нежные, прекрасные цветы первой любви?

ВАСИЛИЙ КУДРЯШ

I

Синяя Печора нежилась в своих темно-зеленых берегах, она спокойно несла куда-то на север голубой хрусталь своих вод в далекие тундры. Ели, сосны и приречные ивы гляделись в ее воды, белые облака отражали в зеркале реки свои висячие, круглые груди, а жаркое солнце целовало своими лучами влажные волны прозрачно текущей реки. Звери и птицы, жители беспредельных лесов, оглашали своими голосами пустынные берега между редкими селами и деревнями. Природа напряженно жила в короткое, жаркое лето севера, чтобы успеть родить, взрастить, накормить, напоить своих детей до холодной зимы, а потом опять спокойно вздремнуть, предавшись тихим сновидениям в долгие зимние звездные ночи. Люди тоже спешили в деревнях и в селах со своими работами, дабы все совершить до золотой осени, после которой начнется дождливая пора. Только сегодня, в Петров день, позволили себе отдых дети Печоры. Шум и свист, резкие звуки гармоники сегодня наполняют улицы деревень по всей великой реке, пестрые хороводы дев собираются у берегов. Веселье, шутки, смех и пляски продлятся до заката. Старики же, у которых пора веселья прошла безвозвратно, греют свои спины в лучах летнего солнца, сидя на завалянках у сосновых избушек.

Почему же эти двое — молодой человек в красной рубахе, с пышными кудрями и девушка с русой косой и с темно-кариыми глазами — отошли от хоровода, собравшегося близ села Троицкого у берега, и, одинокие, шли с версту по камням за лесной мыс, вдающийся в реку, и затем сели в лодку?

Много было у них причин уйти от людей и поговорить наедине о своей горькой доле. Молодой человек был Василий Кудряш, круглый сирота, который на свой страх и риск рос и жил, и работал, даже замышлял сделаться богатым. А девушка жила прислугой у попа Арсения, звали ее Матреной, она была из села Подчерье и у нее, кроме старухи-матери, никого не было из родных. Хотя много девиц заглядывались на Василия, на его рост, на его темные кудри, широкие плечи, открытые, добрые глаза, заглядывались и вздыхали, да отцы их знать не желали

Василия, к порогу своих изб не пускали его. Бедняк никому не нужен. Да и сам Василий, хотя над ним все и смеялись, все вечера проводил с Матреной.

II

Молодые люди, отойдя с версту от хоровода, сели в лодку. Василий взял в руки весла, а Матрена стала править. Кудряш засучил рукава своей кумачовой рубашки — и взвизгнули весла, загудели тулки в лодке, белые волны поднялись от ударов весел, и за лодкой вода закипела, как в водовороте, бежали берега, ели, сосны мелькали вперегонку, так мчались молодые люди все дальше и дальше, как вспугнутые птицы, чтобы наедине поговорить о житье-бытье.

— Экая силища у тебя, Вась, ин страшно глядеть, как ты начнешь работать,— говорила, любуясь своим возлюбленным, Матрена.

— Удержу мне нет, когда я берусь за работу,— отвечал Василий, и весла еще глубже погружались в волны, вода сильнее шумела, ударяясь в борта лодки, и быстрее скользили темно-зеленые берега.

Проплыли они верст пять, село Троицкое давно скрылось за темными лесистыми горами. Василий положил весла, взял из узелка свой музыкальный инструмент — «плачею», как он называл ее, сделанную им самим. Лодка тихо плыла по хребту желтостеклянной реки, а Вась заиграл заунывные северные песни. Волны тихо вторили ему, шурша, шелестя, незримо плескались о края лодки. Чайки ниже спускались к воде и дольше ныряли, чем обыкновенно, и потом с веселым писком и визгом снова отлетали от реки. Ястреб, не спеша, пролетел над рекой, задумчиво глядя на плывущих, а на берегу чуть-чуть качались вершины деревьев, безмолвно разговаривая одна с другой. У Матрены слезы текли по щекам, а Василий глядел влажными глазами в синюю даль...

Потом он дудку положил и сам запел песню...

Весна, весна, животвори
Мой дух, печалью изнуренный,
Лучами утренней зари,
Звездой надежды отдаленной.
Веселый говор волн умильный
Пускай тоску тяжелых дней
Из сердца изольет слезой обильной

Мрак озарив души моей.
О, пусть опять воспряну я,
Согретый вешними лучами,
Пусть жизнь обнимет вновь меня.

Немного погода он запел:

Зырян — вольный человек:
Хочет — робит, хочет — нет!
Зырян волоком идет,
В гармонию играет,
В деревню войдет,
Куски собирает.

Матрена рыдала: «О Вася, Вася, на все ты способен, и в школе ты учился, и песни ты сочиняешь, на всякую работу — мастер, неужели ты свое хозяйство не устроишь?» Вася сам был умилен.

«Как не устрою? Назло всем построю новую избу, подниму нови, расчищу покосы, потом в писаря поступлю... А то как? Только вот ты замуж за меня выйти медлишь...»

— Нельзя спешить: вот я посмотрю, как ты будешь робить,— говорила Матрена. В это время лодка пристала к берегу, и молодые люди, вытащив ее на песок и камни, вошли в лес. Василий хотел обнять свою спутницу, но та быстро увернулась и посмотрела на него серьезными глазами; всегда глубокий, задумчивый ее взгляд показался суровым и твердым, как сталь.— Ты знаешь, Василий, еще нельзя, зачем испытываешь меня?

Кудряшу стало неловко, стальной взгляд ему не понравился.

— Ты стыдишься, что изба моя покривилась, что вместо лестницы — бревна, я в долгу у купца Ивана Попова, так ты и отталкиваешь меня.

Матрена остановилась и опять на него взглянула, на этот раз взгляд был мягче. «Вася, если бы я тебя стыдилась, не гуляла бы с тобой среди бела дня, не ушла бы от хоровода, песен и гармоники. Ты знаешь, как меня будут ругать поп с попадьею».

У нее на глазах были слезы: «Оплати долги Попову, закончи полевые работы, тогда и сватайся».

— Старый отцовский долг велик,— сказал сумрачно Василий,— и Попову, и чердынским купцам. Ноне придется после Ильина дня сейчас же в лес, к Покрову при-

ташу рябчиков, белок, выплачу долги, тогда и конец делу. Разговор все был мрачен у жениха и невесты. Наконец, Василий, увидавши большую ель, на вершине которой было гнездо воронье или ястребиное, не выдержал и полез на дерево.

— Сейчас покажу тебе гнездо птицы.

Матрена, глядя на него, удивлялась и жалела его, она часто смотрела на Василия, как мать на сына, хотя была старше его только на один год. «В нем много еще ребячества,— думала она,— надо направить его на хозяйство».

После этого она стала рассматривать кусты ягод: черники, брусники, последние были еще в цветах и в почках.

«Ягод нынче много будет,— думала Матрена. Затем мысли ее перешли к житью-бытью у священника Арсения.— Пожалуй, не удастся нынче уйти от них после Покрова». Между тем комары осаждали ее...

— Василий, спустись скорее, комары заедят,— крикнула она, взглядывая на дерево.

— Иду, иду, вот гнездо,— говорил Василий, слезая с огромной ели,— воронье, вот и один детеныш, другие уже улетели...

— Не убивай его,— закричала невеста.

— Убью ли я? Это божье гнездо, птицы — божии, безгрешно они живут; если они умеют строить гнезда, думаю, и нам удастся свить свое гнездо...

— Не знаю,— вздохнула Матрена.

Еще немало проказ было выкинуто Василием в дремучем лесу между печальными разговорами о жизни; наконец, они обратно отправились в лодке к селу Троицкому.

Густые белые облака нависли над свинцово-темной рекой.

— Гляди, гляди, Матрена,— говорил Василий,— облака-то какие... Смотри, как будто горы там Уральские: вон — стремнины, а там, дальше, темный лес — там кедр, должно быть, даже шишки видать. Вон и медведь белый глядит на нас... Чего нет на облаках... Ах! Туда попасть бы мне, поохотничал бы...

Матрена на это ничего не отвечала, она только с любовью глядела на своего Васю. «Он любит божьи творения, не знаю, бог оставит ли его?»

— Тебе, Вась, не грустно?.. Мне вечером всегда бывает грустно,— говорила Матрена.

На закате солнца доплыли они до богатого села. Хоровод уже разошелся. Мужики и бабы готовились к се-

нокосу. Кое-где бани топились. Белый их дым вырисовывался на румяной заре заката.

Невеселые и одинокие шли по улице жених с невестой, как виновные, потому что были беднее всех в селе.

Вон показалась и однооконная, без покато́й крыши изба на курьих ножках, с кусками бревен вместо крыльца. Это дом Василия. Матрена проводила его до лачуги и, поцеловав, быстро побежала к своим хозяевам, от них будет сегодня ей головомойка, а Василий зашел в свою пустынную избу. «Завтра на работу,— сказал он и посмотрел на свою косу, брус, пестерь с луком и с хлебом.— Косить и жать до Спаса, а там — на охоту, очистим долги и за новую избу примемся: не плакать же — я не баба».— Так думал он.

III

Стройными рядами вышли печорцы на луга, на берега Печоры, Мылвы, Сойвы. В белых рубашках косили они широкие покосы. Горбуши их блистали на солнце, как ручьи, падающие с холмов, играя разными цветами и гордясь белой пеной на своем хребте в лучах восхода денницы. В две недели трава была скошена, убрана в зеленоголовые копны и в двухскатные стоги. Василий не только свое сено убрал (у него вотчина была небольшая), но и другим успел накосить: Попову — в долг, другим — за муку.

Скоро началась и жатва, острые, зубчатые серпы за сверкали.

Как сраженное войско, снопы лежали на полях, а после них появились копенки в желтых шапках... Лето не ждет на севере, на быстрых крыльях пролетает оно с севера на юг. Около дымных овинов появились ржаные и ячменные золотистые скирды.

Еще месяц, и птицы потянулись на юг длинными треугольными вереницами. Леса и горы наполнились звуками воздушных странников.

Василий с другими давно уже был на охоте в приуральских лесах, на пармах высоких. В лесных избах ночевали они, а днем с ружьем и с собаками гонялись за быстрыми белками, серыми рябчиками, черными тетерями. Раздолье охотникам близ мрачного Каменного пояса. Женщины по берегам рек и ручьев снимали шишки с кедров, сушили их, вытряхивали орехи — лакомство и товар на уральских и сибирских ярмарках. Солнце восходило все

позже, заходило все раньше. Звезды умножались на бледно-голубом небе, которого синева сгущалась. Уже Млечный путь показался — небесная тропа для птиц, летящих с севера на юг. Северная старуха Лоухи подула снизу Печоры, с самого дна ее, и пушистые, мягкие снежинки, как бабочки, залетали в остывающей горнице природы.

Природа не спешит, но и не медлит, шествует величаво верной поступью, измеряя картины севера и юга широкой кистью, из недр своих черпая все новые краски, и нет предела ее творчеству!

В конце осени вернулся Василий с охоты; много привез он дичи, думая, что оплатит все долги чердынским купцам и Попову. Но вышло иначе. Чердынские приказчики слишком низко поставили цену рябчикам и белкам, а долг Кудряша, взятый им хлебом, возрос под их пальцами на счетах до большой цифры. Также поступил и Попов. Всякая мелочь, взятая из лавки, поставлена была высоко! Гвоздь, крупа, платок, мыло, коса, серп — дали большую сумму. Вся охотничья добыча Василия ушла как бы на проценты, долг почти не уменьшился. Кудряш было вскипятился, но, как приказчики, так и Попов, сказали: «Выплати долги, а потом не бери у нас, мы таких видали: неужели нам есть расчет с таких брать голышей, как ты?» Василий плюнул и расстался с торговцами.

IV

Целый месяц вечерами рассуждали Василий Кудряш и Матрена Белоягова, как им быть, все соображали, нельзя ли с весны новую избу начать строить, да ничего не вышло.

Хлеба не хватит все равно с вотчины, нови же и покосы расчистить — нужно время и деньги, а долг Попову и чердынским купцам будет давить их, не даст им вздохнуть. Наконец, Василий нашел исход.

— Нет, Матрена,— сказал он ей раз,— охотой на белок и рябчиков дела не исправишь; чем больше наловлю, тем дешевле поставят чердынские купцы и Попов, а чистых денег не видать нам, хоть 10 лет трудись. Я решил сходить на пермские заводы, там деньги наживают.

— Там и здоровье проживают,— сказала Матрена и горячо стала возражать.— От заводов никто еще не разбогател, а несчастными и калеками многие стали,— так говорила Матрена и припоминала разные примеры, под конец она всплакнула над своей горькой долей, предло-

жила свои деньги, которые она нажила тяжелым трудом, мыкаясь с детства по чужим людям. Но Василий последнее отверг.

После долгих споров невеста Кудряша согласилась, взявши с него слово — вернуться к весне на родину с деньгами или без денег.

Было морозное, ноябрьское утро, солнце еще не восходило, но заря своим румянцем озаряла снежную льдинистую равнину Печоры и заречные, покрытые снегом леса.

Василий после того, как надела крест ему на шею Матрена и поцеловала его, надел на себя вятский полушубок, валенки и заячью шапку, купленные им в прошлом году на ярмарке в Помоздине, поверх этого на плечи надел белую котомку, сшитую его невестой, в руки взял гармонику, купленную недавно у соседа, молодого парня, чтобы сократить длинную заводскую дорогу звуками песен. Помолившись старым иконам, он вышел из своей избенки, предоставив смотреть за ней своей невесте, и направился к реке. Чердынская дорога шла по реке и вдоль по лесным берегам. Трижды поцеловав свою подругу жизни, Василий набекренил шапку и молодецки зашагал по речной гладкой дороге, слегка прикрытой свежим, мягким снегом. Солнце только восходило, и румянец озарил его могучую фигуру. Гармоника звонко заиграла в утреннем воздухе, аккорды и переливы сменялись непрерывно, а эхо вторило им с высоких берегов... Галки и вороны провожали его, печально кружась над ним и над рекою.

Глаза у Кудряша были в тумане от слез, но шаги его были тверды.

На берегу, покрытом сугробами, стояла Матрена на тропинке и, смотря на удалявшегося жениха, рыдала и молилась на отдаленные кресты церквей, золотом горевшие в лучах взошедшего солнца. Когда Василий исчез за крутогором, она не выдержала и бегом побежала, всхлипывая, за ним (так ребенок гонится за матерью, когда она из дому уходит на работу, оставляя малолетнего сына одного в избе). Догнав Кудряша, еще раз перекрестила она его и поцеловала, а потом бросилась назад, как безумная, и прибежала в избушку Василия, чтобы там на свободе дать полную волю слезам, которые лились, как ручьи весной поверх бело-серых камней, стремясь в широкое лоно синей реки.

А Василий шел дальше и дальше. С реки поднялся он в кудрявый сосновый, звонкий бор. Белая котомка его и пестрый, ярко-красный кушак мелькали между деревьями.

Звуки гармоники то крепчали, то слабели. Порой казалось, они выражали силу и решимость доброго молодца, порою плакали эти звуки, как женщина неутешно плачет в разлуке с суженым, как волны, играя, с силой врываются в берег каменистый, пенясь и сверкая, струясь, то снова отступают с жалобным воплем, так ветер в лесу — то рвет деревья с корнями, то тихо и грустно шепчется, ласкаясь, приныкая к каждому листочку... Так душа волновалась Василия в его могучей груди, так и гармоника его пела, а звонкий морозный воздух и хвойные леса вторили ей, повторяли эти живые звуки...

V

Ушел Василий, и нет его. Первый год присылал он весточки, что работает в лесу, в куренях рубит дрова для Кутимского завода. Весной он не вернулся вопреки своему обещанию. Письма стали приходиться с Перми, где-то он там служил. Через два года одно письмо пришло из Сибири: там он в степях жил рабочим у богатого крестьянина. Потом письма и весточки прекратились. Только изредка молва, бывало, долетит до села Троицкого, продержится два дня и затем куда-то исчезает, так ветерок легкой порою налетит на можжевельник, прощуршит в его иглах, а потом, вспорхнув, куда-то быстро умчится. Вдруг, бывало, какой-нибудь прохожий расскажет, что Василий-де пьянствует в Сибири и участвует в больших побоищах, что будто бы его хотели уже или сослали за убийство в драке в дальние края в казенные рудники. То вдруг через некоторое время ни с того ни с сего слух пронесется, что Кудряш нищенствует в южных степях Сибири. Затем все умолкло, и слухи прекратились; так брошенный камень вызывает волны и круги, они идут все дальше и дальше, расширяясь и слабая, пока водная глядь совершенно не успокоится, и забудут все, что брошен был камень. Так же после смерти человека сначала вздыхают по нем, потом начнут хвалить его, а затем холодным разумом разбирают его поступки и, наконец, забудут, если умерший не совершил великих дел. Если он совершил их, то много спустя вспомнят о них, взглянут исторически на все, объяснят его «общими течениями», благоприятными обстоятельствами, забыв при этом труды и лишения человека, как пот лился с его чела, как все его гнали, как все обстоятельства были против него. Так случилось с Василием: все забыли его, кроме одной души, и слухи прекрати-

лись. Матрена первую зиму сравнительно была спокойна, она ждала, что Василий вернется к весне, а не то к осени. Вторую зиму она провела в слезах, но, боясь насмешки людей, плакала где-нибудь в уголке, или в поле, или в лесу: там она давала себе волюшку. Там были только звери и птицы свидетелями ее горя, но они не сказывали людям. Матрена обошла всех гадалок по Печоре, и чего бы ни говорили гадалки ей — ничего не сбылось. Василия не было ни в третий год, ни в четвертый. Душевная тоска его невесты постепенно перешла в какое-то тупое равнодушие ко всему, она не слышала и не видела, что делалось вокруг нее... Так прошло пять лет. Григорий, сын богатого мужика из села Троицкого, предложил руку и сердце. Матрена полгода не соглашалась, а молодежь вся смеялась над Григорием, что он хочет жениться на полоумной Матрене. Но этот молодой человек имел свой толк и свой разум. Он терпеливо ждал согласия невесты Василия. Последняя, наконец, дала слово, выговорив себе всевозможные льготы. Так она сказала Григорию: «А что, если вернется Василий?»

— Тогда как хочешь поступай, я не буду держать тебя в клетке и под замком,— ответил сельский мудрец.

— Если я брошу тогда тебя?

— Бросай, останусь один.

— А детей куда, если бог даст их?

— Детей бог же и вырастит, растит же он птичек небесных.

— А люди что скажут про тебя?

— Что хотят, то и скажут.

Умный Григорий, конечно, догадывался, что ведь любовь к Василию может и пройти, что и его могут полюбить, он знал поговорку: стерпится, слюбится. Как бы то ни было, он достиг своей цели: Матрена вышла за него замуж. У них родилась одна дочь, и больше детей не было. Муж и жена были в полном согласии. Про Матрену же говорили словоохотливые соседки, удивляясь ее толковости: «С умным мужем живя, в разум вошла, больше не ревет в каждом углу о несуществующем бобыле Василии. А вышла бы за бестолково, с ума свела».

VI

Время шло и шло вперед. Чередовались времена года, раскрывались и угасали красоты природы, птицы улетали на юг, снова прилетали на север. Зайцы и белки меняли

свои цвета. Медведь каждую зиму отдыхал в теплой берлоге. И так прошло еще новых 10 лет.

От житья-бытья Василия ничего уже не осталось.

Избушка его свалилась, и Григорий свез на баню да на овин старые бревна избы, а часть жилища Кудряша пошла на топку печи. Вотчина Василия вследствие передела перешла Поликарпу, у которого семейство к тому времени увеличилось.

Исчезла память о нем, исчезли и жалкие остатки его хозяйства.

Между тем опять было лето на севере. Солнце так же ярко сияло, как раньше, птицы пели, шумели леса, Печора неустанно катила свои синие волны в пучину Ледовитого моря.

До Петрова дня еще отправились Григорий с Матреной в печорский волок посмотреть на свои покосы по реке, быстрой Сойве. Они ехали волоком в одноколке, дорога была прямая, как стрела, и далеко было видно.

Издали на волоку они увидели какого-то человека, который тихо-тихо шел, постоянно останавливаясь.

Пойдет-пойдет, потом сядет, отдохнет и опять идет, опираясь на палку. Когда человек стал ближе, они увидели в нем странника, у которого на ногах были лапти и грязные онучи, а на плечах — армяк весь в заплатках, на голове — почерневшая от древности шляпа.

— Кто это идет?— спросил Григорий, выглядывая из одноколки.

— Мало ли кто ходит,— ответила Матрена,— какой-то бедняга старичок.

Прохожий подошел к ним, посмотрел на них минуту и с рыданием упал на колесо одноколки.

Матрена вскрикнула и выскочила из телеги, бросилась на того странника: в жалком рубище она узнала Василия по волосам и по глазам. Григорий, пораженный не менее, уже давно остановив лошадь, стоял и смотрел на Василия и на жену... Последние, нежно обнявшись, плакали, их щеки были так близки одна к другой, что слезы их сливались в один поток, который падал на горячую землю... Так весной горные ручьи сливаются, чтобы усилить гармонию звуков природы и пробудить ее к жизни.

Плач продолжался бы до заката солнца, если бы умный Григорий, испугавшись, что оба они в слезах могут умереть, не остановил их словами: «Милые, сядьте вот сюда на край дороги и поговорите ладком, а то душа ваша выйдет вместе со слезами». Эти слова немного успокоили

Василия и Матрену, и они сели на край дороги... Попытались было поговорить, но Василий был так утомлен, а Матрена при каждом взгляде на некогда милое лицо, искаженное страданиями и бедностью, приходила в иступление и не могла удержаться от рыданий. Опять вмешался Григорий: «Слышь, Матрена, не мучь ты его, аль не видишь, как он устал, что же ты его убиваешь слезами? Ты лучше поди-ка тихонько на пожню, а я повезу Василия и устрою его в лучшей горенке своей, как брата родного, как отца моего».

С этими словами Григорий посадил ослабевшего, взволнованного Василия на телегу, сам сел с ним рядом и повез его домой, крикнув жене: «Ты зайди к Егору, тут в версте деревня их, я за тобой приеду, и поедем мы на пожню...» К вечеру Григорий с женой были на пожне.

— Ты Василия устроил в горенке, и он у нас будет жить?

— До смерти своей у меня будет,— сказал мрачно Григорий.

— Ты помнишь наш уговор до брака? Это я говорю заранее, если молва пойдет, что у Матрены-де два мужа...

— Что хочешь, то и делай, что хотите, то и говорите,— сказал еще суровее Григорий,— неужели из-за женщины не приму я брата родного моего (а он мне дороже брата) в мой дом?.. Он мне лучший гость, он хозяин дома, а я его работник... При этих словах Григорий отвернулся, потому что не любил плакать при людях, но Матрена бросилась ему на шею и долго целовала и обливала лицо его своими слезами, слезами благодарности... Больше об этом они не говорили никогда, хотя в народе сейчас пошла разнообразная молва о семейной жизни Григория.

VII

Первый месяц Василий лежал в лихорадке от истощения сил. Его кормили, поили Григорий с Матреной... Каждый вечер самовар ставили для него, ни о чем его не спрашивали, чтобы не растревожить сердца.

К поздней осени Кудряш стал поправляться, стал понемногу вступать в беседу. Муж с женой слушали его с раскрытыми ртами.

— Что же, Василий, ты видел, что испытал ты на чужой стороне, где так долго пропадал, расскажи?— спросила раз Матрена в сумерки, когда желто-багровая луна спокойно лила свои лучи в окошки их избы.

— Что я испытал, недругу моему не желаю,— вздохнув, сказал Василий. И тут он начал свою повесть.

«Первый год я рубил дрова в дремучем лесу для Кутимского завода, бродил по куреням, заводил знакомства, и денег мало нажил. «На это избушку не построишь»,— думал я. Тогда перебрался в город Пермь, и здесь целое лето таскал клади на пароходы, пудов в 15 на спине. Ох, как бедный люд работает! На пристанях жалко смотреть. Зимой перебрался я из Перми в Екатеринбург, здесь поступил к кожевеннику на службу... И тут началась моя широкая жизнь. В праздники напивались, выходили на кулачный бой. Ох! Сколько я бил на своем веку, и сколько меня били! Всего не пересказать, всего не перечесать... Да и грех случился тут. Ударом кулака убил я человека в драке... Был суд. Сослали меня в Сибирь, на четыре года в рудники... Да, и там был я, был в цепях, в кандалах, тачки возил с землей. Но прошли четыре года, выпустили меня, и я пешком обратно пошел. Тут увидел я огромные горы, великие реки переплывал... Какая ширь там, боже мой! Ни конца, ни краю!

Затем работал я на одном пароходе кочегаром. Тут силы я и уложил. Стоя постоянно у печи, потел и простудился. Хотя бог простил меня, и я не умер... Но силы вдвое убыло... Потом в степь ударился я, там будто бы земляки живут, земля-де черноземная... Но я не дошел до земляков и поступил в рабочие к одному хохлу и жил у него в мазанке, пахал на быках. Впрягу четыре быка и пашу, а чибис-птица над головою кличет, также грачи налетят с шумом на тебя. А поле-то без конца... нигде ни елочки, ни сосенки — открыто и голо все... А солнце так печет, что к полудню ляжешь в бороздку и стонешь от жары, а быки и козы станут в круг, голову положат под брюхо одному дру-гому и, тяжело дыша, так стоят...

Тоска меня взяла по лесам родным, да и лихорадка вернулась, опять лег на целый месяц во дворе в клетки у хохла... Не умер же, однако. Опять встал.

Тогда уж простился я с хозяином, хотя и не пускал он меня, и почти без денег, с посохом в руке направился к дому, и шел я полтора года, останавливаясь в городах и деревнях, наживал деньги и тратил их...

Наконец, бог привел меня к вам. В Вятке купил я пару новых лаптей, азиям и шляпу и вот прибыл. Всего упомянуть не могу я, что и было, а что вспомню, буду помаленьку рассказывать, говорил Василий каждый вечер. И на другой день продолжал он свои рассказы, повторяя, удли-

няя, сокращая, вставляя забытые эпизоды или исправляя вчерашние рассказы. Так тридцать вечеров рассказывал он свои пятнадцатилетние похождения по России и Сибири... Каждый вечер Матрена плакала, слушая, да и Григорий нередко взглядывал в окно, чтобы скрыть свои слезы... «Дома лучше всего,— так заканчивал каждый раз свои повествования Кудряш...— Живите здесь, не переселяйтесь: не наше там солнце, и земля не та, и не те порядки».

Год прошел, а Василий жил все у Григория... Народ в селе говорил: «Теперь Матрена с двумя мужьями, с любимым и с богатым». Эта молва передавалась из хижины в хижину, она дошла и до ушей Григория, Василия и Матрены, но никто из них не обратил на это никакого внимания... «Живи у нас всю жизнь,— говорил Григорий Василию...— Вот опять начинается весна... будем вместе работать, косить, жать, нам весело втроем, дочь еще моя мала, плохая работница». Но Василий отвечал ему: «Нет, Григорий, поживу до лета до жаркого и перееду в село Покчу, нехорошо жить мне всю жизнь на твоих хлебах». Матрена же удерживала и не гнала Василия, хотя ласкова была, безмерно ласкова к нему, но все же как бы чего-то боялась... Эту боязнь заметил Василий, когда поправился после болезни и стал ходить, и чем дальше, тем лучше понимал он, что надо уйти из дома Григория и поселиться в Покче между староверов.

VIII

«В Покче плотников мало, там буду я работать»,— думал Василий. Поработав с Григорием, которого он любил, как брата родного, во время сенокоса и жатвы, к осени, действительно, Кудряш в лодке отправился в Покчу. «Буду к вам в гости ходить в великие праздники»,— утешал он Григория и Матрену. В Покче спокойно зажил Василий. Зимой он делал рамы, косяки для окон, двери, полаты и столы, весной же и летом строил дома. В праздники надевал он ситцевую рубаху, на голову клал круглый ремешок, в руки брал старые, священные книги и читал их. Читая книги, думал о своей жизни. «Терпения у меня не хватило, не хотел победствовать у себя на родине, бросился на заводы. Это была ошибка моя. Да и на заводе терпения не хватило, ушел в Пермь — вот и погибель моя. Сам виноват я,»— думал он. Как будто забыл он про чер-

дынских купцов и про кулака Попова, потому что душа его все и вся простила.

Еще пять лет жил в Покче Василий, всеми уважаемый,— старыми и малыми, потому что ни вина не пил, ни табаку не курил.

Через пять лет он умер. Григорий с Матреной похоронили его недалеко от Покчи у дремучего леса и крест поставили над его могилой.

Там теперь спит Василий Кудряш, забывши горести жизни и свои роковые ошибки.

Последние слова, которые он будто бы сказал перед смертью, были: «Держитесь земли, старики, бога не забывайте и храните свой язык, на котором говорили деды и прадеды ваши».

Матрена с Григорием теперь еще живы, хотя оба уже глубокие старики. Дочь их давно уж устроена и тоже постарела. Какой бы прохожий или гость не заходил в дом Григория, там слышал он из уст гостеприимных хозяев повесть про Василия Кудряша.

«Он кончил жизнь как святой человек»,— скажет в конце рассказа о его жизни старик Григорий.

— А в молодости был богатырь и красавец,— прибавит в свою очередь Матрена.

Каждый, кто бывал или будет в Троицком, узнавал быль-повесть о ставшем старовером на старости лет Василии Кудряше, который много странствовал в Сибири и кончил мирно жить на берегах Печоры, в селе Покче.

НЯЛАЙ

Странствуя по родному Северу, приехал я летом 19..г. в маленький живописный городок Усть-Сысольск, где тридцать лет тому назад окончил городское училище и из которого наивным мечтателем бежал за счастьем и славой. В старой Стефановской церкви звонили ко всенощной, и нежно звенящие малиновые звуки оживляли сумеречную тишину тихого городка. Я бродил по улицам, искал знакомые дома, всматривался в лица встречаемых и чув-

ствовал, что время беспощадно, что я — один в некогда родном месте. Приветом и улыбкой блеснула мне вывеска фотографии Кулькова. А, вот и знакомая фамилия! Зашел. После коротких расспросов меня узнали, вспомнили и радушно приняли. Войдя в гостиную, я пораженный остановился. В простенке между двумя окнами висел большой портрет, с которого взглянули на меня освещенные косым лучом вечернего солнца давно знакомые орлиные глаза. Словно живой, сидел предо мною человек в изорванном овчинном тулупе, в лаптях и без шапки. Голову покрывала белая грива кудрявых волос, откинутаая назад над огромным, испещренным глубокими морщинами лбом. Могучей рукой поддерживал он спадающую с плеч рваную овчину и в красивом величественном жесте, каким он касался своей жалкой одежды, во всей свободной позе великана, в откинутой львиной голове, в смелых очертаниях крупного гордого рта было нечто до такой степени царственное, могучее, величавое, что невольно я подумал: «Вот великолепная натура художнику для короля Лира — этот северный богатырь...»

— Что, узнали своего дядю?— спросил меня подошедший Кульков.— Я нарочно его на видное место поместил, посетители мои многие на него удивляются и не понимают, что это за человек такой в нашем Усть-Сысольске. Вы, наверное, его помните?

— Как это не помнить Нялая?— воскликнул я.— Жив ли он? Где теперь? Что делает?— закидывал я фотографа нетерпеливыми вопросами.

— Теперь стар, мало работает, живет в Шошке, да неважно. Дети неудачные вышли, хозяйство плохое. Все было раньше, да все зятьям отдал, а сам остался бос и гол, как говорится. Первый столяр был на весь уезд, затейник, мастер! Да погубило его вино. Богачом был бы, кабы не пьянство.

Я плохо слушал сентенции Кулькова. При виде Нялая воспоминания из ласковых далей светлого детства вихрем закружились в моей голове. Мне страстно хотелось теперь, сию же минуту ехать в Шошку, взглянуть на героя моих детских лет, узнать самому, что сделали грозы жизни с могучим северным дубом. Я отказался от чая у Кульковых и быстро отправился на земскую станцию. Через полчаса я уже ехал по тряской лесистой дороге и думал о Нялае.

Вспоминается нежный тихий вечер ранней весны. В открытую половинку окна лился аромат распускающихся ли-

сточков березы. Было светло на улице и грустно на душе.

Наша многочисленная семья ужинала молчаливо и строго. Вдруг на улице послышался чей-то встревоженный и звонкий голос: «Нялай идет!» Вслед затем стекла в нашей избе слегка зазвенели от ужасающего стоны: «Ох-ох-ох-ох-хо-хо...» Все встали с мест и взглянули в окно. Нялай, огромный и темный, как самая большая сосна в нашем лесу, вздыхая на всю деревню, медленно приближался к дому: «Нялай идет! Нялай идет!»— шепотом повторяли все, забыв об ужине, а отец шел скорее запирать двери.

В избешке сразу стало темно. Нялай босой, без штанов, без шапки стоял уже у окна. Сердце мое сильно билось... Словно гром внезапный ударил в крышу дома. Двери крепко заперты. Мать моя тихонько, словно боясь кого-то разбудить, убирает чашки и ложки. Побледневшие сестры крестятся. Через минуту раздался стук. Окна задрожали, стекла зазвенели, стало жутко и страшно. Дядя Нялай представлялся мне сказочным волшебником, каждое появление которого похоже на недочитанные еще страницы интересной сказки. «Что-то будет? Что-то будет?»— думал я, сидя в углу на лавке. Меж тем, удары в дверь раздавались один за другим все чаще и чаще. «Не знаю, выдержит ли запор?»— озабоченно говорил отец. «Видно, опять все пропилил в городе-то!»— шептала мать. «Третьего дня целый воз столов, стульев, шкафов утащил в город, вот теперь и пирует отец семейства!»— вздыхала сердобольная сестра Нялая, слушая его неистовые удары в дверь. Старик-отец охает, боясь за крепость дверей, братья молчат, я готов заплакать от неизвестности и страхов. А удары сыплются и сыплются в дверь, громкое рычанье, свирепые возгласы несутся с улицы.

— Разломает все, выбьет ворота все равно,— говорит мать.— Надо пустить, он ни за что не уйдет. Вот непогода-то явилась!

Отперли Нялаю. Голый, огромный, лохматый, медленно и важно, как победитель, вошел он в избу. «Устинья! Дай редьки, или я умру!»

— Садись скорее, батюшка Нялай Егорович! Пропил все, бедный! Сейчас редьку принесу, и квас есть. Кушай да ложись!— занскивает и суетится Устинья.

Ест редьку Нялай, пьет квас, затихший, молчаливый и величественно грозный даже в этом мирном занятии.

— Попил, попил, попил!— говорит он, ставя ковш с квасом. Все глядят на него, как на чудище.

— И товар, и сено, и лошадь — все пропил, — мирным тоном продолжает богатырь без горечи и злобы, отмечая свершившийся факт. — И пил же я, ох, как пил! Теленкато, что недели через две у Бурены будет, я уже продал оплеснинскому приказчику; все продал, что есть и что будет!

— Молодец, что и говорить! — ворчит мой степенный и хозяйственный отец, — скоро и рассудок пропьешь, как найдешь покупателя, — иронизировал он. Весь добродетельный уклад его возмущался существованием столь нелепого человека.

Добродушно улыбался Нялай, спокойно глядя с высоты своего необыкновенного роста на сухонького, чистенького и маленького Фалалея. Насытился он, пошел от стола, и я пристально глядел на половицы, не остаются ли на них углубления от грузных, тяжелых шагов великана. Пошел спать Нялай, и закачалась печка, на которую он полез. Три дня и три ночи непробудно спал он, и ходуном ходила изба от его богатырского храпа. На четвертый день рано утром проснулся. Я испуганно глядел с полатей, что будет дальше. Он подошел ко мне, кое-как напялив на свое огромное тело рубаху и синие портки моего отца.

— Аркадий! — сказал мне, — не пей вина, будешь господином, — и широкой теплой рукой погладил меня по голове.

— Ты знаешь Нялая из Шошки? — спросил я своего ямщика.

— Кто же его не знает? Золотые руки, да и голова не медная, — отвечал мужичок, сидевший на козлах. — Первейший на всю округу. Кабы не пить ему, купцом был бы, жил бы в каменном доме. А теперь! Да вот сам увидишь в Шошке-то. Э-эх, любезные! — крикнул он, стегнув заленившуюся пристяжную, а потом, оборотясь ко мне, прибавил: — Одно слово — богатырь, милорд, а у нас место тесное стало, скудное, и народ пошел мелкий.

— Ведь сказывают про Нялая-то, — продолжал ямщик, видимо, обрадованный сюжетом, — что он девяти лет косил, как мужик, годов семнадцати пошел на заводы в Пермь, там скоро столярить выучился. Приехал мастером на диво. Все — и купцы, и господа — к нему работу несут. Большие деньги накопить мог бы. Женился в те поры. Ну, баба, известно, баба и есть. Он — все в городе да в городе и научился пить, сперва помаленьку, ради потехи, а

потом все больше да хуже. Трезвый-то и теперь еще умница великая, а пьяный — разбойник, атаман, никого не уважит. Раз у исправника нашего работал; его угостили, напоили, а он и заспорь с исправником-то, забыл, кто и что. Пьяный-то постоянно чиновников ругает: жалованные-де мошенники. В городе только окошки от него закрывают. Никого не уважит в жизнь свою, ничего не боится. Заспорил с исправником. Нялай свое, а исправник его подзадоривает. Что вы думаете? Взял Нялай исправника в охапку, да и понес через все комнаты, да в кухне его на горячую плиту и посади, только брюки казенные зашипели! Ладно, что исправничихе какие-то шкапы сильно были нужны, так простил, а ведь за такие шутки всякое бывает.

— Вот и Шошка сейчас. Это — Граддор! — указал ящик на озаренную последним лучом церковку, которая вырисовывалась на пригорке: меньше половины осталось. И каждый из нас погрузился на время в свои думы.

Долга, мятежна, необычайна жизнь Нялая! Недаром прозвали его так*. Пламя — его характер, горячий ураган — жизнь его, и эта жизнь заброшена на пустынный, однообразный Север.

И в каждый момент Нялай был могуч и ярок. Вспоминаю я праздник в деревне Чит, куда, будучи молодым и образованным писарем, отправился я с гармоникой в руках. Яркое, июльское солнце. Праздничная толпа. Девушки, краснощекие, с плутоватыми глазами, в пестрых нарядах, расхаживали по улице, щелкая орехи. Какие-то бойкие бабы торгуют пряниками, сушеным изюмом, сбитнем, гороховым киселем: парни играли на гармониках, кто во что горазд, полупьяные мужики хорохорились на крылечках и у кабаков; потные, красные жены визгливо уговаривали их идти домой спать. Ярмарка в разгаре. Верхнесольские и вычегодские ловкачи погнали табуны жеребцов и кобыл и расположились на окраине торговой площади. Со всех сторон — шутки, прибаутки, восклицания, вопросы, споры, брань. Чего-чего тут не услышишь! Все остроумие, сметливость, жажда наживы, лукавство, тщеславие, беспечность, веселье — все вынесено на улицу. На, гляди! Нялай стоит у огромной телеги с мелкими поделками, кругом него в беспорядке стоят и лежат столы, стулья, шкафы, сундуки и т. п. Жена и дети держатся за него, вырывая деньги, получаемые им от торговли.

* Нялай — по-русски «пламя».

— Выпить уж давно пора бы,— говорит Нялай, потрясая гривой, и скоро исчезает в питейном.

— Не он вина, а вино его ищет!— говорят в толпе.

Я с приятелем Василием из Межадора направляюсь к длинному ряду лавок. Там встретили мы вора и пьяницу Терешку, сосланного в наши края за ловкость рук, считавших чужой карман за свой. Он хорошо играл на гармонике, и мы рассчитывали узнать у него новые «мотивчики». Терешка взял из моих рук гармонику и вмешался в народную гущу, пока мы заговорили с одной знакомой красавицей из Вильгорта. Среди ярмарочной разноголосицы мы слышали высокие, жалобные звуки какой-то печальной мелодии, словно девица плачет по милому своему. Нежные, переливчатые трели птиц в дремучем лесу послышались мне; замечтался, задумался я... Вдруг резкие, страстные звуки камаринского пронеслись по площади. Народ слушал, хвалил, многие притоптывали и разводили руками.

— Ох-хо-хо!— раздалось вдруг в толпе, и Нялай показался из кабака, взлохмаченный, красный, блестя веселыми глазами и яркой, широкой улыбкой, как сам древний бог вина и веселья. Вскоре все затихло, кроме возбуждающих, дразнящих звуков гармоники. «Нялай пляшет! Нялай пляшет!»— раздалось в толпе, и народ сбегался со всех сторон, как на пожар.

На широкой площади, окруженной тройным кольцом праздничной публики, кудрявой головой возвышаясь над всеми, Нялай плясал. Сначала он тихо, плавно делал удары ногой, мощными руками упираясь в бока. Звуки гармоники крепчали, и Нялай быстрее двигался, пускаясь в присядку. Вдохновляемый общим вниманием и многообещающим видом пляшущего великана, Терешка играл все бойчее и увереннее, а страстные звуки опьяняли Нялая, возбуждали его...

Разгоряченный и уже неистовый, он колесом прокатился сквозь толпу, опрокидывая людей. Толпа росла; как шум моря, ропот тысячеустой толпы повторял одно: «Нялай пляшет! Нялай пляшет!»

Наконец, Нялай остановился и, соблюдая такт гармоники, разломал изгородь мужика Петра, сорвал столбы с крыльца дяди Ивана, затем, размахивая в бешеной пляске руками, ударил рыжего мерина по толстому заду, и мерин присел и фыркнул от неожиданности: Нялай, как вихрь, понесся дальше, невзначай поколотил троих мужиков и двух баб, которые тут же закричали свирельным

голосом, и в заключение взял огромный камень, лежавший близ колодца мужика Габова, и бросил его через амбары. Камень, свистя и жужжа, перелетел через двухскатную крышу, упал в огород тетки Дарьи и глубоко ушел в землю. Нялай же, потрясая воздух громким криком «Я вам!» и угрожая небу и земле кулаками, как Аттила, прошел среди затихшей толпы к свату Степану, напился до полусмерти, избил полицейских, пытавшихся его схватить, и после того спал три дня и три ночи.

Он был вне установлений жизни и ее законов, не вмещаясь ни в какие нормы. Помню, как в Усть-Сысольске помещик Хватов, желая подшутить над Нялаем, приказал дать ковш водки наполовину с касторкой, а Нялай взял ковш, усмехнулся и, сказав: «Эх, барел! Это вам масло, а мне — мед», — выпил, не поморщившись, и спокойно пошел на работу.

Мы подъехали к Шошке. Двадцать пять лет тому назад я здесь на празднике зимнего Николы, гостил с отцом и матерью у дяди Нялая, и сердце мое забилося, когда я взглянул на блеснувший при надвигающемся сумраке купол старенькой церкви, такой тихой, ласковой и неизменной, словно старый нежный друг. Темневший сплошным кольцом лес задумчиво глядел на меня, и, казалось, «шорох их вершин меня приветствовал». Два ряда сереньких избушек с маленькими, словно подслеповатыми окнами, пугливо жались друг к дружке, такие старые, замкнутые, молчаливые. Деревня спала. Я ночевал в волостном правлении и на другой день с каким-то робким ожиданием в душе отправился к дяде своему Нялаю Егоровичу.

Не доходя до большой покосившейся избы, я увидел у изгороди высокого седого старика, который, закрывая глаза рукавом, глядел на выплывающее огненным полукругом солнце...

— А, племянник, племяш! — сразу обратился он ко мне. — Знаю, знаю, что приехал на земских с колокольцами, да не пошел вчера к тебе, ты моложе, — ласково продолжал Михайло Егорович, и в густых, сдержанных звуках я узнавал могучий некогда голос богатыря Нялая, пугавший, бывало, мое детское воображение.

— Что глядишь? Пойдем в избу, квасом угощу, гостем будешь! — И сильно нагибаясь в дверях, он пошел вперед. Вошли. Изба большая, прокопченная вся. Беззастенчиво ползают всюду тараканы. Мухи кружатся над

непокрытой краюхой хлеба. Воздух кислый, тяжелый. У огромной облупившейся печи возилась старуха — его жена. Она взглянула на меня красными слезливыми глазами и, ничего не сказав, без надобности сняла с полки сковороду и поставила ее на лавку.

— Угости племянника, Марфа, что у тебя есть: квасу принеси, хлеба, молока...

— Ой, тошненько, мой батюшка! Ничего нет, разве сам пошлет за чем! — промолвила Марфа, равнодушно и тупо поглядев на меня, потом стала двигать ухватками.

— Вот, любуйся, племянничек, на мое хозяйство — все тут. С Марфой доживаю свой век, куда денешься? — и горечь послышалась в его словах. — Сыновья были, да одиншибко силен был, на горе! Я ему говорил: ни с кем не дерись, Степан, ты дотронешься, а человек умрет. Так и вышло. В Сибирь угнали судьи, не знаю, жив ли. Другого, он около твоих бы лет был, на заводе машиной убило. Третий, уж годов больше десяти будет, умер тоже. Хворый да и умом-то слабый был, весь в мать, только одно и любил: щепки после меня собирать да копить на растопку.

— А дочери ваши где же? Отчего вы одни живете?

— Дочери, дочери! Зять, милый человек, любит взять. Что было — все отдал: коров, телят, лошадей; два сруба новых — и то им. Землю нашу я никогда не любил, мала, скудна — все им отдал давно. Зачем им жить с нами? У нас ничего, кроме старости, нет. Они хорошо живут, хоть один зять и озорной. Мне без году восемь десятков, о душе теперь думаю.

— Ты еще очень бодрый и крепкий, Михайло Егорович.

— Да ведь род-то у нас крепкий, живучий. Отец мой жил, никто годов его не знал и не помнил. Царя Павла помнил, смекни-ка! А я! Кровь ведрами лилась из меня в разных битвах. И били же меня, и бил же я, господи! Прости ярость мою! Без памяти неделями леживал, раз пятнадцать богу душу отдавал... Господь спас, никого до смерти не убил, и самому предел дан — грехи замолить.

— Водку не пьешь, Нялай Егорович?

— Что ты сказал, золотой?! Как же ее, матушку, не пить? Разве долго проживешь без водки? Нет, этот злак — на службу человекам. Пить не грех, только образа терять не надо... Мало пью, конечно, взять негде на водку-то, а пью, пью, когда случится. Тесно, ведь, на свете-то, милый, скучно. От тоски помрешь. Кабы смолоду за море уплыть,

на корабле бы жить на большущем, да море бы держать на привязи, ну так некогда тосковать, а то что же в нашей стороне!

— Работаете ли еще, дядюшка?

— Плохая стала работа, руки болят да и хорошего инструмента нет. Неохота что-то работать на купцов да на чиновенство здешнее. Для чего? Из-за чего? Мне мало надо.

Я пристально глядел на Нялая, послушал его, и безмерная грусть заливала мое сердце. Ни семьи, ни довольства нет у него, ни славы, ни власти! Куда ушли великие силы? Он был по-прежнему величав, и ветхий, заплатанный по синему белым кафтан свой носил, как изгнанный принц крови. Львиная, посеребренная голова, как и на портрете у Кулькова, откидывается по привычке назад. Он слегка сгорбился, но все еще головой выше среднего человека. Однако во взоре нет уже грозной сумрачности, и крупный рот улыбается мягко. словно нашел он какую-то разгадку жизни и стал эпически спокоен. Старуха, удалившаяся во время нашего разговора, зачем-то опять пришла из-за перегородки; за ней выглянула толстая, веснушчатая баба с ребенком у груди, тупо взглянули на меня обе и опять скрылись.

— Это дочка Авдотья с ребенком пришла,— пояснил Нялай. Я встал и начал прощаться.

— Ну, не обессудь, не угостил, за мной считай,— говорил он, провожая меня,— странствуй по белу свету, авось правду или счастье найдешь.

Я вышел и сосредоточенно думал о судьбе своего дяди.

— Помогите, сколько можно! У нас ни гроша нет,— прошептал кто-то возле меня. Я обернулся и дал пять рублей униженно кланявшейся Марфе.

— Спасибо, спасибо,— заморгала она глазами и, робко озираясь, засемила обратно к дому.

— Что, назад поедете?— встретил меня вчерашний ямщик,— Я увезу, пожалуй.

— Закладывай, поедем.

— Дяденьку изволили навестить?— встретил меня в дверях правления молодой угреватый писарь в чесучевом пиджаке.

— Неважно живут, несообразно таланту, можно сказать. Вот Фома Матвеевич, старшина наш, да батюшка здешний объясняют, что все — от водки, а я так полагаю,

что пьян да умен, два угодыя в нем. Вопрос не в водке, а, так полагаю, несчастная семейная жизнь! «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»,— сказал великий писатель Лермонтов.

— Это не Лермонтов сказал,— механически возразил я на болтовню угреватого писаря.

— Не Лермонтов, так Пушкин или Кольцов. Много читаешь, так спутается в голове, знаете. Не угодно ли ко мне на чашку чая?— внезапно пригласил писарь.

Я отказался.

— Напрасно, сейчас жарко ехать, а у нас вы развлеклись бы. Жена моя образованная, учительница в здешней школе, оба служим на пользу нашей родине.

Зазвенели колокольцы, и я поспешил проститься с любезным волостным писарем.

В конце села, у околицы ящик мой остановился поправить шлею на кореннике, и я услышал трубный голос Нялая. Стоя на крыльце своей покосившейся старой избы, он кричал мне вдогонку: «Эй, много дал, напрасно, богатым никогда не будешь!» Напрасно! Напрасно!— долго еще звучало это слово, когда мы выехали из села Шошки.

Разнообразные чувства волновали мою душу. И понять что-то хотелось, и плакать, и что-то оправдать. Жизнь — сказка, и загадочны страницы ее. Бледно-синее кроткое небо спокойно глядело на меня с высоты. Мы въехали в безмолвный лес...

СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ

I

Солнце было уже невысоко над селом Маджа. Прощальные его лучи озаряли крутые берега Вычегды у села Корткероса. Два мужика, Иван Изъюров и сосед его Ардальон, дули на чашки с чаем, пили без счета, до седьмого поту и вели сладкий разговор о житье-бытье.

— Тебе нечего теперь бояться Ежова-мироеда, ты но-

не получаешь жалованье. Восемь рублей — большие деньги для мужика, а служба почтальона не трудная, далеко ли до Лопыдина на Локчине.

Так говорил Ардальон, выглядывая иногда в окно на далекую реку под высоким берегом и на зеленые луга за рекою.

— Я так же думаю,— отвечал Иван.— Что мне Ежов? Я муки купил не у него, а у самого Шешукова в городе, на двадцать копеек дешевле на пуде. Съездил и купил. Он, говорят, сердится, наш Ежов, да мне-то что, а вот мой старик боится: чтобы, говорит, чего не было...

— Ничего не будет,— успокаивал Ардальон.— Не над всеми властвовать бородачу. Сейчас муки дает всем в долг по 1 рублю 40 копеек, а сам покупает в Котласе по 1 рублю 10 копеек. А как наступит осень, требует долг хлебом, который осенью-то станет 80 копеек, не хошь ли платить вдвое больше. Опять рябчиков носи ему да белок — не смей продавать в чужие руки.

— Да-да,— подтверждал Иван Изъюров.— Теперь я почтальоном стал, шалишь, ни с чем не пойду к нему, лучше куплю чай-сахар или что прочее у Попова или у Вишератина. А мужикам надо бы сказать, чтобы рябчиков продавали они в городе помимо Ежова, довольно ему над нами хозяйничать.

— Народ наш не поймет, народ наш — неуч,— говорил Ардальон, глядя на заходящее солнце из-за самовара.— Не поймут. Как-то я говорил с Петром из Позтыкероса, так же, как с тобой, а он мне отвечает: «Что ж, Ежов не грабит, к нему мужики сами идут, он всем дает товаром и хлебом, года два-три ждет, благодетель». Вот поди ты, я это толковал, толковал Петру-то, не понимает, не берет голова. У вас, говорит, зависть, согласия нет, и мне, говорит, завидуют, зачем я содержу станцию. Отнимите, держите сами. Вот каков наш народ...

Так беседовали Ардальон с Иваном. Между тем солнце уже зашло за еловый лес, растущий за селом Маджей, в воздухе холодало, и сыростью повеяло. Была еще ранняя весна. В селе Корткеросе уже все утихло.

Собаки перестали лаять, бурлаки прекратили свои песни и игры на гармонике, работники вернулись с полей, посеяв сегодня ячмень. Полноводная Вычегда спокойно несла свои воды к закату солнца. Запоздавшие птицы летели с юга стаями над сонным селом, гортанные их звуки раздавались над темными лесами и над рекою...

Ардальон с Иваном простились.

Каждый позаботился о плохом ужине и о постели, чтобы хоть на время забыть несправедливости жизни и свою зависимость от длинных, жестких рук торговца Ежова, дом которого, покрытый синей краской, возвышался посреди села рядом с волостным правлением.

II

Назавтра, рано утром, Иван Изьюров, взявши гребца Степана, своего же соседа, отправился с почтой в Локчим. Иван сидел в корме, Степан работал веслом, кожаный мешок с письмами и пакетами лежал посреди лодки. Через три дня наши крестьяне прибыли в Мордин, в село на высоком берегу реки Локчим.

Целый день гостил в Мордине Иван Изьюров, пока писарь принимал бумаги. Писарь же не спешил. Это был черноглазый молодой человек, державший в руке всю волость, потому что он один знал, куда писать какую бумагу, кому на кого жаловаться, у кого лес просить по пониженной цене. Пописав, он сходил обедать в собственный двухэтажный дом, попил чайку и опять пришел в правление. Изьюров же полагал, что так и следует, и сам ходил весь день по знакомым, калякая о том, о сем. Ночью только он выехал в лодке со Степаном обратно в Кию (Корткерос). Белые ночи так светлы на севере, что не только в лодке ехать по Локчиму, читать и писать можно всю ночь.

Румяная заря все время держала свои крылья раскрытыми над дремучими лесами и над синей рекой. Ночь прошла, солнце опять взошло из-за пожен, расстилавшихся по Локчиму.

К полудню почтальон с товарищем прибыли к маленькому острову на реке. Степан вышел на остров и увидел много зайцев.

— Эй, Иван, иди сюда, зайцев много здесь.

— Неужели? Что же мы сделаем, у нас нет ружья.

— К чему ружье, бери палку — им некуда бежать с острова.

И то правда, зайцам некуда было идти, они прыгали от одного куста к другому, ошалелые Иван со Степаном с палками гонялись за ними, и много избили они серых и белых скакунов.

Но вот Степан прибегает к лодке, а лодки нет.

Она уплыла вместе с почтой.

— Эй, Иван, беги сюда — лодка-то уплыла.

— А почта где?

— И почта уплыла.

Тут два мужика давай хлопать себя по бедрам и чесать затылки, лодка уж далеко была, весенние воды быстро несли ее к устью реки, а оттуда и дальше.

Новые Робинзоны сели с горя под кустом и сидели молча, даже забыв своих зайцев, которые валялись по острову.

К закату солнца почтальон с товарищем поднялись на дерево, потому что вода прибывала, а через два дня спасли их мимо ехавшие рыбаки, снявши их еле живых с деревьев.

Ивана Изъюрова лишили должности почтальона за пропажу почты и оштрафовали, а на его место назначили Ардальона. Опять в прежней бедности Иван. Корова у него одна, лошаденка тощая, хлеба уже давно нет, а детей трое, да еще старик-отец, который все стонет, боясь, что придется идти по миру. Ивану пришлось снова идти к Ежову и униженно просить хлеба в долг.

Но торговец, мужик с окладистой бородой и проседью, с лукавыми, маленькими глазками, сказал Ивану: «Иди, иди, ничего тебе не будет, ты покупаешь в городе, в нас не нуждаешься, нами брезгуешь».

Так он сказал отчасти по собственному убеждению, для острастки мужиков, чтобы не смели ни покупать, ни продавать на стороне, отчасти под влиянием жены, толстой, опухлой Матрены, которая была сердита на всех и на вся. «Как он смел?! Посмел купить хлеба в городе!— кричала она на мужа.— Это твоя слабость, все выйдут из-под твоих рук, в бороду заплюют тебя, нищим будешь».

Василию Ежову накладно было послушаться жены, потому что любил порой выпивать, а ключи от всех шкапов с водкой и с винами были у жены, да и сам он, по всестороннем размышлении, был согласен с доводами жены.

Плохо пришлось Ивану Изъюрову: денег нет, а есть нужно каждый день — желудок на гвоздь не повесишь.

Беда идет за бедою, как черные вороны налетят они порою на человека, одна за другою.

Так случилось с Иваном.

У него был брат Егор, тридцатилетний парень с рыжими жесткими волосами, с серыми глазами, со стальным взглядом.

К счастью для семьи в последние годы не было Егора дома.

Он где-то проживал в дальних странах. Но вот вдруг в

эти черные дни привели его по этапу и водворили в доме Ивана.

«Как же это случилось?»— спрашивали Иван и старик-отец, с ужасом глядя на вернувшегося Егора, босоногого, одетого в рубище. «Вот так и случилось очень просто»,— отчеканил им Егор, сидя у стола под иконой и вертя в руке крючковатую сигарку.

Работал он на Кутимском заводе, что наживал, то и проживал. Затем, когда ему надоела заводская жизнь, поступил матросом на один из камских пароходов, а оттуда прибыл в Вятку, где зимоворствовал. Однажды в лавке он просил хлеба, сам был босой и в дырявой рубашке, тут схватили его и как беспаспортного привели через губернский город в село Корткерос.

Вот и все.

Он от крестьянской жизни отвык, ни пахать, ни косить не хотел и был только обузой для Ивана и его семейства.

— Вот еще несчастье, нелегкая брата привела,— бормотал Иван и стал нападать на Егора, упрекая его в лени.

— А что пользы от вашего трудолюбия,— отвечал тот,— все равно работаете вы на Ежова, а у самих все шиш, так и останется шиш. Дураки вы, дураками родились, дураками похоронят.

И тут Егор развел свои взгляды. «Если бы компанией жили или артелью, согласились бы не покупать ничего, не продавать ему, то волком скоро завыл бы он.

— Да, держи карман,— возражал ему Иван, починая телегу.

— Держи карман, ты погляди, как живут на заводе, всем плату прибавили.

— Отчего же ты там не жил, сюда вернулся к дуракам?

— Чтоб вас научить уму да разуму.

— Научишь ты, Ежов в нас не нуждается, а мы все к нему — с делом и без дела. Вся волость, весь Локчим у него в долгу. Куда нам деваться, безденежным?

Тут говорил уже Иван вопреки себе, он сам думал иначе, да несчастье сильно согнуло его.

— Наживу, так я вам покажу,— сказал Егор и куда-то босой ушел в лес.

Иван только поглядел ему вслед. «Что ж ты покажешь?»— бормотал он, смазывая второе колесо телеги.— Красного петуха, что ли, пустишь — путного от тебя не жди ничего».

Прошло две недели. Иван возил кирпичи в городе, а на деньги, которые он наживал, покупал муку и этим содержал семейство, да и что было ему делать, раз могущественный человек на него рассердился. Лесные же приказчики еще не приехали, чтобы нанять строевой лес рубить, заводские агенты тоже еще молчали, не нанимали людей в заводскую кабалу.

Так время и шло. Между тем толстая Матрена отпустила своего Василия Ежова по делам в город, куда прибыл коммивояжер, кудрявый еврей из Лодзи, и завязывал торговые узлы, покупая и продавая все в кредит. Городские купцы были очарованы, поэтому после всех сделок устроили маленькое пиршество в доме Шешукова. Там же был и Ежов и пил не хуже других. Еврей хвалил северян и говорил, что они умнее западных торговцев и южных также, что народ на севере отважный. Северяне же себя хвалили, как люди менее разумные и в добавок во хмелю. Поздно ночью пароход вез обратно веселого Ежова в Корткерос. На пароходе он нашел еще собутыльника, «промышленного» человека из Небдина, который ездил в Петербург, чтобы купить лес подешевле «в самом министерстве».

Он был в Государственной Думе и остался недоволен. «Там все кричат и стучат кулаками по стулу, да бьют в ладоши». Он говорил уже ослабевшему от пива Ежову, что у него много земли арендовано в лесу.

Василий Петрович уснул как раз в то время, когда надо было выйти в селе Корткерос, и пароход повез его в Пезмэг, и не видел он, что делалось на берегу у его амбара. А дело случилось большое, нежданно, негаданно...

Была непогода всю ночь.

Дождь ливмя лил с небесного свода. Облака неслись над селом и над лесом, груди их так низко спустились, что касались вершины деревьев. Святая вода кропила землю. Однако никому не хотелось выйти не только на реку рыбачить, но и на улицу — посмотреть на лицо природы, что там делается в потоке дождя. Корткеросцы все рано легли спать, в том числе и семейство Ежовых. Между тем в полночь прибыли какие-то люди в лодках к амбару Ежова, который был у реки и полон мешков с мукою. Сломали двери неизвестные люди и нагроулили свои лодки мешками.

Ветер шумел над рекою, она бурно и гневно несла свои воды, темные облака, как чудовища, висели над лесами и селом, и не было им дела, что делается в амбаре Ежова.

Между тем, если бы кто вышел из корткеросцев и приблизился к берегу, услышал бы голос Егора, который командовал всем делом.

Он, затворив двери амбара, сел в последнюю лодку (остальные уже вниз уплыли) со словами: «Вот что нужно делать с дураками». — И дал знак рукою грести, как можно сильнее. К утру, ко времени причаливания парохода, все лодки исчезли в курьях, в полях.

Спозаранку невестка Ежова вышла с прислугой за мукою, чтобы открыть торговлю, и увидела пустой амбар.

Тут поднялась суматоха.

Все село было на ногах, кто из интереса, кто из любопытства.

Иван Изъюров как раз вернулся накануне в село из города, и на него пало подозрение. Начался суд да ряд. Ивана вызывали повесткой и донимали перекрестными вопросами.

Егор же очень легко отделался, потому что свидетельские показания выяснили, что он еще за неделю до кражи ушел в город, где зимогорствовал, занимаясь иногда переноской кладей на пристани.

Весна прошла, и лето уже проходило. Началась жатва на севере.

Иван Изъюров был на поле со всем семейством.

Желтую рожь жал он усердно, захватывая сильною ладонью большие пучки стеблей, срезывая их острым серпом.

«Нет ничего лучше крестьянства, — думал он. — Только люби землю, да трудись, она не забудет тебя. Что мой брат Егор, опять ушел в Челябинск, нет у него ни уголка, ни жены, ни детей. Дай-ко я возьмусь поусерднее за землюшку, не поправлюсь ли, не выйду ли из бедности?»

Так думал Иван.

Не знаем, оправдаются ли его надежды, ибо «землюшки» мало у корткеросцев, сжатых с одной стороны рекой, желтой Вычегдой, а с другой — топкими болотами, где растут чахлые елилки, и осушить которые у них не хватает сил.

Не знаем, что будет: грядущее — в тумане.

ИЗ ЖИЗНИ ОХОТНИКОВ НА ВИШЕРЕ

— Тятя, тятя, слышишь, как ветер шумит в трубе?— сказал Дмитрий, младший сын Максима, лежа на печке.

— Что больше делать ветру, как не шуметь в трубе и не свистать: у него ведь хлеб-то вымолочен и собран в амбаре,— ответил Максим, приготовляясь на лавке к охоте.

— Тятя, тятя, первый снег выпал,— злая старуха Ема нанесла его из дальнего, холодного моря...— опять сказал Дмитрий.

— Зима нам нужна, мой сынок,— говорил Максим, наживая на ногу кыс.

— Ох-хо-хо!— воскликнул Дмитрий.— Ох-хо-хоньки! Напрасно ты меня, отец, пустил на помочи в Ильин день. В холодном пиве дали мне «его», и испортили меня... И «он» растет, растет внутри меня и задушит.

— С нами Бог, мой сынок!— ответил побледневший Максим.— Пойдем, сходим на охоту, вставай, одевайся. Солнце уже играет за рекой. Пойдем в свою лесную избушку, натопим ее, наварим там кашу-юм, на нарах полежим, расскажу тебе сказку я, потом силки и петли расставим, на первом ведь снегу легко найти след зайчика и лисицы...

Дмитрий слез с печи, посидел на лавке и стал одеваться. Ему было семнадцать лет, до Ильина дня он был здоров и весел, отец на него глядел и радовался. В Ильин день в соседней деревне были «помочи». Молодые люди и девушки собирались туда и со смехом и с прибаутками жали рожь и ячмень целый день для мужика Степана, а к вечеру с песнями вернулись к нему на ужин... Во время ужина пили холодное пиво и горькое вино. В «помочах» участвовал и Дмитрий, и был там впереди на виду у всех — и в работе и в весельи был первый... Но через неделю после того стал задумываться и заговариваться. Максим с ужасом смотрел на проявление порчи. «Неужели любимого сына моего испортили?— думал он.— Лучше меня искрошили бы топорами. О злые люди! С кем век буду теперь я жить?».

Жены у Максима не было. Старший сын Василий был нелюдим и тяжелого характера. Дочь Дарья, 16 лет, стряпала для семейства.

Синий дым восходит к небу из избушек села Вишеры,

расположенной при соединении двух прозрачных рек:— Вишеры и Нившеры, сейчас подернутых хрустальным льдом.

Вдоль Вишеры идут Максим и Дмитрий на охоту.

— Тятя, тятя!— говорит Дмитрий.— Полночная сторона несет беду человеку... Оттуда падеж, оттуда болезни. Видишь, черный ворон летит с севера, вон и другой.

Максим слушает своего сына и смотрит на воронов.

— Курл, курл,— сказали вороны, перелетая бледно-голубым небом над охотниками.

— Типун вам на язык, черные дяди,— ответил Максим, желая этим убавить силу недобрых, верно, слов ворона.

— Вон и облака идут к нам навстречу, видишь, поднимаются из-за леса. Они сейчас находятся над ручьем Пукдым, где жил колдун Тювэ, один в сосновой избушке,— говорит Дмитрий, глядя неподвижно вперед.

— Ничего, ничего, сынок,— успокаивал его Максим,— мы пойдем на веселую речку Вылышор, потом на Ремъёль, если будет удачная охота, если даст нам ее Ен, отправимся также на Ляпкыдъэль и на Енью, Божью речку.

Солнце поднялось по небу, хотя и не высоко. Время шло к полудню. Максим и Дмитрий приближались к своей первой охотничьей избушке на речке Ковью.

Истопили каменку Максим с Дмитрием в лесной избушке («кола»). Наварили каши и насладились ею.

Под вечерок расставили петли и силки по холмам и на берегах замерзающих ручьев: между кустами петли для зайчиков, на прогалинах силки для красных снегирей, на рябинах из ветвей устроили петли для серых хохлатых рябчиков, ловушки («чэс») приставили для тучных черных глухарей и для белых куропаток.

Осмотрели охотники покров белого снега, нет ли где следа лесного человека, топтыги мишки, или узоров под кустом от следов хитроумной бурой лисицы, а серая лайка, которая раньше их выбежала из дому, зная намерение своих хозяев, вынюхала и вызнала, на каких елях белки сидят и, подлая на них, вернулась к хозяевам.

Поздно вечером вернулись охотники в избушку, зажгли здесь яркогорящую лучину, поставленную в светец. Дмитрий сильно устал и лег на нары, а Максим поправлял обувь и приводил в порядок охотничьи принадлежности.

— Тятя, тятя, у меня сильно голова болит,— сказал Дмитрий.

— Успокойся, сынок, пройдет голова, как поохотничаешь по новому снегу.

— Затылок у меня болит и лоб,— говорил Дмитрий.

— «Экое несчастье,— думал про себя Максим,— экие злые люди, испортили мальчика, дали ему шеву*... Сегодня ночью церковную свечку положу ему на голову, когда он уснет».

— Тятя! Завтра будет трудный день, тяжелый. Послезавтра еще труднее. А в субботу кто-нибудь умрет. Ужасное совершится в тот день, потом будет полегче.

— Бог помилует, Бог помилует, сынок,— говорил Максим, поправляя лучину. «Хорошо ли сделал я, что привел его на охоту, не нужно ли было вести его к знахарю Харитону из Сюзьыба?»

— Ох-хо-хо!— закричал Дмитрий.— Батько, батько — мы где? Он родил меня — где ты?

Максима в пот бросило от ужаса и обувь выпала у него из рук.

«Шева, шева-то в нем кричит, это не сын мой»,— думал он.

В это время он услышал, что кто-то будто провел руками по стеклу в окошке избы, и он оглянулся, но увидел, что старая ель своими ветвями ударяет в окно.

Он немного успокоился, подошел к своему сыну и положил ему руку на голову. «Не бойся, сынок, не бойся, усни, мы охотники и чего нам бояться?»

Только в полночь заснул Дмитрий, а после него на скрипучих нарах и Максим.

Рано утром на заре проснулся Дмитрий. Он оделся, перекрестил все углы баньки (пывсян) и вышел.

Максим, хотя и видел все это, но ничего не сказал. «Может быть, так и нужно»,— думал он; ему казалось, что все это как-нибудь пройдет. «Угодники Божии помогут ему». И он усердно им молился.

Дмитрий ушел.

«Ведь скоро придет»,— размышлял его отец и стал готовить завтрак для своего милого сына.

* Шева — порча.

Он казался ему теперь особенно близким сердцу.

Уж солнце поднялось над островершинными елями, ветер поднимался и утих, клесты и шуры пели и перестали и снова переговаривались, а Дмитрий не возвращался; к полудню время перешло, печку давно закрыл охотник в своем пивсяне, а сына его нет. «Не приключилась ли с ним какая беда?» — мелькнуло как молния в мозгу Максима. Наскоро одевшись, вышел он из избушки.

Ветер снова подул с севера. Стало холоднее. Лес тихо шумел, махал своими холодными ветвями.

Гиу-гиар-ляо! — восклицал снегирь на елке.

Виарляо! — говорил шур-уркай.

Геп-гип, гип-геп! — ворчал кривоклювый клест, выставляя свой красный зоб с высокой сосны навстречу косым осенним лучам.

— Тэд-эд-эд-тэдэрлей! — где-то пел глухарь.

«Птицы Божии, — молился Максим, — языка вашего я не понимаю, но спасите сына моего. И вы все звери лютые, рысучие, и ты, зеленый лес дремучий, у тебя много силы в корнях, в стволах, в ветвях. И ты, солнце красное, Божье лицо солнца, помогите вы сыну моему».

Так молился Максим, который сколько был христианином дома, столько же был язычником в лесу.

Подошел он затем к заячьим петлям между двумя кустами жимолости и маленьких лип. Заяц висел в петле, еще теплый. Охотник вынул его и положил в лаз.

Дмитрий-то, видно, здесь не был. Пошел Максим к ловушкам — чэс. Там глухарь попался; он был приплюснут ударом ловушки-бревна. Максим и его взял и, крестясь, положил в лаз.

Так обошел он все уголья по мягкому снегу, раздвигая руками тяжелые ветви сосен и елей, и везде изобилие было добычи. Но сердце охотника не радовалось, а как раз наоборот, еще более омрачилось, потому что нигде не было видно следов сына. Значит, он куда-то ушел, даже не посмотревши на охотничьи уголья и не полюбовавшись добычей. Или же ветром смело следы его?

Вернулся Максим домой, запер в чулан и зайца, и глухаря, и двух рябчиков. Сам даже не поужинал и, не раздеваясь, лег на нары.

— Сын мой, где ты? — шептал он.

Вечер наступил. Потемнело в лесу, ветер подул сильнее с севера и опять зашумел в трубе и где-то на крыше избушки.

Впереди ужасно долгая ночь, а Дмитрия нет.

И показалось охотнику, что сын его лежит на снегу под кустиком, а он сам здесь, в тепле, лежит на нарах и ждет. Эта мысль пришла внезапно. Как безумный, поднялся он и, одевшись наскоро, взял ружье и вышел на улицу. Луна чуть-чуть поднималась из-за лесу. Зная хорошо местность, Максим обошел кругом своей избушки все рощи, потом спустился к реке Вишере. «Не ушел ли он к охотникам на речку Пукдым?» — опять промелькнуло в его душе.

Идет он на Пукдым, идет всю ночь, не зная устали и забывая голод. К утру пришел в избушку охотников к восходу солнца. Там его соседи промышляли. На вопрос Максима, не видали ли сына, охотники ответили, потягиваясь на нарах, что не видали.

Но потом, взглянувши на Максима, сами испугались, догадавшись, что что-то недоброе случилось с соседом.

— Максим, на тебе лица нет, — сказали Иван и Семен. Иди домой, Дмитрий, видно, туда ушел, а то рассуди — ни ты, ни мы нигде следов не видали.

Максим рассказал им все подробно, сидя у печки: и про порчу сына, про шеву, которую дали ему в пиве еретики. Иван и Семен, выслушав его, снова повторили свой совет: идти Максиму домой и обратиться к колдуну Игнату из Одыба, который вылечивает травами грыжи и выгоняет шеву и даже наводит порчу на того, кто выпустил эту шеву.

Максим побывал еще на Енью и в других местах у разных охотников, и, не нашедши своего сына, отправился в свое село.

Вернувшись домой, он, крестясь, поднялся на скрипучее крыльцо и, крестясь же, вошел в избу.

Дмитрий лежал на печке. Он недавно пришел и всю ночь где-то бродил по неизвестным местам; его преследовали неизвестные люди: все хотели застрелить его, да не могли и гнались до дому.

«Если завтра не убьют они меня, тогда беде миновать. Но «он» все растет и поднимается, когда он дойдет до горла, тогда задушит меня», — так закончил свой бессвязный рассказ Дмитрий.

У Максима упала душа. Он прикоснулся рукой к голове сына, — та была очень горячая.

Прошла неделя. Максим был у разных знахарей. Те глядели на воду и читали заговоры.

«Твой сын испорчен»,— сказали они в один голос, даже указали человека, кто сделал порчу: это старик из Одыба, безобразный, кривой; он положил шею в хмель пива.

Когда сын успокаивался, говорил: «Тятя, тятя, еще поднимется на вершок, и я умру».

Наступила глубокая ночь. Максим стоял на коленях и молился. Свечка не угасла.

На утро Дмитрия не стало.

Отец рассказывал всем, что он задохнулся.

Деревянный гроб сделали соседи, положили туда Митю, и снесли гроб (горт) на кладбище.

«Это, конечно, сон»,— думал Максим и делал все, как во сне. Он то рассказывал всем, что был в лесной избушке, то вздыхал, то плакал, иногда был совершенно спокоен, думая: «Это что-нибудь так, шутя».

В землю опустили его сына. «На время же это»,— почему-то казалось отцу. Он даже удивился, когда прикрыли гроб землей. «К чему так много земли?— бормотал он.— Можно бы и поменьше».

Вернулся он домой. Все бы ничего, только голова тяжела. Свинцу, что ли, налили ему в голову? Как-то мотает, глаза мокрые, плачет что ли?..

После суровой и долгой зимы опять наступила весна. Солнце засияло на небе.

— Киу-гиар-ляо!— пел краснозобый снегирь.

— Виарляо!— вторил щур ему на елке с красными шишками.

— Гип-геп, гип-геп,— выкрикивал клест, радуясь весне.

— Тэд-эд-эд-тэдерлей!— тянул самец-глухарь, токуя на тающем снегу.

— У-у,— произносил филин, хотя никто не приглашал его участвовать в дневном хоре.

Охотники партиями возвращались из лесу на весенние праздники. Максим ходил по деревням по делу и без дела.

Он рассказывал всем желающим слушать о своем сыне, как он с ним на охоте был в избушке, как он искал его и нашел у себя дома. Слезы текли по щекам его.

Все слушали Максима, жалели, поддакивали, головой качали, давали поздние советы, как и чем надо было поить сына. А когда он уходил, вслед ему говорили:— «А старик-то ведь свихнулся от своей тоски по сыну».

ДАРУК ПАШ

Прозрачная Щугурью несет свои воды с лесистых Уральских гор в многоводную Печору. Берега реки Щугурью окаймлены дремучей пармой, от которой веет величием и унынием севера.

Недалеко от устья этой горной реки была деревенька, где жил десятилетний мальчик Дарук Паш, уже крепкий работник и помощник отцу. Люб был он и матери — сияющими, как звезды, глазами мальчик, одетый в черные панталоны и в синий кафтан, с шапочкой на голове, сшитой из кусков сукна, с красивой обувью «кыс» на ногах.

Но отец нередко бранил его за упрямый характер.

Часто бывало Дарук Паш уйдет в далекий лес по берегу реки и в мечтах проводит там дни и ночи. Где-нибудь на хрустящем ягеле лежит он в светлом бору, или, спустившись в темную ложбину, ловит птиц в тенистых кустах.

Рассердился старик на своего сына, привязал его веревками к высокому столбу у ворот, а сам пошел за розгами. Когда он вернулся, держа в руке пучок свежей гибкой ивы, сына уже не было у столба, веревки развязанные лежали у дверей.

Пошел дядя Семен искать по деревне своего сына — в деревне нет того нигде, в поле отправился крестьянин — нет нигде мальчика.

Солнце уже закатывалось за еловый лес, когда Семен встретил у шумящего леса незнакомца, седого старика, который ему сказал: «Твой сын будет знаменит в своей стране, прости ему его отлучки из дому и хождение по лесам, не наказывай его никак, когда он вернется домой».

Удивился крестьянин, слушая слова седого старика, который после этого тотчас удалился в темную парму. «Вот как, — думал Семен, — за моего сына заступаются лесные боги, теперь не буду ругать его никогда». А седой старец, дойдя до ручья, сбросил с себя свою ветхую одежду, седую бороду и большие брови и стал молодым Павлом. После такой молодецкой проделки Паш спокойно вернулся к себе домой.

Из-за мрачных Уральских гор пришли остяки, йэгран. Они спрашивали шесть серых коней для принесения в жертву великому богу. Дарук Паш нашел шесть лошадей серой масти, но денег не получил от йэгры. Остяки

обещали прислать их через полгода, сделали зарубки на деревянных палочках.

Прошло полгода. Отец Павла послал его поздней осенью к осяткам для получения денег, которые нужны были для покупки хлеба. Снарядился Дарук на оленях в путь-дорогу. Отец на прощанье сказал ему: «Сын мой, когда будешь проходить мимо «каменного гнезда» в горах, ничего не говори и песен не пой: там живет, в каменном гнезде, великий бог ветров Шуа... Ох! он не любит шума, и как услышит звук, чуткий на ухо днем и ночью, поднимет ветер на тебя и вьюгу нанесет с отдаленного севера. Берегись же, иначе он, страшный Войпель, погубит тебя».

По первому снегу отправился Дарук Паш к «каменному поясу». Он стал переезжать горы мимо Тэлпозиза, гнезда ветров, и запел песню. Тотчас же сильный ветер поднялся и снег посыпал на голову Паш и его оленей. Но юнец не испугался. «Двух смертей не бывать, одной не миновать», — сказал он и сел около своих саней и продолжал песню. Тут появился седой угрюмый старик, белый, как зима. Одежда была на нем вся белая: шапка и кафтан, и обувь — все бело. Старик посмотрел на Павла и сказал: «Ты красив, и мне жалко убивать тебя, на лице твоём вижу я печальный жребий. Ты люб моему сердцу. Будешь известен повсюду умом и сметливостью, но в жизни испытываешь ты великие страдания, потеряешь то, что другой раз не находится более. Я Войпель, бог вихрей, сын севера, Шуа с чутким ухом. Когда что вздумаешь сделать, свистни, я буду помощником твоим. Прощай».

С этим словом исчез Шуа в вихре снега.

Дарук Паш долго сидел задумчивый, думал о словах страшного Войпеля. Между тем ветер унялся, тогда Павел встал, запряг оленей и помчался через Каменный пояс.

Он был за Уральскими горами. Видел великую реку Обь и юрты осятков — йэгра-яран, получил от них денег, пустился в обратный путь. Через месяц вернулся он домой в светлые дни весны, когда солнце ярко сияет и птицы поют в лесах. Вид великих лесов и Каменного пояса, и мрачный лик бога Шуа глубоко проникли в его душу. Дарук Паш стал молчаливым. Яркие дни он начал проводить в лесах и работал по ночам — от заката до восхода солнца.

Золотистый мох растет в дремучей парме. Решил Дарук Паш взять этого длинношерстного мху для своей избы; когда он работал вместе с другими молодыми людьми в густом ельнике, то свистнул и вдруг поднялся вихрь и пошла трескотня по дремучему лесу. Число нош мху

увеличилось во много раз. Когда стали спускать в лодку, нош оказалось там несравненно более, чем предполагали. Между тем сильный вихрь свистал между деревьями и подымал белые волны в реке. Но вот опять свистнул Паш, и ветер утих. Пошла молва с этого времени, что Шуа, мрачный бог, помогает ему.

Построен был новый дом на берегу прозрачной Щугурью искусными руками Дарук Паша.

Все любовались этим домом, да и не долго. Наступила глубокая темная ночь. Павел разобрал его, спустил на реку, сплотил и сплавил вниз по Щугору и по Печоре, пристал к берегу у села Подчерья, поднял бревна и доски, и поставил свой дом в том селе в прежнем виде, украсил избу снаружи и внутри... Заря еще не показалась, как кончил все это он. Крестьяне села Подчерье утром не верили своим глазам, и долго дивовались, и головой качали, и руками ударяли в свои бедра, глядя друг на друга, а потом к вечеру в один голос промолвили: «Войпель это сделал, он, Чуткоухий, больше некому на севере великом совершать такие чудеса».

Так жил Дарук Паш в славе и со спокойным сердцем. Но злая сила, которая живет везде — и в огне, и в водах, и в пармах дремучих,— ждала его уже.

Черные нити были вплетены в его узорчатую судьбу. Была девица Марья в том же погосте, где жил искусный Павел. Прозвание ее было Ягшорса. Когда все боялись Дарук Паша, она не боялась его; когда все чурались, она искала знакомства с ним. Тайна его жизни и слава взволновали ее сердце. Она любила Павла, хотя об этом никому не говорила. Когда он работал по ночам, она сидела на крыльце и смотрела сквозь мрак куда-то вдаль, слушала удары топора своего милого. Когда он бывал на охоте, она с набирушкою грибов встречалась ему на дороге, когда он мечтал и гадал на берегу реки, она на другом вила венки из синих и красных цветов.

Где бы ни был Дарук Паш, там же всегда была невдалеке молчаливая Марья. Ее белые волосы мелькали всюду между деревьями, ее голубые глаза глядели отовсюду на удивленного Павла. «Это, должно быть, ведьма,— думал он.— Впрочем, мне пара». И горячо, и шибко любил ее.

Отец вещей Марьи, кознодей Марко, не хотел и слышать о предложении Дарук Паша — жениться на его дочери. Он, желая, чтобы остыли сердца молодых людей, послал свою дочь с товарами к остякам. Путь лежал через Каменный пояс.

Едет молодая девушка по горам на оленях и песни поет, и в каждой из них упоминается имя хитроумного Павла. Подъезжает к страшному Тэлпозизу, к каменному гнезду ветров, и, ничего не боясь, продолжает оглашать дикие горы своими песнями. Поднимается страшный ветер и снег стал падать, крутясь, с затуманившегося неба. А девушка, распрягнув оленей, села под санями и стала ждать смерти. Она вспомнила теперь, что тут живет страшный Шуа, который не терпит шума, а она, забывшись, увлеченная мечтами, все пела. Выше и выше поднимается снежный холм. Уже не видно ни оленей, ни Марьи, красавицы ягшорской; только ветер крутит снежинки над сугробами и печально завывает свою таинственную холодную песню, да кажется, как будто где-то в тумане огромный белый старик с дубиной ходит по горам, и горы трещат от его ударов и камень дробится на части.

Ждет отец дочери своей с деньгами и с товарами. Еще лучше ждет жених своей невесты. Сердце его тоскует, не находит места Дарук Паш. «Неужели то случилось, думает он, что горше всего, что невыносимо?» Да. Случилось то, что горше всего, что невыносимо. Уже нет в живых вещей Марьи. Но этому не верит хитроумный Павел из села Подчерье, рожденный на светлом Шугоре.

Он ходит по горам, не боясь сугробов и ищет своей невесты. Но нигде нет ее. Снега и сумрачные леса под белым покрывалом везде он встречает, красавицы же Марьи нет нигде... Уже весна приходит, тают снега, проснулись звонкие ручьи, всегда поющие свои бесконечные песни (не знаю к чему). Тут Дарук Паш пошел к богу Шуа к Тэлпозизу (к каменному гнезду ветра). Он кашлянул, и старик услышал его и показал свою белую голову из-за камня. Сумрачный бог улыбнулся, увидавши своего любимца. С горьким упреком обратился к нему Паш. «Неужели ты, бог, не знал, что Марья моя невеста, и все-таки не спас ее, а где-нибудь погубил в своих сугробах».

— Не упрекай меня, старого,— говорит Шуа,— и мы ведь страдаем тоже немало и испытываем огорчения великие. И над нами выше есть. Как не знать — знал, что твоя невеста едет по горам и песни о тебе поет, но в книге судеб было исстари записано, что потеряешь ты то, чему нет воз-

врата — свое счастье. Зато тебя одарил я великой силой, сжалившись над твоей судьбой...

— Так где же она?— говорит упавшим голосом Павел.

— Она!— отвечает, как эхо, далеко звучащее в горах, страшный отец вихрей...— Она! Ее же нет. Но кости ее ты можешь найти там, за той горой, у стремнины скал, между кустами можжевельника... Я сохранил их от диких зверей.

Идет Дарук Паш к указанной горе, к стремнинам скал, к кудрявым кустам можжевельника. Приходит и видит свою невесту. Ее кости лежали, как бы собранные искусной рукой, нетронутые ни ветром, ни зверями: ни саней там не было, ни оленей... Долго целовал и обнимал, припавши к земле, эти кости Павел. Уж ночь наступила, а за ней утро золотое поднялось из-за лесистых гор... Весна была в своей красе...

Привез он кости домой и запер в особой комнате, потом пригласил полон дом гостей и пировал, уверяя всех, что невеста найдена, что они обвенчались, что заперта она в той комнате, что венчальный пир он совершает.

Народ не знал, что думать — с ума ли сошел он, или какое-нибудь новое чудо начинается.

Когда гости разошлись, он к невесте ушел «в спальню», как он говорил. И три дня там пробыл, не показываясь.

На четвертый день проснувшийся народ не увидел ни Павла, ни его дома. Все исчезло бесследно. Нет и нет его нигде, ни на полях, ни в лесу, ни в горах каменных мрачного Урала.

Уже двадцатый год проходит, нет нигде Дарук Паша. Слава о нем идет с лесистых верховьев Печоры до холодного моря, а никто не знает, жив ли он. Одни говорили, что видели его могилу, другие — что жив он и скитается по каменным горам.

Разноречива была стоустая молва. Вот уже двадцатый год прошел, и солнце снова вернулось с далекого юга на холодный север, наступила яркая весна.

Старик белый, как лунь, с посохом в руке пришел в село Подчерье. Молча вошел в село, поселился в доме родственника Семена и молча стал жить. Это был Дарук Паш. Все дивились и ждали чего-то нового. Но старик ничего не делал и ничего не говорил.

Когда наступила холодная осень и резкие ветры поднялись со студеного моря, и снег стал падать с низкого облачного неба, соседи нашли Дарук Паша холодным и без движения в его пустой избе.

«Он умер,— все сказали в один голос.— Он умер при первом дыхании бога Шуа. Шуа отнял у него душу».

Но так ли было, никто наверное не знал. Дарук Паш унес с собой тайну своей жизни. Нам осталась только великая молва о нем, несущаяся с гор до моря, по лесам и тундрам. Все помнят о хитрых делах чудного Дарук Паша, который не днем, а по ночам работал с заката до восхода солнца, которому помогал Шуа и по вине судьбы похоронил в снегах его невесту...

ДОЧЬ ПАРМЫ

Лес шумит на севере. Сосны гнутся от сильного ветра и ели машут рукой, как бы обращаясь к кому-то с речью, полною мольбы. Снежные облака носятся над полями и закрывают румяное солнце на южном краю неба.

Что за беда стряслась в природе и в жизни?

Жители села Усть-Кулом, лежащего при впадении Кулома в широкую Вычегду, сегодня весь день волнуются. То входят, то выходят из дома «народной расправы».

Они «бунтуют» давно из-за того, что начальство потребовало двойной подати. Они избили городского стряпчего, они держали в бане три дня окружного старшего начальника. Но сегодня душа их упала. Весть пришла, что войска идут к селу Усть-Кулому, что быть беде.

Шум в народной расправе и разные толки. Все говорят и никто никого не слушает. Мужики в полушубках и в меховых шапках машут рукавицами, убеждая друг друга. Лица у всех красные, глаза горят. Но вот «Тише, тише!» раздалось: «Пророчница Анна идет».

И толпа умолкла. Впереди всех показалась молодая женщина с темными, как глубокая ночь, глазами, с длинной черной косой, одетая в синий шушун и рубашку из самотканой материи. Голова была непокрыта. Лицо выражало целомудрие и строгость, тонкие черты обличали великую постницу, которой жизнь была непрерывное самоистязание...

— Дети Пармы!— сказала она, повысив голос:— Идут к нам две роты солдат. Берите ружья и защитите справедливость. Не вы ли стреляете в голову белки на большом

расстоянии, в глаз медведя и в ухо зайца? Мужайтесь, пишите прошение царю, что двойной подати платить и унижения потерпеть не можете, что леса ваши велики, и найдете вы себе верховья ручьев, где никто не увидит вас».

Народ слушал свою пророчицу, притаив дыхание. Но вот на лице Анны начались конвульсии. Глаза ее потемнели, она пошатнулась и упала на руки окружающих. Положили ее на скамейку и в исступлении она произносила несвязные, священные слова, народ улавливал каждый звук:

— Вот, вот, ружья блестят, идут... Негодяи, наши струсили... Вошли... Ай, ай! позор... секут, секут их, детей пармы...

Конвульсии увеличились... Анну покрыли белым полотенцем.

Старики шопотом говорили о пророческих словах строгой дочери дремучих лесов.

Вечер наступил, и ночь глубокая за ним, богатая неизвестными нам яркими звездами.

В великом смущении разбрелись все по домам, чувствуя неминуемую беду, высказанную словами девы.

Уж не рано, румяное зимнее солнце взошло и пурпуром наполнило окрестные села и деревни. Синие же сумерки удалились на далекий север.

Две роты солдат показались за рекой Вычегдой; они шли в боевом порядке. Штыки их блистали на солнце.

Не вышли им навстречу отважные охотники со своими меткими ружьями. «Не пойдем против царского войска», — сказали устькуломцы.

Вошли солдаты в село, их хлебом и солью встретили крестьяне и разместили по домам.

Офицер, который привел роты солдат, расположился квартирой в избе народной расправы... Он сказал окружившим его старикам: «Приведите ко мне главную виновницу, вашу мнимую пророчицу, я посмотрю, какая-то она»...

Привели Анну; глаза ее блистали огнем негодования и вызова, черная коса, как змея, вилась около белой, как мрамор, шеи.

Офицер, сидя за столом, стал расспрашивать ее.

Анна молчала...

Ни крик, не угрозы на нее не подействовали. «В отдельной избушке надо поместить ее под конвоем», — ска-

зал, наконец, офицер, и темное облако внезапно вспыхнувшей страсти пронеслось по его лицу.

Он с вождедением взглянул на Анну. Та поняла этот взгляд и, сверкнув глазами, сказала:

— Я выцарапаю глаза, вырву уши, перекусаю, искалечу каждого из вас и задушу в своих руках.

При этих словах она показала свои крепкие, тонкие, жилистые руки.

Офицер удивился. Он не ожидал такой пламенной злобы от красивой, черноокой девушки. Но теперь понял, что она фанатичка, безумная и игрушкой быть не может.

Теребя свой ус, умный и рассудительный, выдержанный вояка решил, что и без Анны много женщин в деревне и потому спокойным голосом промолвил: «Идите, никто вас не тронет».

— Я знаю,— ответила та,— в моей груди живет змея. Я дочь дремучей пармы насмерть укушу не только тело, но и душу.

Настал день ужасной кары. Солдаты устроились на льду двумя рядами, а народ размещен был по обеим сторонам их. На одной стороне были те, которые согласились платить всякие подати, какие потребует начальство и давали слово никогда не поднимать бунта, а по другую сторону те, которые не подписывались под унижительной бумагой (кабалой). Последних секли плетью. Каждому давали пятьдесят ударов и затем увозили избитого в санях в земскую больницу, которая на время устроена была в избушке. После же таких высылали на поля обширной Сибири.

Анна не могла видеть позора своего народа и убежала из заключения. Ей помог молодой отважный охотник Максим. Одетые в малицы и в пимы, на быстрых лыжах мчались они по белым сугробам в густые чащи дремучей Пармы. Охотник насилу следовал за ней.

Добежавши до высокой ели, Анна завязала о ветку дерева конец своей длинной косы, затем ею обмотала свою белую шею и повесилась. Вскоре она потеряла сознание, страдания ее исчезли, но Максим, заметивши это, как стрела примчался на лыжах к этому дереву и вернул из петли дорогую для него черноокую деву, и, взявши на руки, унес ее в охотничью избушку. Три дня он здесь за ней ухаживал, и к девушке вернулось сознание.

В то время, когда уголек горел в круглой каменке и луна лила свои серебристые лучи с голубого неба сквозь черные ветви деревьев в окошко охотничьей избушки, Ан-

на, подняв глаза на молодого охотника, сказала: «Все кончено для меня, и народ мой унижен надолго. Нет больше пророчицы Анны, жива осталась слабая девушка, покинутая всеми. Бери меня, Максим, я твоя жена, я хочу иметь сыновей, которые отомстили бы за меня!»

Луч счастья проник в охотничью избушку, находящуюся далеко, далеко от Усть-Кулома, в дебрях непроходимой Пармы. Максим охотничал и дичью питал свою подругу. Он каждое утро отправлялся с ружьем за плечами на лыжах в снежные рощи и песнею оглашал леса далекого севера...

Исчез пророческий дар у Анны. Она стала женой и матерью.

Прошли годы между тем. Ужасы, пережитые устюкомцами, обращались в величавые сказания, и раны общественные заживали.

Отважный Максим, отправившийся далеко за серыми векшами*, не возвратился. Осень прошла, зима и весна, а с верховьев Печоры не возвращался он. И не слышно о нем ничего... Умер он, все так сказали. Пост на себя наложила Анна, и в страдании возвратился ей прежний пророческий дар.

Надела Анна черный шушун, черные чулки и кыс**, на голову черный платок четырехугольником повязала, взяла белую котомку и тяжелый посох и пустилась в странствие по берегам Печоры, по Шугурью, на далекие каменные горы поднималась, издали казавшиеся пасмурными тучами у горизонта, спускалась в долины, ходила по деревьям и спрашивала: «Зачем мы живем?!» Никто не отвечал на ее вопросы.

Тогда сама стала она поучать людей: «Горе, горе будет вам, нахлынет другой народ, достойнейший, в эти леса! Огненные лодки заходят по рекам и над каждым десятком людей будет начальник... Огонь спалит ваши леса и обмелеют реки, задуют холодные ветра с северного моря... Посмотрите на вершины отдаленных каменных гор и подумайте о старых временах... Отдадите ужасное грядущее. Живите без ссор, помогая друг другу. Бросьте водку, табак, чай и картофель. О великом Ене*** чаще думайте!»

Так учила она, путешествуя по Пармам, переходя из

* Векша — белка.

** Кыс — обувь из шкур с ног животного.

*** Ен — бог.

деревни в деревню, питаюсь милостыней, которую подавали ей в окно любезные поселяне. Идут дни и годы...

Старость, дочь холодных небесных полей, серебрит ей волосы и стройный стан сгибает...

Но ярко блистают у Анны по-прежнему черные, огнем горящие глаза, в «Народные расправы» заходит иногда она и старшинам и богатым крестьянам говорит:

«О дети лесов! Знайте будущее! Настроят дома с длинными трубами, там будут жить чугунные чудовища, которые заставят вас постоянно на них работать... По земле будут ползать чугунные змеи. Дети пармы! Чаще смотрите на небо и живите ближе к земле, не отсрочатся ли времена».

Иногда конвульсия била ее, и в исступлении она говорила отрывочные слова, которые каждым объяснялись по-своему.

Еще более сгорбился ее стан, и пламя стало потухать в глазах... «Земля меня к себе зовет,— говорила пророчица Анна, стуча посохом и не будучи в состоянии уже поднять головы...— Скоро, дети, умру... Похороните меня под елью высокой у подошвы горы близ звонкого ручья... Я дочь Пармы, и без лесу жить не может моя душа... Ко мне придет дух моего мужа, кости которого лежат на берегу Печоры. Ко мне придут умершие мои дети... и заживем мы под елями в дремучих сеньях».

Умерла она, и похоронили ее под елью высокой у подошвы горы близ звонкого ручья, знаменитую дочь Пармы, пророчицу Анну из Усть-Кулома, о которой помнят старые старики и малые дети до наших дней.

ДАРЬЯ РОДИОНОВНА

Село Покча красуется на берегу синей Печоры. Сосновые избушки в нем смотрят окнами на реку и на зеленые луга, и на хмурые леса за рекою. В одной из них живет суровая вдова Аграфена Логинова, женщина твердых правил и преданная дочь «истинной», старой веры. Муж ее Родион хороший был работник, но он давно уже мирно лежит в земле. Две взрослые дочери вдовы помогают ей в хозяйстве, и Аграфена живет богато, содержит лавку,

муку, крендели, а в праздничное время «красные девы» села Покчи лакомятся чердынскими пряниками и орехами всех родов, которые доставляются из Сибири и богатого Поволжья.

Старшая дочь вдовы, Анна, имеет уже несколько детей, воспитывающихся в доме Аграфены. Анна жила в безбрачии, по «согласию», по обычаю печорцев-староверов: церковное венчание суровая вдова считала величайшим грехом, за который как раз угодишь в «неугасимо горящую смолу» после смерти.

В цветущем возрасте была молодая Дарья, вторая дочь вдовы, девушка со светлосерыми большими глазами и русою косой. Аграфена готовила ее к той же дороге жизни, по которой и Анна шла, но девушка иные мечты лелеяла в своей душе.

Нищая старуха ходила по песчаной дороге, по обеим сторонам которой росли островершинные ели, между селами Троицко-Печорским и Покчей, и часто останавливалась у крыльца и у окон избышки вдовы Аграфены.

Когда же Дарьюшка, с розовыми щечками дева, выбегала навстречу, старушка шепотом на ухо ей говорила: «Дева, по тебе сохнет отважный охотник и солдат Александр Пыстин». Румянец гуще становился на белом личике Дарьи, и она шепотом отвечала: «Эти же слова передай ты, голубушка, и ему». И целый пшеничный пирог давала она любезной старухе.

Старуха возвращалась из Покчи на Троицкое и с улыбкой говорила Александру: «Охотник, тает по тебе лебедушка в селе Покче, Дарья Родионовна». И за это получала она яичный пирог и медные деньги.

И ходит, и ходит старуха между селами, зажигая сердца молодых людей. Так дряхлый сторож ходит между лампадами в ветхой часовне, и умножаются горящие свечи перед блистающими золотом иконами.

Идут дни, недели и месяцы, невтерпеж стало парню; и вот в красивой лодке шлет он мудрых, словоохотливых свах к суровой вдове, к Аграфене Логиновой.

Издали повели речь свахи и затем лишь эquivoками перешли к делу. «Нехорошо товару залеживаться и не следует брезговать заморским молодым купцом. Твоя Дарья

юшка дорогой товар, а наш Александр заезжий дальний купец». Так говорили многоопытные, мудрые свахи, сидя у стола под образами в избушке вдовы. Серьезно слушала их Аграфена, стоя перед ними, опершись в бок рукою и наклонив голову к плечу. Когда свахи закончили свою, богатую пословицами, речь словами «Ах, трудно ныне беречь девушку и тяжело содержать ее» и на этих словах вздохнули, Аграфена спросила их: по соглашению или по церковному венчанию они хотели бы взять ее Дарьюшку. Свахи ответили опять длинную речью, что без храма Божия и без венчания непрочное стало ныне все на свете — последние времена пришли.

Тут вдова Аграфена оживилась, в глазах ее заблистал огонь:

— А! вы хотите, чтобы сама себя, еще при жизни, ввергла в неугасимую, горящую геенну; выдать свою дочь за православного?! Я, верная раскольничка, дозволю своей дочери вступить в брак по церковному обряду?! О, провались я на этом месте, если это будет! О, что слышу я! Бог мой, неужели так близок великий, страшный грех!.. О Родион! Слышишь ли эти слова!

Так восклицала Аграфена, то глядя на иконы, то на свах, то на своих дочерей. И чем больше возвышала она голос, тем в большую ярость приходила. Масло было подлито в огонь словами дочери.

Дарьюшка, щеки которой рдели густым румянцем, осмелилась прервать Аграфену словами: «Маменька, не бойся, я отвечаю за грех, а не ты». После этого поднялась такая буря в доме Родионовых, что дальновидные свахи сочли за лучшее удалиться из избушки (ведь и корабли все спешат в пристань, когда море заволнуется).

Дарьюшка заперта была в маленькую комнатку и днем никуда не выпускалась, только разве на тяжелые работы, и то под присмотром, а по ночам должна была молиться, чтобы отогнать от себя «мути». Сама вдова оделась во все холщевое и положила на себя великий пост.

Но нищая старуха продолжала ходить между селами и бывала у Аграфены и у Александра, да и не одна, какой-то ветхий старик, побродяга, провожал ее всюду и везде.

Крылатая любовь не прекратила своих действий. Переговоры продолжались между русой девой и отважным охотником из села Троицкого.

Лето прошло, пасмурная осень наступила. Небо покры-

лось тучами. Хвойные леса зашумели на берегах Печоры от северного ветра. Поникли головою ольхи, березы и кусты ивы по берегам ручьев: листья их опали, и не будет их до следующей весны. Только одна рябина гордилась своими ярко-красными ягодами, стоя при опушке леса, невдалеке от зеленой озими. Охотники ушли к уральским горам в дремучие пармы, где живут бурые медведи и щелкают орехами на деревьях красные белки, в чащах укрываются от ветра пестрые рябчики и черные тетерева. Там охотникам раздолье. Ночи проводят они в лесных избушках, а днями пересекают отроги холмов, светлые боры и темные пармы.

Александр Пыстин не отправился в дальние леса в эту осень, иной умысел волновал его душу. Упрям был этот парень из села Печорского. Пока держала суровая вдова под арестом свою непокорную дочь, он вошел в переговоры со своим священником, достал сведения о невесте от покчинского попа; все дело было улажено, назначен был день свадьбы в день Зимнего Николая, о чем извещена была и невеста.

Наступила суровая зима, снежные сугробы покрыли леса и поля. В синие сумерки до румяной зари отправила вдова свою дочь в дремучий лес за сеном. На дровнях поехала Дарьюшка, одетая в парку, переехала широкую, покрытую льдом, реку Печору и направилась к лесу. Как в малицы, одеты были в снега сосны и ели, и кустарники можжевельника. Деревья молчали, тишина была в белом лесу, только пестрый дятел стучал где-то, добывая червей себе из-под коры.

Только что остановилась дочь Родиона у стога душистого сена на берегу замерзшего ручья, как к ней примчались дружки Александра и дрожащую ее усадили в устюжские зеленые сани и увезли в село Троицкое.

Там сбросили с нее парку и одели в венчалное платье. Еще один час, и молодые люди были бы в церкви, но случай, который всемогущ, иначе решил все это.

Неизвестно, кто сообщил вдове с железным сердцем о случавшемся, и неизвестно, как она попала в село Троицкое; но только, когда невесту наряжали в пышную брачную одежду, приготовленную женихом, Аграфена внезапно явилась и, как раненая медведица, у которой отняли только что медвежат, бросилась на свою дочь, смяла ее под себя, изорвала венчалное платье в куски, затем вы-

вела ее в виду всех из избы и увезла в «розвальнях» к себе домой, на Покчу.

Девушка с большими серыми глазами и с огромной рукою косою была брошена в мрачный голбец; она не видела дневного света.

Жених и все его приверженцы растерялись и не знали, что делать, встретившись лицом к лицу с истой стареверою с непобедимым характером.

Аграфена между тем с горестью видела, что посты и молитвы не сохранили ей дочь. Поэтому отправилась она к ревностным староверским учителям, книжникам и законникам. Книжники и законники, глядя в большие старые книги, ей сказали, что где гибель, там и спасение. Особенно один из них, седой высохший старик, необыкновенно подвижный, с тоненьким голоском, лучший начетчик — он объяснил все Аграфене, как на ладонь положил. Он сказал: «Красота губит девушку, прелесть ее; безобразие же спасет. Нужно изувечить и искалечить ее, тогда жених, мирской человек, сам откажется от соблазнительного греха». Так научили вдову начетки старцы и прибавили: «Иначе и тебе, Аграфена, не избежать огненной смолы».

Вдова Родиона пришла домой, наточила большой нож, запаслась веревками. Зимний вечер наступил, а за ним глубокая ночь прилетела с северных стран. В полночь, когда петухи запели, зажгла Аграфена лучину и, поставив ее в светец, выпустила свою дочь Дарью из голбца, связала ей руки на спину, завязала ноги и, свалив ее на пол ничком, взяла приготовленный нож и начала пилить безымянный палец левой руки. Старшая сестра Анна плакала, умоляя мать отстать от истязаний и отпустить сестру. Но подойти ближе и вступить с матерью в борьбу она не посмела, видя ее иступленное лицо и нож в руке.

Проснулись соседи и на сильный крик прибежали они, и ворвались в запертые двери. Но было уже поздно. Палец уже был отрезан и завернут в тряпку, он лежал вместе с ножом, покрытым кровью на залавке. Дарья лежала неподвижно, кровь струилась из раны. Собравшиеся соседи развязали веревки и вынесли ее на станцию, где обвязали ей руку полотенцем и по совету учительницы, окутавши ее, как можно потеплее, увезли в лечебницу в село Троицкое.

Узнал обо всем случившемся охотник Александр, и стал

ежедневно посещать любимую Дарью в больнице. Прошли дни и недели, и выздоровела рука девицы из Покчи.

Наступила весна. Подули теплые ветры с юга и принесли с собой тонкие, белые облака. Из далеких парм и гор вернулись охотники с санками, нагруженными добычей.

В сердцах людей зажглись новые надежды, и любовь к жизни воскресла. Александр завел своей невесте новое платье, и обвенчались они в селе Троицком. Вдова Аграфена махнула рукой на свою погибшую дочь, «запасшись пальцем дочери, как входным билетом, в царство небесное», как говорила учительница.

Счастливо зажили Александр с Дарьюшкой. Нищая старуха и мужичок побродяга первые гости были в их доме. У них теперь по двору бегают белоголовые дети, радующиеся жизни. Они не знают, какой дорогой ценой рождены они на свет, какие страдания испытала мать, и каким горем удручен был отец.

Жизнь — поток, не может осушить его пламя фанатизма. Течет поток через горы и долины, и безлесные, жаркие степи, и каменные пороги и стремится к естественному концу своему, в лоно бесконечного моря.

ПРИДАШ

В те годы был я молод и силен. Глядя на звезды, ходил по селам и деревням, не боясь ничего. Гармоника моя звонко играла, кудри же прельщали дев величавого севера. Звери и птицы дружны были со мною. Серый волк часто перебегал мне дорогу, искоса глядя на меня маленькими глазами.

А медведь, отшельник лесов, молча уходил от меня, видимо, не желая никаких мне неприятностей. Да что говорить, бодро я жил... Только раз печаль коснулась моего сердца... Это было давно. Я шел в отдаленную деревню, Сёйты, чтобы послушать слепого сказочника Вонифатия.

К нему я шел; дорога лежала через село Придаш. Пересекши сосновый бор, по речке Пожег пришел я в это село и, идя по улице, долго глядел, в какую бы избу войти мне и где бы дать отдых утомленным членам.

Наконец одна избушка над ручьем, покрытым теперь снегом и льдом, приветливо взглянула на меня своими большими окошками.

Подошел я к ней. Поднялся на новое крылечко. Ступеньки скрипели под моими ногами. Стряхнувши снег с валенок, вошел я в теплую избу. Перекрестился, глядя на старые иконы, поклонился молодой хозяйшке, которая сидела в красном углу и прядла кудель. Рыжеватые волосы ее вились в кудри, лишь отдельные локоны окаймляли белую шею. Золотистые брови красиво вырисовывались над остросветящимися, как звезды, глазами. Она прядла и тихо пела. Когда я остановился у порога, она сказала звучным голосом, звенящим, как серебро: «Добро пожаловать, погрейся, отдохни, вьюжно ведь на улице-то, у нас же тепло в избе».

— Да, надо отдохнуть, долго я шел темным бором, и вьюжно там, и немые сугробы глубоки, здесь же у вас уютно и светло.

— Откуда ты будешь, служивый? Из службы ли к родным путь держишь, или на службу идешь, оставив молодую жену лить слезы непрерывно?

— Нет, гуляю по свету я сам по себе, по доброй волюшке, молода жена не плачет по мне, и малы детушки меня не ждут.

Красивая хозяйка на меня хитро взглянула, и взор ее проник в мое сердце.

— Ведь часто так говорят бурлаки молодые, так постоянно повторяют, нет-де у них молодой жены... А наши сестры-дуры и верят этому.

— Правду говорю я... Дома у меня только старик отец. Он один обо мне тоскует, о безумном сыне, и глядит в слуховое окно старческими глазами и ждет кормильца сына в родной дом.

— Если так, добрый молодец, то скажи же мне, чего ищешь ты по селам и деревням и зачем в вьюжную погоду пересекаешь дремучие темные боры, где ходят только дикие звери? Также скажи, как тебя звать и величать... Меня же зовут Анастасия Степановна.

— Анастасия Степановна, хожу я, чтобы видеть, как живут добрые люди, какие сказки и песни рассказывают и поют по глухим деревням и по большим селам на перекрестках дорог. Зовут же меня с детства — Аркадий Феофилактович, по прозвищу Симдорса.

— Если песенников ты ищешь,— сказала Настасья, опять на меня взглянув хитрыми, зоркими глазами,— то

пришел как раз к месту, здесь умеют петь. С тех пор, как овдовела, а тому уж три года, как муж мой лег в могилу — видно, надоела ему вольная жизнь и молодая жена, — все плачу и пою, одинокая, и лицо свое умываю слезами... Да не вернулся он... А статен был, как ты... — При этих словах белые щеки Настасьи покрылись тонким румянцем и слеза показалась между длинными ресницами. Затем она встала и стряхнула подол.

— Что же это и не угощаю тебя ничем. Сейчас самовар поставлю и закуску принесу...

И быстрыми шагами вышла она в сени. Я удивился легкой походке и стройному стану молодой вдовы.

Я осмотрелся кругом. Как уютно в избушке — стены чистые, белые, и голбец, и потолок, — и так светел красный угол, и свет льется спокойно в маленькие окошки с улицы от белого снега.

У какой чародейки я? Глаза ее проникают в сердце. Ведь волшебниц много, говорят старики, в дремучих лесах севера, и юга — тоже.

Быстро приготовила самовар и завтрак Настасья Степановна, и сладко утолил я свой голод в приятной беседе с бледнолицей вдовой с острым носиком, с алыми губами и светло-золотистыми волосами. И время утекало незаметно.

— Так спой что-нибудь мне, Настасья Степановна!

— Хорошо. Меня всегда приглашают по домам, и плачу я вместе с невестами. Так и сейчас спою я любимый плач мой. И, севши между двумя окошками, запела она, ударяя себя в колено, звонким, как колокольчик, голосом:

Я села на самом чистом месте под образа,
Я села у стены избы с золотистым мхом,
Я села, будто неподвижный большой камень,
Я села, точно речная быстрина, готовая утечь,
Я села, точно у залива, готовая войти в Сысолу,
У Сысолы, готовой войти в Вычегду.
Я села точно у Вычегды, готовой войти в Двину,
Я села точно у Двины, готовой войти в море...
Если я выйду в морское течение,
Если не выпадет мне счастье,
В человеческий век мне придется
Плыть по середине, не видя конца,
Не видя берега,

Плыть без лодки, без весла,
Идти от одной волны к другой.
От одного берега отстану,
К другому берегу не пристану.
Я не хотела трогаться,
Не будучи выкорчевана 12-тью жердями,
Я не хотела отрываться,
Не будучи вырублена 12-тью полосовыми топорами.
Сыну чужого отца не нужно было
Ни деревянной жерди, ни железного лома —
Словом мягким, как нетопленное масло,
Меня, бедняжку, выкорчевал.
Он унес мое великое девичество,
Запахнувши под свою одежду,
Он унес в узле своего пояса,
Он унес на своих коленях, прижимая,
Он унес на губах своих, подувая...

Печаль охватила мою душу...

— Довольно, Настасья Степановна, больше я не могу слушать, печаль овладела мною.

Она на меня пронзительно взглянула:

— Сердце видно у тебя хрупкое.

Тут встала она, моя хозяйшюшка, взяла с лавки широкий разноцветный пояс и надела его и стала стройнее; надела на шею красный платок, и лицо ее стало белее.

Потом взяла шитье она и села к окну. В это время солнце заходящее выглянуло из-за белых туч и озарило Настасью. Я заметил: длинные ресницы золотистого цвета прикрывали ясные глаза. Она шила; ее палец, одетый в серебряный наперсток, быстро ходил, на алых губах была тонкая улыбка.

— Ты еще мне скажи,— обратилась она ко мне,— кто твой отец, и мать твоя кто, богато ли живут, или мыкают горе, как наши бедные соседи, хотя так и не думаю, судя по твоим словам.

При этом она на меня взглянула и заметил я в лучах заходящего солнца, что серые глаза ее с зеленым отливом. Они ласкали и томили, меня к себе и пугая.

— Отца моего зовут Феофилактом, а мать мою Гликерией. Живут они далеко отсюда, за многими реками у соснового бора. Отец мой охотник и рыбовлов. Из рук тоже у него ничего не валится. Нет ни бедности у них в доме, ни богатства. Я вижу, моя хозяйшюшка, что солнце уже ушло за дальние леса, а я собирался в деревню на берегу озе-

ра, отовсюду замкнутого ельника, Сёйты. Сегодня ночью туда доберусь я, если идти быстрым шагом, приду к поздним вечерним уютным огням, к слепому сказочнику Во-нифатию...

Так сказал я и собирался уже встать, потому что какой-то голос шептал мне, что надо идти...

Быстрым движением рук удержала меня Настасья, при этом обнажились ее локти дивной белизны, наперсток упал с ее пальца и она нагнулась за ним, и я любовался белизною ее шеи.

— Что ты, что ты!— сказала она, подняв на меня глаза.— Я сейчас приготовлю ужин, вчера рыбы купила я у соседа, недавно из-под льда вытащили ее наши рыболовы. Куда же ночью ты в лес пойдешь, неровен час, лютый зверь может встретиться в лесу.

— Ведь все равно, ласковая хозяйшка, не избежать судьбы своей.

— Все же, как можно! Да у тебя, кажись, гармоника с собой. И ты ничего еще не спел, а сам любишь сказки и песни.

— Вот изволь,— сказал я.

И, подыгрывая на гармонике, я спел:

Уму и сердцу мир — чужбина,
Земля холодна и мрачна,
Всю жизнь со мной в вражде судьбина,
Стезя печальная темна.
О встречу ль я мой ключ целебный,
Сверкающий в лучах весны?
Увижу ль образ я волшебный
В объятьях сладкой тишины?
Исполнится ль завет мечтаний,
Умчится ль мимо черный год,
Жар утолится ли желаний
Вблизи родных веселых вод?

— Ты про кого же это поешь?— спросила меня лесная Калипсо.

— Так, это тоска моей души.

Тогда она взяла скамейку и близко подсела ко мне. Меж тем солнце погасло, послав последний луч света в крайнее окошко.

— Послушай, сказку тебе расскажу я, а может быть, и былъ.

И стала говорить она. Речь лилась плавно, без переры-

ва. Только порой вздыхала она. И грудь ее высоко поднималась. Временами огонек вспыхивал в глазах...

Наконец, в избушке потемнело. Мрак окутал все углы ее... Я встал, оделся и взял посох. Она стояла передо мною...

В глазах ее читал я любовь и жалость...

«Так друга милого я теряю, в первый и в последний раз мы виделись с тобой».

Сердце мое дрожало, но какой-то голос говорил: иди, иди к сказочнику, к седому Вонифатию.

И направился я к дверям...

В потемках она меня обняла и поцеловала. «Прощай»...

Я вышел на крыльцо...

Луна блистала над лесом дремучим возле села.

«О сказка мира! Какого томления ты полна!»

Я сошел с крыльца. Она стояла на ступеньках... Золотистые кудри ее были освещены бледной луной. Грудь ее дрожала... Я шел дальше и дальше по пустынному селу, приближаясь к лесу.

Зачем не могу забыть этот образ, и слезы текут теперь?..

Погрузился я в лес, насилу ощупывая дорожку. Глаза мои покрыты были туманом... Желал бы я, чтобы никогда не рассеивался он!

К утру, к утренним огням, прибыл я в Сёйты. Увидел я слепого Вонифатия и бросился ему в объятия. «Сказочник, спаси мою душу от тоски»,— сказал я.

— Что ты, что ты, Аркадий,— сказал он мне.— Иди, тепло у меня у печки.

С тех пор прошло много лет, но не могу забыть молодой вдовы, Настасьи Степановны, из села Придаш. Ее избушка у ручья, подо льдом текущего в речку Пожег.

ИПАТЬДОР

Был яркий, светлый день, когда я приближался к селу Ипатьдор. Северное лето наполняло мою душу разнообразными чувствами. Я ехал с мужиком по узенькой дорожке. Дремучие леса росли кругом. Светлые ручейки пе-

ресекали нам дорогу. Как приятно ехать к селу, где мы провели когда-то несколько месяцев в детстве и сохранили много прекрасных воспоминаний. Ипатьдор! Да ведь там живет старик Захар, знаток чудесных сказок! Там живет мужик Семен, всегда трясущий головою, строптивый, черный, косматый, как медведь. Там жила златовласая девочка, дочь старосты. Мы пасли с ней овец на лугах и, полные любви, играли вместе. Жива ли златокудрая Наташа?

Едем. Все ближе и ближе Ипатьдор. Здесь я жил с отцом; отец делал иконостас, а я играл с детьми в лесу дремучем, среди столетних сосен, растущих около Ипатьдора. Вот мы сейчас проедем мимо этих деревьев, мимо этих старых друзей, где я, не знавший горя, играл беззаботно с детьми Ипатьдора.

Уже близко село, не более версты. Вот уже видно оно. Где же лес волшебный, где таинственные сосны? Их нет. Пыльная дорога ведет в село. Костры горят, кругом лес сожжен. Нивы и пашни окружают Ипатьдор.

Въезжаем в погост. Где же дом Семена? Где он сам, страшный мужик с большим топором, трясущейся головой? Нет Семена, скончался он, говорят, года три тому назад. На месте его старой избы зять его строит новую.

— Ну, поедem к Пильвань, к старосте, он был такой добрый!

— Его нет в живых,— отвечает ямщик.— Дети его живут по разным местам в деревне.

— Ну, поедem к Михаилу, сыну Пильвань.

Приехали. Входим. Старая, худая баба сидит и качает люльку.

— Где староста?

— Его нет — на поле, нови делают.

— Я к нему, я старый знакомый, здесь жнвал.

Женщина кивнула головой, лукаво и недоворчиво взглянувши: рассказывай, мол, не обманешь, приехал за чем-нибудь следить, что-нибудь шпионить, от начальства.

— Мне бы надо видеть старосту, сходить в церковь, где иконостас сделан моим отцом.

Женщина опять лукаво взглянула: знаем, мол, вас, что-нибудь по церкви, какой-нибудь взыск, неприятное дело от начальства.

— А что же вы ничего не говорите? Жива ли Наталья, дочь Пильваня?

— Жива. Ее дом недалеко. Через избу. Она вдова, муж ее сгорел от вина.

Бегу к Наталье. Поднимаюсь по скрипучей лестнице. Двадцать пять лет не видал ее. Отворяю двери — полна комната детей.

— Где хозяйка ваша?

— Вон, на печке.

Смотрю, сидит на печке некрасивая, рыжая баба, одетая в крашениновый шушун. Догадываюсь, что это обезображенная жизнью, прозой, годами Наташа. Спрашиваю — она!

— Ты знаешь меня?

— Нет.

— Я сын резчика, что иконостас делал вам, твой отец был старостой.

— Нет, нет.

— Угости чаем, Наташа.

— У меня ничего нет. Я вдова, пятеро детей.

Напрасно пытался я воспроизвести в ее мозгу образ мальчика, который пас с ней овец на зеленом лугу против церкви — все бесполезно. Грустный ушел я от нее и вернулся к старосте Михаилу, который был уже дома.

— Ну что, узнал ли меня? Я здесь жывал, хотя давненько.

— Нет, я не знаю, я был в военной службе как раз в тот год, как строили у нас иконостас.

— Ну хорошо, пойдем в церковь, посмотрим.

Михаил взял большие ключи и мы с ним пошли. Церковь была в ста саженьях от села, среди озими. Маленькая сельская церковь — единственное место, где крестьянина на секунду оставляют думы о хлебе. Здесь религия, поэзия, наука. Все во храме находит житель деревни и нигде болес.

За Михаилом вошел я под темные своды маленькой деревянной церкви. Красный иконостас, золотые резьбы, зеленые колонны бросились в глаза своей пестротой.

Это сделал он!.. Долго стояли мы пред безыскусственно нарисованными ликами угодников Божиих, апостолов, херувимов. Над всем возносился Голубь — Символ Духа Мира: он господствует над Вселенной.

На обратном пути я попросил старосту собрать народ: «Поговорю с ним об деле». Мужички, встревоженные старостой, шли со всех сторон в его дом.

— Что же он покупает? Льна или лесу? Много ли вина кладет? Сколько задатку дает? От купца Забоева, али лесной приказчик, али судить кого приехал?— Все зада-

вали такие вопросы, направляясь к старостиной избе. Но никто ответить не мог на эти вопросы.

Собралась сходка. Я обратился к мужикам с речью:

— Добрые люди, желая вам всего хорошего, странствую я среди вас, изучая ваш быт, ваши нравы, как вы живете, чему смеетесь, о чем плачете. Записываю песни и сказки ваши. Нет человека менее вредного и более полезного, чем я. Я ваш знакомец, я жилал здесь и с любовью приехал к вам. Укажите же мне людей, умеющих сказывать сказки, петь песни, говорить заговоры.

Долго говорил я и в конце, понизив голос, прибавил: «О старых богах не знаете ли что, о Пан-сотнике и о сыне его Бурморте?»

Когда я остановился в ожидании, что они скажут, наступило глубокое молчание. Никто из мужиков — ни из тех, которые имели седые бороды, ни из юнцов и подростков — ни проронил ни одного слова. Долго молчали.

Наконец, брат старосты, солдат спросил меня: «Для чего все это вам нужно?»

— Для истории, чтобы знать, как жили старые люди.

— Да вот же что скажу я тебе, — повысил голос он, вставая: — Никто у нас ничего не знает, ни я, ни кто-либо из соседей моих. Вот что могу я объявить!

Эти слова оживили собрание. Все заговорили, что у них нет таких людей, что в других местах, может быть, и есть, а что обижают их начальство — это верно. Не дают им провести прямую дорогу из Ипадъдора в Усть-Сысольск, кругом по тракту полтораста верст, а прямо сорок; «На лыжах доходим зимой до Вьльгорта и до города»; опять же страна у них бедная, стало места мало для охоты, теснение кругом.

И всем жалобам мужиков не было конца.

Поздно вечером, утомленный, вышел я гулять по деревне. Встретила меня Наташа и крикнула: «Узнала, узнала!» И, немного отойдя, прибавила: «Баня истоплена, не хочешь ли помыться!»

Я отказался и пошел дальше по деревне.

Ах, Ипадъдор! Все не то в тебе, что раньше было. Где дом старухи, вдовы Пелагеи, мастерицы сказывать сказки и колдуньи? Где старик Иван, благодушный, с седой бородою, мудрый, любивший меня, как сына своего? Где юное веселье, старые друзья и мечты мои?

Суровая действительность в виде грязной улицы и старых, плохих избушек, с надоедливой суетой кончающегося дня — вот что глядело на меня жестокими глазами.

А невдалеке старый лес шумел и солнце величавое тихо спускалось по голубому небу. Птицы летели стаями куда-то к огненному закату. Тайное и прекрасное чувствовалось в природе, а в жизни людской — горе, заботы, недоверие, бесконечное недоверие друг к другу.

Рыжебородый мужик разбудил меня от моих мечтаний. Он звал меня от моих мечтаний. Он звал меня на чашку чаю. «Зайдем, зайдем», — говорил он, дергая меня за рукав. Мы с ним отправились в избу через взвоз, по прямому пути. Когда мы поднимались, он кругом глядел на соседей горделиво: вот, мол, мы как — к нам и чиновник в гости идет, а вы что? Заходя в сени, он много раз оглядывался назад, кто и кто из соседей глядит с улицы и в окно на наше шествие по взвозу.

До седьмого поту пили мы чай у рыжего мужика. Его изба была против церкви, окна ее выходили как раз в ту сторону. Зеленые поля, белая церковь и лес отдаленный приковывали к себе взор простотой картины, от которой веяло неизъяснимым покоем и какой-то лаской отдаленного детства. Я снова вспомнил девочку с золотыми волосами, которая некогда пасла овец здесь, на этом лугу. И мне грустно стало.

— Скажи ты мне, Степан, — обратился тут я к хозяину, который рассказывал о деревне Шиле, деревне в двадцати верстах от Ипатьдора, последней у верховьев речки Пожег, — как и отчего скончался муж Натальи?

— От вина сгорел, мот был большой.

— Он умер дома?

— Нет, отправился в соседнее село, в Придаш, по какому-то делу и не вернулся. Искали, искали его, нигде не нашли. Начальство было и не нашло. Крестьяне Придаша говорили, что он с бутылкой вина ушел куда-то в лес по тропинке, ушел и не вернулся. Везде искали — не нашли. Под каждым кустом искали.

— Удивительно.

— Он был мот большой.

Так погибают люди в Ипатьдоре. Сколько я потом ни спрашивал в Ипатьдоре и везде, нигде не мог добиться толку, как, почему и где сгорел он от вина.

А Наташа сказала при прощаньи, что убили ее мужа два крестьянина села Придаш и тело спрятали.

— Вот ты, Степан, — опять спросил я своего рыжего могучего хозяина, — богатый человек, пьешь чай устюжский, помогаешь ли ты своим соседям?

— Иногда даю под заклад и без заклада мучки, сента. Да ведь ругают, если помогать-то,— сказал он, пожав плечами.

— Как, ругают за добро?

— Так. Третьего дня еще Анисья, тут вдова есть, так меня ругала, так учила, как собаку.

— За что?

— За то, что я ей дал четверик муки.

— Но как же так?

— Ты, говорит, все пристаешь, плати да плати, а из чего мне платить? И пошла, и пошла... а я ничего и не говорил ей... Право! Так, вздурилось... Ох, трудно помогать нашему народу...

Так вот — Ипатьдор! А он был когда-то прекрасен! Помнишь ли — то было давно, когда я ночью зимою оставлял тебя, уезжая с отцом в Эжол, — как ты, волшебный, блистал огнями уютных избушек и постепенно исчезал из моих глаз, погружаясь в дремучий сосновый лес, как все таинственно тогда было в поле и в лесу, окружающем тебя?

А теперь!..

ЭЖОЛ

Эжол! Эжол!

Может быть, у тебя найду я потерянную юность?

Да, в Эжолке найду я утраченный покой души!

Там живет Митя — прекрасный сказочник. Бывало в детстве, когда мой отец после тяжелой работы расположится на полатах на отдых, а я на печку заберусь вместе с матерью, тихая же серебристая луна белым светом, люющим в окно, покроеет резьбы и колонны отца. В эти божественные безмолвные сумерки сладкоречивый Митя рассказывал нам свои пленительные сказки. Сидя на голбце, он бывало начнет: «Жили-были два короля»... А сердце замрет мое от улады. «Жили были два короля и заспорили они меж собою. Один говорит: земля не имеет конца; другой нет, есть земле конец»...

Ах, как хорошо. Что-то будет? Кто-то из них прав? Есть конец, или нет конца земле?

«И вот два короля, — продолжает дивный Митя, — по-

сылают гонца на край света разведать, есть ли конец земли...»

А чем дальше, тем интереснее. Там выступают девушки, прекрасные, как солнце, мудрые серые волки, благородные орлы, великаны, лилипуты... Мир чудесный, мир ни с чем несравнимый...

Митя, жив ли ты теперь? Рассказываешь ли свои чудесные сказки?

Скорее, скорее, верхом на рыжей лошадке помчусь я в Эжол через дремучие леса...

Высокие сосны стоят на дороге.

Тихо качаются их вершины. Шум ветвей, кажется, заключает в себе таинственное сказание севера. В нем читаю я историю богов, оставивших страну, но некогда обитавших в этом лесу; на этом небе, чуть видном в вышине через древесные ветви, ходили они, подобные людям, только ростом больше и прекраснее станом, по этому белому ягелю, что хрустит сейчас под ногами лошадки.

О, как прозрачно в этом древнем священном бору! Далеко, далеко видать между колоннами-соснами.

Я схожу с лошадки, встаю на колени и возношу мои молитвы в этом дивном храме под зеленым куполом, на белом ковре из ягеля!..

Какая прохлада здесь! Сколько жизни! Смотрите: тысячи разумных существ идут мимо меня, они заняты ремеслами, торговлей, домостроением, воспитанием детей — это мудрые муравьи идут меж цветами, разноцветными ягодами по зеленым листьям роскошной травы, орошенной каплями росы...

Вот и кукушкин лен качается от дуновения ветра, а меж кустами дикая роза меня манит к себе...

Дети севера, как сладки, как дороги вы сердцу моему!

Молитесь же все со мной, молись вся природа, устремимся душой к непознаваемой сущности, неуловимому разуму, скрытому под величавой красотой этого дивного леса!..

Идите сюда, идите сюда, вернитесь вы, старые времена, старые порядки, боги древние, юность народов! Сюда, обратно, сюда, пусть душа моя сольется с вами! Заклинаю!..

Прошли обратно древние боги, вернулись вновь счастливые времена, золотая юность народов прилетела назад на прозрачных крыльях северного лета из прошедшей вечности. Сели боги на старые места. Ен сел на высокую гору, месяц — тэльсь, бог блестящий, пошел по небу, слад-

ко улыбаясь, и сын солнца за ним на огненных крыльях гонит свой стада-облака по небесным равнинам, и радуга — эшкамэшка, бык неземной — появился на небе и пьет воду из истоков земных, сладкими струями насыщаясь. Бог леса, сын севера холодного, свистящий ветер Вихорь Вихоревич зашагал по лесу, вооруженный дубиной. Шум и треск, ломка деревьев. Зеленый кафтан лесного и красная шапка его то там, то тут мелькает между ветвями. Он с корнем дерева вырывает в злобе ужасной. Люди забыли принести ему жертву в свое время. Жена и дети его глядят, шушукуются, кричат и хохочут за ближними соснами.

Все старое вернулось. Звери, птицы — все стада лесного забегали мимо меня: олени, волки, лисицы, лоси, росомахи, песцы. Восстали прежние народы из чуждских могил, они одеты в звериные шкуры, в их руках каменные топоры.

Вот зажили снова они в своих уютных землянках — смотрите, дым поднимается из их подземной трубы...

А это кто сидит на большом пне с кроткими глазами, длинными рыжими волосами и пишет что-то, задумчивый, на берёсте? Не Пам ли, Бурморт? А возле него суровый волхв, одетый в меха, украшенные узорами — какой гневный взгляд он на меня обращает...

Узнал, этот волхв — Пан-сотник, побежденный великим Стефаном... О, как страшно все это! Душа моя устала и сердце оробело в бесконечном лесу, где ураган бушует и вечерняя мгла уже спустилась в древесные сени. Ночь приближается, скорее!.. и роща все более и более страшный и грозный вид принимает...

Скорее, рыжая лошадка, скорее!.. И мчится она, топот раздаётся далеко в звонком лесу, а сзади шум и хохот, то ломаются деревья, то бурные потоки шумят в глубочайших ущельях...

Но вот что-то белое мелькнуло... То селение за последней рощей... Это Эжол, Эжол!..

У самого дремучего леса, на высокой горе деревенька! Но где же большой камень, который лежал в начале деревни? Я помню его с детства... Вот и камень, только разбился он на четыре части. Вот дом Порсьюрова, вон избушка солдата Егора у старого камня, разбитого временем. Эжол, Эжол, как ты мал стал, какие крохотные избушки! Совсем иное чудилось мне с детства!

А было село большое на высокой горе...

Кто-то живет здесь теперь, жив ли Митя?

— Как же, как же, Дмитрий Иванович,— говорят встретившиеся мужики,— он там, подалее. Он старостой ныне, только сегодня дома его нет.

Делать нечего, у мужика Матвея я остановился. Благодушный мужик.

— Вот обрадуется Митя, когда меня узнает,— говорю я, сидя за ужином у Матвея.— Вы непременно скажите Дмитрию, когда он придет, хотя бы ночью. Он ночью ко мне прибежит.

— Хорошо, хорошо,— говорил добродушный Матвей,— сегодня же вечером скажу ему, я на ночь пойду рыбачить, спущусь на реку, там увижу его и скажу.

Вместе с солнцем проснулся я и побежал к старосте Дмитрию, бывшему сказочнику Мите. Вхожу на крыльцо, в сени, в жилую комнату. Баба стряпает у печки, ячменные пироги в жаркую печь кладет, а под полатями какой-то с жидкой бородою мужик обувается.

— Здравствуйте, Дмитрий,— догадываюсь я, что это он.— Вспомнили ли сына резчика, которого дивными сказками утешали в былое время?

Дмитрий оставался без движения, он продолжал натягивать свой сапог на левую ногу.

— Узнал,— наконец сказал он, надевши сапог и на правую ногу, не вставая и не думая идти ко мне навстречу.

— Знаешь ли теперь ты сказки, Дмитрий, я записал бы их, и дети наши и внуки прочитали бы с удовольствием.

— Какие сказки?

— Да какие в детстве ты мне рассказывал.

— Я был в военной службе и забыл все прежние сказки, а новых не знаю. Нет, теперь я этим не занимаюсь,— равнодушно и спокойно говорил он, сидя на лавочке и все еще налаживая сапоги на ногах — не то они жали ему ноги, не то не совсем вошли.

А баба его возилась около печки, только изредка поглядывая на меня быстрым взглядом.

Я сел на лавку недалеко от икон.

— Так ты служил в военной службе, Дмитрий? В каком же городе или в местечке?

В ответ на это он указал мне пальцем на стену. На стене был нарисован большой пароход.

— Вот на этом судне. Пять лет служил,— сказал он.

Речь наша не завязывалась.

Я был озадачен его холодом. Он же был, по-видимому, к моему появлению равнодушен.

— Ты нынче церковный староста.

— Да избрали, мирское дело.

Через некоторое время мы пошли с ним в часовенку. Иконостас здесь на зеленом фоне, все бедно, убого в холодной часовенке.

Дмитрий спокойно и не торопясь шагал от иконы к иконе, зажигал лампаду, поправлял очень усердно паникадилы, говорил с мужиками — что тут неладно, что там поправить нужно.

Из часовенки спустился я к реке посмотреть на матушек — старых лиственниц. Захотелось мне и пожевать сладкой смолы их.

Матвей встретился на берегу. Лицо и руки, и грудь — все было покрыто саками (сетями). Он всю ночь рыбачил на озере.

— Вот эти лиственницы,— сказал он,— здесь бегал ты в детстве. А боек же был! Бывало, поднимаешься на самое высокое дерево да язык и показываешь нам. А теперь вишь какой кроткий стал, вот что значит переменился человек-то. О, как иной переменится!

Да, дивные лиственницы, до облаков подняли они свои зеленые головы, Все те же, величавые, рисующие узоры на синем небе своими ветвями, как и прежде.

Живите же на благо и украшение деревни Эжол!

Меж тем мужики одни спускались по горе мимо озими, другие поднимались с реки на гору...

— Это что же, Матвей?

— У нас всегда-то так. Одни в дом, другие из дому, одни с реки значит, другие на лодку. Мы рыболовы, рекой питаемся, матушкой рекой, она — наша кормилица. Не столько хлеба, сколько рыбы у нас.

Вот каков Эжол!

Эх, Эжол, мал ты, ты раньше больше и светлее казался мне, и гора была выше и ярким солнцем озарена, и чудесно было все в тебе, ну что ж, по-своему хорош ты и теперь. Действительность, сколь ни плоха, она мудрее наших мечтаний.

КОКВИЦЫ (ОТ)

Я приехал в село Коквицы. На высокую гору поднялся между озимовыми полями и наверху у забора встретил высокого старика.

— Кто вы такой?— спрашивает он.

— Я из Вьльгорта, сын резчика.

— А! Хорошее дело. Зачем Бог привел? по каким порядкам?

— Сказки собираю, жизнь описываю.

— Вот как! Доброе дело,— говорит старик, испытующе глядя на меня.— А еще скажи, что же, к чему это? Ревизия, что ли, будет?

— Нет, для истории, как старики живали.

— Вот как! Доброе ты, сын резчика, говоришь. Отец-то жив? А и мать жива? Хорошее дело.

И долго в этом роде спрашивал меня старик, осматривая пытливым взором с ног до головы. Я покорно пред ним стою и охотно отвечаю. Это его примирило со мною.

— Да, да,— говорит он,— хорошее дело, тут так же у нас был из Вьльгорта, хмелю покупал, другой у нас вином торгует, Иван Иванов, хороший человек! Дай Бог, дай Бог и тебе. У нас хорошие старики, расскажут тебе сказок.

Пройдя огороды, я вошел в село.

Коквицы — село большое на высокой горе, мысом спускающейся к реке Вычегде.

Дома расположены улицей, но без всякого порядка. Одни окнами выходят на улицу, другие — взвозом, третьи — боком. Вот она, Пермь, думаю. Старые и малые лица глядят в окна на прохожих с большим любопытством, многие при приближении к их дому отходят от окон и прячутся.

Подхожу к одной избушке и прошусь, чтобы пустили отдохнуть. «Милости просим,— говорит гостеприимный хозяин, сидя на крыльце,— у нас и самовар есть, пожалуйста». Вошли в жилую избу, я помолился иконам, поклонился всем присутствующим. Дети и бабы умолкли на время. Меня радушно все приняли и посадили к столу. Женщины сейчас засуетились около стола и самовара. А мы с хозяином сели и стали вести «складную» беседу.

— Так и так — мне нужны сказочники, я из Питера прибыл посмотреть на родичей моих. Я люблю их всей душой.

— У нас найдутся сказочники. Степ Вань, Пиль Вань мастера сказки сказывать; зимой на мельнице только их слышно. Врут да врут, смеху-то сколько. Выше же их всех слепой Пронь. Сейчас пошлю я за ним.

Пока бабы готовили чай, а мы с хозяином говорили о сказочниках, народ собирался в избу. Дети и старики, мужики и бабы наполняли комнату, одни сели на лавки, другие стали под полатями; между тем по улицам, стуча палкой, шел слепой Пронь, приглашенный сказывать сказки. Народ, увидавши его в окно, развеселился и шумно выражал свою радость. «Пронь идет, Пронь идет!»— дети кричали.

Мальчики, взявши за руки слепого, ввели его по лестнице на крыльцо, а с крыльца привели в избу.

Все расступились и дали ему дорогу.

— Тебя, тебя ждем мы! Вон какой-то из Питера приехал, сказки собирает. Но ты у нас самый большой мастер!

— Из Питера, баешь?— говорит Пронь, опускаясь на стул, поставленный в середине комнаты. На лице его некоторое смущение. Он берет табакерку и нюхает табак.

— Так вот, Прокопий,— обращаюсь к нему,— расскажи, милый, какую-нибудь сказку, какой в книгах нет, которую от стариков слышал, а я буду записывать.

— Не выдавай,— говорит народ.

В избе стало жарко. Самовар кипит на столе. Я беру карандаш и бумагу. Из кармана вынимаю бутылочку водки и кладу на подоконник. Пронь оттирает лицо платком.

— Так сказать сказку, говоришь? Да про старое, про старое да про бывалое. Ох, сказки-то ведь все про старое, нынче-то ведь жизнь иная пошла,— начинает он. Народ мгновенно умолкает. Женщины дают соски детям. Видно, искусство и в деревне почитается, оно властвует всюду над умами.

— Было-то давно,— начинает Пронь, даже дед мой старый не помнил этого, хотя он жил до девяноста лет и убил много на своем веку медведей и белок и много рыбы наловил в реке, и лешего видел не раз в лесах, и водяного на мельнице, вот так давно было это...

Приятная улыбка на всех лицах и сдержанный смех в углу.

— Ох! еремакань-куканы! то было давно, и жил-то на земле богатырь Лукопер из белого города Сарко-Нанта.

Немое молчание наступило, один голос Прокопия раздавался, да самовар шипел на столе.

В это время вошли в избу новые лица. Высокий, безбородый, кривой мужчина со злым выражением лица, другой пониже, чернородый, с лукавым взглядом, и еще несколько человек.

— Волостной писарь, честь имею рекомендоваться!— крикнул высокий безбородый.—А это вот сотский, указал он на лукавого, чернородого.

— Садитесь, будьте гостями,— сказал я писарю и его товарищам.—А ты Прокопий продолжай свою дивную сказку.

Тот, снова отерши лицо платком, продолжал начатую сказку.

Между тем писарь своей рукой взял графин с подоконника и налил рюмку вина, купленного для Прокопия. Я ему ничего не сказал, слушая сказку.

— Хорошо и славно жил Лукопер-богатырь со своей женой Милитрисой. Но туча поднялась на небе. Шел войною на Лукопера богатырь всеильный Сарагора.

— Полно тебе врать, Проня,— сказал писарь.—А вы покажите-ка ваш паспорт,— обратился он ко мне.

Я дал свой вид прочесть грамотному мальчику из толпы. Тот звонким голосом прочел всеуслышание. Все были довольны тем, что вычитал мальчик из аттестата. Писарь же встал и, одним глазом посмотревши на меня, сказал: «Я ошибся». И, ни на кого не глядя, вышел из комнаты, а за ним чернородый сотский и другие товарищи. «Сорвалось на этот раз,— говорили в толпе.— Они постоянно у нас так, все ищут, где бы выпить».

Меж тем все облегченно вздохнули, а Прокопий, выпивши рюмку вина, вновь наполнил комнату божественными словами своей поэмы:

— Была война великая. Как сосны вековые гнутся от сильного ветра, так войска Лукопера гнулись от ударов Сарагоры...

Уже к вечеру солнце пошло, уж румянцем вечерним озарило оно отдаленные леса за рекою Вычегдою, а Проня все утешал нас разнообразными сказаниями. И мужики, и бабы стояли под полатами и слушали, многие руки приложили к щекам и, сидя на лавке, предались тихой грусти, дети заплакали и унялись и вновь плакали, а конца не было поэме Прокопия. А лес за рекой все фантастичнее становился. «Это дача севера холодная,— думалось мне,— и здесь где-нибудь жил Пам Бурморт».

Уже поздно разошелся народ, и сам Проня, сопровождаемый подростками, ушел, стуча палкой по улице, а я

остался у гостеприимного хозяина и сел с ним за поздний ужин.

Луна поднялась из-за реки и желтыми лучами озарила комнату. Природа и жизнь простая! Ты сказка, и ничего нет лучше этой сказки — мира!

УСТЬ-ВЫМЬ (ЕМДИН)

Это слово много говорит сердцу человека, кто знает историю севера. Здесь жил, в этом селе, святой Стефан, апостол великой Перми.

Здесь им построена первая церковь, здесь же он победил страшного волхва Пан-сотника, устыдив его перед народом. Он победил и в словесной борьбе, и в испытании огнем, и в испытании водой. Около этих белых церквей, приютившихся на горе, была «прокудливая» береза, обиталище богов, предмет поклонения Перми. Она была вырублена Стефаном, а на том месте, где были корни березы, поставлен алтарь церкви св. Благовещения.

В это-то знаменитое село, лежащее при устье реки Вымь, впадающей в желтую Вычегду, прибыл я под вечер июльского дня и пройдя от реки долгим песчаным мысом, поднялся на погост и остановился ночлегом у двух братьев-стариков, живущих вместе. У обоих были семейства, но старики жили согласно.

После лесных деревень — Ипатьдора у верховья реки Пожег, Эжола на рукаве Вычегды и села Коквицы — я чувствовал себя в Усть-Выми, как в городе.

Андрей и Яков (так звали моих хозяев) отвели мне горницу, глядящую окнами на группу белых церквей на зеленой горке. Налюбовавшись ими, я отправился через сени в жилую половину, чтобы что-нибудь узнать от стариков о прошедшем села Усть-Вымь.

Так и так — я рассказал им о цели своей поездки: «Я люблю, очень люблю зырян, приехал к ним издалека, из дальнего Киева-города».

— Эка, паре,— сказал Андрей.

— Вот так диво,— прибавил Яков.

— Да, да, как же, готов служить я народу, узнать их жизнь, записать историю.

— Аттэ, диво!— сказал Андрей, ударив правую рукою левую ладонь.

— Вот удивление,— прибавил Яков, глядя на своего брата.

— Как же, как же, милые старики, только вот надо найти сказочников, рассказчиков, которые рассказали бы мне о Паме мудром и о святом Стефане.

— Эко, милый человек, вот что!— говорит Андрей.

— Вот оно!— прибавляет Яков, слушая меня и глядя на Андрея.

— Да, да. Так как же, старики, вы, поди, сами много знаете старину святую, что-нибудь расскажете мне?

— Как же, как же, вот оно!— повторял Андрей.

— Эко диво!—басил Яков.— Как же, как же, расскажут добрые люди.

— Больно уж мил мне север! хочу изучить его.

— Да, да! То-то во! Свое, значит,— качал головой Андрей.

— Свое, свое,— поддакивал Яков.

Долго у нас длилась беседа в том же роде с Андреем и Яковом. Я много чувств излил, они удивлялись и сочувствовали мне. Уж поздно вечером вернулся я от них в свою горницу, ничего от ласковых стариков не узнавши.

На другой день я призвал Якова к себе на чашку чаю (Андрей рано ушел на работу) и обратился к нему за «старинною».

— Забыл, забыл уже вас, добрый человек. Знал, знал, конечно, знал, как не знать, но забыл все, уж голова плоха стала. Вот Андрей-то, чай, помнит, его нужно просить.— Так утешал меня Яков.

Я возложил всю надежду на Андрея. На третий день был праздник, и я его поймал.

Он сидел на крыльце и грелся в лучах утреннего солнца. Я к нему подсел и поговорил с ним сначала о пожнях, о зеленых пажитях, которые виднелись за рекою за желтыми песками, о рыбе, живущей в реке, о зверях и птицах, населяющих заречные леса, потом опять обратился к нему с прежней просьбой.

— Так вот, Андрей Васильевич, старина-то интересна, старина-то. Рыбы, птицы, звери — все это хорошо, но старые люди, их жизнь еще более любя для сердца.

— Эка, паре! старина-то,— возразил Андрей,— старина-то хороша!

— Яков говорит, что ты помнишь много старины.

— Яков-то?! Вот оно! Яков меня моложе, голова у не-

го свежее, а у меня вся в дырах уже она. Яков-то расскажет, он еще помнит, он меня моложе.

— Андрей Васильевич, Яков-то говорит, что вы старше и больше помните.

— Яков-то?! Вон оно! Эка! Я не самый старший в деревне, вон Сень Вань на пять лет меня старше, он стар, он и помнит много, как-то голова у него чище. У меня заросена вся. Вон оно. Эка, паре! Сень Вань-то недалеко и живет, вон тут за углом, в старой избушке. Он расскажет.

— Ты расскажи, Андрей Васильевич, Сень Вань, может, уже и не говорит.

— Во как! Али ты его знаешь? Оно точно, лет пять он языком-то не владеет, это точно, а то он рассказал бы. Раньше, бывало, только его и слышно: те-те да те-те... Кто его знает, волдырь, что ли, у него. А то он рассказал бы...

— Так вот, видишь Андрей Васильевич, ты расскажи что-нибудь о Паме и о Стефане.

— Да, да,— говорил он.— Пам-то был, боролся он. Воды он дал Стефану пить. На-ко, говорит, пей. Зубы все вывалились у Стефана, когда он выпил, заговор-то был силен. Пам-то был такой.

— А Стефан-то что ему, Андрей Васильевич?

— Стефан-то тоже дал. Теперь, говорит, ты выпей. Как Пам-то тут выпил, так и дух испустил. Эка, паре! Где же со святыми-то? Не мог Пам-от!

Длинна у нас опять была беседа с Андреем, но мало от него узнал я, он все твердил, что записано все это.

— У попа-то есть, разве не покажет. А оно есть! Как не быть, коли есть оно.

Так как в Усть-Выми не нашел я сказочников, то отправился в Аквад с Яковом в одноколке. Мы ехали лесной дорогой. Лошади, комолые коровы, стадами паслись, у зарослей возле леса по обеим сторонам дороги. «Должно быть, стара жизнь этой страны,— думалось мне.— Язык богат словами и оборотами, коровы безрогие, вероятно, от долгой своеобразной культуры. Или, быть может, ошибаюсь я». Рыжая лошадка, запряженная в одноколку, везла нас по песчаной дороге. Сумрачные ели растут по обеим сторонам дороги. Возле гнилого моста, через который мы проезжали, была масса народу в ситцевых и холщевых рубашках, в белых шароварах; они шумели, махали лопатами. Мы проехали через этот гам и крик. Только красное, белое мелькало в глазах. «Что же здесь шумят, Яков?» «Урядник сюда выслал их для починки дороги, у

них теперь дележ, кому что исправлять»,— вот как пояснил Яков.

Шум от нас удалялся, и мы приблизились кривулинами к двухэтажному дому.

— Зайдем сюда чай пить, Яков!

— Ладно. Здесь живут богато. Степан Васильевич Артамонов с сыном.

Мы вошли в первый этаж. Сам Степан Васильевич, старик благодушный, встретил нас и предложил нам завтрак и самовар.

Расспросив меня, он повел в верхний этаж в одну уютную комнату. Мой хозяин Яков, как человек благомыслящий, уехал по делам в самое село Аквад.

Мы со Степаном Васильевичем сели друг против друга и вступили в беседу.

— Да, Степан Васильевич,— начал я,— вот раньше боги были у нас свои: бог леса, бог воды, на облаках был бог, а теперь ничего не слышно про них. У всех стариков я спрашиваю, не слыхал ли кто что? Ничего не рассказывают. Вот и к тебе пришел я.

— Да,— ответил он,— были раньше, только не боги, а демоны; демоны-то были, да и теперь они есть, куда денутся, только воли прежней им не стало. Вот в этой книге все рассказано об этом, в Апокалипсисе. В каком порядке все шло и идет. Здесь я все нахожу и этим питаюсь. Положим, жизнь уже прожита моя,— добавил тихим и грустным голосом старик.— Вот прочитай.

— Мне бы о старых богах было надо, как старики жили, мне тоже интересно.

— Старики-то жили, конечно, лучше, чем теперь,— возразил Степан Васильевич.— Чаю не пили они, не простужались, да и богаче были, а теперь — все голь. Вот в деревне: Степ Вань да я еще живем, а то все голь.

— Не знаю, у кого бы мне узнать про старину-то, Степан Васильевич.

— Вот сын придет, так укажет тебе кого-нибудь. Сказки-то расскажут. Моему сыну уж пора бы прийти. Работающий он такой. Вон этот дом мы с ним вдвоем подняли. Невестка тоже хороша,— сказал Степан Васильевич, схватывая себя за поясницу.— Я-то вот только все болею. Положим, жизнь-то уж прожита моя — да. Так уж в шутку еще продолжаю... Знаю, ни к чему уж.

Между тем молодая женщина принесла самовар нам со стариком.

— Вот невестка-то, молодуха-то наша.

— У вас только один сын?

— Нет, другой на службе. Дочь выдана замуж за три версты отсюда, за Егора. Ничего, мужик трезвый.

— Так, Степан Васильевич. Двухэтажный дом, кругом дома — ваши озими, тут же лес невдалеке, направо река, а на небе солнце над нами...

— Да, да, живем хорошо, вот все жду, как птички зачирикают — да свежего лука и картофеля... Ничего. Положим, уж жизнь-то прожита моя...

— Так, как же о сказках-то?

— Походишь по деревне, кто-нибудь расскажет.

СЕРЕГОВО

С сыном Якова, с Матвеем, отправились мы в одноколке в Серегово, на праздник Петрова дня. Дорога шла дремучим лесом. Гиганты сосны и темные ели смотрели на песчаный тракт, вьющийся между ними. Там и сям лесной шиповник показывался путнику из-за деревьев. Его нежные красные лепестки невольно приковывали взор на однообразном фоне северного лета.

Дикая роза, дочь юга, и здесь, на севере, растешь ты под полярными звездами, украшая своим видом мрачные леса холодного севера! Разве не боишься ты глубоких сугробов многовьюжной зимы, нежное дитя?

Нет, оно не боялось и пышно росло на песчаном бору, лелеемое сухими ветрами. Посредине волока дорога сворачивала к реке.

Как светло на ее берегу! Как прозрачна сама река, как спокойно и плавно текут ее воды между лесистыми берегами по каменистому дну!

Дорога далее пошла возле реки. Любуясь игрою светлых струй речки Вынь, ехали мы с Матвеем по зеленым лугам.

Лишь в полдень приехали в Серегово. На другой день здесь была ярмарка. У одной вдовы, знакомой Матвею, остановились мы на квартире. У ней были гости. Сидели за самоваром. Какой-то господин, одетый в жилет из тонкого сукна, с бритой бородой, сидел в красном углу и, судя по отношению к нему окружающих, был самым почетным гостем. Любезные хозяева, напившись чаю, и нам предло-

жили по чашке с Матвеем. Последний робел среди бойких, остроязычных жителей Серегова; легко сказать, был завод здесь, жили удалые заводские люди. Я был немного похрабрее.

— Откуда вы?— спросила меня хозяйка.

— Из самого Питера,— сказал я с сознанием собственного достоинства и с целью поднять оробевший дух Матвея.

— Из Петербурга,— сказал господин.— Я немножко живу подальше, в Гатчине, где живет сам царь.

Он и хозяйка и вся их родня взглянули на меня сверху вниз. «Ну что?— глаза их спрашивали.— Каково?»

Сколь высоко ни поднимайся, всегда найдешь человека, который предупредит тебя и сядет выше. Мне оставалось быть скромным. Я повел тихую речь, выражающую покорность судьбе, и тем уничтожил в господине и в гостях нерасположение ко мне.

— Ну, ничего,— сказал он.— Кушайте чай, у нас можно будет провести одну ночь.

Мы с Матвеем почувствовали себя лучше, а когда мы уходили, господин сказал вдове: «Нет, он не бродяга, незачем беспокоить станowego».

К вечеру я узнал, что сельским учителем здесь Грибков. Эта фамилия вызвала ряд дум и радостных надежд. Только я не знал, сейчас ли к нему бежать, или завтра к обеду. «Грибков, Грибков!— думал я.— Это он, мой товарищ по учительской семинарии. Вот как обрадуется-то мне. Столько лет не виделись и вдруг встретиться в деревне! Да и Грибкову со мной и мне с Грибковым. Мы же ведь были друзья.

Бывало, они уйдут с приятелями в деревню из города Тотьмы, а я через некоторое время по их приказу иду оберегать их от сельских драчунов. Они танцуют в зале с деревенскими красавицами, а я с палкой сижу в прихожей, подвергаясь насмешкам окружающих, и на обратном пути сражаюсь с удалцами, желающими избить Грибкова и его товарищей. Не раз, не раз я так приводил их в город целыми и невредимыми. Вот Грибков все это вспомнит. И то вспомнит, как они, удачно женившись с большим приданым, с колокольчиками, с шумом и гиком, ехали на место службы на север, а я с котомкою за плечами, пеший сам-друг встретился им на волоку. Они меня еще спросили, улыбаясь: «Куда?» «За счастьем на юг». «А мы на место, на север»,— сказали они и с гиком и со звоном

продолжали свой путь. Все это мы теперь вспомним на досуге.

На другой день к полудню направился я к Грибкову. Село было полно народу, день солнечный. Какая оживленная ярмарка, да и какое прекрасное село — Серегово! На высокой горе, над прозрачной рекой блистает оно, а вдали за рекой — пажити зеленые и синие леса. Дома в селе большие, это хоромы, а не избы. Раньше, вероятно, здесь богато жили, когда солеваренные заводы приносили больше дохода.

Из моих размышлений меня вывел молодой человек с маленькой бородкой, юркий, только что выбежавший из одной лавки, где он торговал.

Он назвал меня по имени.

— Вы откуда здесь?— спросил он меня.— Какими судьбами? Ведь я ваш земляк, торговец Омелин. Вот и хозяин мой в лавке. Пойдем к нему, пойдем.

Мы вошли в лавку. С черной бородой и с черными глазами, бледнощекий молодой человек встретил меня с улыбкой довольного и богатого человека.

— Мы узнали вас,— сказал бледнолицый торговец, шурша ситцами и отрезая их одной бабе.— Узнали вас по вашей походке, она все та же, по-прежнему важная, лебединая. Мы ведь ваши земляки. По каким же делам здесь изволите быть в такое торговое время?

— Сказки собираю да песни народные.

Омелин и Иванов переглянулись. И последний, прищурив глаз, спросил, для каких же это надобностей.

— Для истории, для истории нужно.

— Так,— сказали они оба.— Что же, прикажете кланяться вашему папаше и вашей мамаше?

— Кланяйтесь. Скажите, что жив и здоров их сын, чтобы не беспокоились.

— Передадим.

Я ушел из лавки.

Глядя вслед мне, Иванов сказал Омелину: «Видно, убежал из Питера-то. Там нынче все бунтуют, видно, и он тоже, вишь как плохо одет — не похож на чиновника».

Они передали моему отцу, что они видели его сына, убежавшего из Питера, а затем прибавили: «Ваш сын, вероятно, вскоре попадетсЯ снова и будет посажен в тюрьму». Этим известием они вызвали у старика много слез о безумном сыне.

Вскоре я приблизился к училищу, к большому зданию на самом берегу, с огромными окнами. Да, здесь учитель

живет — как помещик, на 800 рублей оклада. И тут вспомнил я образ Грибкова. Молодой человек с тонкими чертами лица, с небольшим узким носиком, с серыми приятными глазами, скромный, любезный товарищ! Сейчас увижу его. Дал звонок.

— Ну что, дома господин учитель?

— А вы от кого?— спрашивает меня вышедшая мне отворять женщина.

— Я его старый товарищ.

Вхожу в школу, смотрю: в прихожую выходит сам учитель.

Человек с окладистой бородой, толстый, почтенный, благообразный. Все же узнал, что это Грибков.

— Кого я вижу!— оба воскликнули мы.

— Разве вы не в Сибири?— сказал мне Грибков.

— Нет.

— Вот как! А то мне рассказывали, что вас не то сослали в Сибирь за неблагонадежность, не то сами вы ушли, желая больше пространства для скитаний.

— Нет, я все здесь, в России.

— Так. Какими же судьбами сюда?.. Впрочем, это расскажете мне за самоваром.

Он пошел на кухню хлопотать. Я осмотрел его комнаты. Они больше и удобные. Много света, много воздуха.

Ай да Грибков, как он живет!

— Что же, вы женаты?— спросил я его, когда он вернулся.

— Как же, имею двоих детей. Отправил их всех в гости к теще. Так-то, так-то. Какими же судьбами вы здесь?

— Я, знаете, Николай Иванович, изучаю жизнь народа, записываю их словесные произведения, также изучаю их язык.— Вы, поди, уж умеете говорить?

— Ну нет, я никогда не говорю,— ответил мне Николай Иванович.— Не говорю и не прислушиваюсь к народному языку. Ученики в школе должны говорить по-русски. С народом ничего общего не имею, к счастью, потому что здешний народ груб и бестолков, особенно по деревням.

— Как же вы живете, разве вам не скучно одному?

— Как одному? У нас здесь, слава богу, не в глуши, где действительно с ума можно сойти. Здесь становой приятнейший человек, то он у нас в гостях, то мы у него. Здесь два священника — молодые, развитые люди. Опять же фельдшер, недавно кончивший. Наконец, писарь, урядник даже — целая компания.

— Значит, у вас свой круг, который ничего не имеет общего с народом, и народ не ведает вас.

— Совершенно справедливо. Бывает и так, что мы все, вся интеллигенция, едем в Усть-Вымь, или подальше, в гости к другому становому или к попу какому, а то к нам интеллигенты из других сел и мест приезжают. Мы живем общественной жизнью. Вот и сегодня у станового полон дом гостей, и я тоже собираюсь.

— Что же вы там делаете?

— Господи! Газетные новости, новости по службе, городские известия, доходящие до нас. А затем развлечения — карты и прочее.

Кухарка принесла самовар. Мы удобнее сели с Николаем Ивановичем.

— Так вот как!— говорили мы оба.— Давно же не видались.

— Что же вы все без службы, а?— говорил мне Грибков.— Неужели наука вам еще не надоела и странническая жизнь?

— Нет, Николай Иванович, я и вас хочу притянуть к себе. Записывайте народные сказки и присылайте мне!

— Помилуй меня Бог!— воскликнул Грибков.— Что вы! Во-первых, это не безопасно; во-вторых, это мне совершенно неинтересно. Нет, это пустяки. Уж если мне взяться за дело, если бы мне удалось, так это земское дело. Вот членом бы этак управы. Я это понимаю, я люблю общественное дело. Оно — живое. А науки — избави меня бог!

— Так помощником моим вы быть не хотите?— говорил я, улыбаясь.— Я когда-то спасал вас в Тотьме от деревенских: Васьки Буслаева и Фомы Горбатенького; а теперь помогли бы вы мне...

— Избави меня бог! То была юность золотая, незрелость наша. Что о том говорить? Кушайте чай-то! Где же вы сегодня обедаете?

— Где Бог пошлет.

— Как жаль, что я должен идти к становому, да и жены у меня нет, сегодня я ничего не приготовил к обеду,— говорил он, глядя на часы.

— О, об этом не беспокойтесь, Николай Иванович, я же странствую постоянно так.

— Вы уже привыкли?

— Да. Нет, уж вы идите к становому, там вас ждут, а я к мужикам спущусь, туда, к реке: кажется, приехали с верховьев любопытные мужички...

— Да, на ярмарку. Это каждый год. Их тут целая орда, не разберешь.

Поговорив еще немного, мы расстались с Грибковым.

С высокого берега спустился я к реке. Тут был длинный мыс и песчаная низина.

Величественная картина предстала мне на берегу и на реке! Река Вымь протекала здесь с севера на юг.

С верховьев ее и притоков приплывали в узких, длинных, острых лодках жители села и деревень, лежащих выше Серегова по реке. Мужики, бабы и подростки приезжали в лодках на ярмарку из Княжпогоста, из Кероса, из Тыла, из Веслянки и т. д. Как стаи птиц, быстро неслись они, и не видно было конца этим быстролетам. В каждой лодке стояли по одному или по два и длинными шестами упирались о берег песчаный или о каменистое дно реки и с быстротою ветра приближались к Серегову.

Одетые в белые армяки, опоясанные кожаными ремнями, с топорами и ножами за поясом, с ушанами и платками на головах, с развевающимися из-под головных покрывал длинными волосами, с удивительною ловкостью работали эти лесные люди шестами вместо весла.

Ближе и ближе приплывали они. В ушах у мужчин и женщин висели серьги, на шее галстухи у всех, на ногах коты и разноцветные чулки над ними — все это придавало толпе какой-то пестрый характер. Гортанная, своеобразная, быстрая речь, удары весел и плеск волн наполняли полдневный воздух.

Все новые, новые толпы приплывали, приехавшие выходили из лодок, вытаскивали их на берег, опрокидывали на песок и на камни и внутри устраивали себе жилье, потому что они готовились здесь провести несколько дней и ночей. Они приехали из холодных деревень в Серегово для покупки хлеба, за который заплатят лесом. Пока одни устраивали себе ложе внутри лодок, другие разводили костры, и вскоре весь берег наполнился дымом, который то вверх поднимался, то устилался вдоль песчаного мыса, обвиваясь около греющихся людей, и эти люди то были на ваших глазах, то исчезали в дыму. Волшебной сказкой покрывалось все.

Как приятно, непринужденно, быстро и прекрасно течет жизнь простая! Два-три движения — готово жилье, еще два шага — и пища уже варится на таганке, и свежий запах в воздухе будит ваш аппетит. Шум и говор, веселье и крик, остроты и шалости, быстрые движения —

все говорит о жизни детей дремучих лесов, о здоровье и счастье простого человека.

Налюбовавшись вдоволь и быстрыми ладьями, и шумной пестротой стоустой толпы, я пошел от костра к костру со своими вопросами и речами.

— Старики, поговорите с земляком, расскажите сказки мне, сказания о Паме великом, я наш знакомец...

— А откуда, чей?

Оттуда-то и такой-то.

— Хорошо. Расскажи, Степан,— обращается мужик Вась к соседу,— расскажи сказку, вишь, он просит.

— Сам расскажи,— отвечает Степан,— чтобы дурного чего не было.

— Дурное!— говорит Вась.— За сказки никого еще не сажали в тюрьму!

— Ну так сказывай,— говорит Степан.

Я иду к другой толпе и чувствую на себе пытливые взоры, измеряющие меня с ног до головы, слышу вслед: «Такие даром не ходят, что-нибудь да допытывается».

Долго бесполезно я бродил от костра к костру, от лодки к лодке.

Наконец, встретил я мужика стройного с русой бородой и со светлым взглядом.

— Ну, что, барин, ищите?— он меня спросил.

— А вот насчет сказок.

— Так что же, садись ко мне под лодку, там отлично устроено, поговорим.

Его большая лодка была полуопрокинута, вместе с лодкой соседа она образовала род шалаша. Снаружи лодки были прикрыты берёстой, пространство внутри устлано армяками, шубами. Тепло и хорошо там было.

Мы с Филиппом (так звали моего нового знакомого) там уютно уселись. Раскупорили бутылку вина и разговорились. Много сказок здесь я узнал и старых преданий. Два дня и две ночи я провел на берегу. И это были счастливейшие в моей жизни дни!

Утром на третий день тронулись мои мужики обратно вверх по реке. Проводив их глазами, я взглянул на небо и искренно поблагодарил его, что оно дало мне два дня и две ночи провести среди лесных детей холодного севера, насладиться жизнью предков моих.

Сияйте, звезды и солнце, на небе для счастья этих мирных людей в их дремучих лесах, на берегах звонких ключей, на пармах песчаных, покрытых гигантами соснами и сумрачными елями; в сосновых избушках живут они, дети

северных стран, у светлоструйных рек, катящих свои волны с лесистых гор к далекому морю.

Над их головами всегда мерцает полярное созвездие в часы глубокой и долгой ночи. По движению семи звезд судят они о временах сна и бодрствования, а другие звезды кажут им будущее, рождение и смерть и отдаленные судьбы каждого из них.

Их жизнь — простая сказка, их сказки — невинные мечты дитяти.

Они знают сладость румяного утра, золотистого дня и вечера пурпурного, им милы синие сумерки и темные, долгие, безветренные, искристые ночи.

Труд и покой мерно чередуются у них. Чувство сладостного бытия на лоне Великой Природы никогда не оставляет их!

Так, милые дети отдаленные севера, узнавши вас, убедился я, что счастье возможно на земле.

ШОЙНАТЫ

Шойнаты принял меня в дождливый день. Целый день бусил мелкий дождь, порою снег падал с холодного неба. Однако мужики работали на лугу у села. Они строили новую избу, поднимали новый сруб. Один из них мне сказал, где можно остановиться. Был недалеко дом с маленькой горницей. Туда я и направился. Любезный хозяин встретил меня в дверях. «Пожалуйста, у нас самовар есть и отдельная комната». Здесь я расположился, развесил карту на стене, любовался большими реками России и величием ее пространства.

— Я все понимаю на карте,— сказал хозяин.

— Ну-ка, покажи Волгу.

— Вот эта,— сказал он, указывая на Белое море и при этом продолжал утверждать, что он все знает.

Стали торговаться насчет цены комнаты.

— В Петербурге за такую комнату ты сколько платишь, пятьдесят рублей? А я, так даю за 4 рубля в месяц.

Комната была в одну кубическую сажень.

— Полно ты, Ефрем (так звали хозяина), ты Петербург столько же знаешь, сколько я знаю жизнь на Луне.

— Луна дело Божие, а комната моя хорошая, теплая, тут летом кондуктор жил, так не нахвалился.

Долго с Ефремом мы спорили и дело уладили на двух рублях в месяц. После этого сходил на реку и привез мне рыбы.

— Что стоит?

— Два рубля.

— Что ты, с ума сошел?

— А в Петербурге, поди, четыре!

— Ай, Ефрем, Ефрем, оставь Петербург, ты, слава Богу, живешь в дремучем лесу и у многоводной реки — что торгуешься, не гневи Бога.

Но Ефрем мой не унимался.

— А сказки ты, хозяин, знаешь?

— Я не знаю, я глупостями не занимаюсь, но я тебе приведу Пилю, он за стакан вина наврет тебе целую книгу.

— Хорошо, приведи Пилю.

В ожидании последнего мы сели за самовар.

— Вот, Ефрем Иванович, ты умный человек, и я бывалый, хоть и не из умных. Видишь, странствую я, старых богов ищу. Раньше они здесь жили. Но их теперь нет, и я слезы об этом лью. Скажи что-нибудь ты мне, не слыхал ли что про старых людей или богов?

— Как не слыхать, — отвечает Ефрем, хитро улыбаясь. — Чудаки здесь раньше жили. Версты три отсюда в лесу дремучем есть гумно, там они в мячик и в лапту играли, эти старые люди, которые были некрещеные. Версты три отсюда, недалеко, можно съездить в лодке, у меня и лодка есть своя.

— Куда же эти чудаки теперь девались?

— Потом, когда Стефан стал проповедовать, чудаки зарылись в землю и там погибли все. Река смыла их трубы, они часто попадают в сети, отчего и озеро называется Шойнаты и деревня тоже. Как же, как же, будешь жить, можно будет съездить.

Пока мы так беседовали, прибежал мальчик и сказал, что Пиль сегодня не придет.

— Вот занятой-то человек, — сказал хозяин, — зовут, так не идет, а другой раз не выгонишь, сидит и зубы точит... Ну так сегодня ты уж в баню сходи, — обратился он ко мне, — вон мой старик собирается.

Я принял это любезное предложение и отправился на край деревни с его отцом. У леса была видна маленькая банька, дым и пар ее валили со всех углов.

Баня — поэзия севера, она же лечебница.

Чем старее поколение, тем оно жарче мылось и тем было крепче. Когда, бывало, резчик Фалалей моется с Пильванем, последний надавал такого жару, что Фалалей выбегал из пламени с быстротой зайца, а Пильвань мылся спокойно. Но вот являлся старик Архип и добавлял жару, и Пильвань выскакивал бешеным прыжком из огнедышащего жара, а Архип говорит внутри, что мало ему жару, что баня холодная. После часа выходил он бронзовый и в одной рубашке, босиком в зимнюю пору шел домой с четверть версты, глядя на звезды, гадая об умерших и родившихся людях.

Наши поколения не выносят жары, и слабы стали телом.

Но я, верный старине, люблю простую баню севера, маленькую, глянцеvато-черную, с печкой из камней, сложенных полукругом, с маленькими деревянными корытами для воды, с черными лавками и паром. Приятно мыться в ней.

Святая старина у вас на глазах.

Здесь мылись предки охотники, которые с длинными нартами ходили на охоту за сотни верст, делая пули зубами из свинца. Так и теперь с удовольствием вошел я в баню со стариком и стал мыться с ним. Он мне рассказывал о самоедах, о вогулах, о старой старине, об удалестве своем в юные годы.

— Я был мал, но крепок телом, никто в борьбе против меня, бывало, не устоит. Я как, бывало, возьму вот так за шею,— увлекался старик, во вдохновении схватывая меня и пытаюсь опрокинуть с лавки на пол сырой бани. Я насилу отражал натиск старика.— Ох, как, бывало, я!..

— Теперь не то,— прибавлял он с грустью, видя, что я не падаю, и печально опуская руки, как плети.— Не то, теперь внучка, и та меня обижает; все меня упрекают, что я много ем, а ничего не делаю. Не могу делать! А есть действительно ем — мало. Положим, не разорю на хлебе я.

Приятно со стариком беседовать, и жаль его. «Раньше люди крепче были и добрее,— говорил он.— Когда у нас был неурожай и белый царь приказал есть ягель нам, я искусно приготавливал муку из ягеля, но никогда не ворчал, что кормлю стариков своих. Конечно, бедная сторона наша!»

Долго моемся мы со старцем седым.

— Ну, а скажи, дед Иван, видал ли ты старых богов, видал ли хозяина лесного?

— О! как же не видеть, паре... Только здесь говорить страшно!.. Как тебя, своими глазами видел, хороший ты человек. Раз прошел он между деревьями в зеленом кафтане, да голову поднял вдруг высоко, выше деревьев. Да как захохочет: ох-хо-хо! Да как ударит ладонями, да загогочет, я упал на землю и вихрь прошел надо мною, а деревья застонали жалобным голосом. Прости господи, какая сила! С Богом-то ведь борется. Уж где пройдет — деревья все лежат! Видал, видал, парень мой, уж не забыть мне до могилы!.. Только небесного-то грома боится, да молнийного-то огня, а то житья бы не было,— сказал старик, когда выходили мы с ним из бани.

Синее небо блеснуло нам в глаза отдаленными звездами, когда мы с Иваном вышли на луг, а потом по дороге пошли к дому. Непогода прошла.

Вечность глядела на нас бесчисленными очами.

Рано утром пили чай с хозяином и ждали мы Пилю.

— Непутевый мужик,— говорил Ефрем про него,— лентяй. Две рыбы в день не поймает в реке, косит, как баба, а тулум-булум рассказывать готов целые дни.

— Что же, у него есть семья?

— Семеро, мал мала меньше.

— У него есть дом, земля?

— Домишко кривой там, на берегу ручья, с версту отсюда... А как копейка заведется, сейчас в кабак. Неходовой мужик.

Пока мы так мирно рассуждали, пришел сам Пиля, мужик лет тридцати с маленькою бородкой, худощавый, малого роста. На ногах у него дырявые валенки, хотя было лето на улице, на плечах старый полушубок в заплатках. Только одно в нем было замечательно, это глаза — глубокие, блестящие, полные смысла.

— Садись, Пиля, выпей стакан чаю да расскажи нам какую-нибудь сказку. Да хорошую,— добавил наставительно Ефрем.— Барин записывает. Уйдет в Петербург твоя сказка.

Пиля тихо улыбнулся и подсел к столу. Он скромно выпил чашку чаю.

— Что ж, если позволите,— произнес он,— сказку «Доренька»...

— Расскажи, расскажи.

— Жил купец Иван,— начал Пиля.— У него двенадцать слуг. Один из них Доренька. Ему работать было лень.

— Как ты, видно,— сказал Ефрем.

— Рассказали хозяину,— бесстрастно продолжал Пи-

ля,— он-де сильно ленив, ничего не работает: утром рано, когда мы встаем и отправляемся на работу, он обувает одну ногу, а когда уже мы возвращаемся на ужин, он только еще надевает лапоть на другую. Хозяин Дореньке говорит: «Ты, Доренька, иди теперь искать ремесло, вот тебе триста рублей. Научись трем ремеслам, а потом возвратись ко мне». Тот взял деньги и ушел.

День идет и другой, идет и неделю, приходит в город, заходит в кабак. В кабаке сидит человек, пригорюнившись. Спрашивает Доренька у целовальника:

— Что делает здесь этот человек?

— С похмелья он, он большой мастер шить сапоги, всю одежду он здесь пропил. Вот и сидит, пригорюнившись.

— Научи меня своему ремеслу, обращается к мастеру Доренька, я выкуплю вещи.

— Научу, отвечает тот.

— За сколько заложил их?

— За сто рублей.

Доренька дал сто рублей.

Полгода били Дореньку, другие полгода он стал лучше мастера.

— Теперь пора мне найти другое ремесло,— сказал Доренька,— хозяин велел.— И ушел он от сапожного мастера.

День идет и другой, и неделю идет, приходит в другой город, заходит в кабак. В кабаке сидит человек, пригорюнившись...

Так рассказывал Пиля; ни одного лишнего слова, неверного эпитета, ни суетливости, и чем дальше, тем интереснее. Ефрем и я заслушались. Часто Ефрем смеялся над острыми словами, а иногда облачко печали мелькало на морщинах моего хозяина.

— Ай да Пиля, ай да Пиля, ай как хорош, пожалуй и на работу сегодня не пойду я.

Тихий блеск сиял в глазах у Пиля, а рассказ лился с уст его ровно и занимательно.

Бедный художник, живущий на берегу ручья, плохой ты рыболов — иная судьба тебе назначена была богами.

Ты часто сидишь в своей скривившейся избушке с маленькими окошками на старой скамеечке. Печальная улыбка у тебя на устах и мечтательный взор в глазах. Ты глядишь на угасающую зарю заката, ты грустишь, ты мечтаешь о старых сказаниях. Но вот звезды зажглись на небе. «Как светло там, хозяин зажег свои небесные лучи-

ны»...— шепчешь ты и молитвы читаешь Богу своему, покорный судьбе.

В полдень подали мне рыжую лошадку, я уехал из Шойнаты, сопровождаемый сыном хозяина и неся образ Пили в душе своей. Солнце высоко сияло на небе. Оно долго еще будет сиять на синем своде к несчастью и к счастью живущих на земле.

ЫДЖЫДВИДЗ

Давно желанный Ыджыдвидз на берегу Вишеры увидел я в воскресенье рано утром. Увидел я и дом Панюкова на горе, за ручьем — высокий двухэтажный, и дом старосты по эту сторону ручья, и ту избушку, где протекали мои первые дни, и белую церковь у пыльной дороги — маленький погост, как на ладони, весь предстал!

Образ этого села носился во мне в течение двадцати лет, маня к себе как таинственная сага. Он ярко вспыхнул в моем воображении, когда я был далеко на юге, куда занесла меня коварная судьба. Я вспомнил Ыджыдвидз и дом Панюкова, и ручеек, и белую церковь и покинул юг золотой, и с быстротою весенней птицы, летящей с теплого моря, направился на отдаленный милый север! Могу ли забыть его? Никогда.

Приехав в село, я вошел в церковь.

Между заутреней и обедней народ, сидя на завалинках, недалеко от церкви, вел разговор о злобе дня. Беседа шла о том, где построить дом священнику.

Одни говорили: «К чему нам заботиться — здесь ли придется жить, или покинуть это бедное, нужное место, где одни неурожай и заморозы? Не лучше ли идти всем в Сибирь? Места для пашен нет, болота, мох, холод».

Иные отвечали им: «Мы умрем, другие останутся, кто-нибудь да будет жить на этих местах. Надо построить дом попу и дать место для дома».

Я подошел к мужикам, поклонился и сел к ним на бревно. Они, немного приподняв шапки, продолжали свой разговор, не обращая никакого внимания на меня.

После обедни молодой священник вышел на амвон и

начал обличать крестьян, что они до сих пор не строят дома для священника:

— Разве я вам не отец, разве вы не мое стадо, разве я не отвечаю за вас перед Богом?.. Негодные вы, от вас одни только неприятности! Кто-то из вас написал жалобу на меня благочинному. Но я доберусь, дам знать тому!

Прочитав такое строгое слово, священник удалился в свои старые хоромы, а мужики, махая руками и рассуждая между собою, разбрелись по домам.

Оказалось, у них поп строгий, постоянно громит их с амвона, а в праздники не дает веселиться молодежи, воспрещает хороводы и песни, и игру на гармонике. Когда же я заходил к нему на чашку чаю, отец Алексей жаловался на грубость крестьян, на отсутствие правды в духовенстве, на свое одиночество в делах добра на ниве народной:

— Меня не любят, меня ненавидят, а все за то, что хочу и делаю добро. Я борюсь с грубостью и с семенами дьявола в народе. Построили мужики мне избу, а теперь спорят, где найти место для нее. Им жаль клочка земли для священника, хотят, чтобы я жил в сыром месте.

— Ведь они бедны и голодны, пашен у них мало, что сеют, то не всходит, постоянные заморозки. Вишерский край — край нищих, это погреб севера, — отвечаю отцу Алексею.

— Гляди на них, — возражает он, — на плотях они могут нажить, если захотят, лентяи.

— Плоты губят их здоровье и леса севера, климат еще более ухудшится.

«Не жертвы, а милости хочу». Любви, любви к природе и к человеку не вижу я в ваших сердцах. В холодном севере должно быстрее и горячее биться сердце наше, иначе жизнь замрет. Любви, любви и жалости и снисхождения жаждут природа и люди, дети севера унылого...

От отца Алексея ушел я к мужику Габову на конец деревни. Под елью была его избушка; кругом его дома ходили коровы, переплывающие утром и вечером реку Вишеру, несущую свои холодные волны мимо мужика Габова; вдали на юге видна гора, и солнце чуть поднимается над горою, а на севере за рекою еловые леса тянулись беспредельно, покрывая собою весь горизонт. В этих лесах и летом не жарко: сырые болота дают им прохладу.

На полюс глядит и на холодные созвездия этот край, и угрюмо, и студено в его лесах беспредельных, в его холодных волнах спокойно текущих прозрачных рек в песчаных берегах. Уныло-прекрасны сумрачные ели, красные

сосны, могучи и величавы; ярко блестящее, холодное зимнее небо, коротко знойное лето с его ячменными хлебами, с брусникой и черникой. Но милы сердцу звери и птицы, и люди — простодушные люди, дети севера далекого.

А ручьи, как звонки они осенью и весной.

— Алексей Иванович Панюков, — прервал густой голос мои мечты о севере прекрасном. — Друг твоего отца Фалалея и твой также. Четырехлетним курносый мальчиком ты ползал у меня на коленях, — говорил Панюков.

Я очень обрадовался.

— Садитесь, садитесь, сейчас я пошлю за «горьким», и самовар поставим.

— Мне сказали, что сын Фалалея приехал — я сейчас бегом.

Действительно, он был запыхавшись. Алексей Иванович имел высокий рост, сутуловатую фигуру. Лицо его было полно энергии. Большие сжатые губы говорили о замкнутом характере и о скупости. Слегка горбатый нос и серые смелые глаза дорисовали его образ и возбуждали мысль об определенном характере. Предприниматель он, вероятно, был в свое время. Но теперь уже старик.

— Слыхал, слыхал, что ты много учишься, теперь, видно, уж жалование получаешь. Каким же делом сюда, Фалалеевич?

— Вот видишь, Алексей Иванович, много есть народов и языков, и судьба этих народов записана, а север наш остается во тьме. Как жили старики, деды наши, кому молились в дремучих лесах, о чем плакали, чему смеялись, мы ничего не знаем. Вот по этому делу я езжу.

— От начальства?

— Да.

— Хорошее, хорошее дело. Жалованье дают, конечно, большое. Доброе дело.

— Да, Алексей Иванович, вот и записываю сказки, разговоры, о старых богах какие сказания, песни стародавние.

— Я кое-что могу сообщить тебе. Много знаю, недаром поседел, как видишь. Как же, как же, знаю твоего отца. Отсюда на Вишеру поедешь, или на Джиан?

— На Вишеру.

— Я и повезу вас. А рассказать могу я.

В это время принесли нам «горькое».

Выпив рюмку, он сказал:

— Я расскажу тебе Кум-шкот, другие рассказывают, да лгут. Сегодня говорят одно, завтра другое. Я — всегда

одинаково, сегодня, завтра и через десять лет...— В старое время,— начал Алексей Иванович,— один купец очень был дружен с сатаною. Едят и пьют вместе, как мы с вами. Друг на друга не наглядятся. Больно уж мил сатана купцу.

Кумовьями они стали, и рукопись дал купец. Сатана тоже был очень любезен с ним, хорош, показывал ему все свои комнаты, все свои владения...

Панюков действительно очень интересно рассказывал. Кроме сказок, он много сообщил мне замечательного о величавой старине.

Поговорив, он повел меня к себе.

Двухэтажный дом на берегу ручья, благоустроенный, принял нас в свои уютные сени. Панюков жил смолоду богато, он даже был членом земской управы.

— Вот сюда, сюда иди, я тебе расскажу еще много, садись... В лесу дремучем, у подошвы холма, между двумя истоками рек, в охотничьей хижине жил Йиркап. Он был охотник и имел собаку.

Эта собака что-то лает на дерево и глядит на ее вершину. Лает день, лает другой. Вышел Йиркап, взглянул на дерево, нет ничего там, а собака лает.

Лает она и третий день. Взял топор и ударил им Йиркап по дереву, из дерева кровь пошла. Думает охотник, дай-ка я сделаю из этого дерева себе лыжи. И сделал себе он лыжи из этого дерева.

Сделал лыжи — они сами идут. Как шапку положит на них, они стоят, шапку взял — помчались лыжи, как стрела.

Хорошо стало житься Йиркапу. Никакой зверь от него не убегал, никакая птица не улетала. Что увидит он, то и поймает.

Озеро Симты далеко от него лежало, на сотни верст; как печку затопят, выходит из дому Йиркап, к закрыванию печки он возвращается, наловив рыбы в озере.

Жила колдунья. Она и говорит Йиркапу: «Есть,— говорит,— тридцать оленей и тридцать первый еще. Ты,— говорит,— тридцать-то поймаешь, а тридцать первого не сможешь».

— Смогу,— говорит Йиркап.

Они об заклад бились. Один говорит — могу, другая — нет, не сможешь.

Йиркап стал охотничать, тридцать-то оленей он скоро поймал, но тридцать первого не может. Ловил он, ловил, мчался на лыжах, мчался. Олень убегает от него. Намаял-

ся Йиркап, но напоследок поймал же. Он схватил оленя, тот вдруг в сороку оборотился, он цап сороку — та вылетела. Йиркап палкой ударил ее и сломал крыло. Эта сорока была дочь колдуньи.

Живет Йиркап. Ловит рыбу в озере Симты. По тонкому льду скользит рано осенью на лыжах.

Вот колдунья и говорит тетке Йиркапа: «Что-то он очень легок, надо сделать его тяжелее».

Тетка и дала ему попить воды, процеженной сквозь онучи. Йиркап отяжелел. Направился он на лыжах через лед, одна нога у него завязла в реку, другую ногу оторвало лыжей, которая помчалась к тому берегу и ударила в дерево. Тело Йиркапа утонуло в реке...»

На другой день в ожидании Панюкова решил я сделать прогулку вдоль реки. Шел я долго, и попал в дремучий лес. Сосны своими головами застилали небо. Я глядел на них, и грусть наполнила мою душу. Величавая природа севера все же не сохранила богов моих. Нет их, ничего не слышно о них. Так размышляя, далее я шел.

Вдруг вижу на берегу между сосен и елей сосновый шалаш на самом берегу реки, а возле шалаша сидит седой, как лунь, старик, лапти плетет и песни поет. Долго я глядел на старика, светлого и счастливого, и слушал старую песню его, потом, печальный, подошел к нему, сел у его ног и спросил его: «Что же ты поешь, старик, надо плакать, а ты поешь? В воде нет хозяина, в лесу нет хозяина, ни на облаках, ни в овине, а ты поешь».

Старик поднял глаза на меня и произнес: «Ты что? Из села, что ли, куда идешь?»

Я ему рассказал — так и так, и повторил прежний вопрос. «А что мне не петь, дочь моя замужем, сын женат, хотя они не кормят меня, хлеб я имею, вот коров пасу, лапти плету, отчего мне не петь?»

Тогда я изменил вопрос и сказал ему: «А ты не боишься здесь лесного, водяного?»

— Нет, они сами по себе, а я сам по себе.

— Они показываются тебе или нет?

— У них свои дела, у меня свои. Лесной зверей пасет, а я — коров. Я рыбу ловлю, водяной мне не мешает, я ему хлебы даю. Этта на днях... Чу!.. — вдруг замолк старик.

— Ты что?

— Кажется, сам ходит, слышишь, треск и шум в лесу. Это сам — Вихор Вихоревич, Войпелей!.. Этта, говорю, на днях плывет в виде кошки, я там в лодке был. Бросил ему хлеб ячменный, он — тю в воду.

Я свободно вздохнул, слушая старика: «Ну, значит, боги еще здесь, старик живет вместе с ними».

Я взглянул на солнце: «Спасибо тебе, светлое солнце. Ты привел меня в страну, где живет еще старина святая между столетними соснами на берегах дивнопрозрачных рек мирной страны!»

ВИШЕРА

Я прибыл в Вишеру. Меня привез сын Панюкова — Филипп. Перевозчик на плоту нас перевез через речку. Въезжая в село, мы услышали звуки скрипки из маленького каменного домика. Окна были открыты, в нем и виднелись фигуры деревенских интеллигентов.

Ямщик остановился у одной благоустроенной избушки. «Тут можно найти фатеру,— сказал он,— здесь всегда останавливаются лесные приказчики и фельдшера, и разные господа приезжие».

Через несколько времени, не успев еще вылезть я из тесной телеги, как уже нас окружили седые мужики и подростки безусые.

«Кто? зачем? по какому случаю?»— спрашивали они ямщика и меня.

Живо смекнув, в чем дело и услышав то, что я сын Фалалея, который работал у них сорок лет тому назад, делал иконостас в их церкви, они стали хвалить меня.

— Толков, как отец,— говорил седой старик.

— Как же,— подтверждал другой,— и ласков, как мать его, Устинья.

— Да глаза отца, а нос матери, я хорошо помню их; ах, славные были люди.

Похвалам старичков не было конца.

Я был обрадован, обнадёжен. Вот, думаю, приехал как сын к родным. Как нежно меня принимают. Здесь я много, много узнаю от этих благодушных старцев.

— Добрые старики и вы, ласковые юнцы, сейчас самовар поставит нам хозяйка и чай будем мы пить с вами, и поговорим о жизни, о старых людях, вы мне сказки расскажите, заговоры...

— Как же, как же,— говорили со всех сторон,— придем, поговорим.

— У нас поживете вы?

— Да, несколько дней, или даже неделю.

— Так, так.

В прекрасном настроении духа вошел я в избу и радостно расположился в нетопленной комнате в ожидании самовара и мужиков.

Сажу, przygotowляю вопросы, вынул бумагу и карандаш. «Сейчас будем записывать; наконец-то я в Вишере... хорошее село, а люди какие!»

Самовар уже готов. Но мужики почему-то не идут. Спрашиваю хозяина: «Отчего не заходят?»

— Кто?

— Да старики-то.

— Да разве вы их звали? Они ушли по домам.

— Я же их звал на чашку чаю...

— Звали, значит, придут.

Проходит час. Зову хозяина: «Что же не идут, мужики? Они обещались».

— Обещались, так придут.

— Где придут? Иди позови сюда. Позови того, который говорил, что я похож на мать, на Устинью. Он такой ласковый и почтенный.

Хозяин ушел. Через полчаса возвратился.

— Ну что?

— Тот мужик, Максим, ушел в баню.

— А другой?

— Степан ушел в лес за лошадьми. Кирилл отправился рыбу удить, а Филипп за грибами.

— Вот так диво!

— Разве они обещались?— говорит хозяин.— Обещались, должны придти.

Напился уж я чаю, самовар остыл. Ни одна живая душа ко мне не явилась, ни из интеллигентов, которые видели меня в окно, ни из разговорчивых старцев, от земли до небес меня восхвалявших.

Вечер пришел и ночь налетела на темных крыльях. Никого. Ночь прошла и золотое утро заглянуло ко мне. Затем яркий полдень и снова румяный вечер. Село как мертвое, никто не идет, никого нигде...

На третий день пошел я с хозяином в церковь посмотреть иконостас, сделанный Фалалеем. Вошли. На паперти икона страшного суда. Демоны гонят грешников в огонь. Наверху святые и ангелы. Посередине ангел и демон взве-

шивают дела людские. Что-то перетянет, добро или зло в мире?

Вошли внутрь храма. Золотые резьбы на зеленом фоне иконостаса. Высокие царские врата, прозрачные, как воздух, яркие звезды над ними, апостолы, а над последними древние пророки со свитками в руках, а повыше всего облако и сияние с надписью — Бог. Какой цельный и дивный гимн духу — солнцу!..

Этот иконостас создал «он», всюду «он», на пути моем постоянно «его» встречаю, моего Сольвейга...

Вернувшись из церкви домой, я нашел у себя кудрявого, высокого, рослого человека. Он, широко улыбаясь, стоял посредине комнаты. «Знаешь ли меня, узнал ли меня?» — воскликнул он...

Я с удивлением глядел на него, и вот возник в моем уме образ маленького мальчика, моего друга в селе Эжоле... да, да, это он, мой Кирилл. Мы вместе с ним делали колокольни из жердей и досок, и колокола из обожженной клины... и как они хорошо звонили в огороде мужика Ивана пока тот, наскучив этим, в одно утро не разрушил все созданное нами, и колокольню, и колокола, и выгнал нас, плачущих, из огорода...

Он, он — этот милый мальчик Кирилл предо мною, сын нищей бобылки Матрены; помню, потом ушли они с матерью из деревни просить милостыню... Я провожал две версты его, до горки за соседним ручьем и здесь, проливая слезы, целовал его, и дал ему на прощанье ячменный пирог.

Несомненно, передо мной стоял мой Кирилл, румяный, здоровый мужчина!

— Ты из Эжола? Откуда же и зачем здесь на Вишере?

— А, узнал! Да, я Кирилл. Я подрядчиком, здесь у меня кирпичный завод, двадцать девиц работают у меня. Под вечерок зайди к нам, мы споем тебе таких зырянских песен, каких ты не слыхивал ввек, я ведь слыхал, что ты песни записываешь, все знаю...

— Да ты мне расскажи, как попал в подрядчики и откуда у тебя кирпичный завод!

— Нет, сейчас мне некогда, иду на работу, вечером увидимся.

Вечером я пошел к подрядчику Кириллу. Подошел к одноэтажному деревянному дому с низенькими окнами. Последние были открыты настежь, и звуки гармоники вылетали наружу. Вошел — самовар кипит на столе. Кругом на лавках сидят румяные девы; хотя и в рубище одеты

они и с глиною в вершок толщины на ногах и на руках, веселы были молодые здоровые девушки. По знаку хозяина запели в один голос они зырянскую песню:

Утренняя заря рано летает,
Поздно летает заря вечерняя,
Утренняя заря рано поднимает,
Поздно приходит вечерняя заря.
Гребцы-молодцы вверх плывут
На нижней лодочке,
Гребцы-молодцы вниз плывут
На верхней лодочке!
Посреди лодочки — бурлаки молодые,
У руля же красные девушки!
— Куда же путь держите вы,
Бурлаки молодые, красные девушки?
— Собрались мы своей милой искать,
Милого своего на один час!
Дурная слава об нас пойдет!
Как береза шатается от сильного ветра,
Так слава эта пойдет во все стороны,
И никогда слава не умолкнет,
Не будет конца дурной молве!..

Долго пели девы вдохновенные народные песни...

Поникнув головою, сидели мы с Кириллом Ивановичем. О чем он думал, не знаю, но слезы показывались у него на глазах, а я был умилен: «Не всеми богами забыта еще наша страна, раздаются еще в ней стародавние песни».

Так мы сидели у кипящего самовара, но вот Кирилл встряхнул головою, улыбнулся, и все общество развеселилось.

На столе сейчас же появились по знаку его и вино, и закуски. Мы начали деревенский пир. Любил веселиться Кирилл Иванович, расчет для него не существовал, он старых подрядов еще не кончал, а жил уже на счет новых. Не прочь был кутить, и рассказчик был прекрасный, и собеседник, каких не надо лучше...

Но увя! Утренние петухи запели, и, полный звуков, вернулся я к себе при восходе солнца...

На другой день я был на кирпичном заводе.

Здесь работа кипела. Делались кирпичи, расставлялись рядами. «Потом будем обжигать их», — говорит Кирилл. Затем он шепчет на ухо мне: «Ты сними нас, сделай кар-

точку, чтобы все знали и видели, что вот подрядчик Кирилл Иванович работает на своем заводе. Снимки я вывешу на стене для общего сведения».

— Хорошо, хорошо.

Подрядчик был навеселе, как и большей частью, когда у него бывали деньги.

Скучно жить на севере без хмельного! Так и в эти леса приходит ремесло и техника с юга. Может быть, вскоре и здесь начнут ожигать воздух, плавить золото... Не знаю, что будет, но мне жаль дремучих лесов, простых нравов, здоровья нервов, жизни без капризов, мудрой покорности необходимости.

Возвратившись от кирпичного завода, я опять задумался о том, как бы поговорить мне с крестьянами. Я заявил хозяину, что я врач. «Поди, зови больных сюда». Скоро комната моя и сени были наполнены старыми, молодыми, детьми, здоровыми и больными. Я раздал имеющиеся у меня лекарства больным и, давши им гигиенические советы, вступил в беседу с мужиками. На меня особенно резко напал один из них. рыжий, высокого роста.

— Вы, баре, путешествуете по свету, не знаю зачем; все высматриваете, а толку мало. Умнее мужика вам не быть и правды уж не восстановить!

— Почему?— спросил я рыжего мужика.

— Почему? Потому что мужик завсегда умнее барина. Вот ты барин, учился поди годов пять али десять, а что знаешь? Ничего. Например, пахать сможешь ты, али нет, скажи по правде?

— Нет.

— Ну, а сеять умеешь?

— Нет.

— Вот видишь? Значит, ты с голоду умрешь в деревне. А белок стрелять умеешь? Вот ты, положим, в лес пошел. Белок нет, а ты должен найти их, ну как тебе быть, скажи? Сам видишь, какой вопрос я тебе ни задам, тебе-то ни за что не ответить. Ты с голоду умрешь в лесу.

— Ну, а ты мне скажи, для чего ты живешь,— спросил я его.

— Как для чего? Охотничаю, пашу, подати плачу.

— Ну, а для чего все это?

— Как для чего? У меня дети, жена, старик отец семидесяти лет.

— Для чего все они живут?— спрашиваю я.

— Как для чего? Что же, не Божьи, что ли? Али ты

знаешь дела Божии, али думаешь, мы без души?— горячился мой собеседник.

— Откуда же ты узнал, что Богу угодно, чтобы мы все жили?— продолжал я быть настойчивым.

— Я так думаю.

— Думаешь? Я тоже думаю. И полагаю также, что нужно ходить по земле, чтобы лучше узнать волю Божию. Тогда постигнем мы, как звери и птицы живут, как разные люди в разных местах законы Бога исполняют, как счастливы они, или как страдают. Бога я ищу на земле, вот для чего я живу. А этого ты не знал, Максим.

— Да, точно, не знал я. Ну, теперь вижу я, что ты умный человек и расскажу тебе про великого Тювэ, который жил в наших лесах. О господи! до чего была хитра его голова!..

КОРТКЕРОС

Уж Пезмог проехал я, скоро и Корткерос. Третий раз я к нему подъезжаю.

Тридцать лет тому назад был я с отцом моим в Корткеросе первый раз. Помню глубокие снега и большие сосновые избы. Мы тогда подъехали на рыжей лошадке в угол огромного дома старика Ивана. Он с большой бородой, седой, принял нас благодушно и угощал отца теплым квасом. Только и помню я о Корткеросе. Но это воспоминание для меня дороже всего, оно из золотого детства, сквозь него вижу я красоту и тайны сказки — жизни...

Детство — это золотой век человека. Миновали годы. Наступил серебряный век юности.

Я был молод и силен, второй раз прибыл я в Корткерос волостным писарем и жил там бодро и весело... Ходил я по улице, хватал пьяных мужиков и таскал их на своих плечах в «холодную»!

В первое воскресенье после приезда, в жаркий летний день вступил я в борьбу на лугу около правления с мужиком Егором. Мужик он был толстый, крепкий, с светлорыжей бородой; как железом сковали мы руками друг друга. Ноги далеко отнесли в разные стороны, боясь взаимного обмана. Избороздили мы с ним луг и перешли на

песчаную дорогу. Огромная толпа на нас глядела, удивляясь силе борющихся. Два раза опрокинул я Егора, но оба раза поднимался он, как стальная пружина, из-под меня. Третий раз, высоко подняв, бросил он меня на горячую землю. Изумленная толпа обоих хвалила.

Старшина, хитрый мужик с маленькими, всегда закрытыми глазами, из деревни Можга, что за рекою, только по вторникам захаживал в правление, одетый в пиджак из «чертовой кожи»; мы с ним часто ссорились... Он шепнул Кулигину, моему помощнику, старому писаке с большой русой бородой и с толстым, мягким басом в голосе, который больше проводил время на реке и рыбу удил, чем занимался делами правления. Тот написал на меня ябеду чиновнику.

Ничего. Все сходило тогда и все было мило в то светлое время.

Чиновник дал мне выговор, а Кулигин, как ни в чем ни бывало, говорил складно и мягко со мною, угостил меня свежей рыбой и вином, помилив со старшиною.

Весело было в Корткеросе!

Спустившись с широкого берега, любовался я, бывало, широкой, синей рекою, дальними облаками, зеленым островом на многоводной реке.

Туда приходила, на высокий берег, дочь просфорни Фаина, высокая скромная девушка с голубыми глазами, всегда молчаливая. Глядя на нее, мечтал я о восторгах сердечного союза, о жизни с глазу на глаз.

Когда же ночь наступала глубокая и искристые звезды зажигались в далекой, недоступной вышине, я спускался с высокой горы вниз, к теплой реке, купаться, удивляя и пугая жителей. Они об этом шепнули отцу Амвросию и спросили, что это значит. Он, улыбнувшись и покачав головою, сказал: «Последите, не безбожник ли ваш писарь».

Хорошо и долго бы я жил в Корткеросе, да жизнь мою отравил проезжий пьяница семинарист. Хвастаясь познаниями, я отправился к нему, но он меня поставил в тупик вопросами и ответами. Он мне сказал: «Ты не знаешь, что такое бытие». И удручил он мою душу навеки этими словами.

С тоской с тех пор глядел я на небо и на облака и думал: «Все это бытие, а что такое бытие, и не знаю я».

Тогда заказал я гармонику, звонко играющую, взял котомку на плечи и, простившись со всеми, пошел на дальний юг расспросить людей, не знает ли кто, к чему жизнь

человека, в чем смысл ее и что такое бытие, которое вижу я на небе и на земле.

Птицы в дремучих лесах вторили звукам гармонике, серый волк, перебегая дорогу, с любовью глядел на меня, а солнце манило куда-то, все вдаль, вдаль, в теплый юг, на берега синих морей...

И вот мой железный век настал!

И в третий раз я еду в Корткерос.

Скорей ямщик, да получше квартиру найди!

Подъехали, остановились у церковного старосты. У него чистая комната, блестящий, как солнце, самовар.

— Ну что, жива ли Фаина?

— Жива. Вышла замуж за небдинского волостного писаря, дети ее в городе.

— А отец Амвросий?

— Уехал куда-то в широкие места, здесь, говорит, скучно.

— А Кулигин?

— Помощником. Рыбу ловит, первый рыболов.

— Ну, а жив ли мужик Егор, силач?

— Как же, как же, он овдовел, бедняга... Пятеро дочерей.

— Так, так.

— А вы за каким делом приехали, что-нибудь по службе?

— Да.

Староста оставил меня одного в его обширных комнатах.

Сижу у него, мужиков сзываю, головы меряю им, сказки записываю.

Вдруг входит ко мне высокого роста мужчина с белыми волосами, как лен.

— Волостной писарь Попов!

— Очень приятно.

— Помните меня или нет? Когда-то мы поступали в сельские писаря, были конкурентами в выльгортском правлении, но я мужикам понравился своим условием, и меня приняли.

— Вспомнил, вспомнил, как же!

— Так я и застрял в этом состоянии. С какой же целью ты едешь у нас?

— Изучаю дух мира, как проявился он здесь, в Корткеросе.

Писарь улыбнулся:

— Ты весел как был в детстве и приятен в беседе. Зайди ко мне на чашку чаю...

Мы пошли с ним.

В огромном доме он жил. Комнаты в нем грязные, обои вывалились. Ай, ай!

Изба полна детьми.

— Это все твой?

— Да.

Подали нам самовар. Он был темнее чугуна.

— Не богато живешь ты.

— Да где же, доходы маленькие.

Посидев у него, снова пошли гулять по селу.

— Мне бы найти старика Василия, сказочника.

— Вот дом его.

Подходим к дому, и вижу в окне Василия с густой седой бородою, с морщинистым волосатым лицом.

— Василий, а Василий!

— Его нет,— слышится голос с крыльца.

— Как же, я его вижу!

Василий в это время отошел от окна вглубь комнаты с моих глаз.

Мы с писарем отошли прочь от него.

Идем по Корткеросу. Высокое небо над нами. Впереди широкая улица, по обеим сторонам низенькие, маленькие избушки.

Опять проходим мимо Василия, он быстро взглянул в окно волосатым лицом и вновь скрылся. Не хочет старик рассказать мне сказки.

Вон дом богатого Козлова, торгового мужика, хитрого и аккуратного в своих делах. Когда мы далеко от дому, в окно все глядят, подходим, и лица исчезают.

— Боятся вас,— объясняет писарь.

Вечером вернулся я к старосте. Тихонько вошла ко мне жена, худенькая, тощенькая женщина.

— Простите,— сказала она,— нам говорили, что ты все узнаешь, что и внутри-то человека находится, осмотри ты меня и моего мужа. Мы очень грустим, у нас нет детей... Когда в церковь вхожу, слезы всегда льются... У меня нет детей... Вот уже 12 лет бабы надо мной смеются... Мы живем богато. Видишь, наш дом, как чаша. Пожни и поля, все вдоволь. Но Бог не дает нам детей.

Долго и бесплодно утешал я ее.

Она одно твердила:

— Нет, ты не хочешь нам добра, у нас нет детей.

На другой день утром вместе с прочими мужиками пришел и мужик Егор.

Мужики говорили о жизни, писаря хвалили:

— Он у нас хорош, только пьет. Уже раза два чуть не сгорел от вина, насилу отводились.

Егор сидел задумчивый и глядел на меня, как я измеряю головы циркулями, как характеры определяю.

Уж все мужики ушли, а он все сидит.

— Ты что, Егор?

— Измерь мою голову.

— Зачем?

— Уж пожалуйста, измерь.

Я измерил, голова была огромная, недаром носили ее богатырские плечи. Измерил и смотрю на цифры...

— Ну, что показывают цифры?— спрашивает он задумчиво, глядя на меня.

— Ты человек хороший, только водку пьешь.

— Есть грех. А еще что?

— Еще вот, ты с детьми чересчур строг.

— Надоедят ведь. Больше ничего?— спросил он тихо и с робостью.

— Ничего.

— А насчет женитьбы что написано? Я же вдовец. И вот день и ночь думаю, жениться мне второй раз или нет. Из-за этого я и пью...

Я задумался.

— Это, видишь ли, как хочешь.

— Нет уж скажи, сделай милость!

— Да, тебе лучше жениться, а то ты промотаешь именье.

— Вот я так же думал, а меня все отговаривают, что будто стар я... я еще не стар.

— Женись, женись.

— Покорно благодарю, будешь свободен, на чашку чаю ко мне. Захочешь ехать, я повезу. Мы ямщики, у нас все есть...

Через несколько дней я уехал из Корткероса, благославляя его...

Вот он! уходит дальше и дальше от меня. Дома исчезают, вот церковь спряталась за огромными соснами.

Ямщик Егор быстро везет меня.

Господи! дай мне еще когда-нибудь побывать, четвертый раз, в Корткеросе!

Солнце высоко на небе. Ели и сосны бегут возле нас. Пыль столбом по дороге...

Странствие — цель жизни человека!

Смотреть и смотреть на великую природу, почувствовать ее дыхание... Узнать ее повсюду!

В волшебном доме мы живем. Глядите, глядите на него!..

ЛОКЧИМ

В детстве, живя в деревне, я часто слышал от почтенных крестьян, что там, на востоке, за рекой Сусолой, за лесом сосновым, далеко-далеко есть Локчим-село; там собаки звонко лают; там мужчины — прекрасные стрелки на белок, а женщины — красавицы, и ходят все в синих шушунах.

Эти слова часто я слышал от крестьян и подолгу глядел на сосновый лес, за рекой растущий. Я думал, как бы мне побывать в селе Локчим, и много раз пытался приблизиться к нему, когда за грибами ходил в прозрачный лес. Но сосны были слишком велики на песчаных холмах, и шум ветвей их таинственен, что каждый раз с грустными думами и в страхе обратно возвращался я домой.

Когда же, бывало, увижу ворона, летящего на черных крыльях к востоку, с завистью глядел на него и с боязнью: «Вот он перелетит через Локчим».

С тех пор прошло много лет. Много ходил я по земле. И вот только теперь судьба улыбнулась, и я лечу на паре лошадей через леса дремучие, через топкие болота в село Локчим, решившись побывать там во что бы то ни стало. Мое сердце бьется сильно: легко ли? Я еду в Локчим. Великаны сосны недоверчиво качают головами, темные ели сумрачно смотрят на меня, даже друзья мои — звонкие ручьи — как-то уныло журчат, когда мы проезжаем по сырým ложбинам. И все лес, и лес, и нет конца длинному волоку.

Дремота меня взяла, в беспокойный сон я погрузился и вижу, будто я птица большая, и наскучило мне летать над горами, над степью широкой, вести постоянную борьбу со зверями и птицами, и лечу я мимо диких скал с ужасной крутизной. Не здесь ли, на краю утеса, образовать мне свое гнездо? Тут высоко и пустынно, и сладко

мне! Да нет, в глушь, и в глушь стремится моя душа... Влетаю я в густой лес и дальше, и дальше лечу. Где-нибудь здесь, думаю я, на густых ветвях, в дебрях непроходимых устрою свое гнездо и отдохну от бурной жизни, годы и годы проведу в уединении, незнаемый никем, качаясь на тенистых ветвях в непроходимой чаще...

— Эй, барин, приехали, в Локчим приехали,— будил меня ямщик.— К кому ехать?

Я открыл глаза. Передо мной большое село; вдали, у горизонта, виднелась белая церковь, за нею село шло полукругом в синей дали по берегу речки. Мы были в первой деревеньке, откуда было версты три до погоста.

— На погост, на погост поезжай!

Вот он, Локчим! Смотрю, девицы в синих сарафанах, в красных платках, охотники с лаза(на)ми, в кожаных котках, дома из толстых бревен с просторными сараями; звонко лающие собаки за нами гонятся...

Вот оно! Локчим-то!

Церковь исчезала за домами и снова появлялась, из деревни в деревню мы проезжали мелкими рощами, к погосту приближаясь. У кривого домика остановились.

— Тут знакомый мужик живет,— сказал ямщик.

Вошел в избу, помолился иконам, пожелал хозяевам здоровья и счастья и, получив взаимный привет, разделся и сел к столу.

Хозяйка у печки возилась, она была в синем шушуне. Хозяин в крашениновой рубаше и в белых шароварах под полатами сидел и поправлял коты, босоногие дети бегали с криком по комнате. Из-за печки седой дед поднял белую голову и мутными глазами глядел на меня.

— Так это Локчим,— начал я, взглянув в окно.

— Да, Локчим зовут люди,— ответил хозяин, подняв голову от работы и взглянув на меня маленькими, светящимися глазами.

— Отсюда через лес можно в деревню Давпон и в село Выльгорт попасть?

— Да, верст сорок будет. Охотники тамошние подходят к нашему селу, их выстрелы слышны в деревне в морозный зимний день.

— А они слышат лай ваших собак, когда в воздухе бывает тихо и снег хрустит под ногами?

— Да, да, зимой звонко, да и охотники близко подходят.

— А прямой дороги нет?

— Нету, кругом сздил в город-то, делаем сотни верст. А вы откуда, господин?

— Я выльгортский.

— Зачем же? Покупаете лес, али лен, али рыбой торгуете? Из Выльгорта ведь много промышленного народа ходит. Вот и теперь живут у нас два кузнеца.

— Я собственно сказки записываю.

— Вот таких не бывало еще,— сказал хозяин, остро взглянув на меня.

— Да, я записываю житье-бытье, желая добра землякам.

— По приказанию, видно. Тут тоже землемеры ходили, всякое дерево записали: житье стало невольное.

— Ничего, хозяин, ты вот чаем угости, да сказку какую расскажи.

— А я думал, ты лес покупаешь, было обрадовался, сто бревен есть бы у меня, дешево бы и продал да...

— Нет, нет.

Делать нечего, и он угостил чаем меня и сказку рассказал.

«Один крестьянский сын отправился в дремучий лес и увидел, как в речке купаются тридцать красивых девушек. Он взял одежду одной из них и скрылся за кустами.

Двадцать девять вышли и оделись, обернулись белыми лебедями и улетели, а тридцатая горько заплакала: ей не во что было одеться.

— Если научишь меня, как жить на свете и замуж за меня пойдешь, дам тебе твое платье,— сказал крестьянский сын из-за куста.

Девушка согласилась и получила одежду. Она научила, где живет ее отец, лесной колдун и как перехитрить его, потом оборотилась в лебедя и улетела.

Крестьянский сын сделал все так, как научила его Настасья Адовна (так звали красавицу), и сделался богатым человеком, и взял замуж Настасью Адовну».

Выслушав эту сказку, я вышел на крыльцо посмотреть на село, на крепкие сосновые избы, на седых стариков, направлявшихся ко мне, и на румяных девиц в синих сарафанах с широким поясом и подумал:

«Что теперь больше? Я видел Локчим, что давно желал, теперь душа моя спокойна. Вот бы еще найти Настасью Адовну и жить припеваючи».



ОЧЕРКИ



ПИЛЬВАНЬ

I

В Ипатьдоре жил Пильвань.

Что за Ипатьдор и кто такой Пильвань? Деревня недалеко от речки Пожег, вливающей свои воды в желтую Вычегду — это Ипатьдор. Сосновые избушки в ней построены без всякого порядка. Одна изба глядит на восток окнами, а другая на север, иная на юг или на запад. Если бросить мячик от первой избушки деревни сильною рукою, то он долетит до середины и покатит еще далее. Среди озими, близко от мшистых домиков строится белая деревянная церковь. Скоро Ипатьдор будет селом.

Вокруг него вечно шумит еловый лес, а за ним сумрачный бор, и много чудес в этом бору, но они известны только жителям этого мирного уголка. Единственной узенькой дорожкой можно пройти из Ипатьдора в деревню Прондор, она в семи верстах, за сосновым лесом, а по другую сторону — деревня Шила в двадцати верстах. И больше нет ничего кругом, кроме красоты севера — дремучего леса, которому конца никто не знает, кроме старых охотников, да и те более гадают, чем дают ясные ответы на вопросы.

Близко, очень близко от села, в час можно дойти, речка Пожег протекает, узкая, темная, быстротечная, течет среди деревьев, постоянно шепчущихся и вечно качающих своими вершинами, как бы удивленных какими-то тайными сказаньями. Дикие утки плавают по хрустальной реке в весеннее время и гагары порой несутся над ней куда-то над темным бором.

Таков Ипатьдор, и в нем-то жил староста Пильвань.

Дом его был среди села близ церкви. Он был выше и пространнее других избушек. Кругом были амбары и сараи, где все лежало в порядке и на своем месте. Зимой, после долгой темной ночи, как только, бывало, синий свет забрезжит сквозь замерзшие окна, ипатьдорцев, а на востоке за лесом заискрятся первые бледные золотистые лу-

чи утренней зари,— первый огонь мелькнет в избе Пильваня, и немного только спустя, как бисером покроет, зажгутся приветные огоньки во всех избах Ипатьдора.

Но вот восток светлеет, синей струйкой дым взвывается из трубы дома Пильваня, потом, немного спустя, из других домов... и дым взвывается синей струйкой, а выше — пурпурным веером, а затем — румяным облачком далеко-далеко, к холодным звездам отдаленного неба...

Вскоре и скрип шагов раздастся по деревне в ранний час, в морозное утро. Это идет староста к знакомому черноволосому колдуну позвать его съездить за сыном; он подойдет к его избе, «тарк, тарк» — ударит палкой в замерзшее окно. «Сейчас», — ответит голос изнутри. И обратно идет Пильвань, вот видна его могучая фигура в овечьем полушубке, у него на голове ушан — оленья шапка закрывает уши. Приходит в дом, во дворе начинает налаживать дровни, потом зайдет в жилые комнаты, всех детей разбудит. Скажет: «Диво! Как вы можете долго спать, как будете жить на свете, не знаю, кто за вас будет работать!» Дети быстро встают после этих слов и берутся сейчас за работу, кто доит коров, кто сено припасает, кто таскает дрова, иной на дворе снег метет.

Уже светло. Солнце прекрасное, огромное, румяное, все озаряющее вошло из-за леса, за речкою Пожегью. Пильвань на крыльце. Его большая рыжая борода освещена солнцем, его серые глаза сияют бодростью, из-под ушана спускаются рыжеватые длинные волосы. Лицо у него серьезное, но добродушное. Он ведет разговор с мужиком Макар Пронь, с мужиком неудалым, который больше живет в пастухах; последний просит у него денег взаймы.

— Пронь, ведь не заплатишь?

— Заплачу, как не платить, можно ли это, — уверяет неудалый Макар Пронь, почесывая за ухом.

Тут баба приходит, вдова соседка, муки просит у Пильвань.

— Матрена, ведь выругаешь за муку-то?

— Нет, Иван Филиппевич, я ведь раньше не то, что бы бранила, а сказала, что платить нечем, знаешь, вдове дело... — У Матрены показались слезы.

— Ладно, дам, — сказал староста Пильвань. — Он знал, что пастух Пронь ему не заплатит, а Матрена обругает его, если он напомнит о долге, но также он знал, что нужно дать, что никто больше не даст по деревне.

Солнце уже высоко поднялось по бледно-голубому не-

бу. Мороз трещал и в деревне, и в лесу. Мужики Ипатьдора разбрелись все по работам.

Колдун Максим Заика уже складывал сено за речкой Пожегью, а рыжий Федор поехал за дровами с раннего утра; он рубил в лесу, по пояс в снегу, сухие, звонкие конды (сосны), пугая пестрого дятла, который одиноко стучал и прыгал по дереву, доставая червей; робкие зайцы испугались ударов Федора и в кусты побежали, белые куропатки и черные тетерева-тары с шумом вылетели из чащ и куда-то скрылись за соседним холмом.

Искусный охотник Йол Ондрей ставил силки в ельнике для зайцев, соболей и горностаев, тщательно выведав их следы.

Бабы Ипатьдора, кончив утреннее хозяйство, шли с прялками одна к другой — посудить о соседях и в особенности о соседках, рассказать сны и приметы.

Был уже полдень над Ипатьдором. Вечно движущееся солнце сияло вдоль улицы села. Огромный Пильвань в полушубке шел по направлению избы Сень Вань: он узнал от Макара Пронь, что резчик приехал поздно ночью и остановился у Сень Вань. С ним надо было познакомиться и переговорить ему, как церковному старосте.

«Какой день опять Небесный Отец нам дал, и весело людям», — так думал Пильвань, приближаясь к старому крыльцу старой избы Сень Вань в конце деревни, откуда два шага — и сосны дремучие; чуть-чуть вилась дорога между ними в деревню Проньдор.

Страхнувши снег с огромных валенок и погладив бороду, вынувши оттуда ледяные сосульки, перешагнул он через порог в просторные сени, а оттуда в теплую избу. Он увидел хозяина, высокого мужика с черной, постоянно трясущейся головою, стоящего посреди комнаты, а рядом с ним другого, чрезвычайно низкого ростом человека, но тоже страшного на вид, с темными длинными волосами. Последний был босой, и ясно было, что у него не по пяти, а по шести пальцев на ногах. Это был Тимка-нищий, всегда бродивший из деревни в деревню. Он мыл и парил в банях больных детей, читал там молитвы над ними и заговоры; положив ребенка поперек на колени, отплеывался от сатаны и горячей водой выгонял все болезни.

Его большая голова наводила ужас, а маленькие глаза и волосатое лицо (при его двенадцати пальцах на ногах) напоминало медведя. Его мать — баба из деревни Сейты — ушла в лес и заблудилась, она набрела на медведя; тот ввел ее в берлогу и стал с ней жить; днем она

выходила из берлоги, собирала ягоды, грибы и питалась этим, а ночи проводила с медведем. Последний ласкал ее, издавая низкие гортанные и носовые звуки (мура-мара, мура-мара). Через некоторое время баба забеременела и принесла Тимку, а с медведем случилось несчастье: раз он хотел унести корову из лесного хлева, поднял ее передними лапами на крышу (двери хлева были заперты) и ушибся; кровью истек бедный медведь и умер на берегу молчаливо текущей реки, вздыхая, как говорит народ, о красивой бабе из Сейты. Такого происхождения был Тимка. Не менее замечателен был строптивый, ужасный Сень Вань с трясущейся головою. Стоит сказать одно слово, неприятное для него, он сейчас схватит обидчика, возьмет его на руки и, вытащив на крыльцо, выбросит на снег, сказав: «Там сиди».

И это случалось не раз. Когда, бывало, вечерней порой соберутся у него молодые ребята и девушки Ипатьдора (последние с прялками) вместе коротать зимний вечер при тусклой лучине и кто-нибудь при этом из молодых людей неосторожно что-нибудь скажет о старшей дочери Сень Вань — Василисе, тогда черный хозяин спустится с палатей, где он, кряхтя, лежит, схватит несчастного и выведет на мороз. Нагнувши его к сугробам, завалившим крыльцо, и втиснувши в снег, действительно скажет: «Там сиди».

Не любил Сень Вань старосту Ипатьдора, и Пильвань его не жаловал.

И нынче исподлобья взглянул хозяин дома на неожиданного гостя, когда тот вошел в избу: он боялся, и основательно, что Пильвань переманит резчика с его квартиры куда-нибудь к себе (у богатого найдется место), поэтому заранее уже говорил Фалалею, что староста-де у них мошенник, каких больше и нст ни по реке Вычегде, ни по речке Пожег; мошенник и плут, и скряга, негодный человек. А что касается до избы Сень Вань, то лучше его квартиры нет в селе, нигде не умеют так печь теплые пироги и вкусные шаньги, как его жена и дочь Василиса, мастерица печь пряники лучше и красивее, чем в городе. «Да что говорить! Спроси хоть кого в селе, все скажут в один голос — нигде так не удобно, как в просторной избе Сень Вань».

Такие речи высказывали Сень Вань и его жена, уяснявшие все приезжему Фалалею.

Не до Сень Вань было старосте, и он прошел молча между ним и Тимкой, и вошел в комнату, где остановил-

ся резчик со своей женой Устиньей и сыном Елеазаром, шестилетним мальчиком. За самоваром сидел резчик со своим семейством.

— Я здешний староста, Пильвань.

— Милости просим,— отвечает резчик,— чаю с нами кушать.

— Я выпью чашку для знакомства.

Сели, погладили бороды, друг на друга поглядели резчик и староста, подули на чашки с горячим чаем, глотнули раза два-три и повели степенную речь. Эту речь часто кстати и некстати прерывала нетерпеливая Устинья. Говорили о деле, об иконостасе, о колоннах, о херувимах, о золоте, о красках. Резчик Фалалей показывал план иконостаса. Пильвань остался доволен и планом, и мастеров, он видел толкового резчика и основательного человека.

Серьезно и напряженно глядел маленький Фалалей своими небольшими ясными глазами, с маленькой рыжей бородкой, с гладко причесанной головой, опоясанной у лба кожаным ремешком. То надевал очки он, то снимал их, показывая рисунок иконостаса. Говорил не торопясь, но складно и метко. Густым басом отвечал ему большой Пильвань, то на рисунок глядя, то глядя по плечу Фалалея.

— У нас хорошо поживешь ты, народ у нас добрый, гостеприимный.

А нетерпеливая Устинья вскакивала и садилась, выходила и приходила, вертелась около старосты, и шубу его хвалила, и росту его удивлялась, и о жене его спрашивала, и о детях, о дочери Наташе, уж в гости собиралась и к себе звала; она быстро говорила, имея искусство между деловым разговором вести свой собственный, а мальчишка Елеазар то отворял дверь и с ужасом глядел на Сень Вань, на большого Тимку, то булку ел, которую подсунула ему жена Сень Вань. Долго говорил Пильвань, наконец, понизив голос, прибавил:

— Здесь, кажется, Фалалей Иванович, квартира будет плоха, будут беспокоить тебя, да и хозяева придурковаты, у меня бы есть на виду для вас у моей сестры, вдовы Аксиньи, большой дом, и одна половина совсем пустая...

— Хорошо, Иван Филиппович,— тоже тихо сказал Фалалей.

— У меня сегодня баня истоплена, зайди, помоемся.

Староста ушел, сопровождаемый суровыми взглядами Сень Вань и его жены. Они тотчас бросились к резчику, когда закрылась дверь за старостой, и давай выznавать, что говорил Пильвань, не манил ли он лукаво в другую избу.

— Ой, Фалалей, будешь помнить меня и мое слово,— говорила жена Сень Вань,— не верь старосте, плут он, красно говорит, а все в свою мошну.

Вечер наступил. Солнце долго глядело на Ипатьдор, наконец, видя, что все идет обычно, тихо спустилось на запад, за лес сосновый, где-то там, далеко за Виледью.

Но крылатая огненная птица-заря долго еще румянилась на западе, вечерняя звезда долго еще горела, не решаясь спуститься за ель темную. Темнели окружающие страшные леса, и густая тень их заволокла деревню Ипатьдор. Золотой крест на церкви, и тот потух за избою Пильваня. Звезды, искристые, холодные звезды, зажглись высоко-высоко над ветвями вековых сосен, там, далеко над трубами сосновых избушек одинокого села. Все созвездия загорелись на куполообразном небе... И сколько, сколько горит их там в воздушной вышине! Видно, (так думали и ипатьдорцы) быстрою рукою невидимый хозяин неба зажег свои лучины в разных местах, и горят лучины, тихо мерцая, и горящие угольки падают на землю; вот-вот в лес один уголек упал, и светло, и светло в вышине. Небесному отцу подражая, и мужички, вернувшись с работы с ближних и далеких лесов и гор, зажгли свои огни в теплых избушках и сели мирно за ужин.

Теплым паром повеяло по деревне: бани топились там и сям, призывая к наслаждению ипатьдорцев, к теплым и холодным струям свежей воды и к раскаленной печке, сложенной из округленных песчаников, и на горячие, приятные для тела нары. И шли мужики, и бабы, и дети за ними. Ароматные, огромные веники были в их руках. Разделись, вошли. Нагрелись, размякли душистые веники. Ах, как сладко! Как пластырь целебный, как воздух весенний, как солнце ясное короткого лета касаются утомленного тела мягкие, ароматные, паром обдающие веники! И шум, и говор, и бодрость, и шутки веселые в банях.

Вот Пильвань моется и парится, лежа на наре, и Фалалей с ним, и домочадцы. «Парься, парься, Фалалей, иди сюда, здесь слаще». «А ты, Петруша, поддай». Один и другой ковшик ключевой воды бросается на горячие камни. Огнедышащий жар разливается по черной маленькой бане. Корчится Фалалей, падают домочадцы, подростки

на пол. Бесконечно наслаждается Пильвань и бьет себя немилосердно огромным веником, образуя горящий ветер около себя, как самум.

— Мойся, мойся, Фалалей,— говорит он сладострастно. И моется Фалалей, и парятся домочадцы, и весело на душе, и сладостный жар доходит до сердца. Тело горит, омолодела душа. Тихо идут Пильвань с Фалалеем, идут босые, в одной рубашке по голому снегу; мороз приятно и сладко щекочет их, а звезды ласкают их взор. Идут, вот в сени вошли, сени скрипят, в избу вошли, самовар у печки, пар клубом валит, он поднимается до потолка и вьется там в вышине. Холодное пиво своей варки, черное, крепкое в блестящей ендове налито на столе. Садятся к столу староста с резчиком и тихо разговаривают, и чешут большими гребнями сырые волосы.

— Идите, бабы, мыться, идите, а мы по рюмке хватим.

И настойку вынимает из шкапа Пильвань, настойку с горьким перцем. Выпили. Ах как жжет, как горячо, как будто огонь, а не вино выпили они. Заискрились глаза, беседа полилась о жизни, о смерти, о боге, о земле, об урожаях, о реках, о сене, о дровах, и жизнь кругом, и жизнь на небе и на земле. Наливает Пильвань, пьет Фалалей, бороду гладит Пильвань, ногой качает Фалалей. Пьют они чай, из Устюга привезен этот ароматный чай. Пот льется десятый раз, и нет конца ничему. Гладит Пильвань Фалалея по плечу и по спине.

— Аттэ, какой человек ты, Пильвань!— говорит Фалалей.

Длится вечер, звезды горят, жизнь кипит в сердце новых друзей, нет, не кипит, а тихо течет, широко и глубоко, но спокойно, как воды великих рек, текущих мирно по северу далекому между дремучими лесами...

II

Как охотничали дети Пильваня

Кроме дочери, золотокудрой Наташи, и маленьких сыновей, никого не было дома у Пильвань. Три старших его сына — Максим рыжий, Пиля-заика, Демит хромой — давным-давно, ранней осенью, как только с неба выпал первый снег на замерзшую землю, отправились вместе с другими ипатьдорскими охотниками, взявши длинные порты, в далекие леса на охоту, повесив на себя прутья из

свинца (из чего они себе делали пули) и «доморощенные» кремневые пищали. В ста верстах от деревни и от всякого жилья в лесной избе жили они, в охотничьей избе с каменной печью и с нарами. Там проводили они глубокие ночи. При синих сумерках выходили оттуда и отправлялись на быстрых лыжах в разные стороны, в дебри густые. Отыскивали они между густыми ветвями следы зайцев, лисиц, соболей и горностаев. Следили за серой векшей или красной белкой, не сидит ли она на ветке, взявши в передние лапы сосновую шишку и щелкая зубами сладкие орехи. Их маленькие собаки с короткими хвостами, завернутыми в кольцо, бегали взад и вперед, вынюхивали страстно каждый кустик, каждую веточку, каждую тропинку. То там полают они, то уж в другом месте лай раздается. Охотники чутко прислушиваются, как лает собака на белку ли, на зайца, на волка или на медведя и слыша, что лай бесполезен, кличут: «Тэт, тэт!» Собаки прибегают быстро и вновь еще быстрее убегают.

Бодростью, свежестью и холодом веют сосновые леса и чащи еловые. Румянец играет на щеках у охотников.

Куртки и лазы покрыты инеем и снегом, четырехугольные шапки из самотканого белого сукна, как комки снега... Идут охотники, упираясь копыями правой рукой, левая держит рукоятку ножа.

Вот собака сильнее залаяла: видно, белку нашла. Летит один из них, узнавши свою собаку, видит между ветвями серую векшу, на бегу схватывает пищаль... Тихо. «Тэт, тэт». Взявши копьё в левую руку и поставив его прямо, приложил пищаль к копыю и прицелился. Хлоп! И валится белка как клубок к ногам собаки. «Не тронь, нельзя»,— говорит охотник и кладет белку в синий лаз...

Величавое солнце катится по небу между гигантами деревьями. Легкий шум раздается в сени лесной. Где-то токает тетерь, где-то пискнула какая-то птичка... Треск упавшей высушенной ветви... Где-то выстрел раздается в морозном воздухе.

Солнце закатилось, румяная заря широкой лентой освещает западное небо, ярко вырисовываются ближние и дальние леса на пурпурном фоне вечернего неба. Быстро темнеет, и страшные тени наполняют лес.

Вой волков слышен вдали... Охотники, нагруженные добычей, идут с разных сторон в охотничью избу... Будет разговору о подвигах, о чутье собак, о порче пищала колдунами, о заговоре, о неизвестных людях, встреченных внезапно.

Старший сын Пильваня, раздевшись, тихо начинает свой рассказ. Товарищи его, хлебая сладкий юм (кашу), со вниманием слушают его.

— Сегодня, под вечер, прохожу я мимо холма, скользко, насили на лыжах поднимаюсь от замерзшего ручья, который возле холма вьется, гляжу — огромная пихта с оттаялым боком. А-а! — думаю и собаку свою задержал. Подожди, Серко! Подожди, не лай! И повернул, обратно скатился я с холма, ставя знаки на деревьях углом топора. Завтра идем.

Братья умолкли. Веселье замерло на устах и звонкий смех прекратился у бодрых охотников. Все догадались, что рыжий видел берлогу медведя, но ни один не проронил ни одного слова.

Рано легли братья спать. Наладив копыя на длинные шесты, отточив ножи, топоры, они молча уснули... На другой день, до восхода солнца, гурьбой, один за другим отправились по знакам Максима к медвежьей берлоге. Быстро скользили лыжи по белым сугробам, ловко проскакивали братья между дремучими ветвями в непроходимых чащах, опираясь правой рукой на длинные копыя, левой придерживая ружье и нож за поясом.

— Вот тут, — тихо сказал Рыжий, указывая на холм.

Собаки бегали взад и вперед, не зная в чем дело, они еще молчали, не слышно еще было духа медвежьего.

Братья окружили берлогу. Двое стали у входа и выжидали, когда проснется «лесной человек», а младший Алексей тыкал копьём, желая разбудить его от зимней спячки.

Собаки вдруг залаяли с ужасной яростью и с отчаянием и стали рвать землю. Видно, перевернулся старик на другой бок, собаки почуяли запах. Скоро услышали охотники глухой рев в земле и рычание.

Максим с Иваном прицелились. Еще несколько мгновений, и быстро выскочил медведь. Грянул выстрел. Медведь не упал. Он налег на Максима, тот ударил его копьём; быстро схватил медведь копые, вырвал его из рук Рыжего и раздробил его в щепки в одно мгновение. Затем с ревом бросился он на охотника и схватил его за плечи. Медведь был много выше Максима. Огромная голова его высилась над головою человека, пасть его была широко открыта.

Максим вынул острый топор из-за пояса и, отступив два шага, ударил медведя по голове. Последний лапой отразил удар, а топор отлетел далеко и завяз глубоко в

снеге. За ухо взял Рыжий его, но был опрокинут лесным борцом. Лыжи перевернулись, вывихнув ногу сыну Пильваня.

«Ну, полно, полно»,— говорил Максим, когда медведь стал кусать ему руки и грудь. Изловчившись, смелый охотник руку просунул ему в рот и взял медведя за язык. Последний мотал головою, не зная, что делать. Вся эта борьба произошла в одно мгновение, и братья насилу опомнились и, наконец, бросившись на медведя, сзади стали рубить его топорами. «Перестаньте, что вы! Испортите шкуру!— закричал Максим из-под медведя.— Подождите, я сам справлюсь!» Он вытащил острый нож левой рукой из-за пояса и ударил медведя в бок. Ужасно заревел медведь, глаза его помутились и грохнулся он с Максима на окровавленный снег. Братья с трудом подняли сына Пильваня, у которого ноги были завязаны к лыжам. Пока снимали шкуру с медведя, солнце поднялось из-за деревьев и озарило на белом снегу голое тело медведя. Как человек, лежал он на животе, растянувшись по снегу.

«Друг ты мой,— говорил Максим, любуясь медведем,— по Божьему повелению дал ты нам шубу свою, с честью будем мы ее носить. Не сердись на нас... голубчик, лесной ты человек!» «Давайте ветвей сюда, мы прикроем его хвоей и снегом, пусть дольше не найдут хищные вороны и голодные волки лесного старика».

Ушли охотники. Остался медведь лежать под ветками еловыми в дремучем бору. Сегодня уж не увидит он, как солнце закатится за соседним ручьем, и весна начнется вскоре не для него. Уж не понюхает сладостного воздуха леса, выйдя из берлоги, лениво вытягиваясь и зевая, и не побежит более, бодрый, ломая деревья, к селу Ипатьдор, где так вкусны коровки, и лошади не хуже.

Так охотничали в дремучем лесу ипатьдорцы и дети Пильваня от темной осени до яркой весны.

III

Жизнь в Ипатьдоре

Зима приходила к концу. Вчера в полдень уже наблюдал черноволосый колдун Вась на волоку к Проньдору, как стая гусей летела в воздухе. Он рубил дрова и сел на пень сделать сигарку, смотрит: на небе как бы две ленты

под углом движутся куда-то. Немного погодя трубные звуки услышал Вась Морошкин.

— А ведь это гуси!— сказал он.— Значит, дело к весне. Пора, пора, давно соломой кормлю своих коров.

Сам Пильвань тоже стал замечать приближение весны. Он недавно сказал своей жене, Настасье, женщине пухлой, добродушной, хозяйственной и послушной: «Ты вот сообрази, Настасья, солнце раньше выходило из-за дома силача Алексея, а теперь, гляди, оно всходит из-за Гаврилы-охотника, раньше оно заходило за домом Ивана Макарова, а теперь за избу Степана Соловья. Да, уж весна скоро,— прибавил Пильвань.— Облака стали другие на небе, даже в это окно видать: белые облака приходят с юга».

— Пора бы уж весне, многие больно маятся по деревне,— отвечала мужу Настасья.— Этта опять приходила вдова Матрена, нечего, говорит, есть, да и Пронь тоже надоедает все без тебя, а Анисья мне сказывала, что хлеба у рыжего Федора хватит только на неделю, у Степана Соловья на месяц, у Васьки Морошкина недели на три, у Сень Вань на полтора месяца.

Тут Настасья перечислила всех крестьян Ипатьдора; вчера это узнала она от вдовы Анисьи.

— Бог поможет как-нибудь, весна вот близится...

— У меня еще другое горе есть, Иван Филиппевич,— сказала робко Настасья.— Сердце болит из-за Наташи.

— А что? а что?— заволновался Пильвань.

Наташа была его единственная дочь.

Яркорыжие волосы у ней обрамляли белое личико, на солнце же блистали они, как золото. Как путника умиляет в дремучем бору дикая, нежная роза и манит его взор своими алыми лепестками, так златокудрая Наташа приковывала думы Пильваня и его жены. Пойдет ли она пасти овец на зеленый луг за озимовыми полями, Пильвань нет-нет да выходит на крыльцо посмотреть, где и как она; а если она ушла с бел шерстными овцами туда, поближе к лесу, и не видно ее из окна, Пильвань идет как бы за каким делом по соседнему полю, одетый в белую рубаху и шаровары, с синим лазом на плечах, чтобы только убедиться, не ушиблась ли она. Пойдет ли Наташа с подругами в лес, чтобы принести в туесе сладкий сок, вытекающий ранней весной из березы, Пильвань пошлет кого-нибудь из подростков сыновей туда же — поглядывать за дочерью, чтобы что с ней дурное не случилось.

Так и сейчас очень он взволновался словами жены о Наташе.

— Что, что случилось?— спросил он.

— Вчера вечером я пошла доить корову,— говорила Настасья,— и Наташа со мной. Подошла к Лозанке, она как бросится на дочурку, насилу на лестницу выбралась... Из дому-то ее гонят коровы. Замужество видно, Иван Филиппевич, сам знаешь. На днях тоже серая кура в сарае вдруг запела петухом; Анисья говорит, что выйти Наталье замуж. А сама Анисья заметила, когда у нас была: отворяю, говорит, двери, гляжу на образы, Наташина-то икона провалилась за полочку и плачет.

— Этому я не верю, это бабьи разговоры,— твердо сказал Пильвань и погладил свою большую бороду.— Я ни за кого не выдам ее, хоть женихи есть. Нет, еще рано. Одна дочь у меня — одно сердце. Лучше давай пеки пироги, я пойду посмотрю, как работает у меня Фалалей.

Пильвань бодро вышел из дому, однако сердце у него ёкнуло, неизвестно от чего. Он не был суеверен и не был трус; что значит бояться, он не понимал. Когда раз Устинья спрашивала — боится ли Пильвань в дремучем лесу, Пильвань ответил чистосердечно: «Я, Устинья Осиповна, часто спрашивал, что значит бояться?.. больно, что ли, чему, али жмет ногу, али руку...»

— Да вот что-нибудь покажется,— говорила Устинья.

— Пусть покажется, али у нас креста нет; он не может взять, раз крест на шее. «Да воскреснет Бог» — прочтешь. Был со мною случай,— говаривал Пильвань,— иду я раз в Проньдор рано. Я шел собственно в Придаш, раньше погост-от у нас там был. Иду в церковь рано. А в половине дороги между Проньдором и Придашем мост через ручей... Там всегда пугает, рассказывали. Вот я к этому мосту приближаюсь... Дело было в Сретение, был я в этом полушубке. Ну, думаю, товарищ идет, дай догоню. Прибавляю шаг. Нет, не могу нагнать, да и не отстаю. Эй, приятель, говорю, подожди — не оглядывается... Пристальнее смотрю, а уже светало на волоку, так сине-белый свет падал на дорогу; гляжу, человек ростом больно велик, думаю, это силач наш Алексей, больше некому быть... Смотрю, дорога круто поворачивает мимо елей, а он не ниже молодой сосны... У, ты!— думаю. Он выше Алексея. Ну, делать нечего, кричать не стал, иду за ним, и он идет, не оглядываясь. Дошли до мосту, наклонился мой приятель к мосту, сгорбился и тюк туда... Вот те на, думаю... Что же? Вернуться домой неохота, да и праздник, там у

меня родня есть, в Придаше, брат жены Аввакум Козлов, больно уж звал меня к празднику, «приди да приди». Обещался. Ничего, прошел по мосту, человек больше не показался, и дошел я к заутрене в Придаш. Вот как, Устинья Осиповна! Не знаю, что такое боязнь — где колет, что ли?

Так говорил Пильвань, и надо ему верить. А сейчас сердце его вздрогнуло. «Замуж Наташе. Кого же Бог пошлет в женихи? За ипатьдорцев не выдам, нет». И с этими мыслями вошел он в дом Анисьи-вдовы, где жил Фалалей с семейством.

Окна квартиры резчика глядели на юг и на белую церковь за озимыми полями. Каждый день румяная заря и багряное солнце озаряли рано утром семейство Фалалея, и он, вставая, будил своего Елеазара: «Елеазар, вставай, долго спишь — пообедаешь». Елеазар вставал и садился за часослов, а Фалалей вырезал резьбы, строгал колонны, склеивал арки. Устинья возилась около печки.

Когда входил Пильвань, Елеазар читал сквозь слезы, уже утомленный.

«Веди да ять, ве да рцы, да у, ру, да ю, верую». Длинная вица у потолка за матицей, на которую он поглядывал иногда, будила его рвение к ученью и отгоняла усталость.

— Здорово, Фалалей Иванович, Бог на помощь! — приветствовал Пильвань резчика.

— А, Иван Филипьевич, — поднимая голову от работы, ответил резчик, — нужна помощь, без Бога ничего не выйдет.

— Пильвань, небось, не спит, уж на работу собрался в шубе и в шапке, — тараторила у печки Устинья, делая ячменные хлебы.

— Уж арки делаешь, Фалалей Иванович, — говорил Пильвань, садясь на лавку около верстака, а Фалалей рукой гладил работу и глядел на старосту.

— Да, вот пробую, что-нибудь выйдет ли? Вот склеил.

— Диво, — продолжает Пильвань, — какие пальцы у тебя, экую арку сделал. Мы тоже люди, а топорнице делать не умеем. Этта мы с соседом с Макар Иваном дровни делали, гнули, гнули веревкой, как лопнет у нас, чуть обоих не убило, а жены нас ругают...

— Зато у тебя уж порядок в доме Иван Филипьевич, какая жена, и дети какие, любо смотреть, — говорила льстиво Устинья.

— Нет, у меня что... вы вот побывали бы у силача

Якова, вон дом за улицей. Какая тишина в его доме! Если что-нибудь сделает жена не по его, или сын, или невестка, всех привяжет веревкой к голбцу, а сам поедет за сеном или за дровами в лес. Целый день до вечера голодные стоят те у голбца в ожидании страшного Якова. Строг он, зато порядок и тишина. Или вот в Эжоле в тридцати верстах от нас живут два брата, Никанор и Дмитрий, жены их Фекла и Татьяна, детей восемь человек, живут все в одной избушке. Тишина и порядок во всем. Как-то раз поссорились из-за детей Фекла и Татьяна. Целый день ругались. Мужья, Никанор и Дмитрий, были на работе в лесу. Поздно вернулись. Жены жалуются своим мужьям, одна плачет, другая скорбит. Ничего не сказали братья, поужинав все вместе, легли спать, а на другой день с зарею уехали опять в лес. Возвращаются поздно. Еще пуще жалуются жены. «Не хочу жить с Татьяной»,— говорит Фекла. «Не хочу жить с Феклой»,— говорит Татьяна. Ничего не сказали Никанор и Дмитрий, и утром уехали рано на работу. Вечером прибыли и привезли, невидимо для жены, березовые ветви с зелеными листьями и ивовые прутья... На чем свет стоит ругаются жены. «Бери ты мою»,— сказал Никанор,— а я твою, чтобы никоторому не было обидно». Взял Дмитрий жену Никанора, Никанор жену Дмитрия. Да как начали сечь!.. Визжит Фекла: «Ой, больше не буду!» причитывает Татьяна, подпрыгивает: «Ой, больше не буду!» Долго работали два брата, в лоск уложили... И что же вы думаете? Двенадцать лет живут вместе, тишина! Тишь и гладь, Божья благодать... «Фекла Ивановна, Фекла Ивановна»,— зовет постоянно Татьяна. «Татьяна Парамоновна, Татьяна Парамоновна»,— кличет Фекла... Согласие, любовь, расположение. Вот это порядок, Фалалей Иванович.

— Слышь, Устинья,— говорит Фалалей.

— Слышу, а ты ногами-то не шевели, сидя на верстаке, не забывай работу, да угощай Ивана Филиппевича, я вот самовар поставила с горячими угольями.

Мирно идут дни в блаженном Ипатьгоре. Каждый день солнце восходит из-за Пожегью и заходит за Вилядью. Каждый день в тишине лесов или по деревне работают ипатьгорцы среди сугробов, на мягком снегу. Хорошо на сердце и у силача Алексея, и у сурового, властного Якова, и Марка Ивана, благодушного старца, и у Сень Вань, и у Соловья.

Хорошо чувствуют себя и Пильвань с Фалалеем. Только одна забота у всех, чтобы весна скорее пришла, эта

печаль всех северян, потому что они не могут быть без света. Жить без солнца невозможно. Все поглядывали на небо — по лицу его судят о временах года.

Весна действительно начиналась. Пришедшие из лесов дровосеки заявили, что проталинки на холмах оголели от снегов, что ручьи просыпаются и начинают свои весенние звонкие песни, полные чарующих звуков; красные клесты и темногрудые шуры звонко запели в густых ельниках; рябчики, тетерева собирались стаями и самцы на виду у самок вступали в веселый бой на тающем снегу между высокими соснами, и между кустиками ивовыми и раскидистыми можжевельниками... Медведи выходили из своих берлог, зайцы забегали около села.

Солнце поднималось все выше и выше, укорачивалась полдневная тень.

За солнцем с юга полетели на север серые утки длинными стаями, черными лентами на небесном своде тянутся гуси, за ними белые лебеди. По утрам журавли с трубными звуками пролетали над Ипатьдором.

Ласточки двоехвостные давно уже поселились под крышами ипатьдорцев. Воробьи стаями прыгали по деревне... Нет, скоро весна, что и говорить...

Уж охотники прибывали из далеких лесов на весенний отдых. Дети Пильваня возвратились с огромной добычей.

IV

Свадьба у Пильваня

«Пильвань дочь свою выдает, у Пильваня свахи», — пошла молва по деревне. Да верно, пришли свахи из Придаша. Степан Васильевич Парамонов сватается, сын торгового крестьянина. Хороший жених, человек бывалый, щеголь и хват, речист и в деле никому не уступит. Жених завидный. Долго не уступал Пильвань, но жених на все был согласен, он готов был покинуть Придаш и жить в Ипатьдоре у Пильваня. Как бы то ни было, дело клонилось к свадьбе.

Да, да, златокудрая Наташа — невеста. Люб был ей жених, что говорить: аккуратный, сложен хорошо, красив, белокурые волосы как лен, глаза как васильки.

Но все же грустно Наташе, очень грустно. Идет она в свою горенку, глядит в зеркало на золотые волосы свои и плачет, и плачет неизвестно отчего. Скосят ее, как цве-

ток полевой, оторвут ее от семьи, как молодую ветку зеленой березы, скоро увянет она в замужестве, как земляника осенней порою.

Пильвань следит за дочерью.

Он не хочет, чтобы она плакала. Входит в горенку. «Ты и не думай плакать, нет, от себя не отпущу, будешь жить у меня, хватит места в моих хорамах...»

Глядит Наташа в окно. Уже озимые поля выглядывают из-под тающих снегов. «Кто же будет пасти моих милых овец на зеленом лугу? Уже не пойду я с ними к отдаленному лесу, к холодным струям Пожегью. Умолкнет моя песня в хороводе, уж не пойду я с резвыми подругами за сосновый бор ранней весной, на берег темного озера — принести сладкий сок молодой березы...»

Но кто же это там на крыльце?

Вот он снял оленью шапку, белые волосы рассыпались по плечу. Какой статный молодец, опоясанный зеленым красноборским кушаком! Вот он кланяется Пильваню. Посмотрел на окна горенки Наташи, улыбка светлая на лице, кроткий взгляд. Это жених, сам Степан Васильевич из погоста Придаш.

Затрепетало сердце Наташи как птичка в клетке, пойманная ловким мальчишкой-птицеловом в силки из конских волос.

Наташа отошла от окна и села в темный угол.

Быстро обернули дело ловкие свахи за хорошие подарки. Посланцы уже отправились во все стороны от Пильваня, по берегам рек Пожег, Вычегда, Вымь и Вишера. Зовет-де Пильвань земляков и знакомых на свадьбу, выдает свою единственную дочь замуж, золотокудрую Наташу.

Послушались земляки, с радостью получили весть знакомые и идут со всех сторон на знаменитую свадьбу.

Панюков собрался из Вишеры на лыжах, взявши в правую руку охотничье копье. Давно не видал ипатьдорского старосту, будет у него разговору с ним о жизни, об охоте. «Заткну я там всех за пояс в споре и в речах, оборву их на каждом слове», — думает Панюков и по лесным сугробам между речками Вымь и Вишера направляет свой путь.

С берега быстротекущей Выми собрался колдун Тювэ, знаменитый коновал во всей окрестности. «В заговорах всех запроу там на свадьбе у Пильваня, а знахарей разных поставлю по задворкам и за амбарами, пусть знают все Тювэ по всей земле».

Из деревни Шила поднялся старик Софрон с домочадцами. Заячью шапку надел он на голову, а на плечи — длинный белый самотканый азам. Его пронзительные темные глаза еще более зловеще заискрились. Его взгляд приводил в ужас всех своих односельчан, и он считался великим чародеем. «Пойду на свадьбу, посмотрю, кто со мною сразится силою взгляда и у кого крепче заговор, чем у Софрона из Шилы, у которого глазной ангел вверх ногами». По мнению зырян, у каждого в глазу есть маленький ангел, у сильных колдунов он стоит вверх ногами.

Из Небдина с Верхней Вычегды богач Трофим собрался, он оставил свой двухэтажный дом, окрашенный в зеленую краску, и с женой своей, толщиною в пивной чан, и с прекрасной дочерью, как алый цветок шиповника на далеком севере, отправился в Ипатьдор на свадьбу знаменитого Пильваня. «Уж такого богача, как я, там не будет никого... Таких мехов уж не найдется ни по Сысоло, ни по Вычегде, какие на моих плечах».

Игрок на гармонике Василий, сын Фалалея, вышел из Вильгорта, взявши дурядную гармонику. Когда он играл, ворон останавливал свой лет, говорили в народе, и кружился над его головою, а волки и лисицы гнались за ним на волоку. Вышел он из Вильгорта на свадьбу к Пильваню и заиграл на гармонике. Идет, отважно шагает, уши у него движутся вверх и вниз в такт музыке от сладких звуков звонкой гармонике. «Заплачут там, как заиграю, день смерти и рождения всякий вспомнит».

Идут гости со всех сторон, приближаются к Ипатьдору. Солнце замедляет свой бег по небу голубому. Дни удлиняются, чтобы Пильвань лучше мог приготовиться к свадьбе. Ласточки и голуби стаями летают над домом старосты. Двери открыты настежь у Пильваня.

Для почетных гостей столы готовят в его новой избе, а для менее известных — в жилой половине Анисьи. Дети Пильваня везут из города вятское вино в бочонках и устюжские пряники, рыбу разных родов, привезенные с глубоководной Печоры, текущей с Уральских гор к северному морю. Почти все жители Ипатьдора были приглашены к свадьбе. Пильвань забыл все обиды. Страшный Сень Вань с трясущейся головою и низкорослый Тимка, и колдун Вась, и силач Яков, и великий Алексей, и Соловей, и благодушный Макар Иван, Фалалей с Устиньей — все были на празднике и не выходили из избы Пильваня.

Уже последний день девической жизни проводит сегод-

ня Наташа. Рано утром при восходе солнца, при пении девиц-подруг мылась она в чистой, ароматной бане и проливала горькие слезы на горячие нары... Прекрасный, солнечный день скатился, и начался вечером девичник в своем буйном веселии.

Народу было много, так что не могли поместиться в просторных хоромах Пильваня. Молодые люди и девицы составили хоровод. Слепой Карп из Проньдора играл на гармонике, удивляя всех быстротою пальцев и дивными созвучиями. Но вот устал он, и Вась из Вильгорта заиграл. Умолк шум народа, девы прекратили свое пение, гости прекратили на полслове свои речи...

Новые звуки полились в души ипатьдорцев, раздались в стенах Пильваня неслыханные созвучия. В это время староста с резчиком сидели в углу и пили темное, густое пиво.

Пролил слезы Фалалей, услышавши звуки, уронил ендову на стол Пильвань. Оба вздохнули. Один о том, найдет ли он подряды в будущем, другой — о счастье дочери.

Не скоро пришла толпа в обычное веселье от новых звуков игрока Вась из Вильгорта.

Пляски возобновились.

Меж тем Наташа, прикрывшись белым платком, начала причитанья. Жалобные звуки раздались в комнате. Кукушка то будто куковала одинокая, или печальная вдова плакалась об убитом муже. Так грустно начала свои причитанья золотокудрая Наташа.

Она сидела у открытого окна в своей горенке, окруженная девицами Ипатьдора и, ударя обеими руками в колена, плакала, вслух причитая каждое слово великого народного плача.

«Спас да Пречистая!
Пожелай мне добра, пожелай
Великим твоим пожеланием
Споверх головы до подножия ног моих!
Пожелай добра от Бога
Столько, сколько звезд;
Пожелай мне добра от востока
Столько, сколько цветков земляники;
Пожелай мне добра от юга
Столько, сколько на поле семян;
Пожелай мне добра от запада
Столько, сколько цветков шиповника;
Пожелай мне добра от севера

Столько, сколько цветков смородины;
Пожелай добра от земли
Столько, сколько зеленых трав;
Пожелай добра от воды
Столько, сколько плещущихся рыб;
Пожелай добра от леса
Столько, сколько летающих птиц;
Пожелай добра от бора
Столько, сколько растущих ягод;
Пожелай добра от болот
Столько, сколько болотных сосен».

Потом она обратилась к отцу:

«Светлое солнце, батюшка!
Кормилец, батюшка!
Загорающаяся свеча, батюшка!
Доброе мое имя, золотая гора моя!
Зачем ты меня, бедняжку,
Отделил от своего дома-гнезда,
Зачем ты меня, бедняжку,
Вырвал от своего сердца» и т. д.

Устинья навзрыд плакала, сидя рядом с Настасьей, которая от слез не поднимала головы.

Пильвань тихо утирал слезы и шепнул Фалалею: «Не знаю, хорошо ли делаю?»

«Как Бог...— сказал Фалалей.— Человек, и самый сильный, ничего не может».

После отца и матери и всех братьев, заплакала Наташа для Елеазара:

«Ты не знаешь моего
Горя-гореванья,
Страдания, жестокого, как камень.
Куколка наколенная,
Молчанка наладонная!
Что же ты смотришь
Сквозь очи с золотыми ресницами?»

Так горестно куковала она в своей комнате. Между тем стук и шум наполняли сени и другие комнаты Пильваня. Многие гости уже лежали, как мухи от ядовитого мухомора, напившись хмельного вина. Тимка уже лежал на

улице, на снегу и храпел. А между тем веселье только начиналось, а завтра пойдет пир горой.

Прошла ночь и день настал. Во всех комнатах Пильваня идет пир горой. Сидит Наташа, молодая жена Степана Васильевича Парамонова, в красном углу, сидит, потупив очи, а Парамонов ласково улыбается, глядя на гостей.

V

Черные вороны несчастья посетили дом старосты

Прошли дни, месяцы и годы после свадьбы, которую так пышно отпраздновал знаменитый Пильвань. Закономерно шла жизнь в природе, окружающей Ипатьдор, но жизнь человека была чревата неожиданностями.

Раз весною, в марте, сыновья Пильваня охотничали очень далеко от дому.

Лов был прекрасный. С огромной добычей вернулись дети Пильваня, кроме Максима, в свою деревню. Длинные норты были покрыты шкурами серых белок и бурых медведей. Максим же решил встретиться Пасху вместе с одним парнем из деревни Шилы, с Василием: «Мы еще,— говорит,— поохотничаем недели с две после праздников».

Однажды так увлеклись охотой, что решились провести ночь вне избушки, до которой было не очень близко, и начали разводить костер. Максим отсек огонь из кремня жезлом и зажег бересту, а Василий стал рубить сухую сосну, конду, для дров на всю ночь. Он перерубил сосну и хотел опрокинуть ее направо, а она, зацепившись о другое дерево, упала прямо на то место, где разводил огонь Максим. Дерево задело последнего, оглушило его ударом и сучком проломило голову. Сын Пильваня упал без памяти и лежал без чувств с четверть часа, а Василий как каменный столб стоял в ужасе. Наконец последний пришел в себя, убрал дерево, поднял Максима и посадил в охотничьи сани, взятые для добычи. Когда очнулся, тихо сказал: «Василий, рок-то нагнал меня, жизнь-то, видно, кончилась. Довези меня до избушки, там есть икона...» Василий, впрягшись в сани и надевши лыжи, быстро зашагал к охотничьей избушке. Луна тихо поднялась из-за леса и осветила наших охотников. По белому снегу быстро скользил Василий, а Максим лежал как пласт в саях и изредка издавал стон. Дошли до избушки, Василий

положил Максима, снявши с великим трудом с саней, на наре в красном углу, головой к иконе, потом затопил каменку и сел подле больного.

«Ты меня закрой полотенцем и дай немного воды... У меня жажда,— сказал Максим.— Я, друг, скоро умру,— продолжал он,— ты закрой мне глаза, и когда остыну, уйди отсюда, ведь ты испугаешься. Иди в какую-нибудь другую избушку к людям, а я здесь один...» Василий тихо заплакал на эти слова. «Пусть не плачут отец и мать, скажи, рок нагнал...» — были последние слова Максима.

Наконец заметил Василий, что дыхание прекратилось у Максима, он тогда закрыл ему глаза, скрестил руки на груди и закрыл лицо полотенцем. А сам сел у ног своего друга. Чувство одиночества понемногу наполняло его душу: вдали от людей, в дремучем лесу. Еще раз посмотрел он на Максима, прикоснулся рукой к его руке и заметил, что тело Максима остывает. Взявши шапку, ружье, он тихо вышел из избушки и направился на лыжах куда-нибудь, в другую охотничью избушку. Луна тихо плыла по небу и серебрила белые холмы, покрытые снежной пеленой. Все было тихо и величественно между столетними деревьями, они молчали или только чуть шептались о тайнах жизни и смерти.

Пильвань, с золотыми несedeющими волосами старик, узнал о смерти сына в тот момент, когда починал сани на дворе. Выслушав известие, принесенное одним охотником из Проньдора, он сел на скамейку и сказал: «Бог-то, видно, может».

Потом ничего никому из домашних не говоря, только шепнувши два слова соседу Егору, запряг карюю лошадку и уехал вместе с Егором в лес, взявши с собой лыжи. Несколько раз прослезился он в лесу, отворачиваясь от соседа, не говоря ни слова. Про себя он шептал: «Максим, Максим, мне бы надо умереть, а не тебе!»

Доехавши до конца лесной дороги, он надел лыжи, а лошадку с Егором отправил обратно домой.

Он дошел до охотничьей избушки, где лежал Максим. Вымыл его снежной водой, вырыл маленькую могилу и похоронил его под сосной.

Неизвестно, был ли это протест огорченной души против Бога, или выражение любви к тому месту, где скончался сын. Или это был безумный порыв старика похоронить его вдали от кладбища, от мертвой толпы людской? Как бы то ни было, Максим схоронен был отцом в дремучем лесу, и вековые сосны до сих пор шумят над ним,

и красные клесты поют на ветвях радостные песни могут охотнику, любимцу лесов.

Что же старуха мать сказала, когда узнала о смерти сына? Зачем это нам знать, зачем описывать глубокую печаль, если у нас нет в запасе слов утешения? Молчит же природа о прошедших страданиях человека, ей ли бы уж не знать скорбь мира во всех ее видах, но она молчит, и каждое утро снова радостно улыбается утренней зарей и желает нам доброй ночи в каждый вечер, тихо улыбаясь румяною зарею заката.

Будемте природе подобны, друзья, и будем рассказывать о скорбях только тех, которые мужественно переносят удары случая и нас учат быть равнодушными к страданиям.

Черные вороны стали летать над домом старосты Ипатьдора. Беда за бедой обрушились на голову Пильваня, пришла в гости одна печаль в темном одеянии, а за ней другая, вся в черном.

Пропал без вести его зять, Степан Васильевич Парамонов. Тоскует златокудрая Наташа, ломает руки и слезы проливает в доме отца своего, Пильваня, куда она пришла с черным известием, великим горем.

В чем же дело, как же случилось это?

Так и случилось, и очень просто.

Степан Парамонов выпивал последнее время. Он на днях отправился в Сейты, чтобы собрать там долги свои кое у кого из крестьян. Все видели, как он в суконном армяке, опоясанный красным кушаком и с бутылкой в руке вошел тропинкой в дремучий лес. А дальше его никто не видал. Жена его ждала день и другой — нет Парамонова. Справились через знакомых, был ли он в Сейты. Не был, и в Придаш не вернулся. Пошли искать его народом через неделю по всему лесу между Сейты и Придашем, нигде не нашли никакого намека на то, чтобы проходил или лежал Парамонов. Нет человека нигде.

Вопли жены огласили дом, полный детей. Нет и нет Парамонова, так и до сего дня. Не выдержала двойного удара судьбы жена Пильваня, она умерла и похоронена на новом кладбище около новой церкви. Быстро жизнь повернулась в доме Пильваня. Сыновья старосты захотели разделить и жить отдельно со своими семьями. Пильвань подарил им каждому по дому. Он остался одинок. Вот теперь-то решил постранствовать, побывать в городе, посетить резчика Фалалея в селе Вильгорт.

Настала весна. Солнце сияло на небе над селом Вьльгорт.

Резчик Фалалей сидел у окна и думал о новых подрядах: «Вот снег растает, посею ячмень, и опять на работу. Часовенку будем делать в селе Ыб».

Пока так размышлял Фалалей, а Устинья около печки хлопотала, собирая обедать, Елеазар же висел на краю палатей, к дому резчика подходил какой-то рыжий мужик. На голове у него синяя шляпа, на полушубке кожаный лаз; человек был в синих шароварах, а ноги обуты в длинные с красными вышивками чулки и кожаные коты.

— Кто это, Устинья, идет к нам в синей шляпе и с палкой?— спрашивает Фалалей. Устинья взглянула.

— Охти, батюшки мой, да это, знаешь, из Ипатьдора Пильвань! Право, он и есть, ты слепой, ничего не видишь!» Верно. Это был Пильвань.

Вошел он в избу и, низко нагнувшись, прошел под палатами, снял шляпу, помолился иконам, положил посох на лавку. Все это неторопливо, а хозяин с хозяйкой глядели на гостя, говоря: «Милости просим, милости просим, отдохни, согрейся, вот уж не думали, не гадали!»

— Живете-можете, Фалалей Иванович, Устинья Осиповна,— сказал Пильвань, кланяясь хозяевам.

— Аттэ, Иван Филипьевич, это ты к нам пожаловал,— говорил резчик, целуя его. Пильвань и Фалалей оба прослезились.— Садись, садись, отдохни.

Устинья, растерявшись, скороговоркою произнесла:

— Иван Филипьевич! Сердце, видно, чувствует же. Я говорила Фалалею: гость придет к нам. Сейчас в окно увидала, сразу узнала, а Фалалей-то у нас совсем как слепой.

Гость сел к столу, снявши полушубок и лаз. Глядя на резчика, тихо начал:

— Как-то поживаешь, Фалалей Иванович, все поди работаешь для Бога и для людей?

— Да подрядчик все есть, вот часовенку взяли в Ыбу, надо будет, как снег оттает, отправиться...

— Все ли живы у вас, здоровы? Где у вас Елеазар?

— Он на печке.

— Вот не знаю, Фалалей Иванович, подарочек принес да, ситцы на рубаху, сапоги, не знаю по ногам ли будут, тебе вот на сарафан, Устинья, не осудите.

— Зачем же порасходовался, Иван Филипьевич?— говорили хозяева, обрадованные и смущенные в одно и то же время.

— Для меня вы только одни остались,— сказал тихо Пильвань и прослезился.— Слышали вы?

— Охма, Охма!— говорит Фалалей.— Тут недавно был Кирилл, такой бродяга, нищий, постоянно бродит по домам без дела, рассказывал... Мы верили и не верили, а всплакнули же с Устиньей.

— Я всю ночь не спала,— вставила свое слово Устинья, положивши руки на щеку и стоя у печки,— всю ночь не спала и не могу забыть и никогда не забуду Настасью, какая ласковая была до меня.

— Да, Фалалей Иванович, ничего мы не знаем, что будет завтра. Думал ли я, что лишусь сына, жены и зятя. И так все скоро.

Устинья собрала обедать... Все подробно рассказал Пильвань за столом у Фалалея: как странствовал по селам и деревням, был в Ульяновском монастыре, был у начальства в городе, говорил о дороге, о проведении прямой дороги из Ипатьдора к Усть-Сы сольску.

— Хотел бы сделать доброе дело, пока еще жив, прямо от нас сорок верст до города, а кругом полтора ста; да нет, начальство ничего не сделает.

На заре в маленькой черной бане мылся Пильвань с Фалалеем.

— Да,— говорит Пильвань, поднимаясь с огромным венником на верхнюю полку,— как сон жизнь-то наша. Был человек и нет его, был богат и беден стал...

— Да, в книге так написано,— отвечал Фалалей,— труд и болезнь — наше житье.

Звезды тихо мерцали над домом и над баней Фалалея. О чем думали — никому неизвестно из смертных...

Последний раз так мылись Пильвань с Фалалеем. Вскоре лег Пильвань в сырую землю надолго, до новых миров из обломков земли. Фалалей еще жив, но стар и дряхл... «Скоро мой конец,— думает он, уж мало товарищей моих осталось, все пошли новые люди, новые порядки». И он сидит и по пальцам считает своих друзей, которые по очереди уходили в «потусторонний свет».

Но солнце сияет так же прекрасно над Ипатьдором и над Вильгортом, так же прекрасно и звезды движутся — часы небесные. Рождаются новые люди, и есть радость на земле. Смена дремоты и бодрствования — наша жизнь... Он только один, Дух мира, никогда не спит, а зажигает постоянно свои вечные огни.

НА БОГОСЛОВСКИЙ ЗАВОД

I

Зима. Густой снег валит из мутного неба. Дороги совсем не стало видно между деревней Давпон и городом Усть-Сыольском: она была покрыта пушистым белым ковром из бесчисленных рыхлых снежинок.

Два мужика, Филипп и Василий, оба навеселе, на силу идут из города, приближаясь к своему селу, Филипп в синей крашенной шубе. Заячья шапка на его голове и «баки» на ногах. Василий одет лучше. Свежий вятский полушубок на нем с красноборским кушаком. Валенки на ногах с разноцветными пятнами и узорами; на голове меховик. Идут мужики, не чувствуют непогоды. Сегодня воскресенье, они в городе кутнули. Василий гармонику продал, он гармонщик, Филипп кому-то нанялся сено возить и пропил задаток. Будут журить бабы их, но это не скоро: до деревни еще около версты.

— Вот у Бога как, Василий: вчера был мороз — я был в лесу, а сегодня тепло и снег сыплет, как из решета, — говорит Филипп, заплетаясь в словах и с трудом передвигая ноги по рыхлому снегу.

— У Бога-то так, — отвечает Василий, — да у тебя-то иначе. Сегодня задаток-то пропил. Зима только начинается, а корову уже кормишь соломой.

— Пойдем на завод, — говорит Филипп. — Скоро Введение, приказчик приедет, денег привезет, кутнем — и марш... Эх, хорошо живем на вольном свете!

— А пойдем, Филипп, — соглашался Василий, — нынче я соберусь. Вот кончу хорошую гармонику — и на Богослов. Давно уж думаю выпить заводского вина и поесть белых калачиков.

Наконец, дошли до дому наши земляки. Вспомнили о своих женах, стряхнули снег с себя, остепенелись и поступались в свои пенаты. Но разговоры у них еще не сразу кончились, и неизвестно, долго ли бы у них продолжались, если бы Василиса, жена Василия, не крикнула:

— Ну, ну, иди, иди, пьяница, иди, бурлак, пора обещать.

— Вишь, у тебя как жена-то, — иронизировал Филипп. — Моя так не смеет.

— Чего кричишь? — говорит Василий, входя в избу. — Заводский приказчик приехал, на завод собираемся.

Таким же известием и Филипп успокоил свою жену, иначе не миновать бы ему ухвата.

Не прошло и недели, как сбылось то, что желали крестьяне деревни Давпон. Приехал в село Выльгорт, в волостное правление, тучный человек с ясной улыбкой, благодушный, но с тонким умом, со знанием психологии простого человека. Это был заводской приказчик. Прошел клич по селу: «Приехал приказчик, благодетель, много денег привез». Со всех деревень нахлынули толпы народа к волостному правлению.

День был солнечный, и весело было на сердце у людей. Шум, толкотня и говор тысячеустной толпы вокруг правления, в дверях и внутри. А в присутственном зале благодушный приказчик раздавал денег направо и налево по 20, 25 и ниже рублей. Старшина, сидя у зеленого стола, взимал подати с задатков, данных приказчиком, подписывал и обратно отбирал паспорта. Вместо последнего давалось проходное свидетельство до завода. Сотни мужиков и подростков закабалили себя зауральскому заводу на целый год. Толпы были разделены на десятки; круг, состоящий из десятка, ручался за каждого из своих товарищей, что он доставит из дремучего леса столько-то сажень дров и к такому-то сроку в контору Богословского завода.

— Ох! неразумные люди, бросаете хозяйство, отвыкаете от земли в угоду анафемскому заводу,— говорил седой мужик Иван, человек почтенный, бывший много раз в жизни волостным старшиною:— Потеряете здоровье, забудете жен, искалечите себя в чужих землях из-за ста рублей. Что я сказал — сто рублей! Двух рублей обратно не принесете, все там же останется.

— Молчи, Иван,— на него крикнули десятки голосов.— Откуда нам на подати взять, чем праздник справить? Небось, не поверишь ни на копейку ни деньгами, ни хлебом. Молчи, старый хрыч!

Оскорблен был старик Иван грубыми речами, плюнул и ушел из правления. Пришел домой и взял псалтырь для утешения своей души. Он стал читать: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?» А толпа все умножалась около правления. Крик и шум доходили до Ивана.

В этой же толпе теснились Василий и Филипп. Они взяли задатку по двадцать рублей, уплатили подати за полгода и в руках уже держали проходные свидетельства. С ними же были их соседи: силач чернобородый, кудря-

вый Федор, длинноносый, смуглый Макар Степан, юный Степан-младший, маленький скупой мужичок Исак, скромный, бездетный Варфоломей. Над последним все шутили: «Зачем ты здесь? Али другую жену будешь искать себе на заводе? А? Детей нет, куда тебе деньги?»

— Всем жить-то надо, пока смерть не пришла, — отвечает Варфоломей. — Детей нет? Этому Бог судья!

Василий и Филипп, Федор и Степан вышли из толпы, купили в ближайшей винной лавке четверть и куда-то ушли вспрыснуть дело. Они бы и больше купили, да жены и дети подкараулили их у кабака и все деньги отобрали. Праздник настал для Вьльгорта. Число пьяных увеличилось. Крики, песни, шум, драка... А прекраснородушный приказчик так и бросал деньгами, так и сеял... «Много же у него денег, — говорили в народе, — обогатил село».

Между тем солнце, пурпуром покрытое, спустилось за белую церковь где-то там, за лесом зеленым. Золотисторумяная заря покрыла багрянцем пол-неба. Вот тихонько звезды зажигались на далеком небе над сосновыми избушками села Вьльгорт.

Гармоника где-то заиграла. Это Василий и Филипп. Подати заплачены и деньги в кармане! Да-с, вот оно, завод-то!

А Василий играл и приплясывал, других к тому же побуждая...

«Вали, вали, Филипп, пляши, вали валом, завтра разберем!» И страстные звуки гармоники наполнили деревенские улицы.

Собаки бросились навстречу из деревни Давпон с лаем и визгом. В окно глядели девицы, собравшиеся на вечеринку, где распевали они песни при тусклой лучине...

Федор молчал и выдумывал, где сегодня еще достать вина. Степан предложил зайти всем на беседку.

Они зашли, а звезды Орнона, три блестящих волхва, послали за ними вслед свои бледные грустные лучи...

II

Настал день, когда мужикам надо было оставить теплые избы свои и отправиться в дальнюю дорогу. Жаль оставлять родной угол. Утро было светлое и морозное. Солнце играло в узорах замерзших окон и отдельными золотистыми лучами озаряло лица мужиков, баб и детей, целующихся и плачущих. Всюду происходили сборы и прощания. Семейство за семейством выходило из домов,

сверху и снизу навьюженных глубоким снегом. Мужики и подростки, отправляющиеся на завод, одеты в полушубки и армяки над ними, в меховые рукавицы, в валенки. Они на дворах привязали к себе санки, полные разных припасов и белья. Легко ли сказать — на полгода отправлялись за 800 верст от дому?

Солнце поднималось все выше из-за домов, оно увидало крестьян с санками, тихо выходящих из деревни. Бабы, дети, старики со слезами и с благословением шли за мужьями, отцами, детьми. Говор, пожелания, крик и слезы. Много сердец билось от горя и печали.

Мужики тихо шли из деревни в город. Снег хрустел под ногами, визжали полозья санок. Тихий, задумчивый говор толпы во много сот человек наполнял утренний воздух. Ворон с вороненком перелетели над их головами. «Курк, курк» — раздалось в воздухе. «Куда они летят, еремакань кукань?» — сказал Федор. «Кляп им в рот», — прибавил сказочник Марко. Однако всякий объяснил по-своему их появление. Одни испугались, другие обрадовались их предвещаниям.

Позже всех выходили из деревни Василий и Филипп. Последнего с горькими слезами провожала жена Матрена. «На кого оставляешь нас, беспомощных, кормилец наш Филипп Максимович», — причитала она, совершенно забыв в эту минуту, что накануне еще бранила его всякими словами за его пьянство, и посылала ко всем нечистым. Насилу вырвался растроганный Филипп из ее объятий. «Полно, полно, не плачь, привезу ситцы тебе на платье, ластик на шубу, полно», — утешал ее он.

Жена Василия, женщина с зелеными глазами, хитрая, дочь кознодея колдуна Григория, увещевала своего мужа благоразумными речами.

— Не пей же, Василий, помни о семействе, ведь нам копейку негде взять. Расход же каждый день. Да не хвастай, не хвались, не зарабатывайся, живи, как люди, а с Филиппом меньше якшайся, он уж известный забулдыга. Гармонику-то продай за подходящую цену, к чему тебе она, ты не парень, стыдись бурлачить.

Наконец, Василий и Филипп, простившись со своими родными и знакомыми, пошли по направлению к городу. Там толпы народа зашли выпить на дорогу по стакану. Дальше был волок в тридцать верст до Визябожа.

В это время подоспела к выльгортцам другая партия с нижней Вычегды. Между ними был Максим из Тыдора, с рыжей бородой и с рыжими усами, мужик огромного рос-

та. Всякий, сколь бы высок ни был, приблизившись к нему, казался малым. Когда он говорил, думалось, что звуки исходили из бочки или из трубы. Но Максим был человек смиренный, хотя и внушал невольный страх собеседнику. Он дал клятву своему отцу еще в юности: никого не ударить своей огромной ладонью, чтобы не погубить человеческой души; и это свято исполнял он, так что, когда его пьяного тормозили толпою, он осторожно раздвигал их, как детей, и тихонько уходил домой.

Солнце уже ушло на юг, на светлый полдень по бледно-синему небу, как толпы крестьян вышли из города и вошли в дремучий волок.

Впереди всех шел великий Максим, таща длинный норт — дорожные сани с припасами, за ним на протяжении версты тянулись артели бородатых и безбородых крестьян. Молодежь веселилась, играли на гармонике, боролись, прыгали друг через друга. Которые были навеселе, запели песни.

Громкий хор раздался под зимним небом среди дремучих сосен в морозном воздухе — «Не белы снежки», — и он тихо удалялся, замирая в глуби волока.

Деревня Визябож была местом первой остановки. Первые дни делалось по тридцать верст, но потом длину дневного пути с каждым днем увеличивали. Вьюлгортская партия останавливалась в Визябоже у мужика Семена, и здесь сказочник Марко занимал своих односельчан сказками.

Благодушный Семен велел своим детям нанести в комнату много снопов соломы, чтобы народ на полу расположился на ночлег. Начались разговоры, шутки, поговорки, пока Марко не начал своей сказки:

— Жил король-вдовец. Скучно стало ему без жены. Клич велел кликнуть по всем царствам: ищет-де невесту король всесильный Гого-Магого. Слуги верные обрыскали свет и привезли портреты всех красавиц ближних и дальних царств. Долго глядел король на них.

Одна была блестящая, царевна индейская, Евпраксия (премудрая). Лицо ее — как светлый день, глаза — как темная ночь, плечи и груди — как белые круглые облака. «Ах, красива! — говорит король. — Она будет моей женою». «Одна беда, — ответили верные слуги. — Она ни за кого замуж выйти не хочет, пока кто не отгадает загадки и не победит ее в единоборстве. Кто этого исполнить не сможет, у того буйная голова с глупых плеч долой. Много уже королей и королевичей положили свои головы,

прельстившись ее красотой». Задумался король, лицо — как осенняя ночь...

— Иди, рыжий Максим, посватайся,— острили мужики, лежа на соломе и прикрывшись армяками.— Слышь, какая красивая...

— Мне не надо,— ответил, как ударил в колокол, Максим, растянувшись от печки до дверей.— Моя Агашка не уступит никакой Евпраксии, ни даже самой Милитрисе.

Взрыв хохота был ответом на эти слова. Долго и чудно рассказывал Марко. Уж храп раздавался в разных местах. Сам благодущный Семен уснул на своих палатах, а его жена на печке, на ржи, которая сушилась; погасла лучина, вставленная в железный светец, но голос Марко тихо и мерно раздавался.

Так же тихо и мерно двигались звезды на небе, над деревней Визябож; Орион и Волопас, и Корона, и Гончие Собаки, и Лисица, и яркая Андромеда, и искристый Пегас лили свои нежные мерцающие лучи на дремучий лес, на вековые сосны вокруг деревни и в замерзшие окна крестьянских избышек. А там, вдалеке, лунный серп поднимался из-за леса и печальным светом наполнял горницу природы. Одни звезды поднимались на востоке, другие на западе, куда-то спускались в бездну, и не было и не будет остановки этому мерному движению. Семизвездица хвост свой все более обращала к восходу солнца; еще повернется немного небесная стрелка, и проснется народ и, надевши санки на себя, продолжит свой путь к восходу солнца, за каменные горы; оттуда, с Каменного пояса,— в Богословский завод.

А благодущный Семен, проводив земляков, выйдет на улицу со словами: «Аттэ диво! Как много народу нынче прошло на завод». Он выведет свою рыжую лошадку из теплой конюшни, напоит ее холодной водой из колодца, запряжет в низкие дровни и поедет, счастливый, за сеном на берег реки Лемтю, любуясь утренней зарей.

Подъедет он к своему стогу-зороду, огороженному длинными жердями, понюхает ароматное сено, погладит свою лошадку, называя ее разными ласковыми именами, и примется, благословясь, класть душистое сено железными вилами в просторные дровни. «Не знаю,— скажет он, рассуждая сам с собой,— ничего, кажется, нет лучше своего хозяйства. Дома, дома-то хорошо. Своя лошадь, свое сено... Работаешь по силам». Северяне меж тем ускоряли свои шаги. Далеко завод закамский!

Длинна, однообразна дорога по берегам бесконечных

северных рек. То она входит в дремучий бор, покрытый снегом, и вьется между сугробами у корней сосен, то выходит на поляны, где ветры свободно гуляют, то спустится на реку и по зеркальному лону как стрела мчится, то снова поднимется на высокие пармы, в еловые рощи, где мрак и вечная тишина. Идет и идет она, и нет конца ей. Села и деревни изредка оживляют ее. Уж миновали Корткерос и Небдин, и Керчомья, и город Чердынь. Перешли уж каменные горы. Федор и Степан, Василий и Филипп, Варфоломей и Исак идут дружною толпою.

— Вась, мы наживем нынче 50 на человека, а?— говорит Филипп.

— Больше наживем, Пиля, до весны далеко, порубим, попилим, лес бы хороший найти,— говорит, отважно шагая, Василий.

Он играл на гармонике то веселые, то печальные мотивы. Он был музыкант. При игре оживлялся, не только ноги и руки и пальцы— уши двигались его в такт со звонкими аккордами гармоники.

— Исак, пляши!— смеялся он над Исааком, мужиком скромным, но скрытным и скупым, как кремень.

— Варфоломей, что не пляшешь?— подзадоривал Филипп.— Аль о Гликерии грустишь? Полно, на заводе найдем другую, такую же.

— Запляшешь там среди чурок сосновых,— басил Федор. Но шутки на ум не шли, забота у всех лежала на сердце.

Вдруг Василий ударил печальное, заунывное. Высокие приуральские сосны заворили игре.

Уже поздно. Луна показалась над ледяной далью речки Язьвы. Мороз трещал в лесу. А Василий играл все печальнее и печальнее. Слезы льются у Василия, плачет и Филипп. «Куда идем?— думает он.— Далеко, далеко родная деревенька, милый родной Давпон. А впереди что? Не за смертью ли идем? Долго ли в лесу быть беде? Упало дерево на голову, ударило сучком, вот и все тут. Человек хуже божьей коровки. Давно ли жил сильный Пармен? Богатырь Демит? Ушли на завод, а оттуда не воротились».

Грустно стало Филиппу, и вспомнил он свою избушку, жену Матрену и детей— как милы они! Вспомнил и зеленокудрявую березу возле крыльца. Откуда бы не ехал он, отовсюду видна эта береза. Озабочены были и Федор, и Варфоломей. Последний шел с поникшей головой.

«Может быть, и взаправду иду я на завод напрасно?—

думал он.— К чему мне деньги? Вишь, потащился за людьми».

— Полно, Вась, так печально играть,— говорит Филипп. Но Вась не унимался.

Вот деревня показалась с уютными огнями из-за красноствольных сосен. Там ночлег, яркая лучина, отдых на соломе, теплый ужин.

Обширный завод предстал взору наших путников. Им бросились в глаза пестрые крыши домов; необычайное их число, как острые вершины елей в большом лесу, а над ними зеленый купол высокой колокольни. Чем ближе, тем шире и необъятнее становится завод.

— Наш город в сравнении с этим ничто!— сказал Филипп.

— Наш город — лукошко, и то пустое. В нем фунта черного хлеба не найдешь купить,— отозвался презрительно Федор.

— Аттэ, диво!— восклицал Василий.— Велик же Богослов-то!

Вошли земляки в просторную улицу, в ту, где жили цеховые рабочие. Двухэтажные дома стояли стройными рядами. Далее за ними тянулись бесконечные лавки. Здесь вятчане и пермичи бойко торговали хлебом, сбитнем, сукнами, ситцами.

Из одного большого дома выскочили девицы в нежных ситцевых платьях, в белых набедренниках.

— Не чета нашим женам эти красавицы,— сказал Филипп.

— Как кисточки на шлее у лошади,— вставил Василий.

— Настоящие кралечки-милитрисы,— прибавил сказочник Марко.

«Сам Гого-Магого пожелал бы их взять в жены». Так рассуждали мужички, любясь посадом, и, скрипя ползьями своих санок, приближались к самому заводу.

Здесь народ кишел, как в муравейнике. Кого тут только не было! Туда и сюда шли рабочие с пилами, с топорами; тут были могучие, широкоплечие в рваных халатах татары, в грязных лазах чернорабочие с Вычегды, в полубудках вятчане.

Пешие толпы народа и бесконечный ряд возчиков выходили в одни ворота из завода, в другие ворота входили и въезжали столь же огромные толпы конных и пеших. Завод свистел. Было 12 часов. Длинными рядами выбегали через будки заводские рабочие в коротких засмолен-

ных пиджаках. Они шли к обеду. Как на базаре, была дав-ка на улице. Наших земляков оттискивали в разные стороны. Варфоломей и Исаак растерялись и, робко поглядывая по сторонам, держались за своих. Но Максим впереди прокладывал дорогу, раздвигая толпы мощными руками.

— Вот где ярманга-то,— говорил Филипп.

— Это уже Макарьевская,— прибавил Марко,— тут только вора и житье. Бери-знай из карманов.

Наши мужички стремились в казармы для дровосеков. Там были бесплатные квартиры для чернорабочих-дроворубов.

Дошли. Вошли в обширную комнату. Кругом стен были широкие нары. На них расположились пришельцы со своими припасами.

Тотчас же половина их отправилась в контору завода лесничего с проходными свидетельствами. Но в конторе так много народу, что не было никакой надежды добиться чего-нибудь. То же самое и на второй день, то же и на третий.

Дровосеки начинают ругаться. Крылатые слова вылетали из их уст и отражались в обширных стенах казенной квартиры.

Ничто не помогло.

Между тем хорошего леса проводники не находили. Они водили за нос рабочих. Каждый вечер после странствий по лесам возвращались они обратно в казармы.

— Ну, Василий,— говорит Филипп,— придется без рубахи вернуться домой. Вот тебе и нажива!

— Да, дни-то уходят, солнечные все дни-то,— вздыхает Василий.

— Король Гого-Магого никогда не бывал так несчастен, как мы,— прибавил Марко.— К зимогорам придется приписаться.

Федор и Степан только плевались. Исак рвал на себе волосы и свою редкую бороду, а Варфоломей, говорят, вздыхал о своей Гликерии.

— О, если бы мне можно было драться,— басил Максим, стоя посреди комнаты, около печки,— оторвал бы немало я голов. Да нельзя, отцу дал слово.

Наконец, завод устроил их дела, и куренный смилостивился — заведующий лесными участками.

По совету Марко, дали ему два рубля на магарыч. Получивши деньги, хитрый рыжебородый куренный, имевший вид великого барина, тотчас послал Мишку, своего

подростка, и тот нашел в один день лес чудный, дикий и прекрасный.

Огромные сосны, в обхват толщиной березы, столетние ели стояли в дикой своей первобытной красе.

На другой день наши рабочие взяли задаток из расчетной конторы, пилы заводские, топоры, припасы, железную печку, и всею гурьбой переехали на житье в лесную избу, выстроенную ими в одно мгновение. Это была изба в одну комнату со светлыми окнами, с железной печью, с крышей из еловых досок. Зажили дроворубы, думушки у них прибыло. Теперь держись. Настал день работы. Рано утром, как только забрезжил синий свет в сумрачном бору, работники оставили свои нары. Наскоро оделись. В их руках заблестали острые пилы и огромные топоры в лучах керосиновой лампы. Стройными толпами вышли они, погружаясь в темные сугробы, и приблизились к друзьям детства своего — к лесным великанам.

— Господи благослови! — прошептали они и, снявши шапки, перекрестились на восток.

Мерные удары раздались в молчаливом бору. Звери проснулись в своих норах, птицы вылетели со своих насиженных гнезд. Чаше и чаще слышны удары, острые пилы визжат, и падают с шумом вековые сосны, березы широковетвистые и сумрачные ели. Сучья летят со стоном и свистом, на куски разбиваются мощные стволы сосен и елей.

Учащаются удары, все громче визжат беспощадные пилы в сотнях опытных рук. Режут, режут лесных гигантов, только подрубленные пни красноречиво говорят, сколь стары, сколь могучи были эти прекрасные сосны, росшие свободно на широких песчаных холмах.

Вязнут по грудь дроворубы. Сняты армяки и лазы давно. В одних рубашках работают они!

Горят костры в дремучем лесу.

Дым восходит к небесам. Кругом их развешены мокрые одежды. Кипит чай на тагане, в огромных котлах варятся щи и каша.

Быстро работают опытные люди.

Но беда неискусным из них.

Исаак и Варфоломей не знали, что делать. Исаак ударил замерзшую березу, но топор отскочил с такой силой от нее, что вылетел из рук его и взвился в воздухе выше дерева. Стали пилить кряковистую ель, дерево не в ту сторону пошатнулось, и разбило пилу. Стали рубить сучья,

они разбивались, как камни, и били по голове Варфоломея и Исаака и его товарища.

Варфоломей вздыхал: «Напрасно пришел я сюда!» В слезах был маленький Исаак. «Осторожнее вы, осторожнее! — кричали им Василий и Филипп, Федор и Степан. — Ведь столетние березы не жерди, осторожнее».

Пот катился с рабочих жаркими струями. В одних рубашках и то жарко в глубоких сугробах в морозном лесу. Ревность растет к работе у земляков, не дает покоя им мысль о зарплате, об утраченных делах.

Рубят, пилят, колют, поленницы стройные, как грибы растут. Кратки обеды около костров, и ночи недолги в лесной избушке.

Восходит солнце, заходит солнце, мириады звезд идут по небесному своду, тихо плывет серп луны по голубому небу — длится работа дровосеков! И нет ей конца.

Как сраженное войско, валятся красные сосны дивные, со стоном падают темные ели и прекрасно-кудрявые с белым поясом красавицы березы ложатся лицом книзу на замерзшую землю. Безжалостны к мужикам железные саконы жизни и корыстолюбия.

Есть простор для могучих плеч!

Велико чугунное чрево завода, много нужно пищи чугунному зверю...

Бесконечна, длинна сибирская дорога.

Много нужно угля, много огня...

Голеют, голеют непроходимые, дремучие уральские горы...

Высокие пармы обнажились...

Что-то будет дальше? О, бедный север! Беспощадный рок истребляет твоё последнее и единственное богатство — твои пышные леса.

Свободно будет сыну Хииси — холодному ветру гулять по твоим полям...

Замерзнете и погибнете вы, милые дети печального севера!

Вечер. Сидят мужики после тяжелой работы многотрудного дня в лесной избушке. Курят трубки и сигарки около железной печки; двери открыты, звезды глядят с высокого неба на них...

На нарах лежат утомленные работники. Кто спит, кто сказку рассказывает.

— Много ли нарубил, Федор?

— Мало, сажень 10. А ты сколько, Максим?

— Сажень 20, — ответил тот, рассматривая чудовищно

огромный топор, блестящий в свете горящих углей в железной печке.

На пороге сидели Василий с Филиппом.

— Уж руки начинают уставать, а наработал не более, как рублей на 30,— говорил Василий.— Черт с ней, с этой тяжелой работой.

— Да, это не гармоники делать. Но пока только цветочки еще, плод впереди. Рук совсем не будешь поднимать, будешь спотыкаться о соломинку,— говорил Филипп,— тогда и нажива будет.

Василий взял гармонику свою и грустную песню заиграл...

Темный лес и мрак окружали его. И вдруг вспомнил он почему-то молодую вдову Пелагею из Небдина, вспомнил он ее белые руки, как она кормила их ужином в дороге к заводу... Ее голубые глаза глядели на него, и ласковая улыбка показалась на лице Василия... Гармоника иначе заговорила, бодрые и веселые мотивы наполнили темный, холодный воздух. Но вот другой образ мелькнул в его воображении... Он вспомнил свою жену Василису с зелеными глазами и с рыжими волосами, и чувства его прежние поугасли... Он посмотрел на звезды... Одна из них скатилась по небу... Кто-нибудь умер... «Вот жизнь наша»,— подумал Василий, и звуки вечерние умолкли в тихом воздухе.

Быстро идет время. Уже весною запахло в воздухе. Рабочие спешат закончить заказы... и все бы хорошо, да случилось несчастье. Убило Исаака огромной сосной, пихтой ушибло Степана Младшего. Варфоломей простудился. Исаак, скорчившись, лежал под деревом, его вытащили оттуда, хотели раскачать и привести в чувство, но скоро убедились, что душа отлетела от праха земного. Довольно заниматься ей рубкой дров для казенных заводов из-за куска хлеба.

— Что же нам делать?— спрашивает Пиля, глядя на крестьян.— Съездить за попом, али нет?

— Зачем?— сказал Федор.— Прочтем сами молитвы и похороним его здесь, под елью, жена потом закажет панихиду. Время рабочее, некогда нам ездить за попами.

Все согласились...

— Нас возьмут под суд, нельзя хоронить без священника,— вставил свое слово сказочник Марко.

Исаака оставили лежать в еловом шалаше до куренного. Через неделю он был похоронен на заводском кладбище с разрешения начальства. Деревянный крест поста-

вили на его могиле односельчане. И спит теперь там Исаак, вдали от родины, среди чужих гробов... Да впрочем, что до этого? Душа труженика где-нибудь теперь в иных горных селениях, где нет такой безысходной нужды, где нет железных дорог и ужасающей эксплуатации.

Степан и Варфоломей еще были на земле. Они лежали в избе, охая и стеная, пока Филипп в праздник не увез их в заводскую больницу.

Яркое солнце, ни на что не глядя, выше и выше поднималось с отдаленного юга на печальный север. Птицы запели в лесу. Медведь проснулся в берлоге и вышел оттуда с игривыми медвежатами. Лес оживал. Белки весело защелкали орехами. Пестрые дятлы беспрерывно стучали в еловых рощах, красные клесты свои песни воспевали в сосновом бору.

Богиня весны приблизилась, все чувствовали ее дыхание. Тают глубокие снега, проснулись звонкие ручьи. Светло стало в горнице природы.

Весенние праздники наступили.

Вычегодцы отправили ходоков на завод за деньгами и за водкой. Они решили встретить праздник Пасху в лесу. Меньше будет расходу и меньше греха. Заводской люд вечерами в праздничное время был очень буен. Молодые люди ходили с кистенями, с ножами, с топорами; драки и убийства были очень нередки, если пришлый народ выходил на шумные улицы в вечернее время. В лесу же было очень весело северянам. Много куреней располагалось в соседстве между собой; много тысяч народу работало здесь, и в праздники из одного куреня ходили в другой в гости и весело проводили время.

Пришли ходоки, привезли ведрами вина, и запили мужики.

Встретивши праздник, богатырь Максим и с ним нижневычегодцы пошли по куреням на лыжах.

— Сколько человек устоит против тебя?— спрашивали его пьяные дровосеки, толкая его с разных сторон. А он шел между ними неколебимо, как ель среди кустарников-можжевельников.

— Человек-то двадцать мне будет мало.

Не было и не нашлось таких, которые пожелали бы проверить его слова своими боками.

Вильгортские крестьяне со сказочником Марко во главе тоже ходили по куреням.

Никто не мог перещеголять или запереть словами сказочника Марко.

Они встретили в чужих куренях своих земляков. Михаил Елькина из песчаной Шошки нашли в одном рублище, спящим в лесной избушке около железной печки. На ногах у него были лапти. Говорят, в один день спустил он все с себя, что имел. Он жил уже много годов на заводе, но так же гол посеячас, как мать его родила, хотя был отличным дровосеком. Чем скорее и больше наживал он, тем быстрее спускал все на вино и карты. В том же курене был мужик из Дава Степан Оплеснин, силач и драчун, человек с неукротимым характером, северный Роберт Дьявол. После больших побоищ, отрезвившись, он кланялся всем в ноги, просил прощения, выходил на улицу и глядел в лицо солнца, проливая горькие слезы о несчастной своей жизни. Но затем снова напивался и вступал первый в какую-либо великую битву.

Эти бедные зимогоры были в неоплатном долгу и в рабстве у завода.

Слух ходил по куреням, что Ефим Елькин, сын Нялая, ударил кого-то кулаком и пришиб до смерти, за что был сослан в Сибирь; что другой, Сергей Харитонов из Давпона, был убит в драке. И многое множество еще других печальных вещей видел и слышал Марко с товарищами, да никому они не сообщили. Да и забыли потом. Жизнь — сказка.

Величавая луна и всевидящее солнце все знают, но тоже молчат. У кого хватит слез выплакать все горе мира?

Праздники прошли, как смутное сновидение. Угрюмые работники вновь вышли из лесных избушек, отточив свои топоры и пилы, и грянули на работы. Так войско после полуденного отдыха вновь идет в атаку, недавно отбитую с большим уроном. Снова с треском валились красные сосны, гибли во цвете лет нежные березы, и темные ели падали стремглав в глубокие сугробы... Не было пощады ни красоте, ни величию. Деньги истрачены, вновь нужно нажать их могучими плечами.

Но солнце к лету близилось. Весна сияла во всей ослепительной красе в лесу и на полях. Страда начинается в деревне! Пора по домам!

Руки устали, болтаются, как плети, ноги не в состоянии уже перешагнуть через ветку еловую. Пора по домам. Кто выполнил условие, заключенное с заводом, десятками покидали дремучие своды приуральских лесов. Но много было еще неприятности от куренного и от алчной конторы. Вычеты и учеты были бесконечны, то лишнее за припасы, то за порчу пилы, топора, печки, за разбитые

стекла в лесных оконцах. Контора тянула, не выдавая паспортов. Мужики ругались, мужики плевались. Ничто не тронет железную механику заводского режима. Дни уходили у крестьян в безработице.

III

Но всему есть конец на этом свете, даже и заводским расчетам! Отрясши прах, вышли из завода мужики и возвращались разными путями в давно ожидающие их деревни, к своим домашним заботам.

Решили вернуться домой Василий с Филиппом, Федор со Степаном и другие. Мало было денег в кошельке и грустно было на сердце давпонцев. «Хоша бы на хлебе не тратить на обратном пути». И вот решились они на ночлегах сколачивать копейку. Василий починял гармоники деревенских парней, а Филипп шил кафтаны и пиджаки и чинил старое, Федор со Степаном плотничали.

Когда прибыли в Небдин и Василий увидал старую избушку у пригорки за ручьем, где жила вдова красавица Пелагея, не мог удержаться, и зашли туда с Филиппом.

— А! Василий Федорович и Филипп Максимович с завода путь держите?— такими словами их встретила деревенская Цирцея. Собрала она им обедать, блистая своими локотками и услаждая слух дорогих гостей гармоническим голоском. За обедом — чай, за чаем — винцо. И запиروвали наши и день, и другой, и третий. Еще более тощими оказались кошельки...

Да что делать! пленительна беловолосая, голубоглазая молодая вдова!

Уж покинули наши путники Небдин, но образ богини Калипсо, живущей у леса на берегу ручья, на краю села Небдина, занимал еще взволнованное воображение Василия, у которого гармоника теперь уж не играла, а просто плакала о несбыточности мечты, о волшебных странах, куда нет путей с земной юдоли. Филипп шел наклонивши голову и в глубокой задумчивости. Что-то он скажет своей жене? У него в кармане только два рубля. Чем подати заплатить? А Василий шагал впереди отважной походкой, как всегда, но слезы лились по его щекам. О чем плакал он? Кто поймет душу поэта, в каких пространствах носится мысль его и что тронуло его нежное сердце, горечь ли прошедшего, или предчувствие будущего?

Долго шли обратную дорогою маленькими группами наши рабочие. Многие остались в городах и селах на ле-

то и осень, поступив в работники. Так птицы весной, прилетавши из Египта или с острова Кипра в лесистый север или в тундры, потом рассыпаются маленькими группами и парами по разным местам — по горам, болотам, в лесах и на равнинах.

Василий и Филипп увидали, наконец, свой родной Давпон и запели песню они (для смелости же перед тем выпили они в Усть-Сысольске): «Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый». И, приплясывая, вошли в Давпон.

Близ избушки Тита Архипова Филипп упал, окончательно охмелев. Жена его, узнавши, прибежала, ласкала его и целовала. «Родной ты мой, Филипп Максимович!» Но когда просмотрела все карманы, прошарила и нашла только два рубля, стала бранить его на чем свет стоит и бить кулаками. «Пивная бочка! Корову-то Лозанку продали за долги, а ты привез только два рубля». Вдова, жена Исаака, разузнавши о смерти мужа, подняла вопли и причитания на улице. Гликерия тоже плакала о своем Варфоломее. «Где твоя кудрявая головушка, честной ты мой Варфоломеюшко!» Пьяный Федор бил свою жену на улице за ее острые слова, а также видя, что она значительно дурнее его заводской зазнобушки. Степан обнимался со своей молодухой. Жена Василия с зелеными глазами, дочь казнодея Григория, увела своего мужа поскорее под сень родного угла, вызнавши, что у него в кошельке 20 рублей.

Вопли, крики, игра на гармонике, плач детей наполняли вечерний воздух в деревне Давпон. Но наконец все успокоилось. Запахло всюду ароматной деревенской баней. Утомленные работники пошли туда «ожить для лучших дней». Нигде так не хорошо, как у себя, в родной баньке, среди своего семейства.

Сладко льются там струи теплой воды на утомленные члены. По крайней мере, к таким мыслям пришел отрезвившийся Филипп, сидя у круглой каменки, сложенной из песчаников, в своей бане. «Жизнь-то, жизнь-то какая, как сказка,— думал он,— чего не было, а все прошло, и вот теперь я дома!»...

За вечерним самоваром в своей горнице, в окна которой лились мягкие лучи желтой луны, поднявшейся из-за реки темной Сысолы, сидел Василий и рассказывал своей разумной Василисе все свои похождения. Она, сложив руки на колени, внимательно его слушала, и, остав-

шись довольной, сказала: «Ладно. Сам-то хоть пришел. Бог привел тебя и хорошо. Пей теперь чай-то».

Прошел год, и все эти страдания, все эти истории повторялись в том же порядке. Жизнь народа — что река. Течет она к далекому морю и через каменные пороги, и между скалистыми утесами, и по знойным степям, рискуя высохнуть в бесконечных равнинах. Течет и будет течь. Никого не научило, что Исаак не вернулся, что зимой вернувшийся Варфоломей хромает, что Степан Младший не мог выпрямиться и всю жизнь ходил сгорбленный.

Ничто никого! А жизнь течет, как дни и ночи, как звезды небесные — часы мира.

Плачьте, кому грустно, смейтесь, кому весело — луна восходит всегда на востоке, а заходит в стороне заката.

ХОЛУНИЦКИЙ ЗАВОД

Рассказ Аркадия Лескова

I

В ноябре в снежный день прибыл я на Холуницкий завод. С холма, прикрытого лесом, открылся мне как бы в тумане обширный посад.

Несколько церквей с золотыми куполами украшали его. Он был так велик, что я ему не видел конца.

Вошел я в длинную улицу посада и прошелся мимо лавок, тянувшихся рядами.

Торговцы мели снег из-под навесов. К ним подойдя, осмотрелся я кругом, нет ли где двухпудовой гири.

Увидавши ее за дверью одной лавки, я взял ее в правую руку и высоко поднял над головой.

Все видевшие ахнули и быстро окружили меня большой толпой, любуясь силою крепких мышц. Я гирей тяжелой играл, кружа ею в воздухе.

Когда правая рука моя устала, в левую я взял чугунную гирю и опять поднял ее над головою, но она перевернулась в руке, я поскользнулся и упал навзничь, а гиря, как птица, далеко перелетела через меня. Громкий хохот прогремел по всему торговому ряду.

— Мало хлеба еще он ел, а расхвастался через меру,— говорил народ.

Я встал и молча отошел от них.

Решился найти себе квартиру на заводе и пошел по домам расспрашивать, не пустит ли кто меня в комнату. В одном доме, где жил семейный рабочий токарь Павел, как он называл себя мне, впустили меня на несколько дней.

Хозяин Евтихий, молодой человек в полтора аршина ростом, с рыжими длинными усами и с налитой всегда жилою на лбу, вызнавал меня резким голосом.

— Куда ты идешь?

— Сюда, на завод!

— Здесь места не найдешь ты, у нас своих много; ты лучше отправься на Климовский завод, в сорока верстах отсюда, али в Чернохолуницкий в полтора ста верстах.

Я глядел на него и задумался. Вспомнил сказочного мужичка с ноготок, борода с локоток.

Бледнолицый кроткий Павел вывел меня из раздумья мягкими словами:

— Бог даст, он и здесь найдет занятие, ведь и на тех тоже много народу, я его устрою.

Евтихий с рыжими торчащими усами помирился со мною. Мы сели за самовар.

— Я занимаюсь в чертежной,— говорил он:— Ну-ка налей чаю, чего глядишь, как заяц.

Я стал наливать из крана, да мимо.

— Эх ты, дубина, осел великовозрастный. Еще ищешь работу на заводе у машин, а того не смекаешь, что вода всегда течет вниз из-под крана, если загнуть нос крана книзу.

Так поучал он меня, прыгая от гнева и раздражения около стола. На крик его прибежал молодой человек с черными усами, глаза у него бегали быстро, руки и ноги гнулись во все стороны, как будто у него не было костей.

— Ну что, Алексей, достиг ли?— спросил его Евтихий.

В ответ на это черномазый Алексей взял десятикопеечную монету, положил на ладонь, подул на нее, и та стала двадцатикопеечною, еще подул на нее, и у него оказалась пятиалтынная.

Потом рассыпал он на стол медных денег на рубль, не успел я оглянуться, а на столе уж не было ни копейки.

— Молодец,— сказал Евтихий, и вены на лбу его еще более раздулись.

Хозяин с Алексеем куда-то ушли, даже не взглянув на меня, как на человека безнадежного во всех отношениях.

Вышел я на улицу, небо уж прояснело. Солнце золотило своими лучами стены и крыши домов и отдаленный купол церкви.

«Дай схожу на самый завод, поищу себе работы», — подумал я и направился туда.

Подошел к каким-то странным постройкам. Угрюмые дома с толстыми оконными рамами, с решетками. Все обведено деревянной стеной. Против меня были открыты широкие ворота и мужики вывозили какие-то колеса и валы.

Я быстро туда устремился, чтобы войти в тот лабиринт построек.

Но сколь ни легок я был, еще быстрее схватили меня четыре руки с криком: «Стой, куда, дурень!»

— Я иду на завод, пустите.

— Зачем на завод, воровать?

— Нет, учиться трем ремеслам — кузнечному делу, часовому, слесарному.

— Какой-то чудак, — сказал один из них, солдат высокого роста с яркими пуговицами, с мужественным лицом, напоминающим черногорского воина.

Другой тоже улыбнулся и потряс длинной бородой. Он имел почтенный вид древнего бургомистра и одет был в длинный поношенный кафтан.

— Верно, что чудак. Разве ходят на завод воротами? Надо идти вот через эту избушку. Только для чего тебе туда? Что украдешь, так ведь наломают бока тебе, у нас здесь не шутят.

— Из далеких лесов пришел я найти работу и научиться трем ремеслам, — отвечаю им.

Они меня расспросили обо всем, что я испытал от рождения моего и также о том, чего не испытал я.

Наконец, увидевши и понявши мои голубиные мечты, смягчились, и длиннородый обещался мне даже найти квартиру у своей дальней родственницы, вдовы с шестерыми детьми мал мала меньше.

Успокоившись, они сели около раскаленной чугунной печки в избушке, а меня впустили во двор завода.

Огромное здание высилось предо мною с большими мрачными окнами.

Оттуда доходил до меня страшный шум и стук сотен молотов.

Привратник, опросив меня, открыл мне двери в это мрачное заведение. И что же? Огромное движущееся железное чудовище предстало мне. Тысячи колес, маховых,

шестерен, бесконечных винтов вращались с неимоверной скоростью. Шум и шипение кругом. Ремни на колесах беспрерывно вились, как змеи.

Около чугунных колес стояли токаря, по другую сторону, у окон, слесаря, как рота солдат, на одной линии стояли, каждый у своего станка, и в такт ударяли молотками.

Они острыми долотами при ужасном стуке рубили чугун, железо и медь, как репу.

Железная пыль плавала в воздухе. Вдалеке, у чугунного вала, я увидел рабочего бледноликого Павла. Он мне кивнул головою и кротко улыбнулся.

Мастер вышел из дальней комнаты, мужчина высоко роста, молодой, но серьезный, в сером пальто и в высокой шапке. С его появлением стук и шум усилились еще более, так после сильного грома дождь сильнее льется с потрясенных облаков. Я поклонился мастеру и, крича во весь голос, просил меня принять на службу.

— Ты что умеешь делать?

— Я пришел учиться.

— Нет, нам учеников не надо, много своих есть.

И он хотел было от меня уже отойти, но Павел подскочил к нему и что-то нашептал ему на ухо.

— Ладно,— сказал мастер.— Тебя принимаю чернорабочим за 20 копеек в день,— прибавил он, положив свою тяжелую руку мне на плечо.— Бери лом и что скажет тебе вот этот малый — эй, Федор! иди сюда! (к нам подскочил, как будто из земли вырос, белобрысый, маленького роста, в белом азыме, мужичок)... Вот тебе еще работничек, идите, поднимите вал из-под снега.

— Сейчас,— тоненьким голоском крикнул Федор.

Не успел я опомниться, как уже держался за веревку и тащили мы чугунный вал из-под сугробов.

— Эй, дубинушка, ухнем,— запел Федор,— эй, зеленая сама пойдет, сама пойдет...

И верно, вал сам пошел, с победным криком втащили мы его внутрь здания.

Вскоре окружили меня слесаря.

— Ты поступил на службу, надо вспрыснуть, четверть водки выставь... такой товарищеский обычай у нас.

— У меня денег нет.

— Как хошь, а водка была бы.

Павел заступился: «Я дам им на водку, а после как-нибудь отдашь».

Невдалеке от меня работал седой старик, какую-то чугунную доску пробуравливал... Он пальцем поманил меня к себе:

— Ты рот-то не разевай, не гляди на них, слушай старика, водки им не покупай, откуда у тебя деньги. Смотри в оба, тут народ продувной и пьяницы...

— Ты, старик Иван,— крикнули ему из толпы,— не развращай его.

— Раз, два, три, четыре, пять,— ответил старик, показывая им свой огромный кулак и считая на нем холки.

Я посмотрел на него с уважением. Толщина старика была равна его вышине, хотя он ростом был далеко выше меня. Тонкий нос, красивая большая борода, высокий лоб и мужественный вид напомнили мне образ древнерусского богатыря, какой видал я на картинах.

— Какой молодец вы!— воскликнул я.

— Я что?— ответил он.— Мой отец девяносто шести лет и сильнее и крепче меня, хотя мне только шестьдесят... Он в прошлом году женился и взял шестнадцатилетнюю.

Таков был старик Иван, который работал стоя, прямо, как тумба.

Я взял в руки молоток и долото и давай рубить чугун.

Раз по долоту, два раза по руке. Пальцы мои были в крови.

— Учись, учись,— говорили проходившие рабочие, глядя на мои руки.— Наука полезна.

Недалеко от меня работал аккуратный и искусный рыжеватый слесарь, одетый чисто в пиджак и в белый фартук. Он меня спросил:

— Ты водку выставишь нам?

— Да.

— Молодец. За нами не пропадет. А откуда ты будешь?

Я рассказал ему.

— Так значит, ты учен. У меня дети есть, научи-ка их азбуке.

— А где ты живешь?

— На такой-то улице, спроси мастера Ефима Пантелеймонова.

Немного подальше от него молодой слесарь выравнивал большим напильником половину медной трубы. Он был с тонкими чертами лица, одет в новый вятский полушубок, на ногах сапоги с калошами.

— Это кто?— спросил я у Пантелеймонова.

— Это брат мастера, из военных, хороший слесарь, получает два рубля в день и делает только чистую, тонкую работу.

— А ты сколько получаешь?

— Я полтора.

Посреди огромной мастерской толпа рабочих возилась около машины, поднимала ее с потолка, чтобы устроить новый точильный станок.

Руководил делом молодой, бледный, сутуловатый, с длинным носом слесарь Сергеев (как потом узнал я).

На самом краю видна была через открытые двери кузница, огонь пылал там в раскаленном горне и искры вылетали от крепких ударов кузнецов. Также купец в одной сказке увидал сквозь щель огонь ада и испугался не на шутку. Я это вспомнил и мне стало жутко. Где я?

По другую сторону мастерской было машинное отделение. Я туда пошел. Здесь шум, как от водопада Ниагары. Пол дрожал и слышно было, как река протекала где-то в глубине. Стремительные ее волны приводили в движение главный вал, с которым связаны были посредством валиков, шестерен, бесконечных винтов, вращающихся ремней тысячи колес и точильных валов. И все двигалось, и двигалось беспрерывно.

Я прислонился к чугунному столбу, и мечты овладевали моей душой, шум и движение убаюкивали меня и образы минувшего пронеслись пред взором воображения.

Вспомнил я родину свою — там, в лесах дремучих, деревенька. Сотни верст отделяют ее от этого завода. А жил привольно и хорошо я там. И Фаину вспомнил, дочь нашей просфирни, она на прощание шепнула мне: «Не забудь». И грустные думы поднялись из глубины души, и слезы полились из глаз на темный пол сумрачной мастерской.

Жил в дубравах я среди девиц прекрасных, на берегах рек, пришел сюда, в царство железа, глотать чугунную пыль. А все отчего? Трем ремеслам захотел научиться, чтобы потом устроить жизнь свою в дремучем лесу, ни в ком не нуждаясь, а делая все своими руками. Да и хочется достичь силы великой — поднимать не только правой, но и левой рукой тяжелую гирю... И тогда спокоен я буду. Женюсь и буду жить в дубраве под сосною великою... У меня уж и план готов избушки и какие комнаты будут там, уже определено все.

Прошел первый день.

Шесть часов ударило. Свисток над нами раздался. Пора по домам! Бросили рабочие свои инструменты, которые поаккуратнее заперли их в ящики, и пошли мы тем же порядком, каким я вошел сюда, через ту же неминуемую, как судьба, избушку. Когда обыскивали меня солдат со стариком, последний спросил меня:

— Ну, как?

— Работаю,— ответил я.

— Зайди ко мне.

Звезды на небе показались, они рано зажигаются зимой на бледно-голубом своде, а заря уже угасла на западе, я вышел из своей новой квартиры, у вдовы Серафимы, где жил, питаюсь хлебом и квасом, и направился к Пантелеймонову.

Он жил в деревянном домике, в чистенькой комнате. Детей у него было четверо.

Он ласково принял гостя, и мы скоро разговорились.

— Кто тебя надоумил поступить на наш завод?

— Токарь Павел. Он хороший человек.

— Да. Только бедняга в чахотке, а семейство большое; говорят, что не вылечить, а начальство не обращает никакого внимания...

— Вот это дети,— говорил Ефим Пантелеймонов.

— Ты хорошо живешь, гляжу. Получаешь полтора рубля, детей такими же, как сам, искусными слесарями сделаешь.

— О, нет! Я не уважаю свое занятие, тяжелое, чиновником быть лучше, дело чистое, я хочу их учить. Вот учи моих детей, а на заводе к машинам приглядывайся. Через пять лет все это можно будет превзойти и тогда будешь получать рубль в день. Начальства у нас много и выслуживаться можно. Завод богатый, управляющий получает двенадцать тысяч, помощник шесть, механик четыре, много их, а хозяин за границей, хозяина никогда не видали.

— Ну, а есть ли у вас силачи?— спросил я.

— Силачей особенных нет, разве Илья, который безымянным пальцем подымает пять пудов.

— Мне бы вот тоже хотелось поднять по два пуда в каждой руке выше головы по одному взмаху.

— Для чего тебе это?

— Развить мускулы.

Долго и много о хорошем поговорили мы с Ефимом Пантелеймоновым; когда от него возвращался я, звезд на небе было еще больше. Не знаю, кто зажигал их и для чего в таком огромном количестве.

В четыре часа утра, когда еще я хорошо спал и мог бы долго еще спать, хозяйка-вдова разбудила меня: «Слышишь свисток, вставай, чуть ли уж не второй».

Она научила меня, как лапти надевать, как белыми онучами крепко голени ног обвивать, как завязывать их длинными веревочками, чтобы получились красивые клетки и узоры. Одевшись в полушубок, взявши в пазуху краюху хлеба и украсив голову старой, черной рабочей шляпой, я быстро направился к заводу. Мастер сделал перекличку нам, и задал всем работы.

Федор вызвал нас перетащить с одного угла до другого огромное чугунное колесо.

— Эй, ухнем,— начали мы, благословясь,— эй, зеленая сама пойдет...

Шестерни зашипели, застучали молоты... Из кузницы звезды-искры вылетали... а вода в машинной под полом глухо шумела... а там, во втором этаже, куда заглянул я из любопытства, столяры рядами стояли у верстаков. Только стружки мелькали в глазах, как ивовые листочки в ветренный день на берегу реки. Кипи, кипи работа.

— Эй, ухнем, Федор,— эй, зеленая...

В мертвом царстве железа все было в движении, чугун пилили, чугун резали, как ольховое мягкое дерево, из которого отец мой вырезывал резьбы. В шесть часов утра все затихло. Настал час завтрака. Все поспешили к котомочкам, а от них к раскаленной железной печке, огромной, как чрево ада. Стали спиной к ней и грелись, и ели, и гуторили. Некоторые, посолив ломтик черного хлеба, клали на горячий чугун соленой стороной, и затем его изжаренным, как пирог съедали.

Я между тем посмотрел туда-сюда, нет ли где двухпудовой гири. Нашел и взмахнул ее в воздух; как голубь, сна там над головой витала.

— Вот закуска у него,— смеялись рабочие.

— Да, сытна,— говорили другие,— и пообедать не захочешь.

— Да, друзья, нет ли между вами борца против меня?.. Желающих вызываю.

Мужики друг на друга указывали, смеясь.

— Ты выходи.

— Ты сам.

— Ну вас.

Наконец, Илья вышел, детина огромного роста, косая сажень в плечах. Он на меня посмотрел и сказал:

— Не знаю, тебя не много на земле, сколько под землею.

Громкий смех раздался со стороны рабочих.

— Давай выйдем на снег.

Вышли. За нами толпа.

Нашли площадь, покрытую пушистым, мягким снегом между слесарной и литейной.

Нас толпа окружила. Сам мастер в высокой шапке глядел на удальцов. За кушаки, как разъяренные львы, схватили мы друг друга.

Я хотел его вниз головою в снег приткнуть для первого раза, но он не шевельнулся.

Он бросил меня левой рукой наотмашь, я только два шага сделал назад.

— Гм!— сказали мы оба.

Я левой ногой задел его правую и надавил ему на грудь, чтобы на спину свалить — таким путем сильных опрокидывал я. Нет, стоит прямо он, как столетняя сосна на песчаном холму. Напрасно вихрь несется мимо нее, лишь вершина ее чуть-чуть колеблется.

— Еще молод!— произнес Илья.

Толпа смеялась.

— Ай да Илья!

— Да и тот ничего, даром что маленький!

— Смелый, смелый, Ильюшенька!

— И ты маленький не робей!

Илья хватил меня вперед, чтобы носом ткнуть меня в снег.

Я повис на его шее.

— Это зверь, а не человек,— сказал он.

— То-то,— говорят в толпе.

Все искусство с обеих сторон употребили мы. На площади снега как не бывало. Пот катился с нас градом.

Наконец мой богатырь расвирепел и, взявши меня обеими руками за кушак, поднял на воздух, как ребенка. Толпа ждала, что будет. Я спокойно пребывал на его груди, хитро выжидая, направо или налево бросит меня. И вспомнил тогда Вейнемейнена, который стоял на груди у великана Випунена.

Долго медлил Илья, наконец изо всей силы взмахнул меня с вышины вниз. Я вскочил на ноги.

— Ловок, как черт,— сказал он.

— Крепок, как дуб,— ответили ему.

И всей ватагой при шуме и похвалах пошли мы на работу.

Слава о моей силе разнеслась по всему заводу.

Познакомился я с токарем Василием. Со складным аршином в руках стоит он у вала и вытачивает круги, шестерни, цилиндры, золотники, овалы и бог знает что. Молодой еще, безбородый, быстрый, ловкий, то выпрямится, то нагнется над работой и сделает — любо смотреть. Когда он с вами говорит, глядит вам в глаза прямо и открыто.

— Арифметикой желал бы я заняться,— заявил мне он после знакомства.

— Что же, я могу, я даже дроби знаю.

— Вот дроби-то мне и нужны.

Мы условились с ним за два рубля в месяц. Я каждый праздник к нему ходил, он обедом меня угощал и чаем поил.

Двое детей у него — здоровые и веселые. Молодая, красивая жена.

Бывало, сидим мы и мечтаем, как бы богатыми быть и жить в деревне в свою волюшку.

— Люблю я природу,— говорил ему.— Отроги холмов, темные ложбины, дремучий бор и песчаные берега, а машины неприятны мне.

— Да, это верно,— бывало, ответит мне Василий.— Только мы прикованы к машинам, нельзя от них отойти. Но мечтаю я купить,— говорил он, взглядывая ласково на молодую жену,— уголок земли и там зажить среди зелени с семейством, иметь своих коровушек, домик... Ну что, по рюмочке нам можно, Елена?

— Можно,— отвечает жена, а сама идет куда-то по хозяйству.

Мы же, выпив по одной и по две, отправляемся на поля к ивовым кустам, которые пышно росли по берегу озера.

Так я жил на заводе, не считая ни дней, ни месяцев, среди бодрых товарищей. Но случилась печальная перемена между нами. Не стало видно кроткого бледного Павла у его огромного чугунного вала. Там теперь стоит могучий Илья. Павел совсем был болен и таял, как воск, с каждым днем. Мы были у него и насилу узнали. Он лежал на кровати и на нас смотрел. Лицо у него стало маленькое, все исчезло куда-то. Он тихонько нам сказал,

когда мы к нему нагнулись: «Мне бы ничего, да детей жаль».

Пришел час суда для него. Но он был легок для праведника. Он незаметно уснул и надолго, оставив плачущую жену и четверых детей. Мы положили его в грудь земли, глубоко, чтобы мирно он спал, отдыхая от жизни.

С тех пор чаще удалялся я к чугунному столбу, к шуму подземной воды и спрашивал, что есть жизнь, что смерть означает?

А когда наступало время завтрака, садился я на холодный вал близ рабочих; они же, стоя у горячей печки, жевали хлеб или кусок рыбы. Тогда стук утихал в пространной мастерской и колеса прекращали свое непрерывное движение, кроме главного вала цилиндра, который, как свой небесный, всегда вращался... Тогда я, глядя на чугунные чудовища, освещенные светом керосиновых ламп, говорил рабочим, возвысив голос и указывая рукою в обширное и мрачное пространство мастерской:

— Друзья, не здесь бы нам следовало жить, в этом сумраке железа! На берегах светлых рек, у прозрачного ручья легче дышит грудь человека и мечты его свободнее текут. Над ним величавая луна плывет, немногим меньше земли, дочь ее, и огненное солнце, которое землю превосходит, как это маховое колесо — перстень, носимый на руке женщины. Солнце — пылающий диск, глаза Бога, Отец земли! О, други! туда бы нам толпою; вы прикованы к мертвым телам и гаснет жизнь в ваших жилах, и не знаете вы, как красивы поля, как могуч смолистый воздух сосновой дубравы...

Рабочие со вниманием слушали меня, пока завтрак не кончился, когда же раздался свисток, проходя мимо меня, по моей шляпе ладонью ударяли, говоря: «Много ума под этой шляпой».

Через полгода я получил повышение. Я был назначен на ночные смены, мы должны были работать от 6 часов вечера до 4 утра. Таким путем наживал я 30 копеек в сутки.

В половине шестого вечера я направился на ночную работу, обрадованный вниманием ко мне начальства.

Солнце уже давно зашло и заря угасла. Из труб завода огненные искры вылетали в черном дыме. В старые времена так ведьмы выходили через трубу на ночные проделки в огненной ступе, вспомнилось мне. Как сказочные мрачные силуэты стояли темные здания — слесарная, литейная и другие.

Мы шли с молодым рабочим Гаврилой, с любителем богатырских песен; он и сейчас нес в кармане томик былин. Ночью, сидя у двери (он был ночным привратником), будет их читать. Он был без одной ноги и на костылях насили ковылял за мною.

Скоро дневные рабочие ушли, и мы остались одни в обширных пространствах слесарни. Не слышно было стука молотов (ночных слесарей нет, шла только токарная работа).

В полумраке вращались железные чудовища — маховые колеса... и вились ремни, как сказочные змеи, вращая шестерни. Издалека доносился шум воды, текущей под полом. Казалось, подземные воды текут и потрясают землю, плавающую в мировом океане.

В каком таинственном мире я?

Стою один у высокого станка и точку цилиндр для парохода...

Только вдалеке за многими станками светится огонек, там работает Филипп, мой мастер, он в полушубке и в валенках. Около него железный лист, полный раскаленных углей; над этой жаровней он греет руки. Широкое, добродушное лицо Филиппа с широким же носом чуть освещено висячею вверху лампою. Он стоит у станка и что-то поправляет.

Еще два-три токаря кое-где работают. Вот и все. Пусто, темно и величаво кругом среди бесчисленных стальных машин. Кузница заперта. Оттуда огонь не вылетает, не видно бравого, ловкого, покрытого оспой кузнеца...

Шатаюсь в полутенях, то грею спину у пылающей огнем чугунной печки, то гирьку брошу на воздух, то пойду к Гавриле. Он в полусвете читает про Илюшеньку Муромца, сидя у двери. Костыль положил он возле себя.

«Забелелась его буйная головушка,
Со частой, седой, мелкой бородушкой,
Затуманился под ним его добрый конь,
Запылилась за ним сила добрая.
Подъезжает старый к трем дороженькам,
К трем дороженькам да перекресточкам,
И лежит на перекресточках горюч камень,
На камешке подпись подписана:
«Во дорожку ту ехать — богату быть,
Во другую ехать — женату быть,
А во третью ехать — убиту быть».
Дивовался старый, головой качал».

Так полупшепотом читал Гаврила. Я слушал его, и какие-то тени как будто влетели в далекие темные углы мастерской, у высоких мрачных окон...

Мне жутко стало, и, открывши дверь, выглянул я на улицу... Боже мой! как у Бога всеело там, в вышине, недоступной человеку.

Ах, если бы крылья иметь и взлететь бы туда за звездный песок... туда в синюю высь... чтобы звезды внизу показались.

О, плачь душа! не для тебя царство света! Несбыточные мечты твои! Недоступна горящая и искрящаяся даль неземного блаженства!

И сколько их, светочей, в голубом океане. Яркие звезды, чуть заметные и, наконец, белая пыль на темном фоне! Божий иконостас, вон там царские двери за Млечным путем, над ними три звезды и посох Якова. На облачных клиросах херувимы поют. Иногда до ушей наших доходит эта небесная музыка.

В детстве, когда я ехал на рыжей лошадке вместе с отцом в дремучем лесу между Шойнаты и Джаном по Вишере, я глядел на эти звезды и слышал музыку. Она тихо раздавалась между мерцающими звездами в небесных пространствах.

— Эй, Аркадий, куда ты ушел от станка... звал меня Филипп.

Я закрыл двери и пошел к чугунному вертящемуся валу.

— Масла налей в машины, да погляди, капает ли берестянка.

Я живо подставил лестницу верхним концом к потолку об главный вал и взлез по ней, лестница дрожала, и страшно было в большой высоте. Ничего, из масленки налил я масла на движущиеся шарниры. В берестянку налил воды и пошел к Филиппу. Он грел руки над жаровой.

— Наше дело хорошее, знай грей руки, и работа идет, вода работает, только надо посматривать, чтобы она чего не испортила...— так наставительно говорил Филипп.

Я его понимаю, он мастер хороший и живет хорошо. Я у него был в гостях. Он в валенках с разноцветными пятнами, в рубахе из пестряди, встретил меня на крытом крыльце и ввел в свою комнату, где не было никакого порядка.

— Сейчас, сейчас,— говорил он, отыскивая бутылку,— сейчас принесу...— Он принес водки.— Сейчас, сейчас,—

искал он закуску по разным углам; где найдет голову седетки, где лук полуобъеденный, где краюху хлеба... Ничего, отлично угостил меня. Гостеприимный малый. Жена его потом пришла. Высокая, дюжая, дородная женщина, бездетная. За что-то крикнула на него и ушла в другую комнату, захлопнув дверь.

— Уймется, ничего,— говорил благодушный Филипп, наливая мне и себе по четвертой рюмке и закусывая луком.— Только так-то слабо... Я люблю настойку с перцем... Ох, хорошо, забирает, до сердца доходит...

Таков был Филипп — мой мастер...

— Делать ничего не надо, только надо следить да не портить,— повторял он.— Если холодно, возьми жаровню, и как на печке сидишь...

Однако, как только занялся он каким-то делом, я опять выбежал и зашел в кричное отделение.

Какой ужас там! Доменные печи стояли как великаны под мрачными сводами, они изрыгали невыносимый жар из палящего зева... Как духи бесплотные, как тени в аду, ходили между ними рабочие в белых рубахах и шароварах с длинными железными шестами и смешивали раскаленные массы железа в печах... Стопудовые молота поднимались и опускались, сплюскивая в доску огромные глыбы краснопламенного железа.

Я увидел между рабочими знакомого Михаила... На улице я всегда узнавал его по румянцам на щеках. Это румянец от жара, он не смывается, вместе с человеком идет в могилу... Страшно здесь работать! Весь в поту выбегаю оттуда и спешу в слесарню...

Но вот 6 часов утра... Семизвездие поворотилось хвостом к нам. Заводской свисток огласил воздух, первый и второй. Толпы денных рабочих нахлынули, как море в час прилива, а мы с Филиппом сонные уходили...

Весна наступала. Грусть овладела моей душой. «Что я здесь делаю, на заводе, зачем здесь живу?»

Чаще, чаще задавал я такой вопрос себе, бродя по отдаленным лесам около завода. «Левой рукой никогда не поднять мне двухпудовой гири, бесполезно я трачу здесь время. Не лучше ли идти к отцу на родину и сказать ему: «Отец! дай нарублю тебе жердей в соседнем лесу», и даст мне он работу и заживу я там... Тут пароход придумаю и пушу на соседний пруд. Фаина и городские ее подруги придут туда, и последние спросят: «Кто бы это сделал этот чудесный маленький пароход». «Кому сделать,

как не ему, нашему Аркадию, хитроумному сыну севера», — ответит с гордостью Фаина.

А ведь хорошо на родине: медведей там сколько в дремучих лесах, раздолье охотникам, красные белки щелкают орехами на густых елях... Не знаю, что я здесь делаю. Не лучше ли работать на полях отца? Я подниму туда чернозем из сырых, зыбучих болот... Соседи-мужики, длиннородые, пройдут по меже... «Бог на помощь, Степанович!» — скажут. «Спасибо, добрые люди. Помощь нужна».

Отходя от меня, они меж собой промолвят: «Этот Аркадий — клад для старика-отца, на все руки, на ученье ли, или на землепашество».

Нет, пора домой. «Отчего вижу я», здесь никто не объяснит... Это только в больших городах кто-нибудь знает.

«Глаза есть и вижу, но почему глаза видят, вот вопрос, и на него нет ответа здесь ни от кого». Пора домой. Конечно, Гаврила меня будет удерживать здесь. Он как-то пришел ко мне, хромая, книгу принес об Ильюшеньке и давай расписывать мне, как хорошо здесь летом на Холуницком заводе. «Озеро большое у нас, говорит, мы купаемся, как рыбы, а цветы-то, а цветы-то кругом — как ковер какой, весь берег. Живи у нас, Аркадий».

Не послушаюсь я никого. И Сергеев будет говорить: останься, научись наживать кусок хлеба... «Нет, не останусь».

Тогда купил я несколько аршин серого сукна (солдатского) на дорогу... И надел на себя это несшитое сукно накрест, и ремнем опоясался, взял огромную палку в руки и пошел на завод проститься. Сначала рабочие захотали, увидев меня, но потом умилились. «Прощай, прощай!» — сказали.

Я шляпу снял и поклонился на все четыре стороны. Василий выбежал за мною за двери и, обняв, поцеловал меня.

— Ах, друг, будем переписываться!

— Будем! — обнявшись, пролили мы с ним вместе слезы на белый снег.

Бодро пошел я из завода мимо ряда длинных лавок и направился путем-дорогой к далекой родине.

Прощай Холуницкий завод! Не знаю, когда удастся снова побывать в тебе!

У ИНЬВЕНСКИХ ПЕРМЯКОВ

(Бирюк Соликамского уезда)

I

Шел я лесом дремучим. Тишина была кругом, и глубоким размышлениям я свободно предавался.

«Прекрасно все в природе, и солнце величавое движется по небу от звезды к звезде, определенный круг свершая каждый год. О чем же грустить в лучах этого солнца, или в тени этих сосен, когда величием дышит каждый лист травы, гнущейся под моей ногой? Мне говорят: «Не в нашем веке вы живете и не полезны ему, и бесславно умрете». Что ж, это верно.

Но другая награда мне дана — я чувствую сказку этого мира, повесть быстро преходящих явлений. Природа и жизнь! Это сон? Нет, не сон, но нечто лучшее несравненно. Когда мы глубоко взглядываем в поэмы жизни лесов, полей, лугов и рек, мерно текущих в далекое море, изменяется все в наших глазах — великое покажется малым, ничтожное великим. Вон божья коровка идет по листу. Это герой сказки жизни не меньше Ганнибала, желавшего завоевать Рим. Откуда взялась божья коровка, куда идет она, где найдет свой ночлег, когда звезды покажутся на небе, в котором часу утра продолжит свое дальнейшее странствие в бесконечном мире, в котором это существо является высшей загадкой его, когда и где кончатся дни его радостей и бедствий?»

В таких размышлениях я шел по дремучему лесу. От невзгод культурной жизни, от нервной суеты больших городов убежал я далеко и прибыл сюда на лоно природы. Мне захотелось узнать, как живут на окраинах братья наши на далеком севере и востоке. Здоровья, счастья и душевного покоя хотел я найти между ними.

Великими лесами любовался, звонкими ручьями. «Сколько здесь ягод будет, грибов, сколько птиц и зверей — для пищи и одежды человека, чтобы дни его длились на земле».

II

Уже светло стало в лесу и село показалось за деревьями. Какая благодать — жить у реки и в нескольких ша-

гах от дремучих сосен. Недаром во сне все я вижу ветвистые деревья и лечу между ними, стараясь в глуши найти место для жилья на могучих ветвях их, чтобы освободиться от бесплодных дум и тщеславных желаний, навеянных культурой.

У самых столетних елей увидел высокий новый дом. Я пошел мимо его на самый погост. Что же так плохи остальные дома? Одни покачнулись вправо, другие готовы опрокинуться налево. Один хуже другого.

Лентяи, видно, мужики здесь.

Жить у самого леса дремучего и не строить себе дома? Это безбожно, это грешно!

Спрашиваю, чьи это избы.

— Крестьянские.

— А тот хороший дом чей?

— Лесника.

— Можно здесь чайку попить где-нибудь?

— Да негде, опричь лесника.

Я сердито повернул назад и направился к новому дому лесника.

Подойдя к приветливым окнам, я спросил:

— Можно зайти отдохнуть?

— Войдите,— послышался голос.

Вошел на широкий двор, где были амбары, житницы, баня, благоустроенный колодезь. По новой лестнице поднялся на чистое крыльцо.

Вошел в сени, прошел через черную половину и в горнице увидал самого хозяина, разговаривающего со своей женой у стола.

— Милости просим, отдохните, не угодно ли чаю?— Этими словами он меня встретил, а его жена сейчас же пошла ставить самовар. «К каким хорошим людям попал я»,— думалось мне.

Василий Иванович усадил меня к столу и радушно и охотно повел со мной разговор. Он был еще не старый человек, с маленькой бородкой, с серыми смелыми глазами. Сразу было видно из его слов, что он человек бывалый, разбитной, предприимчивый.

— С каких краев к нам в леса попали?— любопытствовал он.

— Из Чердынского уезда к вам, в Соликамский. Сегодня перешел границу, любовался природой, лесами.

— Да, у нас хорошо. Тут есть дачи сосновые — как рай.

— Только мужики-то ваши очень ленивые. Как они плохо живут, какие ветхие избы!

— Народ наш ленив,— пояснил Василий Иванович.— У них нечего есть, а сидят себе да друг на друга поглядывают. Если бы захотели вы зайти к ним, пообедать нечего было бы вам.

— Но ведь лес же кругом, надо же хоть избы-то строить.

— Денег у них нет,— возразил Василий Иванович,— ведь лес же надо покупать. Мы продаем по таксе.

— Лес-то разве не мужицкий?

— Конечно, нет. Что же может быть у наших мужиков? Лес баронский, мужикам ничего не принадлежит. Да они разве сумели бы сохранить? Давно бы вырубил все дочиста.

— А вот как?!

В это время вернулась из кухни жена лесника, женщина тучная, вялая, бездетная, слегка грустная, равнодушная ко всему, но без злобы и гостеприимная.

— Сейчас самовар скипит,— сказала она.— Не угодно ли гостю позакусить? У меня сегодня зеленые щи сварены.

Я не отказался от такого лакомого блюда после моих странствий через просеку двух уездов.

— Сколько же земли у барона, Василий Иванович?— спросил я.

Сотнями верст надо считать, а не десятинами. Я и сам не знаю границ и пределов наших владений, должно, весь уезд, вся сторона по Иньве принадлежит барону, и другая также, только там где-то по северу есть земля графини.

Так мы вели дружную беседу с ласковым хозяином, а мужики, вероятно самые любопытные, прохаживались взад и вперед около дома,— так как день был праздничный.

III

«О!— думал я,— вы мне братья пермяки, да вы живете хуже городских бобылей: у тех хоть заработки есть; а вы проводите свои дни в Божьем саду, но не имете права пользоваться плодами его».

— Ведь грибы да ягоды они могут же собрать, хоть

бы на этом что-нибудь нажили,— говорил я Василию Ивановичу.

— Нет, без билета нельзя,— возразил он,— за билет надо платить деньги.

— Ну, хоть бы траву косили между деревьями, она же никому не нужна, а мужикам был бы маленький доход, бедняку все годится,— продолжал я.

— Нет, нельзя. Они не имеют права войти в лес с топором или косой, не велено. Надо брать билет, к примеру сказать, на веники. Ломать деревья нельзя без билета,— пояснял мне лесник.

— Они хоть бы занялись рыбной ловлей в этих многоводных реках и лесных озерах, Василий Иванович. И это могло бы быть доходной статьей для крестьян.

— Без билета барон не позволяет рыбу ловить. С какой стати? Земля и реки не мужицкие. А мужики наши ленивы, денег не наживают, ни с чем и живут. Иди, работай на заводе, у барона заводов много,— так говорил хранитель лесов барона, Василий Иванович.

«Что за диво?— думал я.— Неужели так я наивен, что ничего не понимаю, или же жизнь суровая, жестокая сказка, не только скудная и однообразная, как полагал я это, живя в больших городах». Мы в раздумье просидели несколько минут с разговорчивым хозяином. Хозяйка меж тем принесла тарелку щей, за ней и самовар оказался на столе. А на улице толпа увеличивалась: взрослые крестьяне, и старые и малые, гуляли около дома и поглядывали в окно лесника. Быть может, солнечный день привлекал их, день же действительно был светлый, ясный, теплый, потоки солнечных лучей проникали к нам в комнату, а до слуха нашего доходил тихий шепот старых елей и сосен, растущих за домом в могучей, вольной красоте.

Музыка природы! ты вечно услаждаешь наш слух, но когда мы голодны, то мы глухи к тебе. Так и теперь принялся я за тарелку щей, забыв красоты природы и горести жизни.

— Что же, ваш народ не ропщет, не злится на такие порядки, Василий Иванович?— спросил я опять хозяина своего, утолив свой голод.

— Злись, пожалуй, никто ведь их не боится. У меня пять собак злющих, как дикие звери, два ружья дальнометных, пистолеты тоже. Я здесь сторож всех этих лесов, меня они боятся как огня, и вот видишь, все в целости. Не будь меня, они вырубил бы и сожгли бы все дочиста. При мне — шалишь! Другой раз они пытаются воровать

лес у меня. Слушаешь этак, приложивши ухо к земле (земля ведь звонка), и слышишь робкий стук. Это где-нибудь мошенник-мужик рубит лес без билета. Ах, каналья, думаю! Тогда я беру с собою собаку, ружье, револьвер. Собака вперед бежит, а я за ней — за дичью, значит, пошли. Так и поймаю вора, на месте, как медведя. Подкрадываюсь тихонько, осторожно, между кустарниками, ветвями деревьев, да вдруг как выскочу и приставлю револьвер к груди вора и зареву: «Отдай топор, или застрелю!» Мужик и струсит, отдаст топор. Трусы здешний народ. Тогда я кулаком его по груди, он и падает, как срубленное дерево... Все у него отнимаю, и лошадь, и телегу, и топор, и нож, и все везу к себе. Он за все заплатит мне деньгами, и штраф принесет за испорченное дерево...— Так рассказывал бирюк Соликамского уезда о своих подвигах; рассказывая, он вдохновился...

— Василий Иванович, это же ведь жестоко!..

Сначала он удивился моему восклицанию, потом, немного погодя, добавил: «Я дал присягу хранить лес и сторожу. Родне-матери не дам ни одной веточки».

В это время мы услышали шум в черной половине. Вошли туда несколько мужиков или за делом, или из любопытства.

— Я пойду поговорю с ними, что за народ,— сказал я хозяину, опрокинув на блюде допитую чашку чаю.

— Поговорите,— ответил равнодушно Василий Иванович,— народ у нас глупый.

Действительность — сказка. И вот увидел я героев этой сказки: Клина-царевича, Петра-царевича, Ивана-царевича; нет, это не были царевичи: предо мной стояли исхудалые мужики, тощие, в лаптях, в дырявых белых армяках, малорослые, с тусклым взором.

— Поговорите, братцы, как живете.

— Плохо,— сказали они в один голос.

— Я не начальник, и власти никакой не имею, я только хожу и слушаю, где и что говорят.

— Да — так! — протяжно ответили они глухими голосами, как бы выражая этим: где уж нам добраться до начальства.

— Вы что-нибудь мне расскажите, а я запишу, из жизни ли, или сказку какую. Я вам за это дам лекарства, выслушаю ваши болезни.

— Ты бы того, сначала болезни-то выслушал, а болтать-то мы всегда успеем,— сказал один рыжебородый старик.

Я их «выслушал». Они все страдали: кто легкими, кто желудком, кто сердцем. Я дал им немного лекарства.

— Теперь расскажите что-нибудь,— обратился я к ним.

— Вот я расскажу,— сказал высокий, тощий, рыжий мужик.— Ходил я на работу. На Кувинский завод пошел. Ну, поработал там, поработал, да и домой захотел идти. Шел, шел, по дороге зашел к родным. Зашел, выпил там и охмелел; опьянел, да и себя не знаю. Потом домой стал собираться, очухавшись немного, а навстречу мужики попали на двух лошадях, четыре мужика всего было. Я рысью еду, так ходко, лошадку взял у родных. Гоню, сам ничего не знаю. Лошадка-то моя, значит, и свалила мужика, он руками развел и ругается, а другой мужик размахнулся на меня, да задел за ободок саней, и рукав армяка оторвало, и еще пуще стал ругаться. Потом домой я приехал, мать давай бранить меня, а я ничего не помню, ничего не знаю, пьян был, значит.

Рыжий мужик кончил свой рассказ.

— Все?— спросил я его.

— Все, а чего тебе еще нужно, я тебе рассказал все.

Другие говорили в том же роде, или еще хуже. Речь человека походит на жизнь его. При тяжелой болезни и дар слова теряется у человека, блекнет красота его речи.

О грустные пермяки! одна печаль на вас глядеть!

Вон там, в соседней курной избе (как я узнал потом) бедная пермячка качает в люльке своего бледного сына. У них темно в лачуге, и голод, и холод хозяйничают там. Она — вдова, дом у ней развалился, вместо лестницы гнилые обрубки дерева.

Что же этот мальчик? Узнает ли он, что он сын великой матери, лучезарной природы. Он, может быть, станет дивным математиком, измеряющим объем Вселенной, или он будет чуткоухим поэтом, который своими стихами заставит вздрогнуть каменное сердце очерстневшего в тяжелой борьбе человека? Или ничего этого не будет, а он заболит в юные годы и уйдет прежде времени в могилу, безвестный и ничего не узнавший. Пока, каждую ночь звезды неба глядят на него, кое-как проникая в узкие отверстия окон, и ласкают его в скрипящей и стонущей люльке. Но небо правду видит, да не скоро скажет.

Василий Иванович отозвал меня в чистую половину и спросил, нужно ли приготовить ужин, останусь ли у них ночевать я.

— Нет, я сегодня отправлюсь дальше,— ответил я.
— Ну, как наши глупые мужики?
— У них много еще языческого. Это надо записать.
— Спроси ты у них, как они гадают, какому святому служить молебн.

— А как, Василий Иванович?

— Вешают топор к кресту и перечисляют имена святых, им известных, когда покачнется топор, тому святому молебн. Вот какой народ. Покойникам опять же молятся, попируют на могиле — болезнь проходит. Темный народ, языческий народ!

Так аттестовал их Василий Иванович, лесник баронских лесов.

Поздно вечером я уехал из села. Дремучий лес тихо спал. Далекое небо бледными очами глядело на погост и на белую церковь. Румяный закат озарял край неба. Неизвестно человеку, что чувствует дух мира, глядя на дела его.

IV

Всю ночь ехал я, а на утро пошел пешком тропинками, рассчитавшись с ямщиком. Шел я лесом, и к полудню вышел на какую-то проселочную дорогу.

Солнце высоко было на небе.

Сосны давали прохладную тень, и я не чувствовал никакой жары. Разные думы бродили в моем уме, но ни к какому заключению не приводили. Вдруг они были прерваны приятными звуками, раздававшимися из-за деревьев. Я стал прислушиваться. То были звуки прекрасной работы гармоники, двухрядной или трехрядной. Аккорд за аккордом лился и звуки крепчали. Вскоре из-за елей показался и сам творец этих звуков — молодой деревенский парень, в липовых лаптях и белой шляпе, легкий армяк был на нем и топор за поясом. Он играл и шел, и не замечал окружающего. Кто он такой, куда он идет?

— Кто ты?— крикнул я ему с краю дороги.

Он не отвечал и шел далее, мимо меня. Игра его лилася, столетние деревья вторили ему. Русские песни он играл, а иногда слышались неизвестные мне мотивы, то горе выражалось в звуках его, печаль глубокая, не ведущая сочувствия, то мощь и веру выражали аккорды, надежду молодости, беспредельного удалства. Он играл и все более, более удалялся от меня.

— Эй, молодец!— в отчаянии крикнул я ему.— Подо-

жди. Дай упыюсь я, милый, гармонией звуков. Несколько червячков есть в моей груди, они гложут мое сердце, как миазмы жизни затемняют свет дневной, твои песни уничтожат нестерпимые мои печали! Подожди, остановись!

Увы! Уже скрылся он за многоветвистой сосной, хотя звуки еще жили в моих ушах.

Чем утешусь я, не имея с собой ни гусель-самогудов, ни шапки-невидимки, не властвуя над чудесами мира, не познанного нами жилища?

Не сделать ли мне из тонкой нежной ивовой коры несколько свистулек, чтобы издавали они желанные звуки по воле моей? Да пет! Хоть и обидели люди меня, но не безучастна ко мне лучезарная природа!

Солнце льет свой свет, и кажется мне всевидящее солнце источником звуков неземных. Когда же вечер настанет, звезды покажутся на небе, и тайную музыку услышу я, идущую с окраин мира, с высокой дуги Млечного пути, и ночь успокоит сердце, взволнованное заботами суетного дня и даст силы продолжать странствие по земле!

Но «этих» как забуду я, пермяков, живущих среди богатств природы, не имея ничего?

ПО ИНЬВЕ И КОСЕ (У ПЕРМЯКОВ)

Этнографический очерк

I

Области небольших притоков Камы — Иньвы и Косы, населенные пермяками, интересны во многих отношениях. Проезжая с Усть-Пожвы до Верх-Иньвы (160 верст, во всю длину р. Иньвы), можно видеть характерные особенности жизни на малой реке, населенной финскими инородцами, которые имеют свои порядки, свою историю.

Переходя от большой реки (Камы), оживляемой пароходами и огромными плотами дерев, сплаваемых к морю, на небольшую реку, где можно встретить еще парусные суда и небольшие плоты, и далее углубляясь в малую речку, вы видите на ней уже отдельные сосны, сплаваемые от верховьев к устью. Такой речкой является Иньва. По ней сплавляется лес двойниками, тройниками, десятками

и даже по одиночке. Бревна тянутся на протяжении многих верст, а позади их едет кошевой в двухскатной избушке.

Невелико, должно быть, торговое и промышленное движение в области такой реки, как Иньва, где нет ни железных, ни шоссейных дорог, а земская только еще строится. Печать неподвижности лежит здесь на всем. Пассивность, неподвижность — один из признаков здешней жизни. Тысячами нитей идут следствия ее в подробностях быта народа, отражаясь и на характере пермяка и на его мировоззрении.

Второе, что бросается в глаза в этой местности при общем обзоре, — это большие села и еще большие волости.

Переезжая с Усть-Пожвы (деревня на берегу Камы при впадении в нее р. Пожвы) в Майкор, в первое село по Иньве, вы видите перед собою огромную деревню, разбросанную по холмам¹; она населена русскими; по окрестным деревням живут пермяки. Беспорядочность строений, отсутствие всякого плана в их расположении, редко прорубленные окна в избах — все это придает селу Майкор мрачный, неприветливый вид. Редкие окна в домах — явление характерное для Иньвы. На пространстве, где в доме бойкого села по р. Ветлуге, найдется 10 окон, в Майкоре — два-три окна. Не останавливаясь на буйных нравах жителей этого села, нужно заметить, однако, что майкорцы совсем утратили патриархальные деревенские порядки, не выработав взамен ничего нового, кроме полной распушенности, дикого произвола и любви к попойкам.

Говоря вообще о селах и деревнях по Иньве, нельзя, однако, не заметить очень неравномерного распределения благ культуры между теми и другими. Села благоустроенны: в них двуклассные школы, врачи, фельдшера, потребительские магазины, красивые, богатые церкви, а в окружности их (не менее 30 верст радиусом) — крайняя беднота, курные избы, безлесица, отсутствие всякой медицины; там всякие болезни и сплошная безграмотность. При чрезвычайной неподвижности здешней жизни ничто благотворное не распространяется на деревню.

Еще три явления поражают наблюдателя в этой местности при первом его знакомстве с нею. У иньвенских пермяков отсутствуют переделы земель, между тем наделы распределены очень неравномерно. Так, в дер. Федорово приходится зачастую на одну душу 30 десятин, а на 4 души у другого крестьянина 5 десятин. Земские начальники и

¹ Здесь находится большой железодобывательный завод Демидова.

богатые мужики стоят за старые порядки. Как были наделены крестьяне при их освобождении от крепостной зависимости, так это и остается до сих пор, невзирая на то, что семейное положение каждого сильно изменилось.

Второе интересное для наблюдателя явление — это отношение к пермякам интеллигенции. Прежде всего, еще на пути к пермякам, когда спрашиваешь о них кого-либо из местных интеллигентов, то встречаем неизменно такой ответ: «Пермяков в селах вовсе нет, они живут только по деревням». Это, оказывается, совершенно неверно, затем вам сообщают сведения малообъяснимые, откуда они взялись. Так, один из местных интеллигентов передает вам мнение о пермяках дорожного инженера, с которым он, конечно, вполне согласен: «Пермяки — идиоты, просят за возку куб. сажени земли 6 рублей, а после, когда на работы были приглашены нижегородцы, те же пермяки стали работать у них за 1 рубль 50 копеек». Однако причина нежелания крестьян-пермяков взяться за перевозку земли оказалась не в идиотизме их, а в устройстве телег, неудобных для земляных работ (или же просто в отсутствии всяких телег), а с другой стороны, предложение работ совпало с близостью страдной поры, которая для пермяка, живущего только земледелием, важнее, чем, например, для нижегородца.

Единственно, что несколько оживляет этот печальный край, богатый лесами, которые, впрочем, не принадлежат крестьянам, — это заводы пожевский, майкорский и кувинский (сталелитейный). В какой степени эти заводы помогают экономическому состоянию края, скажем позднее. Пока отметим еще одно явление, именно обрусение края.

Обрусение идет от центров администрации, от сел, и радиусами распространяется по деревням; от села передается селу, а деревни остаются мало тронутыми новыми веяниями. Школы, солдатчина, промыслы — вот факторы обрусения, но они встречают реакционное движение в лице пермяцких женщин, которые по-русски не говорят и детей своих учат говорить только по-пермяцки; они и в обрусевшие села переносят свой язык и там распространяют и сохраняют его.

Нужно заметить, что в пермяцком языке гораздо больше русских слов и оборотов, чем, например, в родственном ему зырянском. Немало пермяков, говорящих смешанною речью. Поэтому говор пермяков и вообще язычные явления в этой местности могут представлять большой интерес для лингвиста.

Когда едешь по большой дороге к селу по берегу Иньвы, встречаешь много печального; если отъехать в сторону от дороги, углубиться в деревни, там леса более дремучи, и жизнь еще более уныла и бедна. Так точно, чем в большие подробности мы будем входить, рисуя жизнь пермяка, тем больше увидим и первобытной наивности и, рядом с тем, черты печальной его обстановки. Где живет пермяк? Чем он занимается? Пермьские деревни окружены лесами. Однако избы их не отличаются ни величиною, ни чистотой. Даже в селах сохранились курные избы. В деревнях полуразвалившихся изб больше, чем благоустроенных. Дворы их нечего и сравнивать, например, с вотяцкими. У вотяков, их соплеменников, в хозяйстве — целая поэзия, у пермяка все бедно и убого. У пермяков нет таких старых остатков, как куала, существует лишь какой-то намек на это. Около избы строится обыкновенно еще маленькая избушка (так называемая русская «зимница»); в ней и сами хозяева живут по зимам, и ее отдают под квартиру во время ярмарок. Вместо погреба (ледника) устраивается простая яма для харчей. Свою избу пермяк называет керку; у зырян — керка. Это слово невольно наводит на сопоставление. Куа или Куала — древневотяцкое слово, обозначающее постройку, керку — постройка из бревен (кер — бревно; быть может, от керкуа произошло керку). Другие пристройки, как бани, овины и т. п., как у русских. Овины без каменки. Огонь раскладывается прямо на земле. У зырян то и другое архаичнее (печка сложена из крупных камней полусферой). Из двух родов мельниц (наливных и почвенных) здесь — почвенные, что объясняется маловодностью рек.

У пермяков по деревням нет телег (не умеют делать их); они во всякую пору ездят и все возят на санях или верхом; только в последнее время заводятся одноколки. Дорог устроенных тоже нет. Соху везут, положивши на мяридз (срубленную с корнем жердь с кривулиною). Было бы слишком односторонне и несправедливо объяснять все это бездарностью пермяка; причина такой отсталости его в хозяйственном отношении лежит в условиях экономических, исторических. Телеги в селах выписываются с воткинского завода; поставляются они обыкновенно в богатое село Кудымкар Соликамского уезда, которое служит центральным пунктом этой местности, где жили и теперь живут главные лесничьи имений гр. Строгановых.

Главное занятие пермяков — земледелие. Бывшие крепостные гр. Строгановых ничего иного делать не умеют, как только обрабатывать землю. Правда, неискусны они и в земледелии, но и земля их не балует. Почва здесь глинистая, урожай бывает сам 5. В трехпольном хозяйстве сеются рожь, ячмень, овес, горох. У иньвенских пермяков мало хлеба, но чердынские молотят свой хлеб до ноября. Пожни у них при малости рек очень плохие. Трава скашивается горбушами, как у зырян и у сибирских инородцев (якутов), а не косой (литовкой). Домашний скот комолый, мелкий и малочисленный.

Рубить дрова в куренях для заводов — вот главный промысел пермяка. Курени имеются по рр. Пожве (Талича), Исылу Вакина, по Быстрой и Вежай. Всю зиму, стоя чуть не по колена в глубоком снегу, рубят пермяки лес из «баронской» чащи для «графского» завода. Ночи проводят в землянках из еловой коры. Из куреней вырубленный лес сплавляется по речкам на завод. Вот промысел пермяка, получающего за свою работу 50 коп. в день. Мужики и подростки поступают на завод чернорабочими. За работы в рудниках им платят 30 коп., за дрова 40 коп. с сажени. Экономические следствия таких работ видны уже по заработной плате, а на другие указывают сами пермяки, говоря о себе: «Народ в Белоеве ослабел — то в рудниках работают, то в куренях с малых лет, ушибаются, простужаются».

Относительно других занятий нужно сказать, что рыболовства, например, нет по Иньве; другое дело по Косе (Ветель, Сак, Кулэм). Кто-то занимается извозом; возят кладь с кувинского завода через Нердву, Ильинское в завод добрянский (Верх-Иньва).

Хотя в Майкоре можно заметить плотников, пильщиков и других рабочих из пермяков, все же в общем среди них, особенно у иньвенских пермяков, ремесел мало. Косы, серпы и т. п. все покупается; нет между ними ни хороших кузнецов, ни хороших плотников. Зимнюю обувь — пимы без голенищ, валенки с голенищами — делают для чердынских пермяков по р. Косе зыряне. Эти последние являются здесь и шерстобитами, и коновалами, и портными.

На Косе пермяки охотничают на белок, на лося. Между пермяками изредка встречаются и умеющие заговаривать ружье и собаку. В стоверстном волоку около Койгорода водятся еще олени. Иньвенский пермяк охотой не занимается. Ружье его заржавело на гвозде. Соплеменник поэту

леса — зырянину, пермяк в этом отношении неузнаваем. Вы будете удивлены, слушая жалобы пермяка на медведя, на его проказы. Медведи затравляли коров по несколько штук в год; крестьяне плачут, а медведь гуляет в лесу, довольный положением вещей. Это нечто удивительное для человека, знающего зырян, которые ищут медведя, а пермяки, т. е. пермские зыряне плачут от него. Это весьма характерный факт, показывающий, как велико влияние истории и условий местности на человека. Леса и люди принадлежали гр. Строгановым. Нужно думать, что они ценили в пермяках не отважных охотников, а мирных работников земли, куреней и заводов. Другая причина, которая не дает здесь развиться отважности человека — малые речки, небольшие леса. Влияние этого видно на тех же пермяках, живущих по Косе, из государственных крестьян, соседей казенных лесов — у них другое дело, чем у иньвенских.

Нет охоты у пермяков, нет и охотничьей поэзии, что украшает несколько сумрачную жизнь зырян. Конечно, в иньвенском крае очень мало и торгового движения. Ярмарки — признак неподвижности жизни. Совершенно не то наблюдаем мы, например, по Ветлуге. В с. Баках каждую пятницу собирается народ со всех деревень для торговых оборотов.

Выше было сказано, что деревни пермяцкие окружены лесами. Что же извлекается крестьянами из этих лесов? Здесь ахиллесова пята иньвенской жизни. Все леса — гр. Строганова; крестьянам не принадлежит ни один куст, ни одна веточка. Управление лесами, простирающимися на сотни верст в длину и ширину, вверено сложной организации чиновников, получающих большое жалование и пользующихся пенсией. Отношения между графским лесничеством и народом далеко не нормальные. Начиная с устьев Иньвы и кончая ее верховьями, также и по ее притокам, всюду раздается недовольство и ропот народа на состояние лесного вопроса. Со стороны крестьян раздаются жалобы: «За скотский выгон 30 коп. с души, 50 коп. охотничий билет»... Раньше урожай были, лес был дешевле, теперь житье невозможно (в дер. Федорове). Цена деревьям 5 вершк. в диаметре 3 саж. длины — 26 коп.; кубич. саж. дров 2 р. 16 коп. (в с. Купросе). За право пойти в лес с топором 10 коп., если его отнимут 20 коп. выкупа. Вот речи, которые слышатся повсюду. Лесник села Захарова рассказывает сам, каких правил держится он, сторожа господские леса. «Если кто дрова возит тайно или грибы

собирает без билета, подкрадешься к нему, поставишь к груди револьвер и отнимаешь топор, потом удавишь его в грудь... Легко справляюсь».

— Это же ведь не по-евангельски, это нехорошо, — замечаешь ему.

— Ой, иначе нельзя; и жаль, да бьешь. Волено всякому билет брать. Я нарочно живу около самого леса, слежу ежесекундно и доношу. У меня сучок не пропадет¹.

«Мы живем в кулиге, огащенные кругом, как евреи в Египте», — говорят вам крестьяне, живущие в жалких лачужках около этих сторожей, обитающих в чистеньких, уютных домиках. Возражают, что крестьяне, например, Баковской волости Костромской губернии, находясь в таком же отношении к лесу, однако не так бедны и даже удивляют вас чистотою и обширностью своих построек. Причина ясна: в Баковской волости народ живет на большой реке Ветлуге, где много казенных лесов по среднему течению и у верховьев, потому что эта волость недалеко от Нижнего Новгорода. Иныа же в совершенно других условиях. Здесь ни торговли, ни промыслов, ни чернозема. Удрученное состояние духа здешнего поселянина — единственное следствие подобного порядка вещей. Внимаются штрафы и происходят постоянные тяжбы; нелюбовь графского начальства к народу и недоверие к нему народа — явление обычное. То там, то тут возникают ложные слухи, что леса будут казенные и что сделают вырезки для крестьян. Отсюда новые неприятности, недоумения и преследования. Иное положение вещей у чердынских пермяков, которые хлеб молотят до ноября, с лесами держатся вольней (леса казенные), рыба, водящаяся в речках, принадлежит им, и конечно, народ живет и чувствует себя несравненно спокойнее и благодушнее.

Таким образом, три причины — малые речки, стесненная жизнь, бывшее крепостное состояние у помещиков, теперешнее состояние лесных отношений создали то, что пермяк так глубоко отличается от зырянина, что он, любя лес, давая ему разные названия (дзиб — ельник, шойнакерэс — грива, ляг-бадьа — водянистое место, рас — мелкий лес, грись — длинный, высокий лес, райна — зыбкое место,

¹ Пятивершковое дерево 24 коп. (в с. Белосеве); в Кудымкарской волости — вдвое дороже; 1 р. 8 к. — валежник. В Верх-Иньвенской волости валежник 2 р., жердь 5 к., десятина аренд. 4 руб.; десятина пара — 2 руб. В Тимине за право собирания грибов 10 к., за веники 20 копеек.

яг — высокое место, покрытое лесом, яушник — маленький лесок и т. д.), повесил, однако, на гвоздь свое старое ружье и стал трусом¹.

III

Жизнь кипит около морей; по большим рекам она течет широкими волнами; по малым речкам и ручьям — тишь и глушь непроходимая. Эта мысль врезывается в воображение того, кто побывал на речках, подобных Иньве и ее притокам. И малосложно здесь колесо жизни, и медленно оно движется. Какого человека создала эта обстановка? Каков тип пермяка, каковы его антропологические особенности?

Зыряне, живя на больших реках, среди дремучих, почти беспредельных лесов, не зная крепостного права, развили в себе предприимчивость, удалство, энергию². Вотяки, хотя оттеснены на мелкие речки, все же имеют свои леса, свою свободу, в дебрях своих сохранили свою религию и стали образцовыми земледельцами. Пермяки не выразили своих индивидуальных черт так свободно, как их одноплеменники. Недоверие, упрямство, пессимизм — вот что характеризует пермяка. Вид его унылый, черты лица выражают мрачность и неподвижность. У них нет интеллигенции, им сочувствующей; начальство, как бы оно ни было многочисленно, настроено не в пользу пермяка. Он слышит, что над ним и над его речью смеются, учителя из пермяков под влиянием общего настроения интеллигенции убеждены, что цель школы — уничтожить пермяцкий язык. Пермяк так грустен и угрюм, что почти совсем не поет: у него нет своих песен (он их забыл) и заимствованных русских мало. Даже сказок нет у иньвенских пермяков; это указывает, в свою очередь, на то, что у него совсем нет времени и веселого досуга ни зимой, ни летом для бесед. У чердынских пермяков существует хотя небогатый сказочный материал. Кое-какие языческие остатки сохранились в жизни пермяка и в его мировоззрении, но эти пережитки очень скудны, и пермяки теперь усердные христиане. Когда подъезжаете к пермяцкой деревне, вы видите среди убогих, почернелых лачужек с редкими окнами большую, тща-

¹ Названия птиц и зверей у пермяков свои, пермяцкие, а названия грибов — русские (клет — жонь, рябчик — сева, тетерев — тар, лебедь — юсь, гусь — дзодзег, воробей — сырчик и т. д.).

² Условия эти у зырян теперь, конечно, значительно ухудшились; в настоящее время и они стеснены лесами, по воспоминанию о лучшем прошлом все же сохранилось в их сказках и песнях.

тельно устроенную часовню, которая издали похожа на церковь. Вообще к церкви и вере пермяк усерден: должно быть, религия — его единственное утешение в горестной и скудной жизни. Между ними нет ни колдунов, ни отважных охотников. Это — сельские обыватели, христиане.

Что касается физического типа пермяка, то ростом он ниже русского и ниже зырянина. Между пермяками меньше разнообразия в типах, чем между зырянами и тем более, русскими. Это, конечно, признак меньшего развития народа, но это есть следствие исторических и географических условий, а не причина. Измерения показывают, что у пермяцких женщин рост ниже, чем у русских. Размеры головы в общем меньше, лбы небольшие. Бросаются в глаза роскошные волосы у женщин, мало седеющие. Здоровых и сильных между пермяками мало; много истощенных и малокровных, потому что они питаются кыдзьва-пиканюю, шоматун¹, много больных глазами, по причине скудости жилищного света. Чаще всего повторяющийся тип пермяка имеет такие черты: широкие скулы (шире, чем у русских), рыжая борода, карие или серые глаза, лицо короткое. Выраженные лица более томное и неподвижное, чем у русского. Чувствуется, да это можно и доказать, что русские несравненно подвижнее, быстрее, а пермяки — настойчивее. Эти черты нужно, конечно, объяснять влиянием условий исторических и географических. Понятие расы — понятие ускользающее, трудно определяемое.

Для иллюстрации приведем несколько цифр из таблиц.

Рост мужчин с. Юма (Чердынского уезда):

177—175 см	37%	} русские
172	12%	
162	50%	

Рост мужчин с. Кочева (того же уезда):

176—171 см	12%	} пермяки
169—164	50%	
161—156	38%	

Рост женщин
с. Юма

175 см	8%	} русские
166	16%	
163	16%	
152	32%	
147	24%	

Рост женщин
с. Кочева

162 см	5%	} пермяки
158—155	30%	
153—151	33%	
149—154	25%	

¹ Березовый сок, щавель.

Или цифры зырян с. Вишеры (Усть-Сысольского уезда):
173, 171, 173, 174, 170, 165, 181.

Цифры роста пермяков в с. Тимне (Соликамского уезда):
161, 172, 162, 149, 160, 161, 155¹/₂, 155

Рост пермяков в с. Захарове (Соликамского уезда):
162, 174, 170, 171, 165, 164, 172.

Ширина skulls жителей с. Юма (русские):	Ширина skulls жителей с. Кочева (пермяки):
130 мм 1 (12%)	149 мм 1 (10%)
138 2 (24 ¹ / ₂)	144 1 (10%)
142 3 (36%)	140 4 (40%)
127 2 (24%)	131 1 (17%)
	137 1 (10%)
	126 1 (10%)

Ясно из этих данных, что пермяки ниже зырян и тем более ниже русских.

IV

Жизнь пермяков приходится описывать мелкими чертами, потому что и сама здешняя природа ничего крупного в себе не заключает, кроме грусти пермяка, которая неисчерпаема. На существование кое-каких пережитков старины, остатков былого, национального можно еще указать у чердынских пермяков; иньвенские повидимому ничего не сумели сохранить из минувшего прошлого. Так, в д. Коче (Черд. у.) 18 августа, в день Флора и Лавра, около часовни ежегодно собираются пермяки. Перед праздником убивают быков. В самый праздник при огромном стечении народа мясо варится и съедается. В последнее время это народное торжество уменьшается в своих размерах под влиянием преследования его — с одной стороны, и укрепляющихся христианских обычаев — с другой. В сс. Купросе и Майкоре на день св. Власия приносят в часовню телячьи головы и ноги (у зырян Ильин день). Некоторые пережитки сохраняются благодаря самой инертности жизни. Так, например, у пермяков нет телег во многих деревнях (потому что дорог не было до последнего времени), и вот они возят покойников в саях. Эти сани иногда оставляют на кладбище, так что, проезжая мимо сельского кладбища, вы видите своеобразную картину: рядом с могильным крестом лежат полозьями кверху или даже воткнуты рядом с крестом сани. Несомненно, сани имеют какую-то

тайную связь с прежним религиозным культом пермяков, но удержались сани до сих пор среди их христианских обычаев, кажется, в значительной мере именно благодаря инертности жизни. Нужно упомянуть, что в селах льют брагу на могилы и поминают покойников вроде тризны (напр., в сс. Юм, Кочево). К этому же нужно отнести обычай молиться разным покойникам и наблюдать, при какой молитве пройдет болезнь; вешают еще топор к кресту и перечисляют всех святых, и при имени которого из святых покачается топор, тому служат молебен. В общем, все же нужно сказать, что среди пермяков замечается языческих остатков мало и не больше, чем среди русских. Мало сохранилось у них и национального. Женские головные уборы более или менее характерны: так называемые шамшуры у иньвенских пермячек и кокошники у чердынских. Шамшуры покроем своим напоминают русский повойник, с тою разницей, что задняя его половина делается из тугой толстой ткани в виде прямоугольника, причем сверху два прямых угла оставляют резко торчащими, а в основании стягивают (как у повойника) тесемками. Шамшура всегда делается из красного кумача и часть его, покрывающая затылок, вышивается белыми нитками. Кокошник — почти то же самое, что великорусская старинная кичка.

Обыкновенно этнографы интересуются пермяцкими вышивками и узорами на полотенцах и рубашках и, наблюдая рисунки этих узоров в виде геометрических фигур, иногда утверждают, что геометрические фигуры — особенность финских племен, а круглые — славян. Но очень легко увлечься понятием расы в этом отношении, как и в других случаях. Можно думать, что геометрическая фигура на узорах есть просто следствие степени культуры. Прямолинейные фигуры можно объяснить тем, что узоры пермяцкие ткутся, а не вышиваются, тогда как у русских распространено в значительной мере и вышивание.

Суеверия, сохранившиеся в жизни коми (зырян и пермяков), дают намеки на прежнее поэтическое и величавое язычество. Вуншериха (Луншериха) ходит по ржи до сих пор и растит колос (Вуншер — полдень). Детей пугают: «Вуншериха тебя съест». Енэшка ва ювэ (радуга воду пьет) — поверье общевосточнофинское. Каленик разделяет птенцов рябчика, тетерева, чтобы они жили по паре. Ящерица имеет удивительные свойства. Слепая девушка взяла, сварила ящерицу вместо рыбы, плеснула той водой себе в глаза и стала видеть. Зыряне из головы ящерицы

делают «шеву» (порчу). В реках до сих пор живут кульпьянъяс (дети Куля), которые хватают людей. У древних зырян Куль — подземный бог (Кальма — финское). Ойпель — часть животного, которая не съедается. Ойпелем или Войпелем зыряне называли одного из своих богов, вероятно, бога леса — лесного вихря, сына севера. Какое отношение имеет несъедаемая часть животного (ойпель) с богом Ойпелем, остается тайною для современной финской мифологии. Млечный путь — гусиная дорога. Глядя на него, птицы летят в дальний саридз (море). Летучая мышь (кушборд) вредит овцам. Дождь по-пермяцки Ен зерэ — Бог дождит. Такие боги, как бог воды и бог леса, не могут быть забыты племенами, живущими по берегам рек в дремучих лесах. Пермяки помнят водяного и лесного; но здесь река маленькая, и водяному негде было развернуть свои силы. Говорится в народе, что он с белыми волосами иногда показывается из воды и смеется, глядя на молнию, смеется над новым богом. Иногда он сидит на берегу в виде ребенка с длинными волосами и при приближении к нему человека падает обратно в глубину реки. Бог леса до сих пор мстит пермякам за перемену их веры (хотя христианство они приняли еще в начале XV в.). Он особенно любит держать в лесных делях пермяцкий скот — коров и лошадей. Выручить скот из его плена можно, только написав прошение лесному царю в известной форме. В Ошибской волости еще встречаются люди, умеющие писать прошение лесному. «Кабала», или прошение всегда пишется особыми знахарями, которые на куске бересты чертят лесные дороги и слова, имеющие значение заговора.

Прежнее имя лесного Вихор Вихоревич и означает то, что он был бог лесного вихря, ветра «Кабалу» нужно писать умеючи (только в Ошибской волости умеют); если напишут неумело, лесной жестоко наказывает. Обилие в лесу волков, медведей, белок, зайцев зависит от того, что лесной гонит свои стада; иные годы совсем мало зверей, и все это — дело лесного. Видали его и в деревне; захаживает иногда в корчму и пьет сразу по ведру водки. Он живет в лесу, в своей избушке. Говорят, что у него есть и дети. (Рассказы мужиков с. Кочева).

V

Роч (русские) даровитее пермяков; первые были организованнее, лучше вооружены, когда пришли и оттеснили

племя коми за Косу-реку, за болота. Чердынских пермяков покорили при Иване III, когда еще были пермские князья; часть их осталась доселе по Вильве у Пармы; иньвенских пермяков закрепили гр. Строгановы. Такова коротенькая историческая страница этой малой страны. От покорения спаслась одна небольшая часть их у верховьев Камы. Сохранились ли какие-нибудь легенды или исторические сказания о далеком прошлом этого народа?

Река Коса (приток Камы) является границей между чердынскими пермяками и русскими. Многоверстные, труднопроходимые болота разделяют одних от других (если ехать, например, от Юма до Кочева). В углу Пермской губернии между верховьями Камы и Косы чердынские пермяки укрылись от русских, от которых отделены болотами и лесами непроходимыми. Народ создал по поводу этих границ маленький суеверный рассказ. Река Коса, рассказывают в народе, есть граница змей. По эту сторону, где пермяки, змеи водятся, например, по берегам р. Еншора, по ту сторону Косы змей нет. Один святой старец, который был здесь, воспретил им переплывать реку Косу. И действительно, как только змея поплывет до середины (речка не широка), сейчас же околевает.

Подобный же рассказ существует и у зырян. Только у последних он имеет обратное значение, что речка не пускает змей в местность, населенную зырянами, потому что Стефан Пермский (об Ионе нет преданий) воспретил им.

Сказаний о богатырях мало у пермяков (меньше чем у вотяков). Между прочим, известен один пермский герой, Пера-Богатырь. «Жил был Пера-Богатырь в д. Лупья Юмской волости); он спорил с лесным царем; на палке они тягались. Лесной стал Перу перетягивать, а Пера раньше привязал себя к пню (к дереву). Вот пень затрещал. Лесной спрашивает: «Это что трещит? «Это у меня сила прибывает»,— отвечает Пера. «Если твоя сила прибывает, ты владей всем, и зверем, и птицей»,— смирился лесной. Пера-Богатырь жил один на берегу реки Юдорын. Раз он взял семь пар (семь саней) на себя и нес. Устал очень и съел семь пар рукавиц, взявши со стола вместо хлеба. Он ходил на войну. Крестный отец его выхвастал царю, что он весьма силен. Была война. Один богатырь на колесах воевал и наших сильно бил. Царь призвал Перу-Богатыря. Его дядя на лошадях, а Пера на лыжах отправились к царю. Пера раньше прибыл и в шалаше из ели на берегу остановился. Богатырь на колесах опять

выехал. Пера бросился на него: трух-трах, разбил его колесо и его самого. Царь спрашивает, какую дать ему награду. «Шелковые тенета дай мне»,— говорит Пера. Тот дал и отпустил его домой. И жил долго Пера-Богатырь, быстрее птицы на лыжах он ходил, ловил лисиц и зайцев и рыб озерных шелковыми тенетами».

Но если мало исторических преданий в устах пермяков, зато в их крае имеется обилие остатков древней жизни: чудских могил, городищ. В этом отношении пермяцкий край — страна чудес. Народ правильно относится к своим, так называемым, городищам. Пермяки говорят: «Раньше в городищах жили чудаки, они — первые жители, вторые — мы, третий народ будет после нас». Далее рассказывают, что когда родился Христос и стал крестить людей, жители севера стали рыть ямы, спустились в эти ямы, срубили столбы, на которых были укреплены крыши, и погибли в недрах земли. Теперь дремучий лес растет над этими могилами (подобный рассказ циркулирует по всему северу и у зырян). В этих могилах находят серебряные тарелки, фигуры в виде человека, в виде жеребца и т. п.

Относительно городища, находящегося в трех верстах от Пыстог Курэг-Карэг, говорится, что в нем среброкованные ворота; деньги в сороковой бочке на телеге лежат. Если кто разроет эти богатства, сам будет не рад,— произойдет великая драка: всякий пожелает все взять себе.

Все чудские городища расположены около теперешних пермяцких сел и деревень. Местонахождений чудских вещей особенно много в волостях Юкеевской, Косинской, Гаинской.

Могильники около чудских городищ не раз бывали местом археологических изысканий. На Чаньве имеются пещеры. Там найдены вещи вогульские, очень похожие на чудские, следовательно, угорские.

Существует масса названий речек на севере России, пока еще совершенно не уясненных, из финских корней; и можно предполагать, что они — угорские (напр., Ижма, Вычегда, Вымь, Сысола; Ижма встречается в двух местах: в Архангельской губ. и другая, маленькая речка того же имени, в Костромской губ., Варнавинского уезда; Пижма — в нескольких, Вишера в двух).

Над вопросом о чудских городищах все еще пребывает какой-то мрак. Несомненно, что это остатки финно-угорской культуры; но финские ли это городища или угорские — до сего времени открытый вопрос. Данные, най-

денные в Чаньвенской пещере¹, по-видимому, говорят, что городища принадлежат вогулам. Предметы Чаньвенской пещеры — вогульские, с другой стороны они тождественны с чудскими вещами, ergo — чудские вещи, вогульские (угорские). При этом встречаем удивительный факт: в местности, населенной теперь зырянами, сохранились угорские названия, наряду с зырянскими (Изьва, Эжва, Емва — Ижма, Вычегда, Вымь). Между тем городищ у них очень мало (Кармыльк — чудская могила около Вишеры и деревни Эжол). Здесь мы имеем дело вообще с интересным явлением: именитые люди Строгановы и их ставленник Кадаул утверждали, что места эти, т. е. берега Иньвы, Яйвы, Обвы, пустые, ненаселенные; теперешние археологи стараются доказать, что городища все угорские. Спрашивается, откуда же пермяцкие названия рек, распространенные в северной половине Пермской губернии (приток Чусовой — Вильва, севернее — Яйва и так далее)?

По Косе же и Иньве масса городищ и совсем почти нет угорских названий (хотя бы в устах русских, а не пермяков). Все названия рек и речек в половине Пермской губернии — пермяцкие. Пермскую местность зыряне зовут Ком-му (земля коми). С другой стороны, городища обозначаются словом кар (город) — словом общепермским. Села пермяков расположены все около городищ. Что это должно значить? Наконец, если чудские городища все угорские в губерниях Вятской, Пермской, Вологодской, то где же остатки прапермяцких поселений? Где же они жили? На слог «кор» оканчиваются названия и теперешних центров — Пыскор, Майкор, Кудымкор, Дойкор, Мечкор.

Затем, лингвистические данные проливают кое-какой свет на этот вопрос. Говор чердынских пермяков сходен с сысольским и печорским так же, как и старый верхиньвенский говор. А потому можно думать, что эти пермяки пришли с Сысолы; но говор иньвенских пермяков совершенно отличен от известных зырянских говоров. Это особое наречие; на нем, быть может, говорили те пермяки, которые имели некогда чердынского князя Михаила и князьков Бурморта, Мичмана. Так или иначе, а чаньвенские находки говорят о родстве культуры пермской и угорской, относительно же происхождения чудских городищ нужно подождать новых данных для окончательного решения.

¹ Теплоухов Ф. А. Древности, найденные в Чаньвенской пещере Соликамского уезда.

В заключение нельзя не обратить внимания на понятие расы. Некоторые исследователи понимают ее как нечто определенное. Так, проф. И. Н. Смирнов говорит следующее о пермяках: «Он (т. е. пермяк) остался рабом природы, и в этом мерка его творческих сил... Египтяне своими первыми идеями в области архитектурного орнамента обязаны природе Нильского бассейна, но богатство их творческих сил сказалось... в обилии видоизменений, в разнообразии сочетаний». Сравнивается Пермь и Египет, и различие объясняется различием рас. А культуры? А положение географическое? Если теперь астрономия процветает в Америке и мало заметна в России, если немцы создали философию, а у нас нет философской школы, значит ли это, что русские и не астрономы и не философы? Разумеется, не значит. В Америке купцы, вообще богатые люди жертвуют миллионы на обсерватории — таково настроение умов, у нас дело обстоит иначе.

Понятие расы — понятие все более уступающее, суживающееся: все большее и большее количество фактов находит свое объяснение в причинах исторических, географических, социальных.

Пермяки — почти исключительно земледельцы; они не способны к промыслам, к ремеслам, они не искусные охотники. Зыряне, их соплеменники, ближайшие по языку, не особенно отдаленные по месту, — они прекрасные охотники, способные к промыслам и ремеслам. Даже более глубокие и общие свойства тех и других, как, например, упрямство, настойчивость и то приходится объяснять не расовыми, а историческими причинами. Века создают расу, века же и изменяют ее. Если нет расы устойчивой, то потому, что нет и форм жизни абсолютно устойчивых.

Наблюдая жизнь наших финских инородцев (зырян, вотяков, пермяков)¹, я полагал, что раса — ступень в эволюции человека, что малая изменчивость некоторых свойств в сравнении с другими (например, настойчивость, упрямство, неподвижность вотяка) есть указание именно на расу. Но вместо того, чтобы сказать: «расовые особенности очень мало изменяются», можно выразиться и так: те свойства, которые связаны с природой местности и основными условиями данной среды — те, конечно, мало изменчивы. Общее положение должно быть таково: раса есть нечто производное, и свойства народа постольку ориги-

¹ См. «Зыряне». Этнологический очерк. «Живая старина», 1901. «Вотяки». Этнографический очерк. «Научное обозрение», 1902, ноябрь.

нальны, поскольку оригинальна природа их страны и условия их культуры.

Следует еще заметить, что пермский край — страна чудес. Здесь много обильного материала для антрополога, лингвиста, археолога, историка и т. д. Этот край важен также для всякого интересующегося положением вещей в России. Музей в г. Перми, археологическое учебное общество, отношение к нему местной интеллигенции — на всем видна печать какой-то семейственности и любви к своему краю. Если бы здесь существовала еще любовь к инородцам, тогда и желать более, по-видимому, было бы нечего.

Язык — истинное выражение духа народа. Слушая речи пермяков, записывая с его слов мечты, сказки, чувствуешь себя удрученным. Слаба речь пермяка, нет силы и красок в его сказках, нет здесь ни смелости, ни отваги — все говорит о том, что забита душа народа! Между тем, сколько красок должно бы быть в языке пермском (зырянском), картинности, близости к природе (обилие в языке зырянском звукоподражательных слов)! Сколько красоты в их послеположениях, выражающих пространственные и прочие отношения предметов, какая гармония в обилии открытых и глухих звуков (ö), краткость и сила предложений, обилие твердых гласных (музыка севера) — вот какие особенности присущи финским языкам пермской группы, вот что должно бы подметить в языке пермяков, но все поблекло с грустной душой народа!

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗЫРЯН

Глава I

Природа местности.

Этнограф, едущий по Вычегде, смотря на угрюмые леса и редкие села с палубы парохода, догадывается, что здесь жизнь расположена в одну линию — вдоль реки, культурная часть местности имеет одно измерение, а не два. В «холодной даче», какую кажется ему эта местность, между реками нет жизни — там леса и болота. Недаром сами зыряне другие части России называют «Паськыд места» —

широкие места. Здесь нет фабрик и заводов, которые дают жизни разнообразие, нет шоссейных дорог, река и лесная дорога возле реки — вот пути сообщения. Земледелие однообразно — трехпольная система, и только вдоль реки, остальная страна эксплуатируется охотой. Лишь в последнее время там и сям производится рубка и сплав леса, несколько оживляющий край.

Такое простое явление, т. е. то, что жизнь здесь пока возможна только вдоль реки, имеет важное, по моему мнению, значение для психологии народа. Эта жизнь ничего не создает ни в науке, ни в поэзии, ни в промышленности — здесь живет ровный, умный народ, отклонения невозможны; человек, более впечатлительный, чем средний, со способностями, отличными от нормы, должен отсюда бежать или подпасть под власть алкоголя, потому что ему некуда применить особенности психического склада. «От нас ученый бежит далеко», — говорят зыряне. «Вино нас погубило», — говорят они все, кроме ровно-умных, среднезажиточных крестьян-охотников: они — норма страны. Здесь невозможна никакая интеллигенция, пока промышленность не сделает эту жизнь более разнообразною.

Такова здесь культурная жизнь человека — она однолинейна. Но есть здесь и нечто другое — лесная жизнь. Леса наполняют почти все пространство. Они — место охоты и подвигов, они — источник мистицизма и поэзии. Леса не стеснены реками, они беспредельны, и они развили чрезвычайную подвижность характера зырянина. Как мало в нем общественного ума, также много дикой, стихийной силы. Сколь робок зырянин в общественно-культурном отношении как воспитанник узкой, в одну линию расположенной жизни, столь же он смел и отважен как охотник, как человек отхожих промыслов, «он сын просторных, вольных лесов».

При рассматривании природы местности важно поэтому иметь в виду эти два фактора — однолинейность в расположении сел и деревень, обусловленная суровостью климата и отдаленностью местности от промышленных центров, и обширные леса, покрывающие страну. Второй фактор, быть может, важнейший, и на нем поэтому нужно остановиться подробнее.

Какое впечатление производит лес на зырянина, видно уже из того, с какою любовью относится он к нему и к его особенностям, какое обилие названий имеется для этих особенностей леса. Так, например, возвышенно ровное

место, покрытое елью, называется п а р м а. Этим же именем называется невысокое место, сухое, покрытое елью и окруженное возвышенностями (от этого слова «парма» г. Лыткин производит слово Пермь). Ровное место с елью называется т ш ѓ т ш к ѓ с. Сырое место, где растет береза — й ѓ н ѓ д, сухое место, покрытое березой — р а с; возвышенное место, где сосны — я г (не отсюда ли баба-яга?); холмик, где сосны — д а в; холм среди пармы — г р и н ѓ к, террасовидное место — к е р ѓ с и т. д. Все это отмечалось зырянником, изучалось с большой любовью, влияло на его душу. Каждая речка в лесу, каждый ручеек, каждая горка имеют названия. Последние часто кончаются на слоги: «ю» (река) и «ель» (речка). Не только все животные и птицы носят зырянские имена, но и цветы и грибы тщательно изучены и поименованы. Все это свидетельствует о чрезвычайном внимании зырянина к содержанию и жизни леса.

Дремучий лес дал шаманству зырян определенное направление. Бог леса — вэrsa — занял центральное место между богами, если не по могуществу, то по близости к человеку. Теперь, когда все старые боги забыты, бог леса еще играет огромную роль в их повериях, в суеверных рассказах. Он нет-нет да и появится со своею собакою между охотниками и закричит: «Тэт, тэт!» — так кличет он свою собаку.

Своеобразный мистицизм зырян обязан своим развитием лесу и охоте. Дремучий лес всегда полон неожиданностей, напастей и бед, он развивает в человеке мысль о величии и важности существующего, с другой стороны — недоверие к видимости чего бы то ни было. Намереваясь изложить значение охоты для выработки мирозерцания немного ниже, здесь скажу только, что лес впервые, быть может, научил зырянина заговору. В лесу можно поставить такие знаки (что и делается), благодаря которым вы можете вернуться тем же путем, каким шли, тогда как никто другой не может читать этих знаков. Является мысль о секрете, о заговоре в том смысле, как его понимают зыряне. Произносятся разные заклинания в тех или иных местах, близ сосны, на берегу ручья, человек замечает время и место и потом узнает, что слова его изменили это дерево, тот ручей. Так вырабатывается взгляд, что слово изменяет предметы своей таинственной силой, скрытой в нем. Вырабатывается характерная черта мистицизма зырян.

Не только крупные свойства леса, но и мелкие особенности его вроде того, что в нем легко можно заблудиться,

были опоэтизированы и мистифицированы. Так народ говорит, что в лесу растут целебные травы (никонова трава, адамова голова, грыжная трава). Но часто бывает, что говорят: один раз найдешь то место, где они растут, а другой раз туда же придешь, да не увидишь этого места — «не показывается».

Так как ни гор высоких у зырян нет, ни озер (одно лишь небольшое озеро Симты у верховьев Вишеры), то кроме леса и довольно крупных рек, ничто не развивает их предприимчивости, отважности, мужества. Но эти факторы — лес и довольно большие реки — сделали свое дело. Это видим мы на том, как отличается зырянин от вотяка, который столь близок по языку к зырянину, и от финна, живущего среди скал и озер Финляндии. В самом деле это сравнение дает нам возможность понять психологическое значение леса в истории зырян с новой точки зрения.

Зыряне предприимчивы, отважны, космополитичны; вотяки не предприимчивы, робки, любят свой домашний очаг более всего. Почему это? Финны скалистой Финляндии настойчивы, терпеливы, чрезвычайно любят свою угрюмую страну. Зыряне хотя тоже настойчивы, но не так последовательны, более увлекающиеся и стремятся куда-то вдалеку от своей родины — в Сибирь, в Вятскую губернию и т. п. Зыряне, финны, вотяки — все они финского племени, одной урало-алтайской расы, что видно из их языка с одинаковыми корнями, одинакового строения, между тем психология их весьма различна.

Мне кажется, обзор местностей, где они живут, в некоторой степени объясняет нам эту разницу в их характерах. Вотяки живут на маленьких речках и в верховьях рек (на Чепце, на Ижь и т. п.). Они, не имея больших лесов для охоты, главным образом земледельцы и, стесненные судьбою, утратили прежнюю отвагу, живя на маленьких речках, охотничая в небольших лесах. Зыряне живут на Печоре, на Ижме, Вычегде, на реках, довольно больших, окруженные беспредельными лесами, где полный простор для охотников, на лыжах пересекающих эти дремучие чащи. Большие реки развивают отважность и предприимчивость; далекая охота, в сотнях верст от родного угла, делает человека чуждым домашнему очагу, охота благоприятна для здоровья и развивает сметливость и удалство. Отсюда мы видим, что местности, где живут вотяки и зыряне, объясняют разницу характеров, давно подмеченную этнографами. Относительно финнов нужно сказать,

что они живут среди скал и озер, в борьбе с суровой стихией развили свои силы, но, не имея больших пространств для своей деятельности, энергию свою употребили не на расширение, а на углубление своей жизни и, живя в тесном пространстве, отлично разработали свой уголок. Зыряне и вотяки жили все время при иных условиях, и жизнь их не так интенсивна, как жизнь финна. Так география разъясняет этническую разницу этих племен, между которыми одно общее — настойчивость. Из такого сопоставления видим мы, какое значение имеет обширный дремучий лес на психический склад зырянина.

Теперь скажем о третьем свойстве той местности, где живут зыряне, так как это свойство тоже имеет влияние на психический склад человека вообще. Это однообразие пейзажей, однообразие красок и сочетания линий. Все те же низменные берега реки, те же хвои, те же села на холмах над рекою — эти однообразные картины утомляют ваш взор. Река, по берегам сосновые леса, еловые леса, села и т. д., все одно и то же без конца. Невольно думается вам, что художественные способности народа должны быть развиты в этой местности. Звонкие ручьи в лесах, шум деревьев, пение птиц, свист ветров могли развить музыкальные способности, но художественности не на чем развиться. Так оно и есть в действительности, хотя отсутствие художественности обязано не одному этому фактору, но и другим, о чем будет речь ниже. Поэтов, певцов мало между зырянами, песен своих у них также мало (я знаю не больше десятка чисто зырянских, хотя заимствованных русских значительно больше). Между тем замечается чрезвычайная любовь к музыке: что ни село, то и гармонщик там. Юноши и дети все играют. Есть музыкальный слух, но мало художественных, словесных концепций, что необходимо для составления песни. Сильно чувствует зырянин, но чувствам нет исхода ни в звуках, ни в красках, лишь в слезах и смехе все выражается и в необычайной любви к музыке.

Таким образом однолинейность жизни, беспредельность лесов, однообразие природы наложили свою печать на психический склад народа. Если прибавить сюда суровый климат с сугробами снега, десятимесячную зиму, можно представить, каким суровым, трудолюбивым, терпеливым и в то же время смелым, отважным должен был стать народ здесь живущий; но есть иные факторы, осложняющие характер человека.

Глава II

Второй фактор психического развития народа. Занятия народа: а) земледелие, б) охота. Отрицательное значение земледелия. Отсутствие поэзии земледелия. Охота — источник мистицизма и поэзии.

Вычегодские зыряне живут между 60° и 63° широты в полосе ячменя и отчасти ржи. По берегам Выми и Вишеры, северных притоков Вычегды, где береговые холмы большей частью глядят на восток и на север, неурожаи весьма часты, два раза в 10 лет. Причины этих неурожаев — ранние холода. Нужно прибавить, что и в урожайные годы здесь хлеба не хватает, и это даст понять, почему жители Вишеры на смеху у всех зырян не только за их протяжный говор, но и за то, что они всегда были бродягами и нищими, а вымчане слыли за грубых, диких людей. Здесь народ жил, конечно, всегда охотой, а теперь ходит на заводы в Пермскую губернию. Вычегда тоже не богата хлебом, только Локчим и Сысола (южные притоки Вычегды) имеют достаточно своего хлеба в урожайные годы. Ввиду того, что мы здесь говорим о земледелии, как о факторе психического развития народа, действовавшем много столетий, то мы должны брать его в тех размерах, какие имело оно у зырян в прошлые времена. Исторические сведения, филологический анализ названий предметов, входящих в круг земледелия и другие соображения показывают, что это занятие у зырян в прошлые времена едва ли было преобладающим. Поэтому для анализа его влияния на характер народа я беру земледелие, которое имеем в области Вишеры.

Есть кору пихты — дело обычное на Вишере. Один старик из Шойнаты мне рассказывал, что раз пришло повеление от царя, чтобы зыряне ели хлеб из ягеля, лишь бы не умирали. Старик дополнял, что тот и другой хлеб — из пихты (кач) и из ягеля — довольно вкусны. В последнее время, впрочем, благодаря заводской промышленности Пермской губернии, а ныне благодаря Котласско-Пермской железной дороге, зырянину даже берегов Вишеры и Выми не приходится ни воровать, ни «кач» есть. Если обратить теперь внимание на то, как эти частые неурожаи действовали на ум и характер народа, то нужно сказать следующее. Он живет на холмах, глядящих на восток и на север, знает, что хлеба у него не хватает даже в урожайный год, а на другом берегу (чаще на левом), он видит

дремучий лес, болота полные дичи, а перед собой реку, текущую в дальнее море. Народ, одаренный физической энергией и не стесненный, как в Финляндии, скалами, заставлявшими во что бы то ни стало победить суровую природу, такой народ должен был почувствовать влечение вдаль, разлюбить свой унылый домашний очаг, а не петь про семейные радости, не молиться богам земледелия; народ должен был устремиться в леса или в промышленные страны, молиться богу лесов и воды, дарить их шкурами зверей и воспевать иные реки и города.

Так в действительности оно и было, так оно и есть. Приведу пример из жизни села Ыджыдвидз, являющийся характерным для зырян этой местности.

Сидели мужики между заутреней и обедней на бревнах около церкви и рассуждали о том, где построить дом священнику. Многие говорили: «Где хотите, там и стройте, все равно мы здесь не жильцы в своей местности: сегодня-завтра придется уйти нам всем в Сибирь или куда-нибудь». Разговор был печальный, перед вами апатия к порядку и благолепию своего села вследствие неуверенности в завтрашнем дне. Правда, мудрые из крестьян возражали первым: «Постройте как следует дом священнику: если не мы, кто-нибудь да будет жить здесь, пустовать место не будет, поэтому нужно все делать как следует».

Нельзя сказать, что такое настроение крестьян Вишеры временное, единичное, так как нельзя доказать, что в прошлом земледелие было лучше, чем не было частых неурожаев. Такого рода земледелие, гнавшее человека от дома, не создало никаких религиозных повествований, никаких песнопений, никакого земледельческого героя, потому что поэзия религии, как и всякая поэзия, есть выражение природы местности, занятий народа и т. п. шести факторов, совокупным действием первых пытаюсь я объяснить характер данного народа. У зырян нет и не могло быть Микулы Селяниновича, тогда как у них есть герой охоты — Йиркап. То обстоятельство, что земледелие не дало никаких поэтических рассказов, не оставило никаких следов мистицизма, является поучительным. Очевидно, земледелие мало производило впечатления на воображение народа, которое так склонно всякий сколько-нибудь поражающий факт облечь в одежды религиозного мистицизма. А что мы имеем здесь дело с народом, очень чутким ко всему, что можно опозитизировать каким-либо суеверным рассказом, видно хотя бы из следующего случая. Один

крестьянин села Вишеры передал мне следующий рассказ. «Ходили искатели руд. Они буравами искали всюду меди и серебра. Нашли они раз в земле фигуру вроде ребенка из камня и меди и поставили ее на белую скатерть, говоря: мы нашли нечто доброе. На другой день рано утром встали, а фигуры вроде ребенка уже и нет; тогда искатели руд начали думать, что это был горный хозяин — бог руд». Таким образом простой факт — искание руды инженерами создал уже мистику, хотя и на той почве, быть может, что древние зыряне могли верить в подземных богов; но и то удивительно, что земледелие ни с чем языческим не ассоциировалось в более прочное сказание, между тем охота создала тьму тем суеверных рассказов; земледелие же — ничего.

Но может быть, земледелие, не действуя на воображение, развивало характер народа — выносливость, терпение? — Во-первых, трудно думать, чтобы развивающее волю человека не оставило следа в его воображении; во-вторых, факт известный, что влияние земледелия было значительно меньше влияния охоты, на которую времени и сил в прошлые времена уходило несравненно больше, чем на возделывание полей. Поэтому, чтобы понять особенности характера зырянина, необходимо тщательнее разобрать значение охоты как фактора психического развития народа.

Охота была причиной развития мистицизма к природе, к животному миру и человеку, она же создала поэзию леса. Какого рода мистицизм по отношению к природе проникает во все слова и действия зырянина? Тот мистицизм, что между словом человека, думою его и событиями природы есть какая-то связь. Эта связь таинственная. То обстоятельство, что она теперь объясняется благодатным действием угодников божьих или черною силой демонов, явление сравнительно новое, похристианское (с XIV—XV вв. и позднее); по теперешним же суеверным рассказам о делах «лесных», которых зыряне до сих пор не решаются отнести к демонам, бесам, эта таинственная связь объяснялась действием многочисленных лесных богов, живущих в дремучих чащах семействами, или просто принималась как тайна. В этом последнем смысле понимаемая зависимость между словом человека и природой и есть ядро мистицизма по отношению к природе. От слова дерево сохнет, ручей изменяет свое течение, дом искривляется. В слове человека заключаются чары, волшебная сила. От дурного слова зеленые листья дерева побледнеют,

вот какова сила слова. Такой мистицизма к природе, как мы увидим, мог развиваться из охотничьей жизни в дремучем лесу; не религия языческая была его источником, а наоборот, религия скорее была следствием мистицизма; или же это — два явления сопутствующие, взаимно влияющие. Проследим вкратце развитие мистицизма в душе охотника.

Выходит он из своей охотничьей избушке на охоту и говорит те или иные слова, пожелания удачи, одевается в том или ином порядке, замечает те или иные приметы. Приходит в дремучий лес, попадает в «поток белок». Белки куда-то скачут с дерева на дерево целыми стадами, и охотник вволю стреляет и с богатой добычей возвращается домой, в свою избушку. На другой день или вообще в другое время, охотник другие приметы заметил, не в том порядке слова сказал, лук привесил не так, спеша, и не попал он в «беличий поток», за целый день убил две-три белки и то плохих, два-три рябчика, одного клеста (в голодное время зыряне едят последних). В уме охотника готовы заключения: вот какие слова, какие приметы, какие первые шаги с утра пригодны для беличьей охоты. То же самое относительно зайцев, лисиц, оленей, рябчиков и т. д. Всякая охота создала свои заговоры, свои заклинания. Старые охотники меня уверяли, что как только прочтешь:

«Ты гой-гой,
Белый заяц,
Не уркнись,
Не отсторонись,
Не от меня
Раба Божия
(имя),
От всякого вздоха
Человека черного» и т. д.,

заяц сам прибежит в петлю и на выстрел. Между словом и событием природы есть связь, непонятная для ума, это мистическое отношение к природе.

Мистицизм собственно к животному миру обязан своим развитием отчасти тому, что охота на крупных зверей не всегда безопасна. Человек молится тому, чего он боится, о том, что от него не зависит. По этой причине развилась особая тайна «юм сибддём». Эта тайна в чистом случае, в охоте на медведя, выражается в следующей форме. Перед охотой на медведя в лесу охотники варят в котлах «юм» (сладкую кашу) из ржаной муки; тут получается

та самая кашлица, из которой после скисания делается квас. Этот «юм» оставляют нарочно на улице, перед чомом (избушкой), чтобы медведь съел его, иначе охота невозможна. На другой день, увидавши, что котел пуст, охотник молчит, никому не рассказывает о случившемся, иначе охота будет неудачна. После того, если охотник увидит берлогу, он хранит тоже святое молчание, хотя ночью не спится ему: «Не он спит, спит только его рубашка», а он вздыхает и думает, как пойдет охота, как жертва принята. Товарищи, догадываясь, тихонько говорят: «Наш товарищ что-то видел». Все молчат и ждут.

Здесь видим мы таинственную связь между жертвой и готовностью зверя быть жертвой человеку. Это остаток культа животных от языческого периода. Но и самый этот культ развился из трудности охоты и мистического отношения к животному миру, от быстрого установления связи между фактами, в которых зависимость случайна.

Еще третьего рода развился мистицизм под влиянием охоты — в отношении к человеку. Следующий маленький рассказ введет нас в суть дела.

В старину охотничьи артели зырян имели вожаков, знающих заговоры. Раз один вожак заколдовал, зачаровал другую артель и его вожака, и те должны были ходить всю зиму в засохшем лесу, где не было ни зверей, ни птиц, и остаться без всякой добычи. Главный чародей в той несчастной артели сказал, что если у них лес сухой и в нем не живут ни звери, ни птицы, то пусть охотники сядут за шашечную доску и играют в «дóведь» (шашки). Как решили, так и сделали: всю зиму провели, играя в шашки. Пришло время возвращаться домой. Первая артель с богатою добычей гордо прошла мимо второй, направляясь к дому. «Пора домой», — сказала первая артель. «Нет, мы еще заняты игрою в шашки», — ответила вторая. Первые прошли с шумом и исчезли в лесу, а к вечеру возвратились к тому же месту. Долго кружились они, но никак не могли выбраться из лесу. Дело кончилось тем, что первая артель отдала всю добычу второй за то только, чтобы вожак-чародей второй артели позволил им вернуться домой, открыв их глаза на лесную дорогу.

Что здесь видим мы? Борьбу охотничьих артелей в чародействе. Такая же борьба всегда была и между отдельными охотниками. Если вникнуть во все это, можно догадаться, что борьба волхвованием не что иное как следствие охоты; что вообще недоверчивое отношение к чело-

вску, взгляд на него, как на существо, могущее причинить словом и мыслью ужасные, непонятные бедствия, что этот взгляд — следствие изолированной охотничьей жизни при слабой общественной культуре. Частное же явление — «вомидз» (порча) — следствие этого общего взгляда, а этот взгляд может быть объяснен влиянием на воображение именно охоты. Охота требует больших знаний. Нужно уметь делать лыжи для себя, длинные сани (норт) для припасов, лук или пищаль, компас; нужно искусно сделать «чӧс» (теперь воспрещенный законом), нечто вроде старинной большой мышеловки, а именно кусок бревна падает на птицу, задевшую ногою маленький пруттик, когда эта птица проходит сквозь сетку искусно устроенных палочек; для приманки птиц «чӧс» посыпается зернами. Далее охотнику нужно, конечно, знать тропу, где ходит тот или иной зверь, где ходит и ищет пищу та или иная птица; охотник должен уметь натягивать петли на зайца, угадывать «беличьи потоки» и т. д. Все это знание вместе с таинственными словами составляет заговор, потому что заговор у зырян — не только мистические слова, но также и секрет какого-нибудь дела, искусство удачно выполнить начатое предприятие. Я расскажу пример, из которого будет ясно, что такое заговор.

Недалеко от села Вишеры, на берегу маленького озера, возвышается интересный холм под названием «Кармыльк» (город-холм). Народ утверждает, что внутри этого холма имеются разные редкости — старинные чудские топоры, ножи и т. п., быть может, и чудские овальные серебряные деньги. Я собирался прорыть этот холм. Тогда ко мне является один крестьянин и говорит, что он видел сон о горе «Кармыльк». Во сне черный человек ему сказал, что затея прорыть холм совершенно бесполезна, потому что мы не знаем заговора. А этот заговор состоит в том, что нужно взять газетный лист и разостлать на этом холме, покрыть его черной скатертью, затем взять паутину трем человекам за три угла и передергивать, тогда потаенная дверь сама откроется и найдутся деньги в бочках. Эти деньги не чудские, а разбойничьи.

Итак, мы видим, что заговор — есть секрет, тайное знание, а не только могущественное слово. Всякий охотник обладает секретными знаниями: он умеет испортить ружье своего соседа, отнять охотничье чутье у собаки, давши понюхать ей вредного вещества, умеет исправить ту же собаку, выпустивши ей кровь из носу иглою и т. д. Каждый охотник для другого охотника кажется носителем всяких,

явных и секретных, знаний, приобретенных в дремучем лесу в одинокой лесной жизни, где воображение каждого сильнее работает. Поэтому является доверие и недоверие к соседу, смотря по тому, расположен ли он к вам или нет. Во всяком случае существует чрезвычайное внимание к его словам, заключающим намеки на разные секреты. А от напряженного внимания к скрытому значению слов, проносимых в дремучем лесу среди богов и зверей уже недалеко для некультурного человека до признания за словом таинственной, необычайной силы. Так «хитрая» охота развивает в охотнике, который постоянно слышит таинственный шум леса и гулкий говор ручьев, мистический взгляд на человека, что он есть носитель тайн всяких, полезных и вредных сил. Из этого взгляда развивается понятие «вомидз» — порча, о чем мы скажем немного ниже.

Таким образом, мистицизм зырян, как мистицизм и других прежде шаманствовавших инородцев не столько их расовое свойство, сколько следствие их охотничьего быта. Между тем, юристы и медики, имевшие дело с зырянами, выражали взгляд, что мистицизм этого племени так глубок, что должен считаться расовым их свойством. Теперь обратим внимание на другую сторону дела, на влияние охоты на воображение человека и на его поэтические струны, тем более, что охота у зырян единственный источник поэзии и с падением ее исчезнет поэзия народа, оставив вместе с промышленностью и комфортом жалкий, бесцветный материализм. Поэзия, какая только есть у зырян, это поэзия леса. В кратких поэмах, в суеверных рассказах героями являются охотник, лесной бог, его жена, собака лесного бога и собака охотника; действие происходит всегда в дремучем лесу. Правда, имеются сказки иного рода, но можно утверждать об этих сказках, что они заимствованы или от русских или с востока; имеются еще зырянские бытовые песни, но оригинальных очень мало, большинство — заимствованные русские. Лесная поэзия является среди зырян единственной, если еще не принять в расчет несколько сказок, весьма старинных, указывающих, на их древних богов — Ен, бог солнца, луны, радуги и т. п., и несколько присказок в вопросоответной форме.

В кратких поэмах и суеверных рассказах выводится Йиркап — охотник, который сделал себе волшебные лыжи из чудесно струящего кровь дерева. Эти лыжи сами мча-

лись, лишь только герой ставил в них свои ноги. Трудная охота на оленей казалась ему очень легкой. Пока топилась печь в его избе, он ездил при помощи своих лыж рыбачить на озеро Симты. В других рассказах рисуется охотник неудачливый. Он стреляет белку и все неудачно и зовет на помощь к себе «лесного бога». Тот, высокий ростом мужчина в синем кафтане, является со своею собакою и сразу застреливает белку. Скажет: «На, бери, дядя», и исчезает в лесной чаще. Проглядывает иногда в суеверных рассказах и недоверие к «лесному» и даже, вероятно, под влиянием христианства враждебное чувство. Так рассказывается, что из-за хвастливого слова охотника раз «лесные» стали бросаться в слуховое окно охотничьей избышки мертвыми белками. Если бы охотник не догадался, по совету брата, крестить лапы бросаемых белок, то он был бы задушен их массою. Так как охота требует не только смелости и удалства, но и знания заговоров, то в числе рассказов из лесной жизни встречаются и такие, которые говорят о людях, знающих страшные заговоры. Тювэ — колдун, жил в густом лесу и был всем коновалам коновал. Он знал такие сильные заговоры, что для усвоения их нужно отказаться от солнца и луны, проклясть свет дневной, мать и отца своих. Шыпича — другой чародей, который ездил на паре лошадей и спускался вместе с ними в реку, под лед и, проехав несколько верст под водою, выезжал из проруби обратно на лед.

Предания и рассказы, где говорится об охотниках, колдунах, о лесном боге, и составляют лесную поэзию зырян. Подробный ее анализ, тщательное сопоставление ее содержания с содержанием поэзии других финских племен и вообще с северной поэзией потребует много времени и места, поэтому здесь я должен отказаться от описания и характеристики словесности зырян и удовольствоваться только констатированием факта, что самобытная их поэзия обусловлена почти исключительно охотой; чародейство и древние высшие боги солнца и луны только несколько оживляют однообразие содержания суеверных рассказов о похождениях охотников.

Итак, охота — истинный источник мистицизма и поэзии зырян. Охота же в дремучих лесах развила, как мы уже видели, подвижность, космополитизм и предприимчивость этого племени. Перехожу к третьему фактору, изменяющему психический склад народа.

Глава III

Третий фактор психической жизни — древняя культура народа: а) домашняя жизнь зырян в старину; б) малое развитие общественности зырян, лишившая их материала для развития социальных понятий.

Какая была культура у зырян в те старые времена, до которых доходит филологический анализ слов — названий домашней утвари, разных вещей материальной культуры? Какая культура могла быть под ярко искристым, блистающим далекими холодными звездами, бледно-голубым небом, в дремучих лесах, полных снежными сугробами, в стране бездорожной, малолюдной, еле озаряемой в зимние дни румяным солнцем, на какой-нибудь час выходящим на горизонт, теряющийся в синих лесах? Какую культуру может создать народ у ленивых рек, однообразно и плавно текущих по песчаному руслу среди мелей и уныло-монотонных берегов, живя посреди сосени елей, среди овода и хищных зверей? Что думал этот народ, когда порою случалось ему смотреть на солнце и луну, часто скрываемые зимним и ночным мраком? Что слышал он в шуме вод лесных ручьев и речек, в свисте ветра между ветвями столетних деревьев? Кому молился он, о чем плакал и вздыхал, дитя-народ, одиноко живя вдали от исторических стран, питая душу своеобразной мистикой? Бродя по болотам и собирая ягоды и грибы по холмам, какие мечты лелеял он, какими заботами был удручен?

Знание современных зырян, их культуры, их языка, поверий и сказок и соседей зырян-самоедов, остяков — дадут возможность в ответ на эти вопросы нарисовать бледную картину их прошлой жизни.

Зыряне жили в маленьких избушках, построенных без всякого порядка. Избушка зырянина состояла из 3-х частей. В одной части жила семья, в другой хранились вещи, и эта часть называлась «кум»; в третьей части помещался домашний скот, и эта часть называлась «карта». Для молодых животных устраивался «гид». В жилую избу вели несколько ступеней — с улицы (пос); внутри жилой избы не было печи, ни белой, ни черной, а была каменка полусферической формы, сложенная из песчаника и других камней. Это каменка называлась «гор». (Так именно можно думать потому; что слово «пач», название печи, есть видоизмененное русское слово «печь»: заимствован был предмет, а с ним вместе и слово. Это во-первых. Во-вторых,

в банях, в овинах, в охотничьих избушках в недавние времена везде устраивалась каменка, «гор»). В каменке, выстроенной в жилой избе, варилась пища, дым выходил в дымовое окно под полатями. Это-то дымовое окно, в которое в момент рождения детей ходили духи — доброжелатели и зложелатели дитяти (поверие о дымовом окне до сих пор существует). В одном углу жилой комнаты была каменка, в другом ручная мукомолка, состоящая из двух, один на другой сложенных, жерновов: нижний прикреплен неподвижно к столу, верхний вращается; для удобства вращения к последнему проделывалась деревянная ручка, прикрепленная одним концом к полатям или к пару, другим — к жернову. Такие мукомолки еще и теперь можно встретить где-нибудь в глухой местности по Вишере или Локчиму, хотя всюду уже построены теперь водяные мельницы. Ручная мукомолка называется по-зырянски «горт изки» (домашний ручной камень).

Стены (берд) и потолок (йирк) жилой избы были густо покрыты сажей и были гладки, как зеркало; на полу, на соломе на обрубках (джек) бревен играли дети, там же жили телята и ягнята. Хозяйка дома на прялке (печкан) пряла нитки и на «дзявъя» приготавливала «сюри» для тканья. На ней длинная холщевая рубашка, на шее «сикѳтш» (бусы), на ногах «кыс». Обувь «кыс» приготавливалась из кожи передних ног лошади. Вместо чулок у зырянки «чѳрѳс» из самотканного сукна. «Чѳрвѳнью» она подпоясана. Выходя на улицу, зырянка надевает бурого цвета «сукман» (основа его изо льна, выткано из шерсти; в праздники зыряне носили «дукѳс», у которого и основа из шерсти). На хозяине тоже холщевая рубашка и шаровары. Он подпоясывается кожаным ремнем, повесив спереди «бива» — это кожаный мешочек, в котором хранится сталь, кремь для добывания огня, трут (тшак) — гриб, растущий на березовом пне; в «бива» же хранятся и деньги. Собственно слово «бива» обозначает «огонь — вода», значит, все в этом мешочке. Хозяин-охотник сверху надевает шубу, покрытую холстом (а в морозы — малицу из оленьей шкуры), берет лук и на оленьих лыжах идет на охоту, развесив на себе разные припасы, таща за собою длинный «норт». Такова обстановка зырянина и зырянки в старые времена.

Из домашнего скота у них были лошади, овцы, коровы. Лошади маленькие, быстрые, похожие на чухонских и черемисских; коровы комолые, «зырянки», овцы маленькие, свиней не было. Слово «порсь» — название свиньи от рус-

ского слова поросенок. (Алквист такого же мнения).

В избах вместо окон были маленькие отверстия в стене на разных высотах от поверхности земли, вместо стекол в них «рушку» — рубец коровы. Во второй половине жилой комнаты в «кум» хранились земледельческие орудия: серп (чарла), косы не было, соха (гёр), борона (пиня); охотничьи принадлежности, рыболовные снаряды: «кулём», «ботан», «азьлас». «Кулём» и «ботан» — сети, «азьлас» — особый снаряд для ловли рыб ночью, когда они спят под водою. Азьласом прокалывают рыб и вытаскивают их из воды в лодку. В «кум» же хранились и праздничные одежды.

Несколько только что описанных зырянских избушек составляли деревню, которую охраняли верные друзья зырянина — охотничьи собаки особой северо-финской породы.

Около избушек стояли бани, овины чрезвычайно простого устройства с каменками из песчаников. В бане, читая заговоры, зырянин вылечивался от всех болезней. Возвращался оттуда, испытав невыносимый жар от раскаленных камней, в свою избушку без шапки, босиком по глубокому снегу, без верхней одежды, посматривая на небо, чтобы по звездам угадать и время ночи, и завтрашнюю погоду.

Кроме маленьких деревушек, у зырян были там и сям большие села, и около них кумирницы, полные медных и деревянных богов — леса, воды, огня и т. д. Были священные березы, всегда украшенные шкурами зверей. Деревни и села строились по берегам рек. Они были окружены дремучими лесами. В летнее время около ручьев в лесах желтели ячменные поля на «новах» (подсечная система), на полянах паслись комолые коровы зырян и маленькие их лошадки, окруженные кострами, дым которых защищал их от овода, а собаки одни хранили скот от диких зверей.

Но кроме этих, земных, существ, зырян окружали невидимые духи — боги, которые играли чрезвычайную роль в их жизни. Небесный свод, украшенный звездами, был местом обитания бога «Ен». Значит, «Ен» — небо, так думать можно потому, что вотское слово «ин» обозначает небо; «и» и «е» — звуки, заменяющие друг друга в зырянском и вотском языках. Это замечание интересно в том отношении, что западные финны не имеют слово небо, которое у них заменяется заимствованным от арийцев словом *taivas*. На небе же жили солнце и луна — боги — и бык небесный — радуга (бшка-мбшка); но эти боги были дале-

ки от людей; более близкими из них были «вӱрса», лесной хозяин, его жена — «ёма», его дети, медведь — «ош», бог реки — «васа». Этим близким богам приносились жертвы. Религия зырян, конечно, очень интересна, но о ней я не говорю здесь подробно, так как пытался уже восстановить ее в статье «Языческое мировоззрение зырян». Однако в этнологии зырян уместно вспомнить о своеобразном их учении об «орт» — двойнике человека. Мужики из Шойнаты рассказывали мне, что, когда человек приходит в гости, за ним приходит его «орт» — тень, двойник, такой же, как он, в такой же одежде, как тот человек. Когда человек умрет; «орт» еще продолжает жить. Отец рассказчика умер, но люди видели его сидящим на мосту в синем сукне, на двойнике видели ту же белую шляпу, тот же пестрый кушак, что он носил всегда.

Зыряне-мужчины проводили все свои дни на охоте. Женщины занимались дома хозяйством — пряжей и тканьем. Они вели разговор о своих соседках, о колдуньях и т. п. В их словах сквозит недоверие к соседкам, мистическое отношение к их словам, боязнь порчи и прочего. «Моя соседка, — скажет одна из беседующих, — вчера, встретившись со мною, спрашивает, где дорога в село Гам; разве она не знает дороги? Я смолчала; надо было бы ответить: Енкерэсэ, дорога там, на божьих холмах. Тогда она поняла бы и оставила свои злые замыслы».

В праздничные дни в честь богов зыряне на лыжах отправлялись в гости верст за 100, за 200 и пили с друзьями «сур» (пиво) и ели ячменный хлеб и пироги из ячменного теста, и шаньги (лепешки, покрытые сметаной — чисто финского происхождения). Летом они в маленьких лодочках с шестами в руках отправлялись по реке на ярмарки. Упираясь шестами в песчаное дно реки, они плыли вверх и вниз, равно быстро достигали назначенного сборного места, где после общих молений языческим богам (после XIV в. — христианским угодникам) приступали к торговле.

Такова была культура зырян уже в историческое время, до которого может нас привести тщательное изучение собственных зырянских названий вещей материальной культуры, и заимствования слов от русских, хотя уже измененных по законам перехода звуков русского языка в звуки зырянского, а также и сопоставление культур самых глухих зырянских мест по рр. Выми, Вишере, Пожег, Локчим и т. д. с образом жизни соседей зырян — вотяков, самоедов, остяков. (Занимаясь восстановлением хотя бы от-

дельных штрихов картины прошлой жизни зырян, я имел перед собою результаты, к каким пришел известный финнолог Алквист, написавший книгу о древней культуре финнов. Но он, как мне кажется, говорит о культуре вообще финнов и притом во времена, предшествовавшие появлению русских в области Волги и Западной Двины. С точки же зрения психологии народа небезынтересно знать его культуру уже в исторические времена, считая эту культуру за фактор, созидающий психику племени. Поэтому, исследовавши быт зырян самых глухих мест Вологодской губернии, я пытался здесь описать культуру зырян уже поисторическую, сравнительно недавнюю, возникшую на общефинской почве, но развивавшуюся уже в характеристические формы частного зырянского образа жизни. Анализ слов — названий предметов домашнего и хозяйственного обихода — был для меня дополнительным методом к этнографическим приемам исследования).

Теперь можно бы перейти к тому, какую тенденцию могла иметь в психологии народа древняя культура зырян, но появляется еще вопрос: одна ли была культура в области Вычегды и ее притоков? Не было ли там народа, живущего рядом с зырянами, и не влиял ли этот народ в умственном и материальном отношении на зырян? Следующие факты и соображения позволяют ставить этот вопрос. Все зыряне говорят, что недалеко от Вишеры, от Эжола, около Кибры (в 20-ти верстах от Устюга) имеются древние чудские поля под сосновыми лесами, борозды их заметны весьма ярко. Около Вишеры — холм Кармыльк, там был найден железный топорик и еще кое-что; около Шойнаты указывают на «чудская гумна», около Эжола — на чудские могилы и поля. Народ говорит, что чудь сама себя хоронила в землю, не желая принять христианство. Она рыла огромные ямы в земле, наверху их устраивала деревянную крышу, заваленную землею (у Алквиста есть указание, что подобные ямы служили для жилья в зимние морозы). Деревянная крыша устраивалась на одном столбе. Народная легенда утверждает, что чудь спускалась в подобные ямы, перерубая изнутри поддерживавшие крыши столбы, и там встречала смерть от обрушившейся тяжести. Смерть была им слаще, чем христианство.

Чудские поля по обширности превосходят пространство нынешних земельных угодий. С другой стороны, старики говорят, что рост населения идет быстро, что где раньше были отдельные дома, там теперь деревни, что даже при их жизни возникли новые поселки и деревни (Визябож).

Как же согласовать большой район прежних чудских полей, принимая их за зырянские, с малочисленностью прежнего населения, которое, несмотря на довольно быстрый, по мнению стариков, рост, и теперь занимает пространство, не большее района чудских полей. Подсечной системой и ошибочностью мнения стариков можно кое-что объяснить, но необходимо все-таки допустить и передвижение населения, раз возникают новые села (Вильгорт) и деревни. Есть, впрочем, и еще соображения. Названия рек не все объяснимы из зырянских корней, например, Вымь — по-зырянски Емва, т. е. вода племени Емь; а Емь — племя западно-финское. Название речек в западной части Яренского уезда не совсем зырянского происхождения: Дильмеж, Мадмас, Кижмола, Яреньга (слова Пинега, Онега, Юг, по мнению Веске, западно-финского корня). Некоторые имена рек в Яренском уезде чисто зырянские: Керкаош, Урбаш, Чорва. Так как по Северной Двине жили западные финны — Ярокурье, Удима, Ускорье, Кивокурье, Тойма, Пиянда, Пинега, Уйма и т. д., — то возможно допустить, что в Яренском уезде, местности зырян, жили колонисты западных финнов, оставившие свои названия рекам и местечкам в этом уезде. Присоединим сюда еще два соображения. Камская земля (около Чердыни) по-зырянски Комму (коми — зырянин, му — земля); как будто Чердынь и Пермь — родина зырян. Второе. Языки вотский и зырянский — два наречия одного финского языка пермской группы. Вотяки живут в Вятской губернии, пермяки — по Каме, поэтому нет ничего нелепого в допущении, что до VI—IX вв. зыряне жили в области Камы, а область Вычегды была занята западно-финскими колонистами. Впоследствии, с падением Двинской земли, колонисты западные финны (чудь) ушли на запад или погибли в борьбе с русскими, а зыряне перешли с Камы на их место, в область Вычегды, может быть, кое-что заимствовав от уходящих финнов для поднятия своего материального благосостояния. Если это так, то вопрос о древней культуре усложняется необходимостью еще знать двинскую культуру западных финнов. К сожалению, допущения эти не могут выйти из области предположений. Что же действительно известно, так это то, что с XIV в. зыряне жили уже в области Вычегды, стоя на той ступени культуры, которую пытались мы нарисовать выше. Об этом мы знаем из жития св. Стефана, епископа Пермского, написанного Епифанием Мудрым со слов этого апостола зырян.

Таким образом, оставив гипотезы, можем констатиро-

вать, что та низкая ступень культуры, которая изображена в этой главе, являлась фактором, действующим непрерывно на психику зырян, по крайней мере, в течение пяти или шести столетий, а такой фактор достоин исследования.

Изолированная жизнь зырян в маленьких деревнях, состоящих из двух-трех избышек среди дремучих лесов, действовала постоянно в том смысле, что социальным инстинктам не было возможности исторически развиваться. Никакой общественной жизни, не говоря уже о политической, не было у зырян. Никакой организации, никаких войн, никаких воинов-героев, вследствие этого никаких богатырских былин, какие имеются даже у остяков. Зыряне — охотники, отчасти земледельцы, и более ничего. Они жили отдельно друг от друга в сосновых избышках, читая заговоры и молясь лесным богам. Редки бывали у них собрания в кумирницах, около священных деревьев для общей молитвы по зову кудесников или тунов.

Следствие этой лесной жизни при мистическом недоверии друг к другу, при постоянных сношениях с тайнами природы и с бродящими по лесам богами, ярко отмечены историей. Читая летописи, житие св. Стефана, вы нигде не увидите, чтобы зыряне против кого-либо составляли войско, на кого-либо нападали, недовольные чем-либо, волновались, как это делали черемисы, робкие вотяки, у которых есть поэмы и богатыри, немногочисленные вогулы, у которых были князья. В летописях мы читаем нечто обратное. Новгородцы грабят зырян, на последних нападают вятчане (XIV в.), на зырян же идут с востока вогулы со своим князем Асыки; новгородцев на обратном пути бьют устюжане, против вогулов выходит чуть ли не один св. Стефан, епископ зырянский, а о зырянах ни слуху ни духу, они, эти меткие стрелки, смелые люди совершенно ничтожны в гражданственном отношении. Ни общих протестов, ни богатырских песен, которые возможны лишь при военных столкновениях народа, — ничего этого нет. У робких вотяков, физически более слабых, чем зыряне, были большие войны с новгородскими выходцами до основания города Вятки и после; у вотяков поэтому имеются сказания о богатырях, и это потому, что вотяки жили общественной жизнью в больших селениях и в городах. Зыряне же во все время истории читали заговоры, охотничали, творили чары сосед над соседом, деревня против деревни; у них не было городов, не было князей. Это неразвитие социальной жизни было, мне думается, отчасти причиной и того, что язычество зырян так скоро уступило

христианству, тогда как вотяки до сих пор не забыли начал своего язычества; они и теперь в лесах целыми обществами молятся своим богам. То же самое можно сказать о черемисах. Для психолога-этнографа разъяснить интересно: эта гражданственная незрелость, отсутствие общественных понятий и привычек имеют ли место и в нынешнем быту зырян?

Да, имеет, несмотря на то, что русские более чем два столетия вводят в быт зырян свои административные и общественные порядки. Зырянская местность разделена на волости, сельские общества с выборными порядками, с волостными и сельскими сходами, со старшинами и старостами. Не углубляясь особенно в жизнь зырян, можно заметить, как социальная неразвитость, индивидуальная изолированность красною нитью проходят в теперешней общественной жизни их.

Не говоря уже о том, что у зырян нет никакого самосознания, никакого стремления записать и сохранить памятники народной словесности, в общественной жизни их нет ничего стойкого, определенного. Плутводство волостных властей (старшины, судей) — дело обычное; легкомыслие и неморальность волостных и сельских сходов, делающих все «на вино» — явления самые распространенные. Зависть и злоба соседа к соседу, бедного к богатому, суровые расправы между собою, злоба молодых против старых, столкновения между деревнями, вражда охотников одной речной системы с охотниками другой — вот на какие категории явлений наталкивается этнограф. Семейные привязанности тоже не велики. Сын, женившись, никогда не живет со своим отцом, а строит себе отдельный домик, заводит отдельное хозяйство. Обращение детей и внуков с беспомощными стариками самое жестокое. Ежечасно приводится одна и та же мысль: «Неработающий не должен есть».

Малое развитие социальных отношений связано с малым развитием морали. Индивидуальная изолированность и эгоизм тоже совместные явления. Взаимопомощь у зырян мало развита. Хотя у них и есть так называемые «помочи», но, как указывает и самое слово, это едва ли не заимствованный от русских обычай. Как древняя культура действовала на развитие языческого мистицизма, мы уже говорили об этом в главе об охоте и о влиянии природы на человека. Здесь подчеркнули мы самое главное — неразвитость морально-социальной жизни у зырян, совершенное отсутствие на всем протя-

жении истории политической жизни, что объясняется из их охотничьей культуры, из географической рассеянности по маленьким деревушкам, по берегам больших рек, среди дремучих лесов севера. Эта социально-моральная неразвитость есть в свою очередь чрезвычайно сильный фактор в психической жизни народа. Он обнаруживается в общественном неустройстве зырян, в их семейной жестокости, во враждебном и недоверчивом отношении друг к другу крестьян одного и того же села и деревни. Это выражается еще и в чрезвычайном равнодушии зырян, читающих русские и славянские книги, к книгам, написанным по-зырянски, в совершенном отсутствии письменного самосознания, в робости и непривычности к деятельности общественного характера, в чрезвычайной любви в изолированной жизни, неспособности к большим торговым оборотам, в неумении занять в русских областях положение равное русским. Везде проглядывает робость, неумение ориентироваться в общественных отношениях, неспособность, при чрезвычайном терпении и выносливости, стать в полезное равенство с более развитыми в гражданственном отношении русскими.

Однако такому антиобщественному влиянию образа жизни древних зырян на их психику всегда противодействовал в значительной степени один психо-физический фактор, о котором мы скажем в следующей главе.

Глава IV

Четвертый фактор психического развития — соматические свойства народа: а) физический тип зырян. Антропологические (соматические) особенности их; б) психические свойства как результат этих особенностей: темперамент, характер, особенности ума и чувства. Понятие расы. Общий вывод.

Каждый из нас, читая о татарах, славянах, финнах, думает, что расы и племена резко отличаются друг от друга физически и, путешествуя между разными племенами, бывает недоволен, что в сущности люди разных племен по внешнему виду и внутреннему психическому складу мало отличаются друг от друга. Всякий народ, всякое племя имеет самых разнообразных своих представителей. Племена отличаются одно от другого более системой жизни, сложившейся исторически, природой местнос-

ти, мировоззрением, чем физическими свойствами. Во всем крупном, бросающемся в глаза, в основных свойствах души разные племена и расы одинаковы. Философ-путешественник может быть утомлен однообразием явлений жизни и духа. Различие же чаще в колорите жизни, в сочетании красок и костюмов, и пейзажей, в своеобразии религии и поэзии (чаще в формах и образах, чем в существе), отчасти в обычаях и учреждениях.

Но такое мнение о племенах складывается у этнограф-любителя не без внутреннего протеста и только постепенно. Сначала же он ищет резких отличий одной расы от другой и в первое время находит их. Так относительно зырян разные наблюдатели разное находят. Они говорят, что зыряне — смуглый народ с черными волосами, потому что они урало-алтайского племени; другие — что он с рыжими волосами, потому что финского племени. Клавдий Попов в книге о зырянах приводит мнение г. Куратова, который полагает, что зыряне — народ, состоящий из двух типов: черноволосых, безбородых и русоволосых с большими бородами. Первые, по его мнению, урало-алтайского племени, а вторые — помесь славянской и финской рас.

К сожалению для тех, кто ищет ярких признаков племен, зыряне мало отличаются по внешнему типу от русских, так как черемисы и чуваша. В таких случаях больше работает воображение и желание найти искомое. Отличия племени невелики и мало уловимы. При всем желании только два-три признака, и то колеблющихся, можно указать, которыми сколько-нибудь отличается зырянин от русского внешним образом. Во-первых, черных и чисто рыжих нет или совсем мало; двойственности типа не видно. Преобладающий тип — среднего роста, широкоплечий зырянин с серыми небольшими глазами, несколько выдающимися скулами, с русыми волосами и рыжеватой бородкой. Это ловкие, крепкие люди, подвижные, работающие. Вот все, что можно сказать о внешнем виде. К такому заключению привело меня чуть не поголовное изучение всех зырян по следам и деревням. А женщины еще менее отличаются по виду от русских женщин, разве только ростом вообще ниже. Разница в особенности мировоззрения, в характере, в чувствах — это другое дело. Разница в порядке жизни. Мир психический разнообразнее мира физического.

Я видел чуваш, черемис. Если бы не их костюмы и не язык, как отличить, что они не русские? Поэтому в предстоящей главе я хотел бы говорить не о внешнем виде, а

о том, о чем говорил Шопенгауэр в таком приблизительно выражении: смотрите на человека, на его походку, на движение рук и ног, даровитый человек походит на арфу, он строен в физической организации... Я хочу сказать о таких физических свойствах племени, которые влияют на его дух. Таких физических особенностей, я думаю, три главные: размеры тела, мускулатура и форма черепа. Сравните вы малорусского крестьянина с зырянином. Первый высок ростом и отличается медленными движениями; зырянин мал ростом (средний их рост ниже среднего русского центральных губерний), подвижен, и это очень важное свойство. Сравните татар-носильщиков на пристанях с зырянами. Первые отличаются большим объемом тела и крупными членами, они тяжелы и неповоротливы; зыряне имеют малый объем и подвижны, они легки и мускулисты. И это в психическом отношении опять очень важно. Зыряне сами сознают свои отличия. Они говорят, что зыряне — народ малорослый, но удалый, русские крупны, но не удалы. Старик из Шойнаты мне рассказывал, как он, будучи мал ростом, побеждал в борьбе крупных русских, и это так его увлекало, что рассказывая, он готов был вступить со мною в схватку, хотя ему уже 79 лет. Ижемцы — народ самый удалый, по мнению крестьян, двинский народ — самый высокий и сильный, вятчане — неповоротливы. Самоеды малы, но отличаются сильными руками, которые у них развиваются от бросания арканов. Вообще же говорят зыряне, что по верховьям рек народ мельче, по низовьям больше. Измерения (антропологические) показывают, что средний рост зырян около 168,6 сант., а у русских не меньше 172,0; средний рост зырянки около 156,0 сант., а русской 160,0. Средний вес зырянина около 4 пуд.; он поднимает с земли 4—5 пуд., а татарин несет на спине десятки пудов.

Прежде чем перейти к разбору свойств черепа, скажем, какие последствия могут иметь в психологии народа эти малые размеры тела, отличающегося ловкостью и крепостью мышц. Я видел толпы малороссов мирно сидящих на траве около белой хатки и пьющих горилку, видел таких пирующих зырян — этот подвижный, мятежный народ. Они говорят, борются, хвастают, ни на минуту не ведая покоя. Под влиянием паров алкоголя большинство зырян имеет легкий характер, часто буйный. Почему зыряне вообще мало уравновешенны, и малейший груз делает их неуравновешенными? У человека на крайнем севере, где мало солнечного света, мало развиты центры са-

мообладания: он живет хотениями, рефлексами, инстинктами, между которыми нет согласия. Мысль о наживе — единственно контролирующая. Ослабнет она — человек валится в бездну отдельных центров нервной системы. Мне кажется, зыряне народ более вспыльчивый, чем русские. Он самолюбно горячится в спорах, готовый на дерзости, он неудержимо старается во что бы то ни стало победить в споре противника, потому что знать, понимать для него — важное дело, а главное потому, что аффекты его всегда сильнее его рассудка. Зырянин думает, что все умеет делать. Когда я раскрыл географическую карту, хозяин из Шойнаты быстро сказал мне, что он все понимает по карте (на самом деле, конечно, не так).

Можно думать, эти свойства — быстрота возбуждения, быстрота реакции, неудержимость — в некоторой степени результаты телесной организации: подвижной мускулатуры при небольшом объеме тела. Некоторые аффекты у зырян как будто ярче и сильнее выражаются, чем у русских, это показывает даже филология. Например, для выражения удивления у них множество сильных выражений — «аттõ зонмõ», «аттõ дивõ», «эка паре», «господи помилуй», «сё Христосõй» и т. д. (Вообще речь зырян быстрая, с сильными ударениями на слогах при выразительной мимике и жестикуляции, но бывают редкие случаи чрезвычайно медленной речи). Ловкий в движениях, подвижный, энергичный зырянин несомненно отличается щегольством, хвастливостью, смелостью в физических начинаниях, самоуверенностью. Для него расстояния и трудности не существуют. В примере того, до чего зыряне подвижны, скажу, что на любом пароходе, идущем по Вычегде, спросите вы их, куда они едут, и вы услышите, что эта баба с сыном возвращается из Киева, где была по обету. Вон те молодцы — один из Архангельска, где служил в торговой конторе, другой из Ирбита, где он арендует землю, вон два солдата из Владивостока и т. д. Затем из разговора вы слышите: «Здесь, на заводе», «У нас на заводе». Вы спрашиваете, где их завод. — «Да здесь, Кутимский». Оказывается, они говорят о Пермской губернии и ее заводах и таким тоном, как будто это в пяти верстах (на самом деле 500 верст и более).

Мы говорили о влиянии сравнительно малого объема тела с сильной мускулатурой на психику, быстром его реагировании на явления внешнего мира, о том также, что сильная мускулатура и быстрое реагирование на внешние события порождают отважность в человеке с одной

стороны, с другой — неумение скрывать свои чувства и настроения, одним словом, о влиянии тела на волю. Теперь остается сказать о значении этих же физических свойств в развитии ума и эстетического чувства, которые играют большую роль в общественной и домашней жизни.

Свойства быстро реагировать на явления внешнего мира, содействуя быстрой перемене настроений, обуславливает также быстрое течение мыслей, быстроту сообразительности. В голове зырянина действительно кипит всегда много разных проектов, зато редко можно встретить между ними глубоких людей.

Относительно эстетики мне кажется, что быстро соображающие люди со скорою сменой аффектов более способны к музыке, чем к изобразительным искусствам. В звуках инструмента легче и быстрее можно выразить свои чувства, тогда как художественные образы создаются не скоро во времени, и быстрота смены настроений может вредить их цельности, как рябь воды на озере искажает образы деревьев, отражающихся в нем.

Теперь, говоря о третьем важном антропологическом свойстве — о геометрической форме черепа, — я должен заметить, что из моих наблюдений приходится сделать заключение. Длинноголовность (долихокефалия) более благоприятствует последовательности, предприимчивости в промышленных и торговых делах, чем иные формы головы. Ясно очерченный, невыпуклый лоб, граничащий прямыми углами от остальных частей головы, более благоприятствует высокому и тонкому интеллекту, тогда как круглая голова с тупыми углами лба — говорит о низших свойствах души. С тенденцией к долихокефалии встречается несколько процентов между зырянами, большинство же их имеют головы с индексом 80 и 82. Судя о величине головы в пропорции с ростом, нужно сказать, что размеры головы у зырян не уступают русским.

Таким образом антропологические особенности зырян таковы, что народ этот должен быть средне-предприимчивым, легко предающимся аффектам, увлекающимся, быстро сообразительным, способным более к музыке, чем изобразительным искусствам. Эти люди горячего темперамента, быстро реагирующие на внешние события, и думается мне, что эти антропологические (психо-физические) особенности наиболее характеризуют расу урало-алтайскую. Вопреки мнению многих, что мистицизм зырян, их суровость, любовь к язычеству есть расовое свойство, полагаю, что не этим отличается раса. Мистицизм, отсутствие

песен — это дело природы местности и истории, т. е. свойства бытовые, а вот темперамент — расовое. Не в уме и чувствах мы должны искать племенных отличий, а в физиологии, в быстроте движения крови. Правда, психических разностей больше между народами, чем физических, мир психический разнообразнее мира телесного, но душевные особенности более или менее можно объяснить колоритом местности, историей и бытом народа, а психо-физиологические качества труднее изменяются. Мистицизм, отсутствие песен легко могут измениться, исчезнуть, но темперамент, большая или меньшая быстрота реагирования на явления внешнего мира, объем тела, мускульность — это более простые явления и более упорны в своем постоянстве. Зыряне мне кажутся более юными, чем малороссы или русские; первые как бы юноши, а малороссы, татары возмужалые люди, и является вопрос, не есть ли раса ступень в эволюции человека? Разные племена остановились на разных ступенях биологического развития, и получились расы, отличающиеся одна от другой не столько цветом волос и глаз, чертами лица и т. п., а большим или меньшим объемом тела, с сильной или слабой мускулатурой, той или иной формой черепа и, в связи с этим, горячим или холодным темпераментом, энергичным или слабым реагированием на внешние возбуждения, степенью развития задерживающих центров нервной системы. Более же сложные психические особенности можно отнести к разряду бытовых и исторических явлений.

Указанные антропологические особенности зырян имеют ту же тенденцию, что и природа местности и охота: они способствуют развитию космополитизма, это с одной стороны, а с другой — способствуют уничтожению характерных признаков племени. В заключение главы нужно сказать, что четвертый фактор, описанный здесь, ослабляет, по нашему мнению, действие третьего, т. е. влияние на зырян их древней культуры. Телесные свойства зырян таковы, что они делают их народом подвижным, хвастливым, самоуверенным и, следовательно, в некоторой степени общительным, стремящимся на арену общественной деятельности, чтобы все видели его дарования и умелое применение их, тогда как древняя культура развивала в своих сынах замкнутость, недоверие и неуважение к другим, нелюбовь ко всяким общим начинаниям. В силу этого этнограф может заметить некоторую двойственность в душе зырянина; то он очень доверчив и наивен с вами, считает вас своим другом, готов помогать вам в вашем де-

ле, то, при малейшем поводе, становится замкнутым, угрюмым и молчаливым. Землемеры, которым приходилось иметь много дела с крестьянами, рассказывали мне, что зыряне больших сел и глухих местностей — два разных народа. Первые хитры, недоверчивы, скупы и т. п. Вторые — жители глухих мест — просты, наивны, гостеприимны, доброжелательны. Так одна крайность переходит в другую у людей, в душе которых двойственность развита природой и жизнью.

Для полноты этнологического понимания племени нам необходимо еще рассмотреть культурное и промышленное влияние соседей.

Глава V

Культурное влияние соседей — пятый фактор психической жизни народа: а) влияние материальной культуры — в земледелии, охоте, ремеслах; б) сходство обычаев и нравов зырян с обычаями и нравами XVI и XVII вв. Московской Руси; в) отношение к русским, к правительству; Балин и Кузь Исак; г) взгляд народа на Сибирь и ее притягательная сила.

Путешествуя по Вычегде и ее притокам, вы видите села на высоких холмах с белыми церквями. В селах двухэтажные дома с светлыми горницами, нередко обшитые тесом и окрашенные в разные краски. Крыши на них чаще сельские, двухгранные, но нередко и городского стиля, возвышаются четырехгранной пирамидой. Под влиянием русских зыряне забыли свои курные избы с «кумом» и «картой» и завели дома с белыми печами, с святилицами, с чердаками. Зырянский «гор» преобразился в русскую печь (пач) сначала без трубы (курная изба), а потом с трубой. Русское слово печь видоизменилось в «пач», слово горница — в «горничача», русское крыльцо — в «кильче» (плавный звук с согласным невозможен в зырянском языке: «кры» переходит в «ки»). Вместе с новыми предметами появились совершенно новые слова: взвод, амбар, житник (житница), потолок, чердак, стена и т. д. Замки, шарниры, выюки — все заимствовано от русских, как показывают слова: замэк, юшка, кольча (кольцо), запор; вообще все предметы домашней утвари, как показывает филология, взяты на русских. Слова: наберушка, чугуи, чашка, ухват, коколюка (чтоб избежать «кл», зыряне вставили

между «к» и «л», «о») — все русские или видоизмененные русские слова. Обратное, т. е. от зырян русскими заимствовано, насколько мне известно, мало слов, следовательно, мало и предметов. В Устюжском уезде употребляются между русскими зырянские слова: туес (туяс), лыжа (лызя), пимы (пима), малица (малича) и др.

Земледелие расширилось у зырян после знакомства с русскими. Кроме ячменя стали культивировать рожь, пшеницу (ржаной хлеб — «рудзѳг нянь»; слово «рудзѳг» напоминает *roggen* — тоже рожь). Появились новые приборы: коса — горбуша (литовки зыряне до сих пор не знают), телега для своза хлебов с полей на гумна, а для езды — одноколки, тарантасы, для зимней езды — повозки, розвальни («рѳзваль»). Жизнь расширилась в разных направлениях. — Кроме лесных дорог («туй») появились береговые тракты («мир-туй»). Изменились костюмы у зырян. Женщины стали носить шушуны, сарафаны, а в последнее время платья и кофты, мужчины узнали роч — кафтаны, шляпы, шапки, сапоги и т. д. Все от «роч» (русских) шло. Изменилась даже охота — стариннейшее занятие зырян. Вместо петель, силков, ловушек птиц («чбс») появились капканы, вместо луков, самострелов — настоящие ружья. Усовершенствовались лесные охотничьи избушки, превратившись из простой бани в домики без окон, но с трубой (а в последнее время и с окнами). К прежним рыболовным снарядам прибавился вельдь. Появились ремесла — сапожное, плотничье, столярное, и, к слову сказать, между зырянами встречаются очень искусные столяры и резчики. Развивалось кузнечное дело. Хотя финны славились как кузнецы, но относительно зырян сомнительно, чтобы у них были кузницы, потому что слова «кузница», «мѳлѳт», наковальня, горн, мех — все русские слова. Этот дикий народ не знал, вероятно, кузнечного дела и научился ему от русских; хотя слово ковать («дорны») — зырянское, но однако этого слова слишком недостаточно для предположения, что у них было правильное кузнечное дело. Есть основания думать, что они умели лить, отливать металлические вещи: по крайней мере есть название формы, которая нужна для литья, — слово «лу».

Вот только сейчас сказанное относительно кузнечного дела нужно считать однако лишь вероятным, ибо одного филологического анализа, конечно, недостаточно для решения вопроса. Относительно древних музыкальных инструментов у зырян почти ничего нельзя сказать, хотя есть

слово «тулулу» (свистулька) и «гудок» (гармоника). Второе слово — «гудок», — вероятно, заимствованное от русского слова гуды, самогуды. «Тулулу» намекает на возможность существования у зырян чего-то вроде свистулек, свирелей. Теперешние инструменты: бандура, скрипка, гармонь (гармоника) — заимствованы. Любовь народа к гармонике чрезвычайно велика: почти в каждом селе имеется мастер этого инструмента.

Не только нынешняя материальная культура зырян — отражение русской, теперешние обычаи и нравы их во многом напоминают русскую старину. Читая «Историю русской культуры» Милюкова, именно о XVII в., я почувствовал, что читаю о нравах и обычаях зырян. Изучите их религиозные понятия, отношение к угодникам, их обряды религиозные, где во всем вы видите смешение христианства с язычеством, их праздники, их девичьи хороводы, поющие русские песни на старый лад, их суеверия, святочные гадания и т. п., и все это напомнит XVI и XVII века Московской Руси. Есть доля правды, мне кажется, в том, что, путешествуя по окраинам России, мы можем наглядно изучать все века истории, мысленно вычитая племенные и климатические особенности, характер жизни той или другой местности. Нужно думать, что история не только во времени, но и в пространстве расположена концентрическими кругами. Не говоря о том, что у зырян гадания в зимний солнцеворот почти такие же, как и у русских (с небольшими вариациями), весенние праздники напоминают цикл праздника весеннего солнцестояния; что у них сохранились имена языческих славянских богов, например, «чур». («Чур-ти буди» — выражение, хранящее человека от порчи); что заговоры зырян часто те же, что и у русских (хотя все это можно объяснить и без заимствования или при очень малом заимствовании, если допустим сходство в некоторых отношениях зырянского и русского язычества, все же на факт сходства нельзя не указать).

Я обращаю внимание на впечатление, испытываемое этнографом в зырянской деревне во время какого-нибудь летнего праздника. Крестьяне, старые и молодые, пьют пиво, гуляют по деревне в русских кафтанах, девушки в красных сарафанах составляют хороводы, поют русские песни с припевами — «ой люли, ой люли да» и т. д., поют такие песни, где встречается слово «буй-тур». Бродя между двухэтажными домами с раскрашенными карнизами, с высокими крытыми крыльцами, разве не почувствует

русский наблюдатель, что он в XVI в. где-нибудь в деревне Московской Руси?

За неимением места подробно исследовать, что именно чисто зырянского в разных обычаях и обрядах, в гаданиях, в празднествах, что именно заимствовано от русских, а только констатируя факт вообще заимствования от русских не только в области материальной культуры, но и в сфере бытовой, религиозно-бытовой, мы зададим себе вопрос, имеющий для нас значение: какое имело влияние на психику народа то обстоятельство, что вместе с христианством с новгородскими и устюжскими колониями в Пермский край пришли и разные предметы домашней утвари и хозяйства, новые формы одежды, новые обряды и обычаи? Это обстоятельство имело два последствия: 1) удивление и благоговение зырян пред всем русским и подражание ему; 2) влечение в южные местности, к русским, в привольную Сибирь, где «так все хорошо и умно, и богато». На каждом шагу чувствуется «это» удивление русскому. Но как описать это чувство — удивление — и действие его на ум и характер? Самое лучшее — прислушаться к тому, что говорит народ. Вот крестьянин из дер. Визябож смотрит внимательно на фотографический аппарат и спрашивает, что это такое? Выслушав ваш ответ, он восклицает: «И чего-чего не придумает русский!» Дальше он беседует с вами о городах на Руси. «Красивы города, красив Питер, какая музыка там! Ног не чувствуешь под собою, слушая ее». Далее он вспоминает Петра I: «И был же человек! Господи помилуй!» Подобных вопросов, восклицаний много можно наслушаться, если у исследователя есть желание говорить с зырянами о русских и «чудесах». Факт удивления и благоговения пред русским легко констатировать. Еще очевиднее, какое действие производит этот аффект на ум и волю. При малейшей возможности зырянин старается построить дом, как у русских, одеться в их костюм, а уменье говорить по-русски он ставит так высоко, что владеющего этим искусством называют «кыла морт», т. е. человек с речью, с языком, для которого все открыто — книги, законы, суды и т. п. О политических событиях и войнах русских с другими народами зырянин рассказывает с восторгом. Вот мужичок из Ыджыдвидз вспоминает севастопольскую войну. «Да, три миллиона было войска; полтора положили голову; девять миллионов семейств осталось. Каждому семейству по 500 рублей дано. На память крепость не починяли — сражение было очень велико. Если бы вовсе не почини-

ли, французу дорого бы пришлось. Но царь укрепил: подати увеличились; иначе все стало бы открыто».

Уважая культуру, народ относится с доверием к начальству, особенно к высшему: «Чем выше, тем больше правды». В пример тому, как полезно подчиняться начальству и как губительно не подчиняться, отцы рассказывают своим детям об ижемцах и устькуломцах. Для доказательства любви Белого Царя к зырянам рассказывается история Кузь Исака. Эти краткие рассказы описывают нам чувства зырянина к правительству и царю, от которого исходит так восхищающая их культура.

При императоре Николае I принуждали ижемцев (зырян печорских) строить мост через Мезень. Они отказались. Когда губернатор через исправника принуждал подписываться в бумаге, которою они обязывались построить мост, ижемцы подписывались, исполняя волю начальства, но затем подавали прошение выше, что мост строить они не могут. Дело дошло до того, что Архангельский губернатор послал войско с пушкой; ижемцы послали ходока к самому царю. Царь, узнавши о происходящем, велел пушку остановить в том месте, где ее застанут, за 100 верст от ижемцев она была задержана (и там до сих пор остается). Царь послал в Ижму чиновника. Тот, прибывши, велел всем ижемцам собраться на следующий день и отправиться на постройку моста. Ижемцы на другой день явились тысячами, на лошадях и пешие с топорами, с пилами, готовые идти на работу. Чиновник, увидавши такую покорность, сказал им: идите по домам, вам не нужно моста строить.

Устькуломцы (вычегодские зыряне) волновались в ту же пору относительно «вотчины». Они били начальство: исправника, губернатора. Пришло войско, вызвали их на реку, на лед и всех пересекли розгами. Так было наказано неповиновение начальству.

Дела ижемцев и устькуломцев вел Балин, крестьянин из Шожыма. Ижемцы его слушали, а устькуломцы нет. Слава Балина очень велика в народе. Про умного человека говорят: «Ты как Балин».

Ижемец Кузь Исак был у императора Александра II, привез ему подарки: малицу, пимы, 10 оленей, а от царя получил в подарок золотые часы. Кузь Исак останавливался с юртами на р. Неве, но огонь развести ему было запрещено. По повелению царя, он на возвратном пути на каждой станции подписывался: «Здесь проехал благополучно Кузь Исак». Так делал он потому, что у него бы-

ло много врагов. Был он в дружбе с царем и видел его еще два раза.

Слушая подобные рассказы из уст народа, вы убеждаетесь, как относится зырянин к русскому, какие чувства питает он к Белому царю.

Второе следствие культурного влияния русских — это влечение зырянина в «широкие места, на юг и на восток». На запад его мало тянет. Он стремится «в привольную, хлебородную, с хорошими лугами Сибирь». Под Сибирью зырянин понимает Вятскую губернию, Пермскую, Тобольскую. Молодые девушки сотнями отправляются в Вятку, чтобы нажить приданое, поучиться русскому языку, усвоить лучший образ жизни и затем, вернувшись на родину с удовлетворенною любознательностью, разумно выйти замуж. Молодые люди отправляются в Пермь, Кунгур и далее, чтобы найти новые пути жизни, посмотреть «обширные места». Не только грамотные и ловкие, но и неграмотные и немудрые бегут в южные и восточные края, от Вятки до гор. Там, стараясь заняться на этом пространстве какими-либо промыслами или арендованием земли. Вернувшись, некоторые из них приносят новые знания в ремеслах, новые песни, мудрость жизни в новых сказках. Эти люди и солдаты — культуртрегеры зырян. Через них идет все русское, начиная с ремесел и одежды и кончая сказками.

Оба эти следствия влияния русской культуры — удивление и подражание ей и влечение на юг и восток — имеют тенденцию уничтожить расовые, климатические и исторические особенности в жизни зырян. Вопреки мнению Клавдия Попова, утверждавшего, что зыряне очень любят свою родину и домашний очаг, они с большою легкостью оставляют «родной угол» и довольно быстро забывают старину; в этом отношении вотяки и черемисы несравненно упорнее в своем языческом мировоззрении и старых обычаях, чем впечатлительные и подвижные зыряне.

Так пятый фактор психической жизни в союзе со вторым и четвертым (охота и соматические особенности) старается нивелировать жизнь зырянской окраины в противовес первому и третьему факторам душевного развития народа.

Глава VI

Шестой фактор, изменяющий психический склад народа — промышленность. а) старое и новое поколение; б) за-

водская промышленность в Пермской губернии и ее влияние; в) лесной промысел по отношению к земледелию и охоте.

Большая разница между дедами и внуками у зырян. Деды были звероловы, колдуны, мистики, певцы. Внуки — рабочие у лесопромышленников, дровосеки пермских заводов, в их душе мало мистицизма и совсем нет поэзии. Вино и гармоника — их услада. Материальное благосостояние — вот их идол. В их устах уж нет осмысленной старины, иная духовная пища насыщает их сердце — рассказы и песни заводского люда, солдатские анекдоты. Невольная грусть охватывает вас, когда смотрите на молодых людей, этих «внуков». Они одеты в пиджаки, брюки, калоши, их речь пестрит русскими словами. «Красоты» заводской жизни — табак, вино, дешевое щегольство весьма им милы и понятны. Они франты, они умны, они горды. Каждый из них думает завести себе двухэтажный дом и, если возможно, торговлю. Но вам становится грустно, и невольно вы спрашиваете: для чего эти молодые люди тут, в северных лесах, вдали от всего того, что им мило, от центров культуры и промышленности? Что общего между суровым климатом, дремучими лесами и этими молодыми щеголями? В старину зыряне были звероловами. Охота и ее поэзия, мистицизм — вот что связывало их с угрюмыми лесами, с снежными сугробами, с таинственными завываниями ветра. Их одежда, их тип, их сосновые избушки, все соответствовало румяному солнцу в суровые зимние дни, очарованным морозом лесам, полным диких зверей... А нынешние поколения? Для чего живут они на севере? Что в них северного? Гармония нарушена между человеком и природою, и не стало смысла его существования. Отчего все это так? Или люди, как и леса, их окружающие, выродились, измельчали? Есть причины, на которые можно указать, в силу которых леса и люди изменились. Волны, идущие от центра к окраинам, волны промышленности изменили жизнь на севере.

В прежние времена была некоторая промышленность на севере, но она была другого рода. Зыряне отправлялись зимою в Пермскую губернию и по рекам Чусовой и Каме, весной сплавляли железо с Уральских гор в приволжские местности, а сами возвращались на родину пешком через Вятскую губернию. Другие раннею весной поднимались вверх по Сыsole и Лузе, нагружали там барки вятским хлебом и сплавляли вниз по рр. Сыsole, Лузе,

Вычегде, Двине в Архангельский порт. Эти большие барки немало тогда удивляли народ. Целые толпы стояли на берегу, около деревень и с любопытством глядели на «белые большие лодки». Из Архангельска зыряне пешком с большими котомками на плечах возвращались домой. И в жизни народа никаких перемен не было. Земледелие, рыболовство, охота все же были главными занятиями. Старинные обычаи, обряды, песни, сказки — все незыблемо хранилось, как нечто священное. Теперь же только по р. Пожег главным образом занимаются охотой, в селе Эжол — исключительно земледелием и рыболовством, а остальные местности заняты сплавом леса и рубкой дров на заводах Пермской губернии (Богословском, Кутимском и др.). Приказчики лесопромышленников Архангельской губернии летом нанимают народ на рубку и сплав строевого леса. Сотнями и тысячами осенью, при первых морозах, идут зыряне в дремучие боры, указанные им «лесным начальством», продавшим лес промышленникам, и здесь всю зиму рубят и возят к берегам рек огромные сосны — красу страны. Труд в высшей степени тяжелый. Работа проходит по грудь в снежных сугробах; ночи проводятся в еловых шалашах у огня, сушатся и греются. Таким образом вся зима проходит вне дома, в тундре, отнимающем здоровье у человека. Другая часть зырян после полевых работ и осенней охоты в лодках отправляется вверх по Вычегде, по Екатерининскому каналу, мимо Чердыни, по Каме на пермские заводы. Здесь тоже в дремучем лесу они рубят дрова и пилят их для заводов. Жизнь опять проходит в лесу, в сосновых шалашах (без передней и задней стены), где постоянно горит огонь на очаге, или топится печь. Возвратившись отсюда весной, на лето нанимаются сплавать лес по рекам Выми, Вишере и т. д. к Ускорью. В заводских работах участвуют и девушки. Хороший работник наживает около 100 руб. от рубки леса, да от заводских дров 100—150 руб. Конечно, деньги это хорошие, и увлекающийся народ стал не так усерден к земледелию, забывает охоту, отвыкает от домашнего очага, разучивается говорить по-зырянски, грубеет в нравах от знакомства с заводской жизнью. Развилась любовь к алкоголю, не стало прежней верности дому и семье, с молодых лет стал народ страдать головными болями, грудными болезнями. Многие потеряли любовь к родине, уважение к старым обычаям, стали презирать медленные пути обогащения, каков, например, труд земледельца; в душе подрастающего поколения, воспитанного русским

заводским людом, не стало прежнего идеализма, развившегося в дремучих лесах под влиянием языческой мифологии и начал христианства. Народ стал материалист. Богатство и сила — вот его боги. Дома, окрашенные в разные цвета, красивые сани, телега с коробом, блестящая сбруя — вот что на уме у молодого крестьянина; он суров и беспощаден по отношению к отцу, он завистлив по отношению к соседям, он не покоен, религия мало его утешает.

Что будет далее с зырянами, когда у них поредеют леса, упадет охота, обмелеют реки, рыбы, напуганные парходом, уйдут в море, заводы и фабрики замедлят появиться в этих краях, что будет с ними, живущими вдали от правосудия и центров умственной жизни? Что тогда свяжет их с севером? Зачем жить человеку на Вычегде, где нет волшебных лесов, вдали от цивилизации, школ и дорог, отчего не жить ему в южной части Сибири, где теплее и лучше?

Заключение

Так пытались мы в кратких чертах показать аналитически, как шесть факторов влияли в одельности на психический склад народа, создавая в нем разные особенности религиозные и бытовые. Маленький народ, брошенный рукою судьбы в дремучие дебри севера, в страну, где лучи солнца падают под углом 30° , должен был вдали от цивилизации вести подвижную жизнь охотника. Живя в краю, где мало солнечного света, а также, может быть, по каким-нибудь неизвестным причинам, которые создают расовые отличия, зыряне, надо допустить, с самого начала истории были народом впечатлительным, экспансивным, со слабыми задерживающими центрами нервной системы и воли. Охотничья жизнь еще увеличивала их природную подвижность. Но жизнь охотника и земледельца, который сеет только ячмень, как это было у зырян в старые времена, и возделывает свои поля скороспешно, в краткое трехмесячное лето, такая жизнь, способствуя подвижности и предприимчивости, едва ли могла развивать стойкость и последовательность. Напротив, здесь получается такая картина, что человек некоторое время работал быстро и скоро, а затем продолжительно отдыхал или брался за другое дело. Предприимчивости последовательной ничто не развило в зырянах. Добавить к этому, что

древняя культура зырян поддерживала в них разобщенность, развивала неспособность к общим начинаниям, и мы поймем, почему зыряне кажутся энергичными, а в сущности малого достигают.

Малорезультативность частных и общих начинаний отчасти также обязана и тому, что у зырян нет своей интеллигенции, благодаря однообразию и однолинейности жизни, как это видели мы в I главе.

Вот на такой-то ровно-умный народ — впечатлительный, увлекающийся, предприимчивый, но не последовательный, скоро начинающий и скоро кончающий — нахлынула русская культура, принесшая с собою множество предметов, неизвестных до того времени зырянам. В среде впечатлительных увлекающихся людей при слабом развитии центров самообладания, эти новые вещи стали предметом тщеславия или зависти. Людей, не склонных к сложной общественной жизни, не доверяющих друг другу, русская администрация соединила в волости, в сельские общества, но, конечно, внутренней социальной жизни дать не могла. И в сельских обществах зыряне живут изолированно, мало друг другу помогая, не имея в виду никаких общих улучшений.

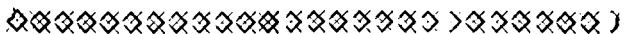
Но русская культура сделала свое дело, она произвела глубокое впечатление, она увлекла сотни и тысячи зырян в Вятскую губернию и в Сибирь. Любовь к родине, к домашнему очагу не была настолько сильною, чтобы удерживать их на своей территории. В Вятской губернии, в Сибири в каком положении будут люди, менее способные к общественной жизни, чем их конкуренты (русские), люди с мистическими понятиями о природе и человеке, с малым знанием ремесел, которые вдобавок стала мучить тоска по родине (любовь к ней все же есть, велика ли, мала ли), по родным лесам, по охоте в вольных чащах; и вот многие с раздвоенной душой возвращаются обратно на родину, иные предаются алкоголю.

Что делается на родине? Сюда вторглась промышленность, обещая большие и скорые деньги. Пермские заводы с рубкой леса, непременно с рубкой леса, потому что ни на что другое неспособны некультурные зыряне, не имеющие никакого технического образования и никакой интеллигентной помощи, — так эти заводы, приказчики архангельских лесопромышленников увлекли толпы людей, оторвав их от сохи и охотничьего ружья. Зыряне, конечно, не стали богаче от сплава леса, но отвыкли от домашнего очага, многие потеряли здоровье, многие приучились к пьянству.

Увлекающийся народ, не имеющий знания жизни, после неудачных попыток вне родины, требует что-нибудь создать столь же поспешно дома, на родине, между своими. Заводится торговля, строится завод; но и здесь поспешная предприимчивость и отсутствие последовательности, и здесь отсутствие взаимопомощи, хвастливость, зависть, недоверие, неразумная подражательность: торговля прекращается по безденежью, завод закрывается за неимением кредита. Ни один купец из зырян не имеет купцом же деда — быстро поднимаются и быстро опускаются. Обыкновенно сын в своих увлечениях, в жажде неизведанных благ культуры, растрчивает деньги отца и впадает в прежнее состояние или же топит свои неудачи в вине, не имея возможности за что-нибудь приняться в однообразной среде своих соплеменников. Преданных алкоголю чрезвычайно много между зырянами, благодаря впечатлительности их, отсутствию последовательности и однолинейности жизни. Сложились даже поговорки: «Непьющий — золото, даже дороже золота», «Непьющий не имеет цены» и т. д.

В таком виде представляется мне совместное действие вышеобозначенных факторов на психику зырян. Но разные стихии, или факторы, как мы их называем, не могут быть постепенно в борьбе между собою. Религиозная двойственность постепенно исчезает в народе под влиянием церкви и чтения книг Святого Писания. С увеличением числа школ распространяется грамотность, и становятся доступными книги, проясняющие запутанное мировоззрение безграмотного человека, унаследовавшего от предков традиции, противоречащие принципам современной жизни. Неудачные предприятия на родине и вне ее научают народ осторожности и дают сведения о положении вещей. Так постепенно действия разных факторов, влиявших на развитие зырян, приходят в гармонию. Нужно признать, что происходит это очень медленно; отсюда неизбежным является заключение, как терпеливо и снисходительно нужно относиться к проявлениям старых традиций и понятий, хотя бы и языческих и инородцев. Инородцы — народ «без головы», а двоеверие лишь медленно может быть видоизменено в истинно христианское вероучение.





ВИШЕРА

Рассказы охотника

В старину один мужик раз занялся сдиранием шкур белок. Он снял сто штук и говорит: «Сегодня бы я мог пятьсот снять». Другой брат говорит: «Замолчи, перестань говорить». «Перестану говорить, хоть сейчас груды бы принести».

Тогда в волоковое окно стали бросать белками (в то окно, где идет дым из курной избы). Он стал погибать от белок, все бросают и бросают в избу. Брат научил осенять крестом лапы (уже не стали снимать шкур). Тот так и стал делать. Тогда крикнули с улицы: «Ладно, что сумел жить, нашим был бы человеком».

Я никак не мог застрелить белку. Целый день ходил. На одну белку залаяла собака. Я сильно стрелял ее. Не упала она от меня. Я закричал: иди, говорю, лесной и выстрели для меня. Пришел человек, лица своего не показал мне, лица его я не видел. Большой, весьма высокий человек в черном суконном кафтане, он пришел с пищалем, выставил его, хлоп — выстрелил, и белка упала. «Бери,— говорит,— дядя, белку-то». Человек ушел. Я взял белку и в охотничью сумку (лоз) положил. А человек сказал издалека — «ты,— говорит,— скажи Кокле-Мокле, что на войне убили его сына». Я иду и думаю, кто такой этот Кокля-Мокля. А пришел в избушку, сварил пищу, стал есть и затем я сел снять шкуру белки и сказал своему брату: «Я ведь не сам застрелил». Брат лежит на наре. «Уйди вон, сам не застрелил — леший застрелил». Брат не верит. «Еще он сказал: ты, говорит, расскажи Кокле-Мокле, что на войне его сына убили. А кто для меня Кокля-Мокля?» — «Иди,— говорит брат,— тебе все кто-нибудь что-нибудь рассказывает». Так он сказал, вдруг пол поднялся, весь, до потолка, и двери унесло — пыры-ыры! Как на улицу вышел, все так и неся.

Не нужно ругаться в лесу. Изба была не весела, стала светлая после этого. Кокля-Мокля и жил под полом, а тут убежал.

Жил-был мельник. Он жил на мельнице. Была ночь.туда прибыл на большой лошади человек, одетый в парку, и просит его в гости к хозяину. Мельник говорит: «Я не пойду». «Если не пойдешь, мельница будет нашей». Мельник думает: «Я не пойду, будет зло, если же пойду, может быть, и добро будет». Вышел на улицу. Сани у того синим войлоком покрыты. «Давай, садись»,— говорит и открыл синий войлок. Сели, и, покрыв его, он повез. Вдруг лошадь остановилась, и говорит тот: «Вставай». Мельник открыл глаза, смотрит — большой дом, во всяком окне огонь, весьма светло. «Я,— говорит,— встал и вышел». «Иди, иди отдохни». Там народ работает, кто делает шестерню, кто гвозди, всякую всячину, что водится на мельнице. Хозяин, седой старик, мне говорит: «Войди во внутрь». Там бабы, девушки, как кралечки, стряпают, готовят. Я там что делать, делал, потом, кто меня привез, тот и увез.

Человек в парке говорит мельнику: «Ты знаешь, нет, что сделала твоя жена?» «Нет, не знаю». Она вымолотила целый овин и столько конопля льна высеяла. Ты знаешь или нет Макара на бору?» «Знаю,— говорит,— он мне друг». Человек в парке говорит: «Он тоже мой друг, ты спроси его, куда девался твой друг. Я человек, сгоревший от вина».

Мельник пришел домой, у бабы спрашивает: «Что ты делала вчера?»— «Молотила один овин, коноплю мяла». Потом он пошел в бор и Макара стал спрашивать: «Ты с кем служил на службе?» — «Ярославский был со мною, да от вина сгорел».

Едут в Печору извозчики-зыряне. У одного на волоку сани сломались. Товарищи ехали дальше. Оставшийся кое-как починил сани и до зимовки добрался. Он там сварил себе мясо и стал ужинать. Вдруг между досками пола в отверстие рука показалась и сжимает пальцы и разжимает. Ямщик смотрит, отрезывает кусок мяса и в руку влагает. Рука исчезает, но спустя опять показалась, сжимает и разжимает пальцы. Он таким образом все мясо отдал, что было сварено, а сам кое-что поел и лег на нар. Вдруг вошли человека два с улицы и сказали: «Вот сюда для нас опять пришел кусок мяса». Но из-под пола ответил

голос: «Вы этого человека не троньте, мне он большое добро сделал; я была тяжело беременна сыном, меня накормил он мясом. У этого, у бедного, сани поломались, а нам в Екатеринбурге дали новые сани, идите, принесите и у этого груз, товар перегрузите как следует». Ямщик на другой день проснулся, на улицу вышел, сани хорошие, товар уложен аккуратно, он запряг лошадь и отправился дальше.

Около берега люди гребли. Вдруг из воды показалось и говорит: «Еще не пришел?» Раз и другой раз так говорит. Мы думаем: кого это ждет? Вдруг туда молодец пришел, красивый молодец. Он говорит: «Мне нужно будет здесь выкупаться». А мы говорим: «Нет, здесь не купайся». «Нет, я купаюсь». Те увещевают, и он не стал купаться. «Но,— говорит,— хоть я,— говорит,— водой окочусь». И он облил себя водой и тут же и умер. Рок догнал его тут, счастья не стало, молитвы не достало.

СКАЗКА ЙОРЕМ

Жили-были старик со старухой. У них была одна дочь, Марфа по имени. Отец собрался в лес на сутки. Он сказал хозяйке: «Ты дочь не отпускай на беседку». Как только вечер настал, девушка сильно стала проситься на беседку, и мать рассердилась и говорит: «Пусть тебя унесут на то, чтобы никогда больше не видеть». Девушка ушла и не возвратилась, и не знает никто, куда она исчезла. Вернулся отец и спрашивает: «Где наша Марфа?» Хозяйка говорит: «Я не знаю, ушла на беседку и не вернулась». Однажды отец Марфы собрался на базар. Шел, шел и видит: ручей течет, на берегу ручья дом большой. Стал смотреть — его девушка выходит из амбара и с блюдом в руках идет в дом. А отцу стало приятно.

— «Нате-ко, мы думали — исчезла, а к какому хорошему купцу попала». Вдруг девушка закричала: «Отец, иди отдохнуть». Отец зашел в дом. Три молодца там живут и приняли они его любезно. Он там отдыхал, гостил. Стали ему говорить, называть: «Ты завтра в город придешь, нас не ищи до конца обедни». Старик пришел в город и постоял у заутрени и думает затем найти своих мо-

лодцов, и ходил, гулял, тех не нашел. Он постоял у обедни и стал идти возле лавок, на глаза ему попалась его дочь — она торгует в лавке, и он туда пошел, его пустили за стойку. Молодец стал его спрашивать: «Тебе, старик, девушка или товар нужен?» Старик думает: что я на свое бедное житье возьму ее от такого богатства. «А ежели что дадите мне из товара, мне будет хорошо». Тут девушка вдруг громко сказала: «Ах, батюшка, если бы ты меня попросил, меня бы еще отпустили, а теперь меня не отпустят».

Товару наложили старику в сани и говорят: «Иди домой и торгуй». Старик прибыл домой и хвастает перед старухой: «Нате-ка вот, мы думали наша Марфа потерялась, а она у очень богатого купца живет, и вот нам они очень много товару дали и велели торговать». Старик со старухой построили лавку и стали торговать, и у них товару не уменьшалось никогда и не исчезало.

Раз старик со старухой собрались идти в гости к дочери. Шли, шли и пришли на то место, где стоял дом. Но его не увидели. Обратном вернулись домой. Так они жили-были дома.

Раз старик опять захотел идти. И отправился один. Он увидел дом на прежнем месте. Он там пил, ел, гостил. Опять захотел домой вернуться, а дочь ему и говорит: «Ты, батюшка, меня больше никогда не увидишь». Так старик вернулся домой, рассказал хозяйке, как он ходил, гостил. И до смерти они век свой торговали.

ТЮВЭ

Жил старик Тювэ, колдун великий, в лесу дремучем. Он заговорами жил всю жизнь, ел и пил, спал, сено и дрова возил — и все через заговоры. Ох, страшна была его сила, многие хотели учиться у него, пробовали, да не вынесли. Надо было от солнца отказаться и от луны, проклясть белый свет, отца и мать, чтобы усвоить слова его.

И жил богато он, имел деньги, и быков держал, и жеребцов.

Не то что мы. Наши заговоры слабы, и бедны мы, хо-

тя тоже не без знаний. И ты, барин, тоже поди при заговорах, коль один ездись по лесам и лугам. Не без того!

Так вот я про Тювэ расскажу; он жил вверху, у начала реки Вишеры.

Я маленький был и жил у него в работниках. У него был дом хороший с сосновым тыном. Свирепых собак держал, которые зайцев носили ему на дом. Никого не боялся Тювэ (я думаю, и Бога он не боялся). Раз коновалы пришли к нему охолостить его жеребца. Он спросил их: кто вас послал ко мне? Вишерцы,— те сказали.

— Идите ко мне и ночуйте и завтра вернитесь домой. Я всем коновалам коновал и сам охолощаю своих жеребцов.

Мастер был великий, бывало, шапку положит на спину быку и охолостит, не завязывая, тот стоит без движения.

Была девица Настасья-колдунья. Она раз ночью зашла в хлев Тювэ и ножницами застригла уши быкам. Тювэ ночью проснулся и вышел в сени. Собаки лают. Он поскорее спустился к быкам, но Настасьи уж не было. Тогда он прочитал заговор над ушными ранами быков. И что же вы думаете? Девица заболела. Заболела, да и попа пригласили к ней. Она ругает его, гонит. Долго болела и умерла Настасья.

Пришли полесовщики к Тювэ. Так и так. Настасья умерла.

Тювэ как будто со сна проснулся: «Умерла, говорите вы? А! Она придет сюда, придет, придет!...»

Завязал кушаком он двери, сам полез на печку и стал смотреть в слуховое окно. «Она придет, придет»,— твердил он.

В полночь собака Тювэ залаяла. Как она стала лаять, да лаять, да всю ночь. Настасья спустилась к речке Пукдым, через которую брошена была жердь колдуном Тювэ. «Вот, вот пришла она к речке Пукдым. Пришла, а перейти не может, жердь скользкая, коты у Настасьи на ногах узкие, не перейдет. Придется кругом идти, а солнце взойдет меж тем»,— говорил Тювэ, глядя в слуховое окно. Собака лаяла до утра. И так три ночи.

Не могла перейти Настасья по жерди. Заговор был силен. Вот каков Тювэ был.

Он был богат и на старости лет деньги все прятал, то в приступку запрячет, то в лес, то куда.

А мы все искали. Он обманывал нас. Запрячет в березовый лес, а за ягодами посылает нас в сосновый, на яг.

— Там, там много ягод, туда идите.

А мы нарочно идем в березовый и ищем денег-то, да и не нашли. Потом какие-то нашли, говорят, после смерти Тювэ.

Так вот, барин. А ты мне теперь скажи: у нас без колдовства жить нельзя, сейчас испортят, ни жить, ни умереть. А ты мне скажи: «Бог-то нам что за это сделает? Простит али нет? Если бы это сказал мне...»

Так долго беседовали мы с Максимом.

Ах, Вишера, Вишера! Хорошее ты село, на ровном месте, на лугу, и сено есть у тебя, но хлеба мало, часты неурожаи от измороси, от холода. Леса кругом — вот твое богатство. Но больных сынов много у тебя и некому их лечить. Когда я сказал, что я врач, пришли ко мне и старые, и малые, слепые и хромые, утешал их я, хотя лечить их не умел. Старицы, поговорив о болезнях, переходили по моей просьбе к сказкам. И много дивных сказок здесь узнал я. О хитрость, о простодушие!

ДОРЕНЬКА

Жил-был Иван-купец. У него было двенадцать слуг. Один из них Доренька. Ему работать было весьма лень. Рассказали хозяину: он-де очень ленив, ничего он не работает. «Утром, рано, когда мы встаем на работу и отправляемся — он обувает одну ногу, а когда мы идем на паужин — другую». Хозяин пришел и говорит: «Ты, — говорит, — Доренька, иди теперь искать ремесло, вот тебе 300 рублей». Он взял триста рублей и отправился искать ремесло. День идет и другой идет, да и неделю; приходит в город, заходит в кабак. В кабаке сидит человек. Спрашивает у целовальника: «Что же здесь делает этот человек?» — «С похмелья он, но большой мастер шить сапоги, всю одежду он здесь пропил». Доренька говорит: «Научи меня, я выкуплю вещи». «Научу». «За сколько же заложил их?» «За сто рублей». Доренька дал сто рублей. Отправились они шить. Стали шить. Доренька не умеет, его бьют. Полгода били человека. В другие полгода он опередил самого мастера.

Он опять собрался: «Мне необходимо найти второе ре-

месло — три найти мне велел хозяин». Идет день, да и другой. Опять в город приходит. Он опять в кабаке заходит. Человек в кабаке сидит. У целовальника спрашивает: «Что он здесь делает?» «С похмелья голова у него болит, все имущество он пропил. Он был портной». Доренька спрашивает: «За сколько он пропил?» «За сто рублей». «Если меня научит, я выкуплю вещи». «Научу», — говорит. Сто рублей Доренька дал. Пошли они заниматься шитьем. Стали шить, только материю портят, ничего не выходит. Первые полгода опять его бьют, уча. Другие полгода он и научился, и опередил мастера. «Дай же пойду — ремесло опять далось. Нужно третье». Опять он собрался в дорогу. Шел день и другой. Потом и в город прибыл. В городе просился на ночлег во многих местах, никто его не пустил. Он тогда пошел к овинам, да и лег там у хлебного скирда. Темно стало уже, он слышит — какне-то идут. Доренька думает: кликнуть или нет. Доренька сказался: «Кого там слышно?» Те сказали: мы-де ходим, воруем ночью. «Меня не научите?» «Научим», — говорят, — завтра утром приходи к хозяину». Он встал утром и явился к хозяину. «Что же ты скажешь, Доренька?» «А вот что, — говорит, — я пришел к тебе учиться воровать». «Сто рублей дашь — научу», — тот отвечает. Доренька сто рублей дал. На другой день он и вышел воровать. Он вышел воровать — ничего ему не попадается, а двенадцать других выходили — принесли много одёжи и всякого добра. Дореньку стали бить — отчего ты не воруешь, тебе лень, видно. Так полгода трудились, уча его, и все били так его. Другие полгода он научился и воровать: что украдут двенадцать товарищей, столько он один приносит. «Потом, — говорит, — я и домой пойду, у человека деньги взял, нужно и ремесло показать».

Он вернулся домой. Стал расспрашивать Иван-купец: «Что уже за ремесло далось тебе?» «Сапоги шить умею». «Ну так сшей мне сапоги». Кожу он дал ему. Доренька начал шить. А Иван-купец и говорит: «Где от такого шитьё, даже он ногу-то не смерил». Доренька отправился и скроил сапоги и сшил их. На другое утро принес купцу. Иван-купец надел их. «Вот так диво! Ты не мерял, а как в точку. Какое же второе ремесло знаешь?» «А вот что: шить умею одежду». Купец опять дал товару Дореньке. «Ну-ка, вот на завтрашний день сделай мне шаровары, пиджак, жилет и все чтобы было». Ушел Доренька, взявши товар; пришел домой, стал кроить он для купца. К утру рано он приготовил. Пиджак, шаровары принес. «Вставай, Иван-

купец, надевай все». Надел тот, как будто с него и было, как будто с него и кроено. «Эко диво! Какой ты мастер шить! Какое же твое третье ремесло?» «А я умею воровать». «Если умеешь воровать — до завтра лошадь укради, а я поставлю двенадцать человек караульщиков». Доренька ушел. Он ушел в кабак. Купил четверть спирту и к вечеру возвратился к Ивану-купцу под окно. Как-то он в дом проник. Как-то в курятник запрятался. Иван-купец вернулся, разделся, лег и уснул. Доренька в его платье оделся и вышел к караульщикам. «Смотрите, караульщики, сегодня не спите, Доренька придет, лошадь украдет. Не выпить ли вам винца? Не желаете ли,— говорит,— винца выпить?» «Выпьем,— говорят,— зябнем, потому что ночь ведь, тяжело». По чашке он дал им спирту. «Пожалуйста, не теряйте ключа, а то он придет и ключ украдет». Один и отвечает: «У меня не возьмет, у меня на груди припрятан ключ». «А не хотите ли по другой чашке, вина-то еще осталось там». И по другой угостил он их. Потом он обратно вошел в дом. Одежду купца снял с себя и вышел опять на улицу; караульщики все свалились с ног. Он взял ключ у того, кто говорил, что у него на груди он, и лошадь взял и увел, а ключ положил обратно в пазуху тому. Проснулись караульщики. «Но ключ-то еще у меня». Иван-купец пришел к ним. «Что, был Доренька?» «Нет, у нас он не был». «Но где же вы вина напильсь?» «Сам ты был у нас». Там посмотрели, а лошади нет. «О, видно, это Доренька украл». Дореньку пригласили; опять пришел к Ивану-купцу. «Что, лошадь ты украл?» «Ты велел, так с большою радостью заказанное то». «Куда же ты девал лошадь?» «У вора есть место, без места он воровать не станет». «А вот еще: сможешь ли ты деньги украсть? Я на окно положу и тут лестницу поставлю с улицы. Мы сами караулить будем с топором в руках, чтобы ты не смог украсть». Доренька ушел и ходил по дороге. Он увидел церковного сторожа. «Пантелеймон,— он кричал его.— Не хочешь ли вина выпить?» «А на что я буду пить, денег-то ведь нет». Доренька ушел с ним и напоил его вином. «Смотри же,— говорит он,— ты не теряй ключа от церкви, ты ведь навеселе». «Не потеряется, у меня он на груди». Потом он напился и уснул. Доренька ключ взял, отправился в церковь, там был покойник, умерший человек. Он взял того человека из гроба и пошел с такой ношей к Ивану-купцу. Купец смотрит в окно: Доренька уж идет. Он поднялся по лестнице и стал деньги доставать, а он достал-то покойником. Умершего человека он голову просунул в окно, тому

голову и перерубили. Она упала на пол. «А вот от меня не убежал, попался». И тут вышел купец с женою на улицу. Доренька меж тем — хватъ деньги да мертвое тело и убежал. Вернулся он в церковь и как было — на прежнее место все положил. Иван-купец бы и вышел на улицу, да никого нет. «Это, видно, опять Доренька все деньги украл». Вернулась обратно в комнаты чета. Денег нигде нет. Дореньку опять пригласили. «Что, украл?» «Заказанное как не украсть, когда мы и без приказу воруем». «Если ты сегодня ночью постель из-под меня украдешь — вот ты человек». Доренька отправился на базар. Взял он бурак и гущу влил в него, и две свистульки купил. Вернулся к Ивану-купцу. Как заснул купец с женой, он между ними и влил этой гущи, а слугам волосы перевязал, а в рот им свистульки вложил. Купец проснулся. «Что такое между ними?» А жена говорит: «Не кричи, иди разбуди слуг, уберут». Стали будить прислугу, те вступили в драку между собою: «Ты меня тащишь за волосы!» «А ты меня!» Доренька говорит: «Тише, подождите, я вынесу постель» Доренька взял постель и был таков. Ждут супруги, слуга не приносит постели. «Это, видно, Доренька украл». Встали, вызвали Дореньку: «Ты украл постель?» «Как уж не украсть, коль велено, когда мы без приказания воруем». «Если ты в эту ночь мою жену украдешь — вот уж ты человек».

Доренька отправился на базар. Купил там поросенка и вернулся к купцу Ивану. Прокрался в дом и спрятался в курятнике. Как только муж с женою уснули, Доренька поросенка положил между ними. Муж проснулся и испугался: что сделалось с женою? «Не шуми, сейчас и уберем все». Потом стали будить слуг, а те вступили в драку, потому что у них волосы были перевязаны. Доренька пошел к ним: «Что с вами, что вы кричите?» «Вот что-то с купчихой случилось, тут нужно кое-что убрать». Доренька взял жену купца и вывел на улицу, затем — взял ее в охалку и убежал. Купец ждет-пождет жену, а баба так-таки и не вернулась. «Это, видно, опять дело рук Дореньки. Ну что, Доренька, ты украл мою жену?» «Украл». «А обратно не возвратишь мне?» — «А почто же дам краденое, никто никогда не возвращает». «Ну так давай же, сними свою одежду, я надену ее, а ты мою». Доренька стал купцом и с женою Ивана стал жить, а купец пошел по миру просить милостыню.

НАСТАСЬЯ АДОВНА

В старину жил крестьянин; он плотничать научился и около своих мест стал плотничать; стал брать подряды, на год их брал, но все ему недоставало (средств), все было нужно свое прибавлять. (И думает крестьянин): «Дай-ка я в далеких землях побываю, здесь все как-то в недостатке живу». И отправился он в далекую страну и там на год взял подряд, за 300 рублей он взялся. У него осталось прибыли сто рублей целиком. Кончился этот подряд, на семь лет он взял другой. Семьсот рублей осталось прибыли от второго подряда. Так нажил он восемьсот рублей. Мужик стал думать: «Теперь пора домой идти, деньги есть». Он шел, шел, да и устал человек — есть и пить захотелось ему. По дороге была плохонькая мельница. Он стал искать что-нибудь попить из реки. Кто-то и схватил его за бороду. Он стал ждать — не отзывается, кто держит. Из воды ответило: «Что дома есть, про что ты не знаешь, то обещай». Мужик подумал: «Что я за восемь лет не знаю, что-нибудь мелкое». И сказал: «Обещаю». Тогда вышел старик весьма седой: «Так дашь?» «Дам», — говорит. Потом старик подписаться велел. «Но где же бумага?». Длинный старик принес лопух (широколиственную траву), между руками потер — кровь потекла, появились бумага и перо. Крестьянин подписался. Длинный старик обратно вошел в воду. Крестьянин направился к дому и очень печалится: не знает, что он обещал. Пришел на свои поля. На вотчину свою — озимь зеленая растет, а день веселый, светлый, он склонялся к вечеру. «Не смею, — говорит, — идти». И лег на межу между полями. Он там спал до утра. Проснулся, встал, идет к дому, еще не дошел до него, как жена его и увидала с крыльца и крикнула «Ваня, Ваня, отец-то идет». В сердце ударило мужика. Пришел — жене и мальчику большая радость, а отец печалится.

Жили день и другой день, раз ночью и стали разговаривать муж с женою. «Отчего ты печалишься, когда нам такая радость?» Мужик стал рассказывать: «Вот я ходил в другую землю, денег нажил и денег много несу, возвращаясь домой я вот что встретил» (он тут рассказал все). Когда они уснули, длинный старик пришел: «Сынок, давай пойдем». Мальчик закричал. Отец и мать вскочили. Целую ночь с огнем сидели, но старика более не было. То же самое было и на вторую ночь, и на третью. Тогда муж с женою стали спрашивать соседей своей деревни: «Что

делать, послать мальчика или нет?» Соседи сказали: если обещано — необходимо послать. Тогда отец сапоги сшил для сына — коты, котомочку приготовил и дал сто рублей. «Ты иди к мельнице, три часа посиди там и потом куда глаза глядят, туда и иди, если ничего не представится».

Мальчик ушел. Просидел около мельницы три часа, ничего ему не представляется. Сердится — сидит. Потом куда глаза глядят, туда и направился. Целый день он шел, и темнеть уж стало; он стал искать себе ночлега — там лесочек плохонький растет. Он в одном месте посмотрит, в другом — нигде не годится спать. Далее и лесу не стало, луг тянется. Один день идет, не находит себе мальчик ночлега. Полоса леса опять виднеется. Идет к синему лесу — можжевельник все, и спать негде, смотрит подальше — дуб стоит. «Дай-ка я под дуб пойду, там есть отверстие». Вошел — ничего нет, палкой стал пробовать — что-то стучит, как бревно; по палке он тогда спустился. Там совсем темно, он на ощупь идет, что-то вроде избушки, а вот и дверь, отворил ее — очень светлая комната перед ним, а около стола седой мужчина дремлет; детина стоит, ничего не говоря, думает; дай-ка я скажусь, потому что не скажусь — съест и скажусь — съест. «Здорово, дедушка!» «Иди, милый сыночек! Куда собрался?» Детина рассказал дело своего отца. Старик сказал: «Это мой брат будет, он сатане отдался в помощь, добрым людям надоедает, а я к святости иду». Крестьянский сын там ночевал. «Завтра, — говорит старик, — ты иди, куда обещался». И он научил его: «Триста верст по лугу пойдешь, другие триста верст по зеленому лугу и еще триста верст темным лесом, потом увидишь ивовой куст на берегу реки. Туда прилетают девять лебедей купаться. Восемь лебедей, оборотившись в девушек, купаются, а девятая, летает над их головами, потом восемь одеваются и улетают, а девятая, оставшись, одна купается. Теперь иди».

Молодой человек после больших трудов прибыл к ивовому кусту. Как говорил старик, так и случилось: восемь лебедей, оборотившись в девушек, стали купаться, а девятая летала над ними. Восемь оделись и улетели, а девятая, оборотившись, разделась. Крестьянский сын у нее платье взял с берега и спрятал. Она вышла — платья нет. «Кто спрятал мое платье?» Он сейчас и сказался: «Я, — говорит, — спрятал». И рассказал ей дело отца. «О, далеко еще до старика, он мой отец, ты долго не приходил! — сказала девушка Ивану, крестьянскому сыну. — Я тебе расскажу дорогу, ты со мною пойдешь. Ты как будешь со мною вхо-

дить в мой дом, а я живу отдельно от старика, то увидишь мои сени длинные — 32 окна; на каждом окне по человеку. Ты когда пойдешь за мною, тебя кто будет хватать, кто клюкою задевать, каждый по своему. Ты только не посьмейся, а иди все за мною».

После разговору они отправились. Как она говорила, так все и случилось. Когда по сеням они шли — кто его топором, кто клюкою задевает, каждый, кто как умеет. Иван стал смотреть вниз и ни на кого не глядел, так шел за Настасьей. «Завтра утром,— Настасья говорит,— иди, сходи к батюшке». Тот пошел к батюшке. Он немножко стал посмелее и сказал: «Здорово, дедушка!» «Иди, иди, давно уж жду тебя». Старик дал ему домик. «Если устал, отдохни». Он выспался. Ел, отдыхал. Утром на другой день пригласил его на завтрак и говорит: «Иди, посмотри на мое житье-бытье». Иван вышел посмотреть, разузнать житье-бытье. Смотрит, везде одежда, везде богатство, а напоследок увидел: столб стоит со многими гвоздями, на каждом гвозде человеческая голова, два гвоздя еще свободны, «это, видно, для меня и для Настасьи», — и стал он печалиться...

РАК-МОЛОДЕЦ

В старые времена жил-был крестьянин с женою. У них не было ни сына, ни дочери. И постарели они, ни сена, ни дров уж возить не могут. Старуха стала говорить: «Ты, старик, иди найди кормильца, сына ли, дочь». Старик думает: «Куда идти, кого стану искать?» Старуха все посылает.

Старик стал собираться; оделся, взял палку в руки и спустился к реке, по берегу зашагал он. Тут рак к нему оборотился: «Ты куда, старик, идешь?» «Я иду кормильца искать, быть может, где-нибудь найду, сына или дочь». А рак говорит: «Меня бери за сына». А старик промолвил: «Где ты и кто?» «Я здесь, между камнями — рак». Старик пошел к нему: «Из тебя какой уж кормилец, из рака?» Рак говорит: «Бери меня, до самой смерти буду кормить, поить и в могилу отправлю в гробу». Старик взял его в руки и снес домой к старухе. «Вот принес кормильца», —

стал рассказывать и положил рака на приступок. Старуха взглянула и плюнула на пол: «Тьфу, ты! Принес кормильца!» Рак говорит: «Не бойся, старуха, я тебя до старости прокормлю, буду кормить, поить».

Наступил вечер. Старик со старухой поужинали, кое-что еще было. Рак сказал: «Теперь ложитесь, спите». Старик со старухой уснули. Рак встал, упал на пол — вышел прекрасный молодец. Вышел на улицу на крыльцо и закричал: «Тетки, мамки, мои крестьяне, служите мне службой!» Пришел к нему народ: «Что тебе, хозяин, нужно?» «Старику со старухой полный сарай сена навозите, под окно — дрова, ушат наполните водой». Старик со старухой проснулись, старуха говорит: «Печку надо топить, поди сходи за дровами». А рак говорит: «Только принеси, дров довольно под окном». Старик вышел на улицу, испугался — так много дров, и в сарае — полон сарай сена, посмотрел в ушат — он полон воды. И всякую всячину, и муки он нашел. Рак говорит: «Меня не бойтесь, ты стряпай, старуха». Потом пообедали они и раку положили кашицы, и он съел немного. «Теперь иди, старик, к царю свататься». Старик боится идти. «Иди — и только». Старик взял палку и отправился к царю. Пришел, вошел во внутрь и сел у порога и там целый день сидел. Сказать-то ничего не смеет. Царь увидал и спросил: «Ты что тут сидишь, старик?» Старик говорит: «У меня есть сын, я пришел сватать за него твою дочь». Царь отвечает: «Если службу сослужишь мне, девушку выдам, а если службу не исполнишь, голову отрублю». Старик испугался и спросил, какая же служба?

«Я вот какую службу дам: пусть от твоего дома до моего железный мост в одну ночь сделают с медными перилами. Если твой сын сделает, я девушку выдам за него, не исполнит — голову отрублю». Старик взял палку и домой отправился; печальный он домой вернулся и стал говорить: «Сын мой, ракушка, твоя и моя голова пропали. Задачу он дал исполнить: в одну ночь с медными перилами от его дома велел железный мост построить». Рак ответил: «Этой службы не бойся — бойся, что будет впереди. Ложитесь и спите». Старик со старухой легли спать. Рак опять упал на пол и оборотился в красивого молодца. Опять вышел на крыльцо. «Тетки, мамки, мои крестьяне! Служите службу!» Пришла к нему тьма народу. «Что тебе нужно, хозяин?» «Постройте мне железный мост с медными перилами». Сделали живо, в одну ночь хороший мост. Рак вошел в избу, ударился о пол, лег в блюдо.

«Старуха, вставай, стряпай, делай». Старуха встала. Варила, пекла. Отобедали. Старик опять пошел свататься. «По мосту и иди». Старик не посмел по мосту идти, он шел возле, на палку опираясь. Пришел к царю. Царь опять спрашивает: «Что, старик?» «Сын послал меня сватать твою дочь. Служба мной исполнена». Царь вышел, осмотрел мост, и ему очень красивым показался он. Вошел обратно к себе: «Если сослужишь службу — я выдам дочь мою». Старик спрашивает: «Какая служба?» «Возле моего дому без фундамента, без опор на воздухе церковь была бы, чтобы звон звонил, поп и дьякон пели. Если не сделаешь — голову отрублю». Старику опять стало весьма печально; взял он палку и собрался идти.

«Ох, ракушка ты мой, головы у обоих спадут, приказал на воздухе церковь построить, чтобы звон звонил, поп и дьяк пели». «Ложитесь, спите, исполним». Старики легли и уснули. Рак бросился на пол, молодцем стал прекрасным, на крыльцо вышел. «Тетки, мамки, — крикнул он, — службу служите: в одну ночь постройте храм без опор, на воздухе, без веревки с неба, чтобы звон звонил, поп и дьяк пели». Они все исполнили.

«Старуха, вставай, вари, пеки, корми старика». Отобедали. «Иди сватать царевну. По мосту иди». Старик идет по мосту, голову опустивши. Пришел к царю, стал смелее. «Я службу сослужил». Царь думает, что это за человек? Он сказал: «Девицу я выдам, но третью службу исполни: пусть на лугу пророем озеро, в озере — рыба, на берегу рыболовы удочкою удят и сетями ловят, и ветелем имают рака. И кормят рыбою царство и денег не берут. Кругом озера сад, в саду птицы поют. Если все это сделаешь — выдам девицу». Старик поклонился и отправился к дому. Пришел, рассказывает раку: «Вот такую службу велел исполнить». И старик рассказал. Рак промолвил: «Не печалься, ложись да спи». Молодцем он вышел на улицу. «Тетки, матки», — кликнул. Те пришли и все, что было сказано, исполнили. На другой день старика ракушка опять посылает свататься: «Иди по мосту».

«Я опять пришел сватать твою дочь-царевну. Служба кончена». Царь вышел, рассмотрел и весьма удивился. Звал на свадьбу: «Пусть приедет в телеге без лошади по дороге, чтобы свадьба состояла из разного люда». Ушел старик, рассказал. «Ложись, спи, — говорит рак, — завтра пойдем на свадьбу». Ночью приготовлена была свадьба. Старуха пекла. Как царь сказал, так и сделали, красиво и приятно. Сели на телеги и отправились по собственной

дороге. Приехала свадьба, царь вышел и встречает. Жених-рак на блюдечке, крестная несет его. Свадьба села за стол. Невеста спрашивает, где же наш жених? Крестная показывает — вот наш жених. Невеста не хочет выйти. Царь сказал: «Я дал царский обет, хотел выдать, отказаться не можно». Невесту посадили. Жених тут же сел на блюдечке, хвостом лап-лап делает невесте. Вышли и обвенчались. Крестная на блюдечке кругом носила жениха. Потом вошли в царский дом пировать. Рак ни вина, ничего не просит; кое-что положили ему на блюдечко — из блюдечка он ест.

Но наконец уложили их после пира. И стала жена расспрашивать: «Ты какую силою можешь действовать, ты ведь не все же рак?» «Да, нет». И он очень красивым молодцем стал, ей показался. И ей так любо, так радостно. На другой день утром встали, рак опять свое платье надел. Наступил день, дочь стала рассказывать матери, восхищаться. «Очень,— говорит,— красив, такого молодца в нашем царстве нет». Мать советует: «Ты ночью платье-то рака в печку брось»,— так учит свою дочь. Легли вторую ночь спать, рак свое платье не снимает, а баба велит: «Ты не спи в этой одежде». Он говорит: «Если я сниму, ты в печку бросишь мое платье». Она говорит: «Я не брошу». Ну, он и снял платье и уснул. Молодая взяла, да в печку и бросила. Когда он проснулся, стал искать платье свое. «Я,— говорит жена,— в печку бросила его». «Ты мое платье бросила, так вот: сколько я трудился, стремясь к тебе, столько же ты потрудишься, когда меня будешь искать». Он вынул клубок шелку и дал своей жене. «Я,— говорит,— теперь и пойду от тебя ночью; этот клубок брось, куда он будет катиться, туда и иди за мною».

Тогда он вышел и исчез.

Стало светло у бога, и дочь стала рассказывать матери со слезами на глазах: «Он убежал от меня. Это ты велела бросить в печку его платье. Давай мне котомку, я побегу за ним». Надела котомку и вышла из дому. Выбросила клубок, он стал катиться впереди ее; она пошла за ним вослед. Клубок укатился к морю и в него вошел. Она там сидела и плакала, и пустилась в море вброд. Как только вода стала выше головы — тогда улица открылась. Клубок виднеется в воде. Она и идет в воде за клубком, и целый день шла до вечера; к вечеру один дом показался, клубок вкатился в этот дом и она за ним вошла. Там внутри один старик сидит. «Куда собралась, Марфида-царевна?» «Я вот иду мужа своего искать, я с ним обвенчалась, но он

убежал». «Ах, зачем же ты платье его бросила в печку, если бы еще одну ночь потерпела, он не стал бы более носить платье рака. Он отправился в другое царство, на другой невесте жениться». Старик дал Марфиде гребень: «Ты, когда придешь к невесте, где пируют, войди туда, садись на порог, да и чеши свои волосы; когда твои волосы будут золотые, невеста тогда захочет купить твой гребень, а ты на деньги не продавай, а проси жениха на одну ночь». Она вышла оттуда и пошла дальше.

На второй вечер одинокий дом опять показался, туда вкатился клубок. В доме опять живет один старик. Спрашивает он: «Куда путь держишь, царевна?» Она рассказала: за мужем идет, который убежал. Старик стал браниться: зачем платье мужа в печку бросила? Ужином накормил, а утром — завтраком и на дорогу дал полотенце. «Они другой день будут пировать, ты туда и приходи, полотенцем завяжи глаза, ты как только им завяжешь глаза, все чудеса земли открыты станут и видны тебе сквозь полотенце. Невеста будет говорить: глаза болят у красивой девушки, ты ей дай полотенце: на, посмотри, — скажи. Она возьмет на руки и завяжет глаза и все чудеса земли увидит сквозь него. Купить захочет: продай это полотенце. Денег мне не нужно, ты скажи, дай жениха на вторую ночь. И она даст». Марфида ушла от этого старика.

Шла, шла, в третий день увидела опять одинокий дом. Она вошла туда. Там женщина сидит, крестная мужа. Она стала бранить царевну: зачем платье мужа бросила в печку? Она накормила ее ужином, утром — завтраком. На дорогу дает царевне скатерть. «Ты приди в третий раз под окно, расстели царевне скатерть, у тебя будет много яств и напитков. Она увидит из окна, выйдет к тебе и захочет купить, ты на деньги опять не продавай, проси жениха на третью ночь; если согласишься — дам это». После этого царевна ушла оттуда. Крестная сперва дала ей медные сапоги, медную шляпу, железную клюку. «Не подойдешь ты пяти верст до царства, увидишь на дороге горящие угли, ты клюкой очищай себе дорогу. Шляпу на голову надень, сапоги на ноги».

Она ушла. Пяти верст не дошла — частые огненные угли стали попадаться на дороге, она с трудом прошла это место. Вот в царстве у вдовы она остановилась, стала расспрашивать, когда свадьба. «Завтра будет, завтра пир». Утром на другой день царевна пошла к царю, возле дверей у порога села. Взяла из кармана гребень и стала волосы

свои чесать. Волосы стали золотыми. Невеста увидела, попросила посмотреть гребень. «Что же это твои волосы стали золотыми? Дай я почешусь». И у ней стали волосы золотые. Пожелала она купить гребень: «Продай мне, три горсти золота дам». «Мне золота не нужно, мне дай жениха на одну ночь». Она согласилась уступить жениха и уступила его. Легли спать. Муж царевны не сказал ни одного слова. Она встала и с рыданием ушла к себе домой. Поскорее полотенце захватила да опять пошла к царю. Глаза повязала, и невеста говорит: «Какая красивая девушка, а глаза болят». Она дала невесте полотенце — на, посмотри. Та взяла, завязала себе глаза и увидела вдруг всякого зверя, всякую птицу, все, что на земле, все было видно через него. Она пожелала купить это полотенце: «Продай мне, сколько хочешь, столько и бери золота». Марфида не соглашается: «Жениха дай на одну ночь». И дала ей полотенце за жениха. Вечером опять легли спать, она опять стала умолять, но муж не сказал ни слова. Эта вещь опять потеряна. Рано утром она ушла к себе на квартиру, взяла скатерть, опять ушла к царскому дому, под окном разостлала скатерть и стали тут у ней всякие яства и напитки. Невеста, царская дочь, это опять увидела из окна и вышла к Марфиде на улицу. «Что у тебя это такое?» Та скатерть сложила и ничего не стало, раскрыла — все опять появилось. Царская дочь, невеста, пожелала купить: «Сколько угодно золота бери». Та не соглашается: «Жениха опять уступи на одну ночь». Невеста согласилась.

Вечером уложили. Третью ночь стали спать. Она опять стала звать мужа, наконец он откликнулся: «Ты завтра встань и пойди, а я попирую, да за тобой приду». Спали и проснулись. Муж остался пировать, а она к себе домой пошла, взяла котомочку и отправилась путем-дорогой, и в один день пришла к своему царю. Через час и муж явился, он убежал оттуда. Царю с царицей стало очень любо. Только теперь он стал настоящим мужем царевны. И пошли они к старику со старухой. Призвал своих работников и велел построить дом, похожий на царский, а старика со старухой взял к себе. Царь с царицей пришли пировать. Пировали, миловали, и поныне живут.

ПРОСТАК

Жили-были старик со старухой, и им принесли тайно быка. Купить им было не на что. Старики держали быка на траве, которую руками рвали. Так растили его до пяти лет. Старик со старухой стали разговаривать: «Дай продадим быка и купим крестьянское обзаведение». На базар пошел старик и продал быка за 50 рублей. У него не было места для денег, так он был беден, и деньги нес в руке. Навстречу попался ему мужик.

— Куда ходил?

— Быка продал. Вот взял 50 рублей, да некуда положить.

— У меня есть кошелек, можно в него положить.

— Ты много ведь, поди, просишь за него?

— Я прошу 10 рублей, кошельки дорогие.

Старик купил и на шею повесил. К дому он идет. Едет мужик навстречу в телеге и спрашивает:

— Куда ходил?

— Я на базаре быка продал, получил 50 рублей, купил кошелек за 10 рублей. Думаю купить крестьянское обзаведение. Одну штуку уж купил.

— Не купишь моей телеги?

— Ты, поди, ведь много запросишь?

— А рублей десять-то попрошу. Это ведь хорошая штука, на ней что угодно можно везти, хоть лошадку повезешь на себе.

Человек купил телегу. Он стал тащить телегу. Быть может, версты две или три тащил. Мужик навстречу барана тащит, обуздавши.

— Не обменяемся ли телегой и бараном?— говорит мужик.

— Ты, поди, много добавки просишь?

А баран был хороший. Старик прибавил пять рублей.

У него осталось двадцать пять рублей. Привязал барана к поясу и отправился далее он. Баран не идет, его мучит. Версты две прошел он. Мужик петуха несет, взявши в охапку.

— Не станем ли обмениваться бараном и петухом?

— Ты захочешь, поди, много прибавки.

— Пять рублей прошу.

Они обменялись. Петуха старик несет на руках. А мужик навстречу с серпом:

— Это хорошая вещь, все режет, траву хорошо снимает.

И тут старик прибавил пять рублей. Серп колется. «Это еще голову снимет»,— думает старик. А навстречу мужик брус несет.

— Не обменяем ли серп на брус?

— Обменяем.

— Прибавь все деньги, я тебе сдачи дам три монеты по две копейки.

Идет старик, брус в руках несет. Брус тяжелый. Перед ним озеро, на озере утки. «Дай-ка брусом брошу в утку да жене гостинец принесу с базара». Прицелился он и бросил. Не попал, а брус в озеро пошел. Старик бросил портки и пошел в озеро вброд. Но мокнет рубашка, он вернулся на берег и снял рубашку. И опять бросился в озеро. Ноги не достают, там глубоко. Стал он тонуть и поскорее выпрыгнул на берег. «Я,— говорит,— от смерти убежал». И стал тут удивляться. Едут на тройке.

— Ты что тут удивляешься?— спрашивают купцы.— Ты куда ходил?

— Я был на базаре, быка продал, денег выручил 50 рублей.

И дальше все рассказал.

— Если ты так торговал, жена плюнет на тебя.

Старик говорит:

— Три раза поцелует.

Старик у купцов купил калач и держал заклад с купцами: если на меня плюнет, мы со старухой будем служить вам всю жизнь, если поцелует, вы дайте весь товар. На этом били заклад. Пошли домой, к старику зашли все. Баба удивляется, что мужик товар везет. Те рассказали. Баба поцеловала три раза старика. Купцы товар оставили у старика.

Жил один бедный человек. Он все молился Николаю Угоднику, чтобы он дал ему богатства. Николай Угодник не может дать богатства и обращается к господу, чтобы дать бедному мужику денег. Господь сказал: «Если ты дашь ему богатства, он трижды тебя побьет». «Пусть побьет, все-таки дадим». «Хорошо»,— сказал господь. Мужику повезло, он стал богат.

Раз Николай Угодник и господь куда-то шли. Дошли они до дома богатого мужика и стали стучаться в двери. Богатый сказал: «Если будете мне молотить, пушу вас ночевать». «Будем»,— ответили странники, и были пущены в избу. Их поместили как-то на голбце. Рано утром мужик стал будить их и посылать на молотьбу. Странники что-то

замешкались. Богатый пришел в ярость и поколотил Николая Угодника, который лежал с краю на голбце. Странники все еще не встали, говорили: «Мы сейчас обуемся и придем». Немного погодя мужик, видя, что никого нет на гумне, опять прибежал к странникам и снова побил Николая Угодника, спавшего с краю на голбце. После этого господь сказал: «Ложись, Никола, на мое место, иди внутрь, а то тебя опять побьют». Господь лег теперь с краю. Мужик ждет-не дождется, молотить нужно. В гневе прибежал он и сказал: «Теперь я побью другого!» И опять поколотил Николая Угодника. Господь это знал, потому и сделал так, он знает наши мысли. «Вот тебе, говорил я»,— сказал господь. После этого они вышли на гумно. Господь зажег солому спичкой с конца, и вся солома сгорела, а зерна, как вылиты, остались в целости на гумне. «Как они славно молотят,— сказал мужик,— мне бы таких работников побольше». Странники ушли. На другой день богатый мужик сам зажег солому на гумне, чтобы таким легким способом извлечь зерна из колосьев. Огонь усилился. Вся солома разгорелась, от соломы огонь перескочил на скирды, от них к овину, от овина на дом мужика. Все, что было — сгорело, и мужик стал бедным, как прежде.

Другой жил мужик, тоже бедный, и молился Ивану Богослову, прося у него зажиточности. Иван Богослов дал ему ящик с золотом и сказал: «Отдавай, кто просит у тебя займы, дают обратно — бери, нет — так оставляй, у тебя деньги всегда будут». Мужик исполнил все то, что сказал Иван Богослов, и был богат он весьма. Он умер в старости, потому что и богатые умирают, и попал в темное место, где холодно и темно — там масса народу живет в нужде и в бедствиях. Мужик пошел по дороге от этого места, по дороге, идущей в рай. Он идет и спрашивает всех встречных: «Куда эта дорога?» Ему отвечают: «В рай». Шел, шел и дошел он до рая. У дверей его остановили: «Ты не можешь войти в рай, лицо твоё черно и грязно, потому что ты в церковь не ходил». «Мне об этом не было сказано,— отвечает мужик.— Я все сделал так, как мне велел Иван Богослов». Вызвали Ивана Богослова, который подтвердил слова мужика. Мужик после этого был пущен в рай. Бывает же, что и угодники неправильно скажут.

КУМ-ШКОТ

Купец стал кумом сатаны и дал ему рукопись. Весьма они были дружны и гостили часто друг у друга. Сатана показал ему все свои владения в аду, кум-шкот только не показывал. Жили-были год и другой, нам неизвестно сколько. Сатана раз сделал переключку своему народу и спрашивает каждого: ты что доброго сделал? Говорит один: при свадьбе все передрались — я это устроил. Сатана улыбнулся. У него есть законная книга; он говорит: «На свадьбе в течение 8 дней нет греха, чтобы они ни сделали». Другой говорит: «Я 30 лет не мог соблазнить одного человека, который живет в келье». «А ты отчего пробыл там столько времени и не пошел к другому? Идите бросьте его в кум-шкот». И его начали тащить, а он молится: «Батюшка, ты не веди меня в кум-шкот». Сатане стало жаль: «Ну, не надо его вести». Его поставили между двумя рядами чертей и били его свинцовым прутиком и говорили: «Так долго бесполезно не трудись». Потом сатана опять книгу открыл и спрашивает следующих. Является бес и говорит: «Я хорошее сделал». «Рассказывай». «Я соблазнил царскую дочь и довел до того, что она стала есть по три человека в сутки и стала неисправима». Сатана дал ему большой чин за такое дело.— «Положим,— говорит сатана,— исправить ее можно: в такой-то церкви есть такая-то псалтырь и свеча там есть; если бы трои сутки читать эту псалтырь с этой свечкой, то исправилась бы, как говорил закон». Купец все это видел и слышал и раздумался. Его поразил кум-шкот, что так от него все отказывались. Дай, думает, спрошу у своего кума, что это такое. «Что же это, кум, ты не показал мне этого кум-шкота? Можно показать его, или нет?» «Как же нельзя, конечно, можно». Они отправились и вошли в кум-шкот, отперли замок. Очень светлая горница открылась им, оклеенная шпалерами, с большими окнами, на постель постлана красивая высокая перина. Купец говорит: «Можно мне здесь отдохнуть?» «Можно». Сатана ушел в другую комнату. Купец лег и стал опять думать, тем более, что сатана, уходя в другую комнату, сказал: «Умрешь, так и будешь жить в этом веселом месте». «Это что-то неладно»,— думает купец. А у него была с собой игла, ею он проткнул постель и смотрит: что-то блеснуло тут. Он отверстие увеличил, а там народ кричит в смолистом огне, вертится.

«Ой горе, горе!» — кричат. Купец испугался: вот внизу-то и есть мое место, думает.

Он вошел к своему приятелю. «Ну, что, каково?» — тот спросил. «А очень хорошо, в таком веселом месте от-раднo быть». И стал просить рукопись, обещая принести новую вместо этой старой. Сатана возвратил, но как только купец ушел, сатана догадался. А купец возвратился и под окнами крикнул: «Все бегите из дому!» А сам шел, шел и дошел до кельи, в которой жил монах; он попросился ночевать у него. Солнце стало заходить, они заперли все двери с молитвами, с заходом солнца зажгли свечи и стали молиться богу. Тогда кругом кельи набежала толпа бесов и чертенят, так что келья дрожала вся, и они кричали всю ночь: «Дай нам человека». Но лишь только запел петух, их власть исчезла. Потом монах и говорит: «Больше я тебя держать не могу — иди к другому». Он ушел к другому монаху. Наступил опять вечер, по его просьбе тот впустил его ночевать. Как солнце стало спускаться, заперли все двери с молитвами, а с заходом солнца открыли книгу и стали читать. Потом туда бесы собирались да собирались, вдвое больше, чем вчера, но на сажень уже не смогли подойти они к келье. Они опять кричат: «Дай нам человека!» А те молятся. Так продолжалось всю ночь до петухов. Потом монах говорит: «Не могу дольше тебя держать». Купец отправился вперед и опять пришел к такому же монаху, попросился ночевать, тот впустил его. При заходе солнца они с молитвами заперли двери, зажгли свечу, стали читать книгу и молиться. Опять нахлынуло бесов, быть может, впятеро больше, и все говорят: «Дай нам нашего человека!» Но они на 10 саженей не могли приблизиться к келье. Петух запел, и они ничего не могли взять. Монах стал рассказывать: «Наша царевна по три человека съедает в сутки». Купец же говорит ему: «В таком-то месте есть псалтырь, и если бы трое суток читать ее со свечей, она исправилась бы».

Потом монах и купец пошли к царю, ему доложили, и царь их принял. Так и так, дескать, царевна ест людей. Купец стал рассказывать, что есть книга, которую если читать со свечей непрерывно, она-де исправится. Свечу заказали, книгу нашли. Монах вошел при солнце к царевне. Он исполнил все то, что говорил купец, и царевна выздоровела.

Один человек по имени Степан жил в деревне близ пармы дремучей. Он ничего не боялся ни среди людей, ни в лесу. Раз, похваставшись, что ничего с ним не случится, пошел он в нетопленную баню, построенную на берегу темного ручья. Была глубокая осень и ни зги не было видно на улице.

Вошел человек в баню и стал шарить рукою, отыскивая дверь. Он отворил ее, дверь скрипнула. Внутри он круглую каменку нашел и хотел было уже один камешек взять, который почернее, чтобы показать его всем в деревне, да кто-то схватил его за руку. Человек вздрогнул, волосы у него стали дыбом, но остался он на месте и спросил: «Кто меня держит?»

— Я,— ответил голос.

— Отпусти меня.

— Нет, не отпущу,— продолжает голос.

— Отпусти,— просит человек.

— Если дашь обещание жениться на мне, опущу. В день пятницы будет наше венчание.

Дивится парень и думает, как ему быть.

— Делать нечего,— сказал он потом,— даю обещание, теперь отпусти.

Рука исчезла, но опять раздались слова: «Жди меня в пятницу». Изменилось лицо человека. Все изумились, когда пришел он к людям. «Что с ним?» — спрашивали. Он ничего не ответил. «Потом узнаете», — только и сказал.

Идут дни в деревеньке близ пармы дремучей. Человек с ужасом ждет пятницы. Пришла она. Собрался он в церковь. Взял с собой родителей, друзей, сторож открыл им церковные двери.

«Жених здесь и вся его родня, только невесты нет», — говорят шепотом все, уже догадавшись о тайне.

«Придет», — думает жених.

Действительно, немного погодя все увидали: идет по дорожке красивая девушка, очень красивая.

Она подошла к церкви.

— Я невеста,— сказала она,— идите в церковь.

Призвали попа.

Стоят жених и невеста рядом. Жених смотрит на нее

* Голик.

и думает: «Как человек по виду, даже очень красива. Диво, но человек ли? Да делать нечего».

Обвенчались, пришли из церкви и стали пировать. Все диву даются — откуда такая красивая девушка Марья?

Солнце зашло, разбрелись гости по домам. А человек смотрит на свою жену, и ужасом наполняется его сердце. «Откуда она, кто такая? В бане она нашла меня».

— Не бойся ты меня, Степанушко,— отвечает жена.— Я человек, не бойся меня, живи со мной как с женою.

— Откуда ты, кто твои родители, почему ты?..

— Не сердись и не бойся,— отвечает красивая жена.— Пуще всего — не ругайся. Будет пора, все узнаешь.

Живут молодые. Все беспокойно у Степана на сердце. Выпал снежок на землю, началась зима. «Запрягай свою лошадку»,— говорит жена Степану. Тот испугался и обрадовался: «Куда-то поведет меня».

— Вот так поезжай,— сказала жена Степану.

— Тут дороги нет.

— Ничего, поезжай, теперь снежку немного.

Едут по бездорожью. Дремучее становится парма, таинственнее ложбины. «Куда-то едем? Кто может жить в парме, где нет ни лугов, ни пожен, ни пашни?— думает Степан. Но крепится и едет. Наконец, уж совсем стало мрачно. И жутко стало на сердце у человека. Ему кажется, что везет его жена на верную гибель. Да и жена ли она, которая сама его нашла в бане темной ночью на берегу страшного ручья?

Какие-то неведомые существа чудятся ему между деревьями.

Но вот жена остановила лошадку.

— Вставай, муженек, приехали. За этой елкой стоит избушка, туда пойдем.

Идет Степан с женой к избушке. Посреди пармы кем-то она построена. Поднимаются на крыльцо скрипучее и слышат: ребенок не своим голосом плачет внутри избушки и кто-то стучит, сильно качая зыбку.

«Вот так приехали,— думает Степан,— хорошая родня».

Дверь отворилась, гости вошли в комнату. Ребенок лежит в люльке и ревмя ревет неутешно, даже жалко и жутко слышать, а старуха сидит и, стуча зыбкой, качает его.

— Вот уж двадцать лет так качаю его, все ест, кричит и не растет,— ворчит старуха.

«Куда приехал я?— думает Степан.— Что за диковины вижу?»

— Ничего, ничего, не пугайся, Степан,— говорит его жена.— А ты, старуха, клади ребенка на пол.

Старуха положила ребенка на пол. Он худой да такой синий, некрасивый! «Уа, уа» — все кричит.

— Иди, муженек, принеси осиновое корыто,— говорит спокойным голосом Степанова жена.

«Что уж, не есть ли хотят ребенка-то?— думает ее муж.— Может быть, ведьмы, может быть, старуха-то баба-яга?»

Принес он из сеней осиновое корыто. Его жена со старухой, ничего не говоря, прикрывают ревуну-ребенка корытом.

— Теперь ударь топором три раза по корыту, Степанушко,— говорит его вещая жена.

Степанушко ударил: раз, два три.

Взяли корыто, а под ним голик лежит на полу, а ребенка как не бывало.

— Вот, мама, вспомни,— тут сказала вещая Марья,— ты когда носила меня под сердцем, нехорошее думала, а когда родила, недоброе слово сказала, вот и подменили твоего ребенка: меня взяли от тебя, а тебе положили голик, и качала ты его двадцать лет. Голик, он голик и есть, все ревел и ел, и не рос. Меня же в бане держали и такой закон постановили: если не полюбит меня человек и не женится на мне, никогда мне не быть человеком, а веки вечные жить в бане и пугать людей своими длинными волосами. Но явился человек и не испугался меня, и любил, и в церковь пошел со мной, и крест мне дал, не ругался никогда, вот я и стала человеком. Теперь и ты прощена, моя маменька. Оденься, пойдем со мной к людем!

Обнялись, поцеловались и расплакались все трое после этих слов. Затем, успокоившись, вышли из избытки и сели все трое в сани.

Вечер наступил, луна показалась на небе и светила им между деревьями, указывая неизвестную тропу в парме дремучей. Так приехали они в свою деревушку и зажили на славу, на радость добрым людям и на зависть злым. Все дивовались и любовались красотой и умом жены Степанушки, вещей Марьи. Она же любила своего мужа, как красно солнышко.

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА

Жил один человек на земле. Он был очень беден, потому не имел ни друзей, ни врагов. Ему горько стало в одиночестве и в бедности и отправился он в пустынное место. Там, глядя на небо и на звезды, стал громко жаловаться на свою судьбу: «Звезды, звезды, зачем вы дали жизнь мне, а не дали мне ни друзей, ни врагов, ни таланта, ни достатка?» Сказавши это, он посмотрел на восток и увидел высокую гору у горизонта; гора была покрыта легким туманом. «Пойду я на гору,— сказал человек.— Не найду ли там чего». И стал подниматься он на гору.

Трудная была дорога, длинен был путь, который вился между камнями и кустарниками и, казалось, уходил в небо, но человек не унывал, все шел и шел. Устанет, он, посидит, сотрет пот с лица и опять идет все выше и выше. Проголодается он, поест ягод, попьет воды из встречного ключа и снова идет. Не знаем, долго ли он шел — легко рассказывать, трудно исполнять все в жизни.

Как бы то ни было, добрался он до вершины горы и увидел здесь дряхлого старика. Сидел седой старик на камне и в правой руке держал серп луны. Серп был чистый, серебристый, юностью и свежестью блистал.

— Старик, долго ли ты будешь держать в руке луну и землю освещать по ночам?!— спросил человек.

— Долго еще,— ответил старик,— число лет еще не кончилось в мире.

Сказав, он подал знак человеку дальше идти.

Тот идет, идет все дальше по горе, смотрит: хрустальный дворец перед ним, сине-перламутровый, весь прозрачный. Человек остановился у дворца и видит: выходит красивая девушка, а в руке держит солнце, и стала обходить вокруг дворца тихо, плавно, освещая всю гору и подножье ее.

— Девушка, девушка,— спрашивает человек,— долго ли будешь держать ты солнце в руке, освещая горы и долины?

— Долго еще,— ответила девица,— число лет еще не кончилось в мире.

Сказав, она подала знак человеку идти дальше, а сама вошла обратно во дворец.

Идет человек, и все к подъему. Приходит на зеленый луг, ровный-ровный, покрытый цветами. Тут дети играют,

много их. У каждого мальчика и у каждой девочки звезда в руке, так и горят, так и сияют эти звезды.

— Детки-малютки,— спрашивает человек,— долго ли будете бегать со звездами по широкому лугу, украшая небо и землю их сиянием?

— Долго еще,— отвечают звонким хором дети,— число лет не прошло еще в мире.

И подали знак дальше идти человеку.

Опять пустился в странствие человек, и все вверх по горе идет он. Приходит к огромному дворцу, занявшему всю гору собой. Хочет войти человек, но нет дверей нигде.

— Пустите, пустите,— кричит он,— укажите двери мне!

Отвечает ему голос изнутри:

— Сюда нельзя человеку войти, постой немного у стен и погляди.

Смотрит человек: вдруг огромная тень упала на небо и тихо стала скользить по нему.

— От кого же эта тень?— спрашивает человек.

— От Него, кого все ищут и не находят,— отвечает голос изнутри.

Потом свет вспыхнул во дворце и через маленькие окна озарил весь мир, будто тысячи солнц зажглись там. Человек со страху упал ниц, и хорошо — иначе он ослеп бы. Когда все исчезло и человек очнулся, он спросил, чей это свет так блеснул в окнах дворца.

Голос ответил: — Это свет Того, кого все ищут и не находят. Теперь ты иди, человек, больше ничего не увидишь: число лет еще не прошло в мире.

Пошел человек обратно вниз по горе. Идет он мимо детей — один мальчик дал ему звезду; проходит он мимо дворца красавицы с солнцем — она кивнула ему головой и бросила ветку с плодами. Человек все взял, что ему дали. Приходит он к старику, спускаясь все ниже по горе. Тот, держа в руке серп луны, покачал ему головою и бросил маленький ящичек к ногам человека. Тот и ящик взял и стал дальше спускаться по великой горе. Спуск был так же труден, как и подъем, но человек, как раньше, так и теперь, преодолевал все трудности.

Пришел человек опять в прежнее пустынное место и зашагал по прежней тропе. Он устал и сел при дороге. Взял он ящичек из кармана, открыл его, и что же? Видит, перед ним дворец образовался в пустыне. Он вошел во дворец: там все чисто, разукрашено, столы стоят с разными кушаньями. Наелся человек, напился там, насытился и поблагодарил в душе доброго старика с высокой горы.

Вышел он из дворца, взял ветку с плодами и посадил ее в землю возле дворца, и вырос из ветки обширный сад, а в саду гуляет красивая девица. Человек поблагодарил небесную деву с солнцем, а сам подошел к девушке, которая гуляла в саду, и спросил, кто она такая.

— Я дочь солнечной девы, а теперь твоя жена, — отвечала она.

Дивится человек и радуется в душе. Он выпустил из рук звезду, которую дал ему один из небесных мальчиков, и звезда легла на башню, укрепилась там и стала сиять ярким блеском и озарять все горизонты, освещая тропинки, по которым ходят одинокие люди.

Богат и счастлив стал человек. Живет он во дворце с красивой молодой женой. Появились у него друзья, нашлись и враги; у него постоянно полон дом гостей — кто хвалит его, кто не жалуется. Но человек спокоен, звезда его ярко горит на башне и освещает одиноким путникам дорогу, и те благословляют его. Когда приходили к нему бедняки, обездоленные, оскорбленные, он говорил: «Идите на гору, дойдите до дворца, где живет Тот, которого все ищут и никто не находит, в Нем все счастье человека, и все богатства в Нем же».

СКАЗКА СЕРЕБРЯНАЯ

Жил один парень в деревне. Он был горд и нелюдим, все куда-то удалялся от людей, все о чем-то думал про себя. Стало ему невыносимо на своей родине и отправился он странствовать. Взял с собой какие нужно припасы и пошел себе путем-дорогой. Шел он долго и попал в дремучий лес; в этом лесу увидел он поляну, а на поляне огромный медный дворец; и все кругом было из меди: и деревья, и статуи, и люди, и кони — все медное, все неподвижное. Вошел парень во дворец, ходит там, смотрит: медные столы, медные приборы, на столе большой медный шар с надписью: «Кто меня возьмет, тот миром будет владеть».

Парень поднял медный шар, кое-как положил себе в котомку и тащит его на спине. Вышел он из медного царства и дальше идет. Опять шел и шел он. Прибыл в

лес, а в лесу увидал поляну: на ней серебряный дворец построен; и все серебро кругом: деревья, люди и кони, все белое, серебряное, неподвижное. Вошел человек во дворец, смотрит: серебряные фигуры, статуи везде, старики и молодые, мужчины и женщины — все из серебра. Между ними он увидал маленького серебряного мальчика с крыльями и с надписью: «Кто меня возьмет, тот славу мира приобретет». Парень поднял серебряного мальчика, кое-как увязал его за спину и отправился дальше.

Насилу он идет, тащит на себе огромную тяжесть. Шел, шел долго и с великим трудом дошел до леса, а в тени его — поляна, на ней же — золотой дворец. И все кругом из золота: люди, кони, деревья, фонтаны, птицы и звери — все золотое, все, как жар горит, и все неподвижное. На столе он плитку золотую увидал с надписью: «Кто меня возьмет, белый свет весь купит и всех будет богаче». Взял человек плитку, кое-как привязал ее к себе и идет дальше. Запыхался он: уж больно тяжело идти ему, так все и давит, кости ломом ломит, чуть не с кровью пот капится с белого лица. Но парень терпит и идет, отдохнет да опять вперед подвинется. Прошел он уж дремучий лес и деревеньку увидал невдалеке. Смотрит, там мальчишки живые играют, там мужики пашут и сеют, а бабы с песнями боронят. «Диво! Все живое тут, и как приятно оно, живое-то. Человек-то ведь красив!»

И снял он с себя медный шар и серебряного мальчика с крыльями, и золотую плитку и схоронил ее под деревом, а сам пошел в деревню.

Вошел в одну избу, отдохнул там. Молодая девица угостила его по-деревенски, что бог послал. Девушка рассказала ему, что она дочь у старика и ищет мужа себе, чтобы в дом его взять.

— А за меня пойдешь? — спрашивает ее парень.

— Пойду, — говорит девушка.

Пожились они. Живет себе парень в деревне и село ему. «Все здесь живое, думает он, не как в медном, в серебряном и золотом царствах». Работает человек с людьми, разговаривает, смеется, свою жену любит, и та уважает его. «Не надо мне, говорит себе парень, ни славы, ни власти, ни богатства, одна только тяжесть и пот с кровью льется с белого лица; а здесь как весело, у себя, на своей пашне за сохою, с другом-конем, где все живет, все растет». Так зажил парень в деревне. Раньше он был горд, теперь стал гостеприимен и любезен, прежде был

нелюдим, ныне все ищет людей, с кем бы покалякать о жизни. И долго и счастливо он жил со своей женой и никогда не вспомнил о том, что схоронил он под деревом, под дерном зеленым, скрыл он все тяжести мира.

ГУЛЕНЬ* НА НЕБЕ

(Сказка о ленивце)

Жил один человек на севере.

Он был ленив и ничего не хотел делать. Семья его бедствовала, изба его покривилась. Но гулень хотя и скучал без работы, все же не брался за хозяйство.

Раз он вышел в поле и говорит: «Великий Бог, мой Ен прекрасный, возьми меня на небо, на земле мне скучно».

Ен услышал его и взял на небо. Вот ходит гулень по небесным равнинам, видит голубые поля, усеянные разными цветами — звездами красными, зелеными, желтыми, синими.

Шел, шел он и увидал домик. Вошел туда — старушка сидит у окна и в люльке кого-то качает.

— Кого укачиваешь, старушка, и кто сама ты будешь? — спрашивает человек.

— Я качаю новый месяц, скоро, скоро заблестит он серпом серебристым на вечерней заре на радость людям. Я же сама буду мать луны.

Удивился гулень и пошел дальше. Шел, шел, увидал мальчика, который делал плети из новых тонких нитей — лучей солнца.

— Что делаешь, мальчик? — спросил его гулень.

— Плети плету: скоро будет гроза, в завтрашний день, нужно будет выгнать по тучам из-за небесной изгороди небесную корову-радугу на водопой. Сам же я буду сын солнца.

— Диво, — думает гулень, — у всех дело на небе, не с кем покалякать.

Идет он дальше. Увидал огромный дом, дым вьется из

* Ленивец.

трубы, извивается кольцами, собирается в кучи; а у дома стоит небесный бык, бока у него — цвета радуги. Ветхая старуха моет его утренней росой, моет начисто. А невдалеке стоит старичок — утреннюю зарю разостлал вдоль небесного поля и украшает ее звездами и розовыми облачками.

— Что вы здесь делаете, старик со старухой? — спрашивает гулень.

— Да вот, бока мою небесному быку, скоро выгонять его на водопой, чтобы краски были свежи и прекрасны цвета, всем любо было бы посмотреть на радугу после грозы, — отвечает старуха.

— Да вот, зарю украшаю, пока гроза пойдет и прекратится, все сделаю на радость людям, — отвечает старичок.

Изумился человек и идет дальше.

Пошел немного по голубым полям и встретил еще более ветхого старика, белого как лунь. Сидит старик, сети починает.

— Что делаешь, старик? Уж больно стар, а все работаешь, — говорит гулень.

— Да вот, Млечный Путь в реках держу, божьи сети. Пооборвались немного, починаю их. Послезавтра будет ясная ночь, и великий Ен, сам хозяин, развесив небесные сети вдоль всего неба, будет рыб ловить в занебесных морях. К спеху надо. — Так ответил старик и опять взялся за работу, челнок так и ходил в его руке, делая петли в Млечном Пути.

Ударил руками себе человек по бедрам от удивления и пошел дальше. Шел он долго и увидел сине-зеленый хрустальный дворец. Вошел туда и видит: на возвышении сидит великий Ен, в руках молнии держит и подтачивает их концы великим брусом, взятым им с Уральских гор.

Гулень встал на колени и спросил:

— Отец неба и земли, что делаешь ты на троне?

— Концы молнийных стрел подтачиваю. Завтра будет большая гроза. Буду стрелять в злых людей и в темных подземных богов, — ответил Ен.

— И все-то вы работаете, — сказал гулень, — и не с кем покалякать мне на небе.

— Работа дана всему миру на утешение, — сказал Ен. — И ты работай, не ленись и будешь счастлив.

— Так спусти меня обратно на землю, — попросил человек.

И спустил его Бог на землю.

Пришел гулень к своей семье и рассказал всем домо-
чадцам, как работают на небе, все спешат и не с кем по-
калякать. Потом пошел он на грядки и давай полоть ста-
рые травы и поливать овощи. Затем отправился в лес при-
готовлять бревна для новой сосновой избы. «Труд дан на
утешение человеку»,— говорил он себе. На другой день
поднялась гроза и дождь ливнем лил и молнии сверкали
по небу, потом радуга показалась на облаках и спусти-
лась на землю и стала пить воду из источников земных,
чтобы не переполнились озера, не вышли бы реки из бе-
регов. День прошел и другой, и серебристый серп луны
показался на заре заката.

«Вон как укачали ее, новую-то луну»,— думает чело-
век, любуясь серпом серебристым на румяной заре.

А ночью Млечный Путь чуть зримо замерцал по всему
небу.

«Вот, рыбачить стал великий Ен. Как хорошо старик-
то починил сети. Дай-ка я буду подражать ему».

И ленивец стал усердно работать, построил себе он
новую избы, детей всех научил он полезным ремёслам.
Дивились соседи и не узнавали прежнего гуленя. «Ен на-
учил, видно, его»,— говорили между собою.

И долго, долго жил человек, любуясь великими дела-
ми Ена и его небесной челяди. Ен же беспрерывно рабо-
тает на небе и на земле. Человек все это видел, изумлял-
ся, благодарил и подражал.

БЕГСТВО СЕВЕРНЫХ БОГОВ

(Сказание)

Великий Ен, старец, живущий на небесах, вышел из
своего златохрустального дворца. На нем был белый аз-
ям, стянутый кожаным ремнем, ноги были обуты в си-
ние чулки и в кожаные коты, на голове была шапка из
шерсти тонкорунных небесных барашек-облаков. Могу-
чей рукой достал Ен с вершины уральской горы кусок
кремня и ударил в него стальным огнивом, и рассыпались
искры, и звезды зажглись на широком небе; искры же упа-
ли на дремучие леса севера, и сосны и ели разгорелись,

бело-черный дым, клубясь, поднялся до потолка неба и здесь расширился под сине-железным сводом. Потом великий Ен сел на вершину Тэлпозиз в Каменном поясе и дал голос всем прочим богам холодного, величавого севера. Молния блистала на небе и гром гремел: то был голос его, зовущий на великий совет детей своих — богов и богинь севера. Сам он открыл книгу, которую взял с крыши неба, и читал там закон, которому повинуются небо и земля, боги и люди.

Услыхали боги и богини, живущие на облаках, в лесах, в горах, в водах глубоких, под землю, на кладбищах — в «старых городах», в ветхих овинах, в покинутых банях, по берегам холодных темных ручьев, на чердаках развалившихся изб мужиков севера. Все услышали голос большого Бога и пришли по зову Его к мрачной вершине Уральских гор, где сидел небесный Ен, поглаживая свою бороду и поправляя свои старые, поседевшие от древности лет, длинные усы. Около головы вращались любезные дети древнего старца — солнце и луна.

Первым подсел к нему, хотя и поодаль, на соседнюю скалу, страшный Войпель, бог северных ветров, крутящих снег зимою и листья осенью в дремучих борах и в сумрачных ложбинах. В руке он держал дубину, которую управлял своими стадами зверей и стаями птиц, носясь вихрем между соснами в красных штанах, между елями в зеленых покрывалах с белоснежной ризой на плечах в зимнее сказочное время. Красную шапку надел он набекрень, на плечи набросил молодецкий зеленый кафтан, на ногах стянуты были веревками и крепко обвязаны кожаные коты. За Войпелем у подошвы скалы села вещая Ёма, старуха с клюкой, злая-презлая, которая жила в короткое лето и в долгую белую зиму в большой избе в дремучем лесу. Синий шушун надет был на ней, чулочки на ногах с красными и синими полосками, а поверх чулок — сафьянные сапожки. Она кашляла от старости, и горы уральские дрожали от ее сухого кашля, воздух трещал, как бы от мороза, и ломались столетние деревья. Все прочие лесные боги и богини расположились вокруг Войпеля и Ёмы у подножья окрестных скал.

Из воды вышел древний Васа, водяной, седой старик; он жил в хрустальном зеленом дворце на дне холодного моря. За ним шли его дети: боги и богини ручьев и рек, управляющие мельницами, потешающиеся человеческими головами. Бросили они гребни, которыми чесали длинные волосы в ивняке по берегам реки. Все сели они по отро-

гам лесистым Уральских гор, кто на вершинах скал, кто в холодных тайгах, чтобы послушать, что скажет большой Бог, небесный Ен; смотреть же в лицо они ему не осмеливались.

Злой судья, темный бог Куль, вылез из каменных недр земли с тинистой бородой песочного цвета и, кряхтя, подсел к владыке неба, однако же две скалы отделяли его от Тэлпозиза, на котором сидел древний небесный бог. Куль правое ухо обратил к вершине горы, откуда должен был раздаться голос владыки. За подземным богом на вершинах деревьев расположились его сыновья — Кульпьянъяс, хозяева и господа на кладбищах в «старых городах». Они так спешили на собрание, что пальцы обломали свои и оставили на дне мрачных потоков, покрытых серою пеной (эти пальцы называются людьми белемнитами).

Сын солнца прилетел из-за северного моря и закружился над головами богов; он только что выгнал на водопой небесного быка-корову, многоцветную радугу, с вершины неба к окраинам его. Радуга спустила свою голову с длинной шеей и стала пить воду из реки Щугор и прислушиваться к словам старика Ен.

Мать земли прилетела — ветхая старуха, которая была в старину щедрей и давала злаки, состоящие из одного огромного колоса без соломы, но теперь она стала скупа — с тех пор, как небо поднялось от земли, рассердившись на деревенскую хозяйку, положившую детское белье сушить на край неба. С тех пор небо рассердилось и поднялось высоко вместе с яркими звездами, и иссякла щедрость самой древней богини — матери земли. Она сейчас прилетела узнать последнюю судьбу милых детей своих — богов и людей севера — и села далеко за тайгами на берегу реки Обь и, приняв вид великой птицы, высоко голову подняла, чтобы услышать слова небесного Бога, давно покинувшего ее.

Мать солнца, Шонды-мам, великая огненная утка с тремя головами, села у Ледовитого моря на крутой скале и прислушалась к пророческим словам, вычитанным из золотой книги; за нею мать облаков, крылатое темное существо, поливающее землю небесной росой из темного зоба; за нею ветер-человек, кроткий южный ветер, прибыл и притаился в густых рощах, бог Уральских гор, чтобы узнать судьбу.

Много, много еще других властителей звездообильного северного неба и лесистой просторной земли севера соб-

ралось около горы Тэлпозиз послушать старого хозяина неба. Из-за горы поднял свою седую голову и бог Шуа, брат Войпеля, и, положив левую руку к левому же уху, прислушался, что говорится в верхних областях жизни мира.

Великий Ен, оглядевши всех с ног до головы, с улыбкой сказал: «Северные боги и богини, расскажите мне ваши сны, ваши сказки, спойте мне ваши песни, усладите сердце старого небесного великого Ена. Скучно мне стало одному в занебесном дворце, да и скорбь посещает порою меня.» Так он сказал.

Оживились боги и богини и рассказали по очереди свои сны, свои сказки, спели свои песни, песни великие — все то, о чем поют ветры, свистящие между снежными ветвями дерев, что шепчут кудрявые сосны зимой, утром, рано на заре на великих холмах, что рассказывают покрытые белым снегом высокие сли, касаясь ветвями-руками одна другой в беспредельных лесах севера, о чем поют ручьи весною, бурливо протекая с песчаных холмов в сырые ложбины, покрытые можжевельниками, волчьими ягодами, смородиной, о чем говорят прозрачные реки, прислушиваясь к береговым ивам и шепоту красной травы иван-чай, и алых шиповников вдоль лесных безвестных дорог, о чем поют небесные звезды перед зарею востока, после заката солнца, в зимние морозные дни. Все-все рассказали боги и богини: свои многообразные сны, дивнолучезарные сказки, спели затем песни о великом минувшем земли и о тяжелых новых временах, о том, как века укоротились и не стало больше великих героев; слезы катились из их глаз: то были капли росы вдоль Уральских гор на высоких травах, то были искры радужные в водопадах севера, то были цветочки на полянах, где растут желто-белая ромашка и сине-алая иван-да-марья, то были красивые камешки на дне холодного ручья, отвердевшие слезинки, играющие в лучах солнца, то были радости северян, живших некогда жизнью сказки, где невидимо льются дни и неслышно удаляются заботы, не доходя до сердца. Так плакали боги и богини, умиленные своими песнями, восхищенные своими сказками, пораженные величием прошлого и ничтожеством настоящего. Прослезился и сам великий Ен, знающий прошедшее и провидящий грядущее, и упали капли его слез и отвердели на горах — то волшебные играющие цветами горные хрустали (откуда произошли бы они, как не из слез бога, плачущего о жизни земной?), то раковины на дне северного моря, воды

которого никогда не нагреваются лучами яркого солнца.

«Благодарствуйте, северные боги и богини,— сказал, успокоившись, Ен,— спотешили вы мое старое сердце нашими снами, сказками, песнями севера великого. Теперь слушайте закон, который написан в золотой книге неба».

И стал он читать, держа на коленях великую книгу судеб: «Идет с юга новая вера, и вас, прежних богов, забудут новые люди. Хотите ли подчиниться новому порядку и помириться с судьбою? Видите, идет там, за лесами, за рекою, по пыльной дороге черный монах с крестом в руке; он переменит нашу веру».

Прочитав закон, великий Ен закрыл книгу и обратно положил ее на крышу неба.

Он посмотрел на богов и богинь севера и ждал от них ответа, но боги и богини молчали, повесив старые головы: они почувствовали, что конец их власти близок. Тогда, спустя время после долгого раздумья, страшный Войпель, потрясши головою, сказал: «Без борьбы я не уступлю, я подниму вихрь и уничтожу монаха, похороню его в снегах севера». «А я,— прибавил Васа, отец быстрых рек,— затоплю его великой волною, когда он поплывет летом в утлой лодке». «А я,— сказала Ёма,— клюкой притяну его к своей избушке и соблазну его своей красивой дочерью». И все боги тут заговорили и заволновались, угрожая монаху, который шел переменить старую веру новой религией, захлопали в ладоши боги и богини, затем застучали ногами в каменистую почву Уральских гор, так что лесистые вершины Каменного пояса дрожали от гневных возгласов и топанья тяжелых ног бессмертных властителей севера.

Тогда великий правосудный Ен снова взял в руки золотую книгу с крыши неба и открыл ее в другом месте и прочитал им закон: «Силой нельзя поддерживать власть над народами, а только убеждением или страхом, или хитростями». Потом еще лист перевернул и прочитал: «Три века вам дано пробовать силы своего ума, действовать всеми путями, кроме насилия, поддерживать власть и значение; через три века вы должны, северные боги, если не преодолеете, уйти из этих лесов на крайний север и там, доколе не скажу, повелевать народами, живущими в тундрах обширных, на островах и на берегу Ледовитого моря, а здесь ваша власть кончится».

Заплакали боги и богини о горькой доле своей. Рыдали, упрекали судьбу в несправедливости и в жестокости.

Тогда Ен, чтобы утешить их, сказал: «Был Идан-ба-

тырь на золотых лыжах, и стрелы его, как птицы, летели на четыре стороны, и погиб он от врагов своих. Был Перя-богатырь, который за четырех ел, за семерых работал, ловил зверей и птиц шелковыми тенетами, но теперь он спит в земле. Был великан Яг-морт, который деревья вырывал с корнем, как бабы коноплю, однако, убили его белокурые чудины. А Йиркап, знаменитый охотник, разве не утонул он в реке от чар злой колдуньи? Такова судьба земнородных!

О чем же плачете вы, боги севера? Разве не сказка быстролетная — наша жизнь, разве не призраки — небо и земля, видимые взором, разве не устроены они на время моим волшебством, неизвестным ни богам, ни людям? Относитесь ко всему, как к сновидению: небо — сказка, со всеми звездами земля — сказка. Со всеми людьми тихо радуйтесь и тихо плачьте. К чему шумный хохот или громкие рыдания? Тихо, тихо живите, как неслышно живут великие леса севера, высокие горы востока и запада, как чуть зримо мерцают звезды небесные.» Так утешал великий Ен богов и богинь севера. Утерли свои слезы последние и снова прислушались, что дальше скажет мудрый старец неба.

«Еще покажу я вам картины мира», — продолжал тот, рассекши воздух зубчатой стрелой молнии и вызвавши из-за моря Каленик-птицу, которая залетела между богами севера, касаясь огненными крыльями холодных вершин Уральских гор и тенистых ветвей еловых лесов. «Еще покажу я вам картины мира, — говорил Ен. — Глядите, вот покажу я вам грядущее; века пройдут перед вами».

Посмотрели боги и богини вокруг с высоких вершин Каменного пояса и с высот великих сосен и увидели: по всем селам и деревням белые церкви блистают в лучах солнца, церкви нового Бога. Около церквей высокие колокольни со звонкими колоколами. Созвучный звон колоколов раздается по светлым борам и по темным сырým пармам малолюдного севера. Из малых деревень и починков народ идет по дорогам по зову колоколов на погосты, чтобы помолиться в новых церквах новому Богу.

Изумились боги севера, ужаснулись суровые богини, но Ен сделал движение рукой, и новые картины представились их взору.

По рекам с юга направлялись войска неизвестного народа, говорящего на непонятном языке, и осаждали эти народы города северных жителей, брали их приступом, жгли эти города и избивали жителей. Пожары, крики,

вопли наполняли и оглашали дотоле молчаливые леса и прозрачные реки. С востока из-за лесистых гор вогулы с их князем Асыкой нападали на северян и грабили их села и убивали жителей.

Сделал движение рукой Ен, и все исчезло. «Прошли века,— сказал он,— и новое увидите вы». Снова боги посмотрели на юг и на север, на восток и на запад, и увидели новые картины великой жизни.

Северяне потянулись с длинными нортами-санями караванами на Печору и на Ижму с Вычегды и с Выми и населяли тундры с голубыми озерами, с травянистыми лугами, с редкими рощами и с белым ягелем. Пришли с чужих стран на их прежние места иноземцы, гости-купцы, и наняли жителей рубить леса дремучие, и видели боги, как сосны и ели падали лицом книзу на холодную землю под ударами топоров, как дрожали за жизнь ольхи и рябины, малютки-липы по берегам рек от стука железа. Пространные пармы оголели, и открылись их синие вершины. Затем люди настроили большие дома с красными высокими трубами и изменили жизнь на севере. Погасла лучина в избах мужиков и умолкли девичьи песни за прялками и шуршащим веретенем, и длинные сказки прекратились.

Все закопошилось, засуетилось. Сначала заползали между оставшимися лесами длинные железные драконы с огненной ненасытной пастью, а потом залетали в воздухе неизвестные птицы с железными крыльями, с алчным клювом. Дальше пришли с запада и юга неведомые народы в леса севера, и оголенные холмы огласились новой музыкой звуков, иными языками. Великие синие льды на море взрывались в воздух, и пламя взрыва летело навстречу Каленик-птице — северному сиянию.

Задрожали боги, видя картину за картиной разрушения прежней их жизни, и закричали в один голос: «Великий Ен, прекрати видения, или мы умрем все, хотя бессмертны мы!»

«Успокойтесь,— ответил им седой старец, хозяин неба,— много жилищ есть у меня для вас под небесной крышей, повесть же этой земли кратка и незначительна. Помните это и никогда не забывают». Так он сказал, и туман заволок его светозарное лицо, этот туман покрыл весь север, и Ен тихо, величаво и бесшумно поднялся на небо, далеко за звездный песок и укрылся он от взора богов и людей на время или на веки (этого никто не знает) в своем беспредельно-великом дворце из синего пер-

ламутра и светло-звездного огнистого коралла, чтобы показываться более земножителем.

Три века буйствовали с отчаяния северные боги, пугая людей, истребляя их в лесах, топя их в морях и в реках и затем, когда кончилось время и сроки миновали, собрались все в безлюдных каменистых верховьях Печоры, сели в большую лодку с белыми парусами и, взглянувши в последний раз на дубравы, на светлые боры и темнозеленые зубчатые еловые рощи, на светлые горницы из берез, тополей и лиственниц, поплыли вниз по великой синей реке к другим народам, живущим на одиноких островах, на отдаленных, замерзших берегах холодного Ледовитого моря.

Но сны свои золотые и сказки лучезарные, песни веков и прошлых героев — оставили людям между соснами и елями, у корней их мощноветвистых и на вершинах золотом и серебром вечноблистающих шишек, в шуме дождя, в вихре снега, в пении ручья, шепоте пены его, в музыке звуков наивных охотников, в завывании трубы и в хлопании досок тесовой крыши избы в бурное время, навевающее мрачные сказки в сердцах детей северян, в отдаленных отзвуках зари восхода и зари заката, братски обнимающих одна другую в белое, летнее, время, в лучах утренней и вечерней звезды, рано весной над проталинами и поздно осенью над острями вершин сумрачных елей, в беззвучном пении бледно-зеленого неба, в непрерывном шуршании небесного веретена вечнопротекающего времени, в дивнолучистой смене лица природы, всегда юной, в ворчании мудрой старухи — заботы жизни и в неумолкающем смехе бога любви, глядящего с земли на небо пестрыми глазами лесных и полевых цветов и с неба на землю взирающего огнистыми очами многоглазой тайны Вселенной, в звуках невидимых гусель, созвучия которого раздаются в сердцах поэтов, струны которых натянуты в междупланетных пространствах по сю и по ту сторону окраин мира и также незримо проведены тонкой паутиной сквозь души певцов. Так боги и богини оставили свои сказки и песнопения на муки и на радость людей, быстро проходящих тропинки земли, чтобы взойти на иные миры.

Исполнились слова великого Ена, который с тех пор не показывается людям и живет в царстве звезд, созидавая там иные земли, иные солнца, другие судьбы народов; только изредка чиркнет он своим огнивом о невидимый кремень, и искры летят с неба в разные стороны. Северяне смотрят

на это и говорят: «То великий Ен ведет небесный счет земным делам». Только порою гром грянет за облаками и молния пересечет сине-темное небо, и колеблется крыша мира, как ветхий покров жалкой лесной лачуги от напора ветра; а люди говорят: «То Ен великий стреляет в непослушных ему духов и в злых людей». Только изредка стрела его упадет на песчаный берег реки, и мокрые рыбаки, бросив из рук свои сети, спешат посмотреть на огромную горячую стрелу и, глядя друг на друга, тихо перемолятся: «Это ведь божья стрела; в кого-то метился великий Ен».

И потом опять тихо все. Облака разгоняются ветром, и солнце снова спокойно льет свои лучи на грудь земли, и длится, и длится так сказка неба и земли, и не знаем мы, когда и чем кончится она.

МАЙБЫР

В избушке, в лесу дремучем, вдали от всякого жилья, жили вдвоем муж с женою. Хозяин был хороший земледелец и отважный охотник, а хозяйка усердная пряжа и ловкая ткачиха. Жили они вместе уже пятнадцать лет, а детей не было у них.

Ягань — так звали хозяйку — об этом часто вздыхала.

Раз была она далеко от дому и, сидя на берегу ручья, горько плакала. Нет у нее сына. А был бы он, как она прижала бы его к горячему сердцу!

Сильный ветер между тем шумел в лесу и дружно деревья качали вершинами; громко звенел ручей в глубокой ложбине, а цветочки на берегу его наклоняли свои пестрые головки от напора быстрого ветра. «Этими цветами украсила бы я люльку его», — шептала Ягань.

Долго тосковала женщина, и мысль о смерти ей пришла. «Хоть бы три дня пожить, чтобы чувствовать ребенка возле себя и прижимать его к сердцу, соколика, а там хоть и смерть». Так думала в отчаянии она.

На другом берегу ручья в это время из лесу вышел седой старик с длинной бородой — чуть не до земли. Ветер утих, и голос услыхала Ягань: «Знаю, о чем плачешь ты, жена Пармаморта — ты просишь сына себе беспрестанно. А

не знаешь ты, что, родись у тебя сын, не проживешь сама больше трех дней. Согласна ли ты так рано умереть, безвременно покинуть свет».

— Согласна, согласна! — вскричала, простирая руки вперед, Ягань. — Был бы сын, а там хоть смерть через три часа.

Старик ушел. Ветер снова зашумел в прибрежных кустах, и в лесу дремучем деревья стали шептаться меж собой о чудесах этой земли и о страстных, безумных желаниях людей.

Вернулась Ягань в свою сосновую избушку и стала жить по-прежнему.

Через три месяца почувствовала ребенка под сердцем она и обрадовалась, а через полгода после того родила сына. Три дня прижимала его, три дня любовалась им и говорила, что эти дни самые счастливые в ее жизни. «Сын мой, Майбыр! Часть сердца моего!» — твердила она. Пармаморт, муж ее, не мог надивиться, глядя на нее.

Прошли три дня и три ночи миновали. Умерла Ягань тихо и незаметно, без боли, как бы уснула.

Пармаморт остался сам друг с трехдневным сыном.

Как ни любил он Ягань, сколь ни горевал, а должен был жениться, и взял он в жены себе черноглазую, худенькую Читныл из далекого села.

Читныл стала поить, кормить маленького Майбыра, а через год сама родила сына Шорморта.

Растут два сына у лесного человека — Майбыр и Шорморт. Первый был крепкий, здоровый, кудрявый, с синими глазами и белолицый, а другой худенький, черный, с маленькими глазами. Читныл не любила Майбыра за его красоту и часто говорила: «Я не мать тебе, что ко мне ласкаешься? Иди, твоя мать лежит там, под сосною». И с плачем туда убегал Майбыр, под ветви великой сосны и, ставши на могилу матери, кликал ее: «Вставай, вставай, маменька, меня не любит, меня обижает Читныл». Но Ягань не вставала и продолжала спать глубоким сном. Тогда мальчик прибежал к отцу, но Пармаморт не смел ласкать его, боясь ревнивой, худенькой, черной жены Читныл.

Идут дни, месяцы и годы, и все краше становился Майбыр; он чуть не вдвое выше худенького Шорморта и много раз его умнее. Он сделал себе дудку из ольхового дерева и играл печальные и веселые мотивы. Он уже ходит на охоту с отцом и учится у птиц музыке лесной, да у ручьев, да у ветра, постоянно шумящего в дубравах. И

много, много он узнал... Он видел начала рек на горах и в болотах, и видел устья их, окаймленные широкими лугами. Поднимался в могучий сосновый бор — яг, где ягель хрустит под ногами, и спускался в темный ельник-парму, был в березовой роще — рас, и на холмах — керэс, и на светлых полянах — дав. Узнал заговоры и охотничьи хитрости все. Лишь ласки не ведал ни от кого. Отец его любил, но не смел говорить ничего, боялся, что за это убьет его во время сна ревнивая Читныл, и самого, и сына его убьет.

Зорко смотрит Читныл за отцом и сыном. Она начала бояться, что Пармаморт разлюбит ее, потому что красавец Майбыр напоминает ему его прежнюю красивую жену Ягань. «Нет, надо погубить Майбыра, я пошлю его к лесным богам, к лесным великанам, которые как люди живут, только злы, они съедят его.»

Она и говорит мужу:

— Что-то я очень больна, пошли сына, Майбыра, к лесным великанам, пусть принесет мне он целебный зуб предка лесных богов.

Посылает Пармаморт своего сына к лесным богам и говорит:

— Ты ищи их у истоков рек, в болотах, там, где жутко, где сердце человека не веселится, в темных пармах, там, где пугает, куда смелые охотники не смеют идти, где звери и птицы не живут, где колдуны-туны заклятые слова свои читают, их найдешь ты где-нибудь, где ветры сталкиваются, пересекаются неизвестные лесные тропинки, где разделяются реки и ручьи. Иди в такие места и принеси для мачехи зуб предка великанов. Если долго не найдешь их, скажи «нечистое слово», и они сами придут.

Так говоря, Пармаморт тайно от Читныл надела на Майбыра священный пояс его матери Ягань.

Идет Майбыр. Дождь льет на него темными каплями — он сидит под тенистым деревом, солнце печет его — он надевает шляпу из еловых игл. Играет на дудке. Слушают песни его жители леса: красногрудый клест — уркай на елке, гэрд-юра — красноголовая птица — на кустах, и шур на высокой сосне, также пестрый дятел — сизь, неустанный работник. Ветер — тэл поднимается, деревья трещат, Майбыр лежит на полянке, где тетерева — тары — играют.

Глубокою темной ночью, когда звери ходят толпами, сидит он на сосне, на твердых ветвях ее, и думушку думает свою.

Наконец, прибыл в неизвестные места, где неведомые тропинки пересекаются в густых пармах, где реки и ручьи раздваиваются, куда солнечный луч не проникает в полдень, и здесь увидал он огромную избу, построенную из столетних сосен. У крыльца детей увидал он, больших ростом, некрасивых и беспомощных. Накормил их всех из своего запаса Майбыр, сам зашел в обширную избу, лег на лавку и уснул, и дудка выпала из рук у него.

На закате солнца прибежали великаны — муж с женою. Они были на берегах далеких рек, пугали людей, гоняли зверей и птиц из одной чащи в другую, и теперь голодные вернулись. Дети рассказали им, что маленький человек пришел к ним в дом, накормил и приласкал их.

Вошли лесные хозяева в избу, увидели мальчика, который спал на лавке, и дудка выпала у него из рук.

— Ну так пусть он лежит, не тронем до завтра, а утром съедем, — сказал муж.

Солнце взошло где-то за лесом, хоть не было видно его, все же светлело в парме. Великан встал и разбудил мальчика.

— Приготовься, — он сказал, — я тебя должен съесть, я лесной бог.

— Хорошо, — говорит Майбыр, — на погибель мою и прислала меня мачеха. Позволь же мне, лесной хозяин, последнюю песню спеть, оплакивающую мать мою, лежащую под великую сосною...

И заиграл он, Майбыр. Играет и поет, поет и играет, а у самого слезы текут на пол избушки. Смотрит покрытый волосами житель леса на него стальными глазами без век.

Но вот глаза его увлажнились, как будто темная слеза течет по его волосатой щеке.

— Чародей ты, мальчик, твои звуки, твоя дудка тронула мое железное сердце, окаменевшее в старой борьбе с водяными богами, которые живут в болотах и в мрачных озерах, и в омутах рек, где люди тонут. Иди, я тебя отпускаю.

— Дядя, — сказал мальчик, — мачеха прислала меня за волшебным зубом твоего предка.

Молния блеснула в глазах великана, но свой гнев укротил он: «Быть по-твоему». Из темного глубокого голбца, бывшего под полом, вытащил он тяжелый зуб своего предка. «Бери, иди скорее, пока звуки музыки удерживают мою ярость, беги, беги от этих мест и не оглядывайся.»

Вышел Майбыр, не оглядываясь, и убежал из пармы

великанов и после многих странствий вернулся к отцу и поднес мачехе целебный зуб предка лесных великанов.

Читныл только всплеснула руками, увидя живым Майбыра, даже прослезилась, пораженная этим чудом.

Полгода молчала она. Но потом опять раздумалась, видя, как дружно живут Майбыр с отцом. «Умри бы я,— думает она,— прогнали бы моего-то, он худенький такой, беззащитный. Старший-то брат отнимет у него все — и вотчину, и охотничьи угодья, и петли над кустами, куда попадают белые зайцы, соболи и горностан, и бревна-чес, искусно поставленные, которые падают на тетеревов при малейшем их прикосновении к приманке, и петли из кудрявых рябиновых ветвей, украшенных красными ягодами, куда попадают рябчики, и луки, и все отнимет у моего сынка-то. Можно ли терпеть такого недруга? Гляди, какой большой да сильный, глаза, как синее небо. Красив, но, думаю, жаден, как мать, которая, вероятно, тоже жадна была. Нет, ненавистен мне Майбыр, нужно погубить его, иначе не житье Шорморту в привольных лесах».

Наступила темная ночь, и шепчет мужу, обнимая его, хитрая Читныл:

— Тяжела наша жизнь,— говорит она.— Мне жаль тебя, Пармаморт. Опасна охота зимой и летом, в особенности на медведей. Погибнешь ты не сегодня-завтра со своими сыновьями. Останусь я сиротою в лесу дремучем, придется питаться черникой да брусникой.

Затем, вздохнув, прибавила:

— Правда, слыхала я от одного туна, который выше прочих тунов, что если поймать сына короля белых медведей да вырастить, охота на зверей покажется легким занятием: ему подчиняются все звери. Если бы послал ты Майбыра за этим королевским сыном, наверное, стали бы мы богачами.

Послушен был Пармаморт словам злоковарным хитроумной Читныл. Снаряжает старик сына в путь-дорогу и велит поймать королевского сына белых медведей.

— Знаю, трудно это, да делать нечего, бедность надоела наша,— говорит он.— Иди ты, мой сын, к холодному морю, ледяные горы плавают на нем и снежные поля, покрытые туманом. На тех унылых полях ищи ты короля белых медведей и сына попроси себе... Тень Ягани пусть следует за тобой.

Так сказал старик.

Идет Майбыр, взявши много запаса с собой и дудку свою за пояс. Идет он сначала лесом дремучим, затем

широкой тундрой, покрытой кустами ягод и белым ягелем.

Встретились ему стада быстроногих рогатых оленей. Но он не тронул их, не поранил никого стрелой из лука. Увидел он в безбрежной тундре на берегах синих рек и озер из жердочек острые юрты самоедов — яранов. За ласковые слова полюбили Майбыра черноволосые, низкорослые яраны. Дальше идет сын Ягани. Птичьи гнезда встречаются везде, негде ступить ногою. Осторожно шагает юный Майбыр. «Как бы не ушибить милых птенцов», — думает он. Понравилась его кротость царю Тундры, журавлю — тури — с железным клювом. Внезапно появился он над головою Майбыра в недвижимом воздухе и крыльями закрыл северное низкое солнце, затем произнес:

— Гурли, гурли, здравствуй, сын Пармаморта и светлокудрявой Ягани! Будет тебе беда, ты кликни журавлиным голосом, я прилечу и выручу тебя из несчастья. Теперь иди, скоро студеное море увидишь ты пред собой.

Запомнил эти слова сын Пармаморта. Идет он к холодному морю по зыбучему песку. Видит, серые валы с белой вершиной ударяются немолчно о сырой песок, и пену оставляют на нем. Бурые моржи со страшными клыками отдыхают там близ моря и белые тюлени, как люди, лежат рядами вдоль берега водной пустыни. Полукругом, серой волнующейся равниной, слегка окрашенное багрянцем, безбрежное море простирается к далекому северу. Ледяные горы плавают на нем и снежные поля, покрытые туманом. Чуть незаходящее солнце золотым кругом светит у горизонта в полуночной стороне над вечно шумящим морем.

Кликнул тут Майбыр по-журавлиному: «Гурли, гурли». И вдруг шум поднялся и увидел сын Ягани великую птицу, покрывающую солнце своими крыльями как темными облаками. «Садись на спину, — говорит Тури, — полетим на те унылые ледяные горы. Ты ищешь королевского сына белых медведей, как подсказывает мое вещее сердце». Сел Майбыр на спину Тури. Взмахнул тот великими крыльями и поднялся над угрюмыми волнами студеного моря и, глядя на солнце, полетел к северу. Быстро оказались они на вершине одной из плавучих гор. Тут оставил вещий журавль сына Пармаморта, сказав: «Здесь полетаю я над долинами этих гор; ты же кликни меня по-птичьему, и я возвращусь к тебе». Сел на ледяной холмик Майбыр и стал на дудке играть. Белые медведи окружили

его со всех сторон и стали слушать звуки лесной дудки и песни Майбыра.

Плачевно играет сын севера, и завyli белые жители льдов, высоко подняв свои мохнатые головы и острые морды: звуки музыки возбудили в них тоску от жизни однообразной в холодных полях, над которыми блещут бледные лучи северного сияния. Беспросветна их жизнь на пустынных островах, покрытых вечными туманами. Сжалился над ними Майбыр и заиграл веселые песни, и заплясали угрюмые сыны полярных стран Севера. Сначала тихо, тихо качались они, вставши на задние лапы, потом быстрее, быстрее кружились и топали тяжелыми ногами. Как вихрь наконец носились они по зеркальному паркету ледяных равнин, то исчезая в тумане долин, то поднимаясь на ясные вершины. Но вот сами ледяные горы задвигались и образовали хороводы под зеленым пустынным небом.

Каленик птица летала над ними, освещая их вершины своими светозарными крылами. Север дохнул на них своим ледяным дыханием, казалось, вздохнул он о скорби земной при звуках музыки веселой. Усладилось сердце северян, одетых в белые шкуры.

Тогда подошел их король к музыканту и сказал: «Хоть не нашей породы ты, все же мил ты нам. Проси что хочешь, все дам тебе за великую услугу, которую сделал ты нам, диким кочевникам на ледяных горах, жизнь которых идет однообразной чередой в холоде вечной зимы». Встрепенулся Майбыр и сказал: «Дай мне сына твоего, я научу его всем искусствам нашего рода».

Задумался глубоко король медведей. Но затем, кивнув головой, взял он в толпе молодого медвежонка и, тиская его в своих лапах, долго произносил «Мур-мара, мур-мара», целуя сына своего. Наконец отдал его Майбыру. Тот взял молодого медведя, поклонился низко всему стаду и удалился к ледяным стремнинам в тумане утра. Тут кликнул он по-журавлинному. Взвился навстречу ему Турн, летавший над темными волнами, и взял на спину к себе Майбыра с его спутником с ледяного утеса. Перелетел он с ними бесплодное море и пустынные унылые тундры, и опустился на землю лишь у края березовой рощи леса. На прощание сказал Майбыру: «Не забывай Турн, король тундры. Теперь иди к своим: от берез перейдешь к елям, от елей в сосновый бор, а за ним, в пармах, за отрогами лесистых, диких гор найдешь своего старика отца». И при-

был Майбыр по слову Тури к дому своего отца, и за ним тяжело ступал белый медвежонок.

Так и ахнула Читныл, увидевши Майбыра с белым медведем, который мирно следовал за ним, очарованный звуками дудки. Не глупа была Читныл. Увидала, что боги покровительствуют сыну Ягани, иначе давно положил бы он свою голову, и умолкла надолго Читныл, предоставив все воле судьбы, которая сильнее людей и часто ведет нас туда, куда не хотели бы мы идти.

Живут отец с двумя сыновьями, охотничают в зимнее время на лыжах. Старик вместе с Шормортом принесут пять тетеревов, десять куропаток, а Майбыр один несет в два раза больше, да еще Саридзморт, белый медведь, тащит молодого оленя: где-то поймал его в густых чащах березы.

Шорморт завидовал своему брату. Слава его не давала ему покоя. Он уже замышлял, как бы погубить Майбыра. За советом обратился к своей матери, к хитроковарной Читныл. Та поняла безвыходное горе своего сына и решила если не погубить, по крайней мере удалить счастливого сына Ягани.

Раз поздно вечером вернулся с охоты Пармаморт, сыновья же были в лесу. При яркой лучине пряла мягкую куделю Читныл.

Угощая старика ужином, она сказала ему:

— Пармаморт, по небу ходят серые тучи и над тундрой, и над лесами, и над морем, отдыхают же они на горах в темные ночи. Откуда берутся эти стада небесных коров, которые молоком своим поят плодоносную землю? И долго ли будут носиться они над молчаливой землей? Эти вопросы слыхала я от мудрых тунов, а ответа нет ни от кого. Пошли же своего Майбыра, пусть разузнает все это и расскажет всем добрым людям на радость им, себе на славу.

Вот что придумала опытная в хитростях Читныл, желая навсегда удалить Майбыра.

Простодушный Пармаморт передал все это старшему сыну своему и прибавил:

— Сделай, милый мой Майбыр, третье дело, сердце мое говорит мне, что вернешься ты живым, и увижу тебя богатым и славным.

Отправился Майбыр лесом дремучим, а за ним Сари-

дзморт — белый медведь. В безлесную тундру затем вступили они, отовсюду открытую ветрам.

Тяжело было на сердце у сына Ягани, задумчиво он шел по белому ягелю. «Как же я могу вступить в беседу с облаками? На верную гибель, видно, я иду», — думал он, грустя.

Вдалеке увидал каменные горы — как у горизонта густые облака. «Поднимусь туда, — думает Майбыр, — на лесные вершины гор, там поют ручьи, там коршуны летают над погибшими охотниками, а близ стремнин облака отдыхают в туманные ночи, свесив свои полные груди в темные долины, не узнаю ли я там что-нибудь о воздушных караванах, постоянно носящихся по обширным небесным полям?»

Поднялся Майбыр на лесные хребты гор и сел у одной стремнины, спрятавшись от холода и ветра в густых можжевельниках, а Саридзморт недалеко лег в открытом месте, заботясь о безопасности сына Пармаморта.

На закате солнца прилетели на туманных крыльях караваны облаков по воздушной пурпурной зыби и расположились ночлегом на вершинах гор. Старая елинка там росла, прикрепившись к скале своими корнями. Она сжалась над облаками и сказала:

— Плохо я живу, прикрепившись к голой скале, но все же лучше вас. Судьба ваша плачевна мне, сестрицы. Тяжело вам поливать леса и поля земли, поднимая соленую воду из океана. Скажите же мне, где вы родились и долго ли будете поливать горы и долины сладкою водою, текущей из вашей груди?

— Милая сестра наша, — сказали облака, — на туманных крыльях летаем мы по зыби воздушной, таская на радужных коромыслах горько-соленую воду из туда и сюда текущих струй океана на плодоносную грудь земли. Эту соленую воду выпиваем мы, а из наших сосцов стекает сладкая — на леса и поля. Тяжела наша участь и однообразно-уныла она. Родились же мы в пучинах океана вместе с белою пеною морскою близ скалистых берегов на закате солнца и будем носиться мы над землею столько годов, сколько звезд сияет, мерцая, на черном небе в холодную зимнюю ночь, когда равнодушная к земле луна купается еще в подземных водах. Живите мирно, дети земли, мы напоим все сладкой водою, неустанно трудясь.

Так сказали облака, и голос их был подобен шуму дождя, быстро погоняющего путника в поле. Ночной

ветер подхватил их слова и передал можжевельникам и карличкам-березкам у ужасной стремнины горы, а кудрявые можжевельники и карлички-березки пересказали все это от слова до слова спящему Майбыру, который у них стоял ночлегом близ крутой стремнины.

С восходом солнца, когда огромный круг его поднялся из-за силуэтов гор и разбудил стада белых облаков, почивавших на молчаливых вершинах, в ранний час встал Майбыр и направился к дому. Вместе с белым медведем вернулся он к отцу и сказал:

— Пармаморт! стада серых облаков рождаются в пучине океана, близ скалистых берегов на закате солнца и будут они поить землю столько годов, сколько звезд видим мы на холодном зимнем небе.

Удивилась Читныл Майбыру и почувствовала в сердце к нему любовь. «Я погублю Пармаморта и выйду замуж за Майбыра, и тогда не обидит он Шорморта, а я наслажуся любовью.»

Так думала неустанно коварная Читныл, но иное было назначено судьбою охотникам.

Когда Майбыр раз на лыжах гонялся за бурым лосем — Ерой, незнакомая старуха остановила его и шепнула:

— Пора, пора идти к своей невесте, Майбыр. Ждет тебя красавица в дремучих пармах у обрывистого берега ручья, текущего с высокой горы.

Лук выпал у Майбыра из рук от удивления, и он хотел кое-что спросить у старухи, но та скрылась в еловой чаще.

Сделал себе сын Ягани тогда бандуру из ольхового дерева, натянул на ней струны, сотканые из длинных белых волос своего Саридзморта — медведя — и отправился искать свою невесту. Прибыл он к крутому берегу ручья, шумно падающему с высоты каменистой горы и увидел там избушку. Зашел через маленькое крылечко туда и увидел в красном углу девушку, которая вышивала черные и красные фигуры людей, зверей и птиц на белом полотне скатерти.

Девушка не прогнала его, не разбранила, а пригласила согреться и отдохнуть в ее теплой избушке.

Сидит Майбыр у стола в лесной хижине и любит светлокудрявой девой. Ему казалось, что лучистые взгляды ее серых глаз проникали в сердце. Забыл он старика Пармаморта и дом свой на парме, и белого медведя, где-то охотничающего на берегу шумного ручья.

Берет бандуру-кантеле в руки он и поет песни. О жизни лесных великанов он пел, о борьбе их с водяными, о белых жителях снежных полей, о благодетельном Тури, также воспевал он стада облаков, летающих высоко над лесами. Песня его волнами лилась в избушке чародейки.

Между тем девица сидела в красном углу, смотрела на Майбыра и проливала горькие слезы. Потом она сказала:

— Охотник, ты ничего не ведаешь и поешь свои песни, но скоро придет старуха-мать и съест тебя железными зубами. Много охотников погибло здесь.

— Пусть,— ответил Майбыр,— жизнь давно уже опостылела мне, ласки не знал я в жизни, а гибели моей будут рады многие.

И снова заиграл он о жизни лесных богов, о Каменном поясе, проведенном для крепости земли от северного к южному морю.

Уж полночь наступила, а ведьмы-старухи нет. Лесные боги задержали ее, позвав к себе в гости. Она была Йома. И три дня и три ночи ждали ее охотник с девицей, но старухи не было. Тогда красавица сказала:

— Теперь все кончено, и написанное в книге исполнилось, ты мой суженый. Пойдем отсюда.

И пошли они к дому Пармаморта. Майбыр сказал отцу:

— Йольныйл — моя невеста. Я построю новый дом около сосны, где лежит добрая Ягань, и в новом доме устрою пир.

Выслушав это, поняла разумная Читныйл, что нужно покориться воле судьбы и желаниям могучих богов, и навсегда оставила вражду против Майбыра и Пармаморта.

Построен был новый дом возле сосны, где спит в земле добрая Ягань, и великий пир затеял здесь искусный Майбыр.

Шорморт вместе с белым медведем отправились в разные стороны по великому северу — пригласить гостей на брачный пир Майбыра и Йольныйл...

Все знаменитые люди по рекам Вычегде, Выми, Пинеге, Вишере, Печоре и другим собрались в парму, к сыну Пармаморта.

Пильвань из Ипатьдора отправился вместе с Софроном из Шилы, и Фалалей с Усть-Сы сольска, Тювэ с Вишеры, Панюков из Ыджыдвидзья, знаменитый разбойник Туннырьяк из-под великой ели, растущей в Деревянке, Дарук Паш с Печоры, король тундры Тури прилетел с

берегов далекого моря, и король белых медведей прискакал с ледяных островов студеного моря, ученики Пама Бурморта пришли с берегов Оки из Алтыма, великан Ягморт с Ижмы.

Собрались все знаменитые гости в доме сына Парморта блеснуть своим разумом и хитростью, мудростью и силою. Много великих споров было там, на веселом пире у Майбыра. Когда все гости натешились и наговорились, взял дудку свою сын Ягани и запел он песни о лесных великанах, живущих при разделе рек, о великих льдах, плавающих в полночном океане, и о тучах, нависших над пармами севера; все удивились, слушая игру и пение его. «Отважный охотник Майбыр и музыкант не последний на великом Севере»,— все сказали, глядя то на Майбыра, то удивленно смотря на светозарную Йольныйл.

Слава пошла с тех пор великая о Майбыре, и молва, как он праздновал свою женитьбу, какие гости были там.

Из края в край песни раздаются теперь о нем и о матери Ягань — и в тундрах, и в лесных чащах, и на песках близ студеного моря.

Долетели эти звуки и до моих ушей, принес их ветер, и нашептали можжевельник и верески в темном бору. О красоте же Йольныйл много рассказали мне тихим шепотом алые лепестки дикого шиповника, растущего возле дорог между соснами на далеком Севере.

ДЖАК И КАЧАМОРТ

I

На берегу одной большой реки стояла бревенчатая избушка. В ней жил северянин Джак; а на другой реке, впадающей в первую широким устьем, жил его сосед Качаморт, не менее богатый пушными зверями, золотом и серебром, чем первый.

Была зима, снега покрывали горы, холмы и речные долины. Сосны и ели, ольха и береза, черемуха и можжевельник — все было покрыто толстой белой пеленою снега. Ручьи и деревья умолкли, притаившись под густым,

пушистым покровом. Разве только шепотом иногда ивовый куст перемолвится с рябиной или с елочкой о каких-то тайных делах, неизвестных людям.

Скучно стало черному кудрявому Качаморту, и отправился он на лыжах, вооруженный луком и копьем, в гости к рыжебородому с русыми волосами Джаку.

Сошлись два северянина, разговорились, сидя у окна около стола, нагруженного съестными припасами и хмельным напитком суром.

Повеселели они и стали состязаться в познаниях. Джак говорил: есть-де большое море на севере и там-де конец земли, дальше уже ничего нет, кроме ледяного моря. Заспорил Качаморт, утверждая, что нет такого моря, а все-де земля, сколько ни иди в полуночный край. Заспорили и заклад стали держать, по рукам ударили.

Джак сказал: «Если я проиграю, дам тебе половину своей пашни». Качаморт сказал: «Если я не прав, половину коров и лошадей уступлю тебе и дочь мою отдам за сына твоего без калыма. Наше слово твердое, мы ведь короли и никому не подчиняемся, живя в дремучих дебрях». Тут Джак пригласил сына своего Бурмата. «Слышал, Бурмат, мы бились в великий заклад с Качамортом». «Все слышал,— ответил тот.— Только дайте мне сухарей приготовить — и я в дорогу...».

II

Через три дня Бурмат надел овечью шубу, покрытую крашениной, а сверху — малицу, на ноги — пимы, и встал на лыжи; на спине его был мешок с сухарями, там же колчан и стрелы. Сбоку висел лук, в руке было копье. И отправился Бурмат на великий север разузнать, доподлинно ли есть конец земли.

Отправился он туда, где сияет свет от игры льдов, по тому направлению, куда проведена бледная полоса по небу великим Богом для полета птиц. Идет, идет сын Джака, густые елки кругом стоят грустные, печальные, головы их наклонились на бок.

— Из-за чего вы так печальны?— спрашивает Бурмат.

— Как же не быть печальными нам, когда красавица-солнце ушла от нас далеко на юг, и темно нам стало, и тяжело под густым слоем снега; не слышно пения птиц на полях, ни в кустах, ни в воздухе. Один ветер свищет однообразно, сын ночи, поет он нам уныло и все о том,

как на северном море плавают караваны льдов, не людьми построенных кораблей.

Идет далее на лыжах Бурмат — белые березки перед ним стоят низенькие, с остренькими вершинами, как сахарные головы, и глубоко вздыхают холодным дыханием, чуть высовывая свои вершинки и безлистные веточки из-под снега.

— О чем вздыхаете вы, северные березки? — спрашивает их Бурмат.

— Как не вздыхать нам, мы живем на конце земли, близ самого конца, и дальше нет ничего, кроме воды и льда, воде же и льду нет конца. Живем мы без света в долгую зимнюю ночь и не знаем мы улыбки теплого ветра. Много звезд зажжено там, вверху, и искрятся они, и угольки падают с небесных лучин, но далек небесный светец и не греет он нас. Там хозяйка неба прядет свою куделю в ночное время, и веретено ее шуршит — слышишь?..

Идет далее сын Джака безлесной, открытой тундрой. Полуостров вдается в море. Он идет по полуострову, и тут конец он увидел матери-земли. Дальше голубые ледяные горы возвышались в безветренной тишине, а над ними огненный качался занавес... Видно, кто-то живет там, ложится спать, просыпается. «Эти льды — дворцы, — думает Бурмат. — Не в них ли живет красавица-солнце?»

Полгода он бродил по ледяным холмам и вершинам, пока не пришла красавица из-за пурпурного моря и озарила зеленым светом ледяные поля.

— Скажи, прекрасная дева, из женщин жена, — спросил ее Бурмат, — есть ли конец земли, или еще куда нужно идти?

Из-за моря, сквозь алые окна синих ледяных дворцов в полночь сказала первая красавица мира:

— Тут конец земле, больше некуда идти, вернись к отцу.

— Нельзя ли пожить в твоих дворцах, небесная дева? — опять спросил ее Бурмат.

— Останься, — ответила она.

И уснул тут сын Джака на берегу моря. 100 дней ласкала его красавица-солнце и целовала своими лучезарными устами. Сны снились Бурмату неземные. И бесконечно он радовался во сне. Когда же проснулся, солнце-дева уже уходила опять на юг, оставив пустынными свои ледяные дворцы севера.

Бурмат забыл золотые сны, которые видел, и с грустью вернулся к себе, в свои темные пармы: он все ста-

рался вспомнить виденное, но не мог... Но принес он весть отцу, что земля имеет конец, и дальше уже нет ничего, кроме безбрежного ледяного моря...

III

Обрадовался Джак, а Качаморт загрустил, он отдал половину своих коров и лошадей счастливому соседу. А сам все думал, как бы отомстить Джаку, посадить его в корыто, поставить в тупик каким-нибудь великим вопросом. Между тем к нему явился Бурмат, напоил его и дочь Шондыныл хмельным напитком суром и на другой день без калыма увел Шондыныл к себе в избу, и та стала его женой.

Не успел отомстить Качаморт Джаку, лег в землю, уснул он надолго, а за ним в скором времени умер и Джак... Бурмат остался наследником пашен, лугов отца и тестя, и много у него стало охотничьих угодий, мог он ездить на оленях и на собаках, мог нанять черных яранов в казаки себе и жить припеваючи. Сын у него родился счастливый, с двумя затылками — Мичаморт. Елочки и сосенки около него радостно шумели, белки и зайцы бегали вокруг его дома...

Но Бурмат не был счастлив. Черная дума не оставляла его: он все старался вспомнить, какой видел сон, но несмотря на все усилия не мог вспомнить. «Ах, красавица-солнце, ты сделала меня несчастным, лучше бы не видеть тебя». Шондыныл не могла его ничем утешить. Бурмат уже собирался в далекие края — разведать у мудрецов, какие сны могла нашептать ему красавица-солнце. Но Джак явился ему во сне и сказал: «Никуда не ходи, тебя постигнет беда, ты же свое сделал, дальше подвинет дело твой сын Мичаморт, и будет искать ответа на твои вопросы».

Ждет Бурмат, когда вырастет его сын Мичаморт. Когда ему минуло 16 лет, рассказал отец о своем горе, и сын приготовил сухарей, взявши лук и стрелы, запрягши собак в санки, отправился на восток — разузнать от кого-нибудь, какой видел сон Бурмат на берегу безбрежного моря. Шондыныл в слезах осталась дома, лишившись веселого сына.

Идет Мичаморт к восточным горам. Как пурпурные облака, поднимались их вершины на восходе солнца. Бли-

же и ближе становятся горы, все идет Мичаморт, пересекая шумные ручьи и бурные водопады. Смотрит, перед ним свесилась скала серого цвета. В скале отверстия, из отверстий видны руки и некрасивые лица. Руки сжимаются и разжимаются, как бы чего-то просят. Мичаморт дал им свой стальной нож и стальное огневище, и руки взяли и спрятали их куда-то, а лица кланялись и благодарили... Пораженный этим, Мичаморт быстро побежал на горы, а с гор в лесистую долину спустился и направился к великой реке «Дед».

Он увидел на берегу этой реки трех седых стариков, которые ловили рыбу неводом, а костер горел на песчаном берегу. Мичаморт спросил их, кто они такие.

— Мы ученики Пама Бурморта, сам же он уснул и спит без сновидений вои там, на берегу, прикрывшись зеленым дерном. Счастливец, а мы еще бодрствуем и видим тяжелые сны жизни и тоскуем. Уснем же скоро и мы.

Выслушав их, Мичаморт обрадовался:

— Вы, мудрецы, сядьте к костру и расскажите о снах моего отца Бурмата, который был на берегах Ледовитого моря в гостях у красавицы-солнца.

И тут подробно рассказал Мичаморт о путешествии своего отца и о том, как он спал 100 дней и видел блаженные сны, которые потом забыл. Он прибавил также и то, что он видел скалу в Каменном поясе, в скале отверстия, а в отверстиях сжимались и разжимались руки.

Седые мудрецы, сидя у костра, слушали, свесив свои головы. Когда Мичаморт кончил, один из них, у которого борода была всех длиннее, сказал:

— Так как ты дал железа несчастным людям в скале, мы расскажем тебе сон твоего отца. Он лежал на лугу и видел, как небо раскрылось, точно шатер, и увидел над небом алмазные дворцы, ветвистые, совершенные деревья около них, под ветвями кротких животных и мудрых, блаженных людей. Сияние тысячи солнц озаряло их, и небесной, совершенно прозрачной рекой орошались эти места. Затем твой отец увидел, как эта лучезарная жизнь спустилась на землю, и на земле стало светло, радостно и блаженно: не стало злобы, не стало горя; все жили и радовались, как дети — птицы, звери и люди — и отец твой плясал, как ребенок. Вот какой сон видел твой отец Бурмат, и он сбудется. Когда он сбудется, эти несчастные страдальцы выйдут из скалы, куда спрятались от хищников, южных народов. Этот сон сбудется, но не скоро. Тысячелетия тысячелетий пройдут раньше, и лучше спать до

тех пор, как спит Бурморт... И мы скоро уснем... Теперь ты иди, добрый человек, больше от нас ничего не услышишь.

Мичаморт встал и ушел, а мудрецы остались в блаженном покое около огня в ожидании, когда уснут они подобно Бурморту.

Мичаморт вернулся домой и рассказал своему отцу все, что слышал за Каменным поясом, и чем дальше говорил, тем большей радостью наполнялась душа Бурмата. «Это, это видел»,— говорил старик. Он два дня был как безумный, пел, плясал и говорил безумные вещи. Потом, успокоенный, на третий день сказал Мичаморту:

— А мне жаль старины, никто лучше Качаморта и Джака не жил на земле и не будет жить. Они жили как короли в дремучих лесах, управляя своими стадами.

Скоро Бурмат умер, желая поспать под зеленым деревом до того времени, когда сбудется его сон, а сын Мичаморта был на юге, увидал там большие города и беспокойных людей, желающих овладеть всеми землями на востоке и на западе, на севере и на юге. Оттуда вернулся он и посоветовал своим — отцу и всей родне — уйти на север, подальше от беспокойных людей, чтобы сохранить прежнюю жизнь Джака и Качаморта.

Так жили потомки северян Джака и Качаморта. Они жили подолгу, но охотно умирали, чтобы скорее дожждаться исполнения снов Бурмата.

АТАМАН ШЫПИЧА

О чем шумит дремучий лес близ устья Сысолы? Зачем так воют ветры севера, раскидывая листья красной ольхи, белой березы и рябины, над ковром густых шуршащих трав? К чему белые волны гремят вершинами и немолчно ударяются о песчаный берег? Из-за чего бегут караваны серых облаков, беломохнатые стада высокого неба, спеша и толкая друг друга?..

Ясные дни знойного лета прошли и начались пасмурно-дождливые дни пред темной осенью.

Грустный сидит у окна высокого дома над бурной Сысолой славный разбойник и колдун Шыпича. Мрачно гля-

дит он на уныло-однообразный лес за рекой, теребит свою бороду, прислушиваясь к шуму холодного ветра. Иногда головой качает он, как бы внимая чему-то важному, что уже было или должно наступить.

«Какая ныне бурная осень,— думает Шыпича,— долгая и ненастная. Пронзительные ветры дуют, словно холодное дыхание льдов северного моря — вой саридз. Тощие облака бегут — и все на юг, на юг...

Сердце мое беспокойно, и ужасные сны снятся каждую ночь. Все снятся мне какие-то многовесельные огромные лодки и люди, одетые в кольчуги, вооруженные невиданными ружьями. Они плывут сюда, в широкое устье Сысолы, и грозят мне издали, блестя саблями в воздухе. Перед чем все это? Или это кровь играет моя? Я давно вдовствую, я не имею жены, часто тоскую несказанно... Неужели все из-за этого?

Пли это Бог возвещает мне великое бедствие и кажет грядущее в сновидениях? Сердце болит мое постоянно. Опять же, думаю, невозможное не сбудется... Неужели ищут меня прежние товарищи-сподвижники, ищут своего атамана и хотят у меня отнять мои сокровища? Сегодня пойду я к красавице вдове, живущей за три версты, за лесами, и нарушу все обеты».

И смутные думы и темные волны хотений ударялись в сердце туна. Одевается тун, разбойник Шыпича, и идет через лес знакомой тропинкой к красивой залесной вдове.

В отдельном тереме над темной Сысолою дочери его живут. Одна с белыми волосами, голубоглазая, а другая старшая, с глазами темными, как осенняя ночь. Первая еще не знала любви, огонь еще не сжигал ее сердца. Вторая уже все испытала, любя черного туна из-за речки Човью, хитрого Сизь Яка. Имя первой было Шондыныл — дочь солнца,— она родилась в день праздника солнца; имя другой — Тэлысьбан, лицо ее было бледно, как месяц в середине неба в зимнюю холодную ночь.

Шондыныл и Тэлысьбан. Сидели у окна они и смотрели на бегущие облака над беспокойной рекой и на желтые листья березы, гонимые быстрым ветром с окрестных лесов. Они гадали и на воду смотрели и видели смерть отца, но обе безмолвно склонялись перед тайною силою рока.

От века все записано в одной книге, которая лежит на столе в золотом тереме, на крыше неба у великого Бога Ен, имеющего белую бороду и белые усы...

Сыновья Шыпичи далеко в лодках уплыли вверх по

Вычегде, окаймленной желтыми песками, собирать ясак * для своего знаменитого отца.

Не думал мрачный Шыпича о своих детях, идя узкой тропинкой между деревьями, вершины которых качались от шумящего ветра севера. Пересекши лес, приблизился он к сосновому тыну избы, которая приветливо стояла, белея тесовыми степами в тени двух кудрявых берез.

У маленького слухового окна сидела вдова Сизью-гэтыр-ёма, расчесывала свои длинные русые волосы и заговоры шептала, приговаривая:

— Не зайчик идет в петлю,
не медведь ищет капкана,
не волк устремился в яму,
не лиса ищет лука,
а славный Шыпича спешит
к бедной вдовушке
Сизью-гэтыр-ёме.

Я служу не только белоусому Ену, но и лукавому брату его, Омэлю.** Пусть будет, что будет, что бывает после греха.

Вошел к ней Шыпича и поздоровался. Она усадила его в красный угол, потом голову его на колени положила и волосами, как шелком, окутала ему шею. Запела песню затем о Войпеле, северном боге крутящегося ветра, сына мрачной полуночи, бушующего в борах; и о грядущей смерти Шыпичи пела она.

Тот слушал сладкий голос Ёмы, и темные волны хотений нахлынули в сердце.

.

Три дня, и три ночи прошли.

Бессильный вернулся могучий Шыпича от лукавой пленительной певуни, вдовы Ёмы. Дома налил он в чашку воды и хотел принести очистительную жертву богам, дабы возвратились прежние силы, но не успел — иное было в таинственной книге белоусого Ена. Три отрядами напали на его дом новгородские разбойники, закованные в железо. «Ослабел я сейчас, — сказал Шыпича, но отражу удар». И, подняв руки над водой, заклятье произнес:

«Море — седой старик,

* Дань.

** Бог зла.

родивший много дочерей — рек
и малюток — звенящих ключей.
Вспомни своего сына Шыпичу!»

Так он сказал, и воды поднялись из чаши длинными фонтанами, как будто огромные ящерицы, постоянно смеющиеся над богом прома-гудури-айка, подняли свои треугольные головы.

Все разбойники оказались в воде по колена, но храбро они шли к дому Шыпичи вброд по исполненному гнева шипящему потоку. Повторил тогда свое заклятие Шыпича:

«Мать облаков Кымэр-мам,
иди сюда,
в тебе я нуждаюсь».

И вода поднялась по грудь разбойников. Она клокотала вокруг дома и наполняла рощи. Назад повернули два отряда, спеша к своим лодкам, но третий с атаманом во главе поднялся по ступенькам на крыльцо.

Третье заклинание произнес вещей тун:

«Отец льдистых гор, живущий
на мрачном севере
Саридз-айка, сойди сюда, тебя зову я».

И воды выше поднялись, шумя волнами, и по шею оказались в ней разбойники. Вплавь бросились они назад, но атаман с двумя свирепыми товарищами продолжал идти по сеним до двери колдуна.

Не хватило силы для новых заклинаний Шыпиче без очистительной жертвы богам после сладких объятий вдовы Гэтыр-ёмы. И схватили его за бороду разбойники и стали рубить топорами. С каждым ударом воды убывали, с воплем утекая в пенистое русло прозрачной Сысолы.

Дочери колдуна руки воздевали к матери облаков, но сами не решались помочь отцу. «Не смеем мы идти против слов, записанных у белоусого бога, живущего на небесной крыше», — шептали в смертельном страхе они.

Долго рубили разбойники Шыпичу, но убить не могли его.

— Не умные вы дети! Если не скажу — не убить вам меня и сокровищ не найти. А были бы гостями моими, ушли бы с дорогими подарками. Но пусть! Жизнь надое-

ла мне, хочу идти в ту сторону мира, умереть хочу, утомленный жизнью и любовью. Разрежьте нижний мой пояс, и я усну смертельным сном, желанным, повидавшись с вами, друзья юности.

Разрезали разбойники нижний пояс, и умер Шыпича. Воды из его комнаты ушли и с воплем и со стоном слились с белыми волнами разъяренной Сысолы.

Убили разбойники дочерей туна, обесчестив их, и бросили их на берегу реки.

Ограбили они дом Шыпичи и ушли с богатой добычей сначала вниз по Сыsole, а потом по волнам широкой Вычегды, окаймленной пармами и светлыми борами.

Поют ветры печальные песни, шумят неумолчно реки севера...

Плывут в лодках с богатым ясаком дети колдуна Шыпичи к родному пепелищу.

Ворон им навстречу: «Куру-кара, нет Шыпичи, нашего друга, погасли Шондыныл и Тэлысьбан! И плачут красные ольхи и белые березы над устьем темной Сысолы!»

ТУННЫРЪЯК

На высоком берегу реки Вычегды стояла ветвистая ель. Она одинока была среди полей, но бестрепетно встречала страшные бури и вьюги. Под сенью этой кряжистой ели была избушка чародея Тунныръяка. Много у него хлеба росло — ржи и ячменя — около великого дерева, но не этим богат был Тунныръяк. Он гадал, предсказывая далекое и будущее, и давали ему шкуры зверей и плитки серебра за его прорицания. Но не этим был богат многославный колдун. Он был хозяин лесов и реки Вычегды. Не давал пропуску ни лодкам, ни судам по реке, ни пешим караванам, идущим мимо невидимыми тропами в дремучем лесу. Все было его, что находилось в окрестностях. И этим был богат Тунныръяк.

В двух-трех верстах от него жила вдова, прекрасная Ирина — дочь Пармы, подруга чародея. После разбойничьих подвигов, слушая ее ласковые слова, любясь ее красотой, часто отдыхал Тунныръяк у своей полногрудой подруги.

Счастливо протекали дни, годы и десятилетия для волшебника, жившего под высокой елью. Никто не смел напасть на него: достаточно было ему чашки воды, и он своим чародейством устраивал фонтаны, потоки, ручьи и озера около своего дома, и никто не решался подойти к такому туну. Бить его мечом — все равно что ударять саблей по волне ручья или крошить пену морскую. В воде была вся сила его.

Рассердились добрые боги на Туннырьяка за его разбой, а злые люди позавидовали его счастью, и стали думать, как бы погубить его.

Был его соперник, колдун кузнец Федор, он много раз пробовал с ним тягаться в знании заговоров, но видел, что слаб в сравнении с Туннырьяком. Тогда кузнец Федор отправился на чужую сторону и пригласил из далеких мест искусных еретиков-ведунов.

Пришли ведуны и решили сжечь чародея вместе с его домом и широковетвистою елью; они полагали, что в столетнем дереве вся его сила.

Костры разложили около дома Туннырьяка и зажгли их. Великий пламень объял дом и дерево чародея. А тот сидит у окна: «Дети, дети, где вам меня взять, неразумным, беззаговорным». После этих слов открыл он волоковое окно и двери дома, и потекла вода из дверей рекою, а из слухового окна многошумным ручьем, который скачет с высоких холмов, и нипочем ему камни и деревья. Вся окрестность залита была водою. Огонь потух, и все колдуны убежали от сердитого потока, покрытого белою пеною.

Повесили свои носы мудрецы лесные, не знали они, как погубить хитрого Туннырьяка. После долгой думы один старик сказал: «Где не хватает силы, там пустить надо коварство. Где ничего не значит мужчина, там женщина все достигает. Убедим же мы мудрую Ирину, что друг ее чародей — зло всего нашего племени, и она погубит его».

Как сказали, так и сделали туны — враги Туннырьяка. При каждом удобном случае они стали говорить с приятным лицом Ирине, как убийственны для всех разбой ча-

родея, и просили ее, чтобы выведала, когда он теряет свою силу, когда он больше всего бонтя своих заклятых врагов. Долго не соглашалась Ирина с ними, долго спорила с лесными колдунами верная подруга Туннырьяка. Шли дни за днями, ей не хотелось обманывать чародея, жаль было ей разбойника, голова которого была покрыта черными кудрями и в глазах постоянно искрилось пламя любви к ней, но заговорщики настойчиво просили ее, угрожая иначе проклятием богов, которые не любят душегубов разбойников. Наконец дала она обещание все выведать у своего друга.

Туннырьяк, хотя догадывался о происках врагов, но так презирал замыслы их, что спокойно проводил дни и ночи в своих хоромах, выглядывая в слуховое окно на своих неприятелей и посмеиваясь над их безумием. Часто видели прохожие в окно его черную бороду и длинный, как у орла, нос, и быстрыми шагами пробегали мимо его дома.

Настал жаркий летний день и прошел. И прохладный вечер наступил. Румяная заря золотой лентой покрыла край неба. Разбойник пошел к мудрой Ирине в гости, хотя его вещее сердце и чувствовало беду, но не боялся он, давно уже привык не дорожить ни своей, ни чужой жизнью. Сильно ласкала его мудрая Ирина, ослабел от ее любви могучий Туннырьяк. Тогда села перед ним Ирина и спросила, поглаживая его бороду:

— Скажи, мой друг, когда бываешь слабже всего и как могли бы погубить тебя твои враги?

— Не на добро спрашиваешь ты об этом, Ирина,— ответил чародей,— но чтобы ты знала, как я верю тебе, скажу: я сейчас очень слаб, малый ребенок может победить меня — так ты сильно ласкала. Погибнуть же я могу в конце, когда не найдется в избе ни одной чашки воды.

Так сказал Туннырьяк, и вскоре уснул, убаюкиваемый тихим вечером. Как только он уснул, Ирина убрала всю посуду с водой, так что нельзя было найти ни одной чашки воды во всем доме. Затем быстрыми шагами пошла она к лесу и передала колдунам свой разговор с Туннырьяком. Как только они узнали, что Як ослабел и воды нет в доме ни капли, бросились все к избушке Ирины.

Проснулся Тунныр от шума оружия и бросился к лохани, к ушату, к ведру с водой, но ничего не было в доме, дальновидная подруга вынесла все из избы.

Тогда разбойник выскочил в окно и побежал к реке, к великой Вычегде. Он был уже близко к берегу, уже не-вдалеке была прозрачная река, и тогда беда была бы врагам, но кузнец крикнул ему:

— О Тунныр! Не хотел ты ни от кого бежать, а теперь нас испугался!

Тут разбойник остановился. Стали его рубить мечами и колоть копьями враги. Но смерти не было чародею.

Тогда он сказал:

— Подождите, чем мучить меня, лучше убейте рассеките меня накрест и наотмашь мечами, и я умру.

Рассекли его накрест и наотмашь, и тут умер знаменитый Тунныръяк. Дом его и великое дерево были сожжены.

Много лет прошло с тех пор. Раскаялась Ирина в том, что сделала. Велела воздвигнуть высокий курган над костями чародея, которые были обгложены хищными зверями и птицами. До сей поры стоит этот холм, холм знаменитого Тунныръяка.

И страшно, страшно проходить мимо него — там слышен звон ручья и шум ветвей, как бы в дремучем лесу.

УРИЛА

Цветы покрывали поля. Злаки, как волны моря, колебались у дремучего леса, где днем и ночью птички пели и золотая кукушка куковала. Ветер играл непрерывно, шелестя листьями берез, растущих по берегу маленькой речки, которая орошала зеленые луга. Солнце и луна поочередно проходили по небесному своду над ясной поляной, где стояла моя сосновая избушка. Звезды по ночам гляделись в мои окна, углубляя сладкие мечты, наполнявшие мою душу. Румяная заря ни разу не забывала моего дома и пурпурным лучом проникала каждое утро на печку и на голбец, где с прялкой сидела у слухового окна моя красавица жена Уриила. Ее волосы были одного цвета с утренней зарею, а глаза с синим небом, голос же был подобен звону лесного ручья; шея и руки напоминали белые лепестки нежной ромашки, покрывающей лесные поляны. Она сидела и пряла, и пела по утрам.

Она пела, несравненная Уриила, о том, как я ее любил и как она меня любила, как в детстве мы пасли вместе белорунных овец ее отца на зеленых лугах, как играли красивыми камушками близ ручья, как она делала венки из весенних цветов, из синих васильков, нежных, как ее глаза, и надевала на мою голову. Она пела, и золотые сны юности восставали предо мною снова, и каждое утро переживал я волшебное детство свое, протекшее между дремучими соснами на зеленых лугах близ прозрачной, светлой реки, прошедшее среди кротких овец, вблизи сказочно-волшебной Уриилы. Она пела эту песню и снова ее повторяла, и еще краше выходило, чем прежде, пока наконец, обратившись ко мне, она не говорила: «Мой друг, утренняя звезда уже утонула в лучах зари, пора, вставай — река, лес и горы, покрытые пурпуром утра, уже ждут нас с тобой, пойдем на работу...».

И быстро вставал я и, укрепив свои силы утренней трапезой, уходил на веселую работу. Запрягши гнедого жеребчика, перекинув через него красную дугу, украшенную золотыми цветочками, уходил я на поле пахать утренней порою. Твердой рукой держал я соху, а гнедой мой друг шел бодро по борозде. К нам прилетали сороки толпою с окрестных деревень, блистая на солнце разными цветами, и скакали белобокие говоруньи около нас по вспаханному полю и по лугам, а галки вились над дугою, в глубине же небесной жаворонки пели, кукушка невдалеке таинственно куковала о моем счастье, а к изгороди моей пашни зайчики робко приближались и издали любовались работой. Ах, как сладко работать на своем поле, живя в дремучем лесу, питаясь своим хлебом и живя в родном углу, приятно согретом прекрасной Уриилой!

В полдень приходит она, как лесная богиня. Золотом блестят ее волосы, развеваемые любовно дышащим ветром, глаза тихо и нежно сияют, отражая купол неба и все, что на нем. Голосом, подобным речам небожителей, которые, казалось, тогда реяли в воздухе, она звала меня домой, к столу, убранному ею, на полуденный отдых. Сказав, неслышно она удалялась, а я, отпрягши коня и пустив его на свежие луга, подходил к дому и видел около него зеленеющие огороды, где разными цветами блистали в полуденном свете широколиственные плоды, питаемые солнцем и лелеемые нежной рукой Уриилы.

День скатился, прекрасный летний день, и после ночной тени начался новый, еще более великолепный.

Еще туман покрывал луга и степные рощи, и долины,

как вышел я на берег реки Лемъю с косою, блестящей, как лесной ручей, и, помолившись Отцу, создавшему эту зарю, эти луга и меня самого, хотя и не знаю я, как это случилось, начал косить я мягкую траву, неслышно поражаемую стальным острием.

Могучие плечи и сильные руки накосили пространство, во много крат превосходящее, что занимали мой дом и огороды, пока солнце поднялось и высохли влажные луга, к тому времени, как с завтраком в руке, блистающая юностью и красотой, пришла Уриила и, улыбнувшись мне улыбкой утра, стала грести ароматную высохшую траву.

Между тем в полуденный зной лось, огромный, с дивновостыстыми рогами, пришел напиться к прозрачной реке. Нагнувши свою длинную шею, он долго и сладко пил лесную воду. Насытившись, тряхнул он угрожающе головою, но, не видя врагов, мирно удалился узкой тропинкой... Немного погодя, не успели позавтракать мы, медведь прискакал к реке и, напившись воды, стал кататься на песке, показывая нам свой белый живот... Потом пин он стал выкорчевывать, усердный работник, и, натешившись вдоволь, куда-то умчался в дремучую сень соснового леса.

И все звери, и птицы перебивали у нас, и сладкие имена всем давала Уриила...

О божественный сад, оставленный мною! Как ты был прекрасен, когда мы в летнее время, в праздники, взявшись за руки с Уриилой золотоволосой, гуляли по полям и лугам или бегали взапуски, или углублялись в дремучую рощу и прятались между вековыми соснами и тенистыми елями. Красные белки играли над нами, пушистым хвостом рассекая воздух. Тысячи голосов лесных друзей улаждали наш чуткий слух, а белый ягель хрустел под ногами в прозрачном бору, где сосны — как колонны в Севильском соборе.

Далеко, далеко видно! Еще дальше слышно, ау! Ау!

Утомившись бегом, переходили мы в новую горницу — белую рощу — и пили здесь сладкие струи, текущие из зелено-кудрявой березы.

Напившись древесного меда, Уриила закрывала свои синие глаза длинными золотыми ресницами и, наклонивши головку на мои колени, засыпала, слушая сказку лесную у тихо шумящих деревьев при едва слышном плеске реки, текущей между зелеными берегами.

Так летом мы жили, счастливые дети великой природы.

Но вот солнце ушло на юг.

На гладком гуме тяжелым цепом, вдохновляемый улыбкой Урилы, я ударами отделил топазы и янтари хлебных зерен от соломы злаков и убрал все в железом скованные амбары.

Солнце, увидавши это, еще дальше ушло на юг и пурпуром покрыло свое лицо, украшая мир новыми цветами, смелее подули сыны севера холодного — пронзительные ветры, леса зашумели, закачались вековые сосны, посыпались снежные хлопья с белых облаков на замерзшую землю, а по ночам дух, живущий на небе, умножал незримой рукой число далеких огней, украшая жилище богов, купол неба, созвездиями, напоминающими узорные кисти золотых плодов волшебного дерева, где-то растущего от земли до неба за дальними морями.

Настала румяная зима с короткими днями, с долгими, сияющими ночами.

На заре, взявши и запрягши гнедого жеребчика, уезжал я в лес за дровами и, нарубив там конды и вынеся из глубокого сугроба, домой веселый и румяный я возвращался. Возвращаясь шагом, любовался, как из трубы моего дома выходил пурпурный дым, восходящий к вершине бледно-зеленого неба... Входил в избу и видел я живительное пламя в утробе обширно устроенной кирпичной печи, а возле устья ее стояла алая, улыбающаяся Урила; ярко блистающие волосы ее рассыпались по блещущим жизненным плечам и доходили до пят моей лесной волшебницы.

Быстро угасал короткий морозный день, а к вечеру к нам заезжал сказочник Марко, из дальнего села забредший в нашу сторону за сеном; он проводил ночь под нашим кровом, ароматным теплом размягчая свои озябшие члены. А рассказывал он нам пленительно-дивные сказки о царицах, черных, как уголь, и о красных, как бронза; но все они любили и, богатые прелестями, любовь возбуждали в странствующих героях.

Так цикл времен совершался среди работы и сладкого отдыха.

Я пил радости жизни, я жил; что же, что же заставило меня покинуть дремучий лес и счастье свое — прекрасную Урилу? Деву с волосами пурпурной зари и с ресницами длинными, как лучи солнца, брызнувшие из-за леса в первые минуты восхода денницы?

Сказать ли об этом или умолчать навсегда?

Тот роковой день, в который поблек мой разум и счастье

померкло мое, был одним из зимних дней. Праздник был в селе Вильгорте.

Пришла пагубная мне мысль посетить одного родственника моего и погостить у него день. Я об этом сказал Урииле; та после некоторого спора согласилась и стала наряжаться. Только что заря румянилась за рощей, как Уриила стала заплетать в косы свои рыжевато-золотистые волосы, сидя у освещенного окна. Потом она начала одеваться. На ноги надела пестрые чулки, покрытые зигзагами, узорами, параллельными полосками; узоры были красные и черные на желтом фоне (это все было дело рук моей чародейки). Поверх чулок надела шерстяные сапожки разных цветов. Нарядившись в лучший сарафан, опоясалась разноцветным поясом, состоящим из продольных полосок; на них были вышиты треугольные и квадратные фигуры рукою Уриилы. Для тепла она надела шубу из лучшего овечьего черного меха. На голове же у ней был кокошник, напоминающий корону, а поверх — оленья головогрейка, сплошь вышитая чудесными резьбами, напоминающими рыб и птиц. Так она оделась в одежду священной старины и долго гляделась в чашу с водою и шептала какие-то заговоры, заимствованные от мудрого Туна, своего отца...

Я тоже оделся в лучшие одежды, запряг гнедого коня в высокие сани зеленого цвета; мы сели в них перед восходом солнца и поехали через дремучий лес.

Приехали мы в многолюдное село к дому почтенного крестьянина, седого старика Ивана.

Ласково принял он нас в обширных сенях и ввел в шумную комнату, полную гостей, и посадил в красный угол.

Должный почет был оказан нам.

Хозяюшка, в синем шушуне старушка и в красных чулочках, Анна, принесла ячменных пирогов Урииле, а мне дали горького вина и пива пьяного, и пил я много и долго. Гости шумели кругом, спорили, целовались, плакали и смеялись.

Румяная лесная дева Уриила сидела молча, глядя синими глазами из-под золотых ресниц на волнующуюся толпу. Она была как царица, спокойна и важна в кокошнике, унизанном золотом. За столом невдалеке от меня сидел молодой человек, бледный, тощий, малый, вздрагивающий, весь изможденный (символ той жизни, куда был я ввергнут его искусительными словами). Он впился глазами в мою небесную Уриилу, смотрел и не насыщался,

голодный весь и телом, и душой, и язвительно шептал своему соседу: «Какая красавица жена, какая нимфа у этого медведя!» «Боже тебя сохрани забыться,— отвечал сосед, почтенный старик Семен,— ее муж — лесной человек, первый силач в округе и один живет среди зверей в дремучем бору, на высокой парме и безраздельно владеет своей златокудрой Урилой». И он показал на меня, на мои плечи и огромные руки, а я тихо дремал. Огонь, возбужденный хмелем силы, пробежал по моим жилам, но я не желал ни с кем ссориться, показывая вид, что дремлю я и ничего не слышу (о, если бы на самом деле я ничего не слышал!).

— Да, страшен,— говорил меж тем молодой человек, одетый в пиджак, напоминающий собой «похоть», нарисованную в книге «человеческих искушений», а далее он продолжал ядовитые слова с тонкой усмешкой,— однако как же он живет в лесу при такой силе, побывать бы ему в городах, показать себя другим.

И дальше он заговорил о вещах, безумно странных и дерзких, о которых трудно передать человеку, жившему с лесным цветком Урилой. Он говорил: «Помилуйте, жить в лесу со зверями в наше время, когда так много чудес в городах (о суетные мечты гордого человека, не знать бы никогда о вас!), в наше время знают, далеко ли до солнца, велико ли оно, почему видит человек, что такое бытие». И дальше он говорил много и долго, то на меня глядя, то язвительно улыбаясь, уставившись глазами в угол и пожимая плечами....

О ядовитые слова, бьющие по тщеславным струнам невинной души, как жалею я, что не успел выпить четвертой енды, чтобы заглушить мой слух и притупить мой разум. Увы! Слова проникли в мое сердце, душа отравилась...

Но круг солнца скатился с неба, и мы с румяной Урилой вернулись в свой лес, наш Эдем, навсегда вскоре утраченный мною...

О засохшие глаза, отчего не льются потоки слез?!

В зимние, темные ночи глядел я в окно, когда Урилла закрывала глаза длинными ресницами для глубокого сна, и смотрел на звезды, и спрашивал самого себя: «Отчего я вижу эти отдаленные звезды?» И не было ответа мне. Зажигал лучину и видел огромную тень на стене и потолке. «Что такое смерть?»— думалось мне.

На другой день рано утром в синем полушубке отправлялся я в лес, повесив за ремень острый топор...

50 жердей нарубал до завтрака...

Возвращаясь на лыжах, глядел на пурпурное солнце. «Куда же ты меня зовешь, дивное светило, светозарный друг мой?» Молчало оно, золотое солнце, и к западу продолжало бесшумно свой вечный бег. Наступила весна. На пашне я своей лежал на спине (вместо того, чтобы пахать) и глядел на облака и на синее небо. «Воздушное царство, скажи, откуда ты и что такое бытие? Какая тайна дышит на меня с отдаленных твоих равнин?»

Я празднично лежал с отравленной душой, и в роще кукушка куковала, а гнедой жеребчик мой, понурив голову, стоял и нехотя щипал траву, поднимая на меня изредка свой ласковый взор — вставай, мол, попашем, уж отдохнули.

Иду я косить и вижу с обрыва быстро бегущий ручей. «Откуда он течет и куда, к чему он журчит непрерывно, бесконечно — сладкие песни свои, к чему такой трогательный лепет в молчаливом бору, что без слез нельзя слушать его?» Приходит вечер, желтая луна поднимается из-за горы и тонкий пар объемлет долину, белой кисеей расстилаясь над рекою. «Луна! Что ты глядишь все на землю, кого ты ищешь здесь в этих пустынных местах?»

Затосковала прекрасная Уриила, алмазные слезы потекли из синих глаз по румяным щекам. Часто ночью вставала она, взявши чашу с водой, читала мудрые заговоры своего отца, вызывала духов и заклинала, желая выгнать порчу из моей души...

Увы! Нет заговоров против суетных, тщеславных стремлений человека — все уразуметь, и видимое, и скрытое глубоко от любопытного взора человека!

Вещий я сон видел... Я будто в саду, и Старец Великий предстал. Он казался мне хозяином и строителем этого сада — мира и, указав на великую пропасть, на краю которой я стоял, сказал: «Туда упадешь ты во мрак и холод и долго будешь скитаться там, пока не вспомнишь слова и не скажешь их вслух:

Кара кили пере ката
Ракка тара танитру гымала
Юксакса телемарокка».

В ужасе от виденного, но звуками утешенный, прос-

нулся я. Лишь теперь, через многие годы, узнал я эти слова, они значат: «Ищи Духа мира, вечное искание Его выведет тебя из бездны». Но тогда я не понял и не исцелился от безумных желаний.

Настало последнее утро моей жизни в дремучем лесу!

При восходе солнца простился я с Урилой и безумно зашагал в южном направлении, чтобы пройти через леса к великим городам, узнать там и выведать все известное людям... а она, Урилла, лесная заря, стояла на лугу и безутешно плакала. Слезы катились из ее глаз по длинным ресницам, напоминающим солнечные лучи, прорывающиеся из-за облаков, и падали на цветы и смешивались там с утренней росой. Она неподвижно стояла, неустанно глядя, пока я удалялся по полям до соседнего леса, чтобы скрыться там от ужасной тоски, которая была в ее взоре...

Так, дети, разошлись мы для страданий!

Ушел я, беспощадно ушел и навсегда от своего счастья в мире!

И вот теперь живу я в стране, далеко от Урилы; недоступные горы, непроезжие дороги, непереплываемые моря отделяют меня от нее! Идти же прежним путем, каким я пришел сюда, уже не хватает времени, назначенного мне судьбою...

Ничего не узнал я, что такое бытие и почему видим мы прекрасную природу, напрасны измерения между звездами и знание пятен на солнце. Одно утешение остается мне, что когда дух мой после долгой дремоты проснется на новых мирах, куда улечу я в лучах эфира, там найду я Урилу и больше уже не ошибусь и не побегу за ложными призраками тщетных желаний!

Так я всегда говорил, всегда так повторял. Но отчего же слезы льются беспрерывно? Или Урилу видел я на иных мирах до жизни земной? Или это — печальные мечты мои? Душа моя раздвинулась: мысли мои постоянно на севере далском, но жить там мне не дано. Нигде не поймут меня — ни на севере, ни на юге. Да и братья там стонут мои под тяжестью невежества и злобы, а здесь другие болезнями истощены и несказанно скупают, не имея смысла жизни.

Неподъятное горе жизни в простых картинах предста-

вил я, и вот немного легче мне, воображение и кисть моя помогут мне выполнить мои задачи.

Один художник, рисующий сказку мира, спас мою душу, навеки облегчил мое сердце. Спасибо ему, милому другу. Кто же он такой?

Друзья мои, не сердитесь — это я сам.

НА ПЕЧОРЕ

(Предание о Паме)

Ободренный находкой «Тетради неизвестного поэта», отправился я к Каменному поясу, к Уральским горам. Сначала вверх по Вычегде поднялся в лодке; река постепенно мелела и суживалась и превратилась, наконец, в ручеек, вытекающий из маленького озерка. Так дошел я до самого верховья матушки Эжвы-Вычегды. Отсюда переехал я на реку Печору и поплыл вниз до прозрачного Шугора. Эта последняя речка так светла, что дно ее видно, как донышко блюдечка; игла, брошенная туда, не затерялась бы.

Я приближался к восточным горам. Как облака на горизонте, показались мне Уральские горы. У них задумчивый вид. Пасмурное чело их говорило о суровости края...

В одно утро страшная гроза разразилась, и я вышел из лодки и отправился лесною тропинкою вглубь от берега реки.

Невдалеке я встретил стадо коров, за стадом увидел светлую поляну, посреди ее была построена избушка. Сильная гроза и любопытство заставили меня войти в избушку. Седой старик сидел в красном углу и делал какие-то знаки при каждом блеске молнии.

— Иди, иди, здесь нет ни ветра, ни дождя.

— Гроза-то какая!

— Да, Ен-то на небе катает огромный шар по свинцовому своду. То вниз спустит он, то вверх покатит, то в одном месте его вращает, придавливая... Велика его сила...

Меня заинтересовали вид и речь старика. Он был совсем белый, но глаза молодые и блестящие, как у дитяти. «Кто он такой?» — думалось мне.

— Сейчас тебя угощу я,— сказал он.— У меня толокно есть и ключевая вода.— И стал готовить он кушанье, а сам запел при этом:

Под тенью сумрачной дубравы,
Меж красных сосен на бору
Белеет Пама домик новый,
Построен мудрости царю...

Душа моя упала... Я хотел вскочить, взять его за плечи и криком спросить: «Стой, кто ты, что поешь?!» Но тайный голос меня удержал... Я ждал и слушал:

Невдалеке бежит ручей,
Внизу холма, в долине злачной,
Здесь часто ходит меж ветвей
Сам волхв вблизи струи прозрачной.

Господи! Что он поет? Неужели достиг я цели жизни моей?

Я слышал биение моего сердца, но продолжал крепиться. Гроза между тем утихала. Старик собирал мне убогий завтрак на деревянном столике, а сам все пел, он был как будто в забытьи и пел по привычке:

Сегодня к иве молчаливой
Из белой кельи вышел он,
И внемлет звук ключа игривый,
Забыв приятный, легкий сон.
Вот он стоит и, одинокий,
Веселой речью умилен,
Летает мыслию далеко,
Величием мира поражен.

— На, садись,— сказал пастух, приготовивши мне завтрак из толокна и лука, а сам сел на порог и стал поглядывать на коровушек. Скоро прояснится.

Глядит кругом — краса долины,
Лесная тень — уют немой,
И сосен ясные вершины
Узоры чертят над горой,
На голове его мерцает
Венок из листьев и цветов,
И плечи мудреца лесов
Кафтан зеленый осеняет.

Я показал вид, что ем. А певец, сидя ко мне боком, глядел на поляну и продолжал петь, прерывая это занятие жеванием лиственничной смолы. Он был в белой рубахе и в лаптях.

И мыслит Пам, уж сном забытый,
Ночною свежестью увитый:
Умолкли птичек голоса,
Друзей души моей печальной,
Оделись тенью небеса...
Во тьме поет ручей кристальный;
Внизу, далеко за землею
Блится солнце над странюю,
Горит и дивно блещет там,
И сыплет искры по горам.
Там день, здесь ночь — взор небытья.
Тоскует сердце — нет забвенья,
Устала знать душа моя
От горних дум и удивленья.
И струны сердца моего
Дрожат от виденного мною
И плачут тайною слезою;
О, не желаю ничего,
Как дней младенчества невинных,
Когда не знал тоски моей,
И радостно жил средь детей,
И песни пел годов старинных...
О милый ключ, твой звонкий лепет
Мой чуткий слух всегда ласкал,
Невольный холод, сердца трепет
Веселой речью заглушал...
О говори, о говори,
Судьбы грядущие народа,
Которому я луч зари,
Начало, первая свобода!
Спасет ли их мое ученье,
Поймут ли мыслей глубину,
Напрасно ли дух разуменья
Постиг познания вышину?
Узнал напрасно ль твердь небес,
Вращение вокруг оси мира,
Таинственных планет-чудес
Блуждание в лучах эфира?
Ходил я тщетно ль сорок лет
Сквозь зной счастливых стран полдневных?

Сокрыл в душе познания свет
И сам сгорел от мук душевных?
Или свершится роковое
И не поймет меня народ,
Невежд стремленье вековое
Мои деянья вновь убьет?..

Наконец, я не выдержал, бросился к пастуху в ноги, поцеловал его берестовые лапти...

— Ты то поешь, что искал я всю жизнь мою.

Старик на меня взглянул детскими глазами:

— Хорошо толокно-то?

— Что толокно, ты скажи, как Пама знаешь?

— Пама Бурморта? Он здесь жил, там домик его был... Я его последний ученик, все перемерли, из поколения в поколение передавалась память его... Я умру, и кончится наше учение, и христианство победит нас,— сказал пастух, и прослезился.

— Нет ли у тебя каких книг после Пама?

— Как нет? Есть. Отец его, Пан-сотник, жил в Алтыме на Оби, а сын-то здесь живал, с ним же жил ястреб...

— Какой ястреб? Расскажи и книги покажи.

— Над светлым ручейком ястреб пролетел. Он зорко глядел, нет ли где курицы близ деревенских избушек или робкого зайца где-нибудь в лесу. Он долго летал и налетел на домик Бурморта.

Утомленный, он сел на пень срубленного дерева. Пам спросил его: «Как поживаешь, ястреб?»

Он отвечает: «Ястребы плохо живут, как люди, как все звери и птицы. Летал я над горами, над темными лесами — ни зайчиков, ни куропаток нет нигде; над светлою рекою летел — нет рыб чешуйчатых в волнах, во двory мужикам посмотрел — кур не видно нигде. А между тем детки и жена меня ждут на высокой скале, чем их накормлю, чем утешу. Нет, плохо наше житье-бытье, старый ты друг мой!»

— Полно, не кручинься, ястреб мой,— сказал Пам.— Вот тебе кусок хлеба, вот тебе лесной сыр. Клюй потихоньку да слушай меня.

Рассказал ему Бурморт о происхождении мира и зверей, птиц, трав и человека. Меж тем далекие звезды зажглись, заря алой лентой покрыла края неба. Старик все рассказывал стихи и песни свои пел, а ястреб все слушал. Он понял, откуда взялась порода птиц, понял,

отчего жизнь его трудна, и когда кончил Бурморт, он ответил:

— Хотя все это так, и вы, люди, умны, но слабые же вы и скоро умираете, и скучно живете. На днях еще я выклевал глаза одному утопленнику, кости которого теперь валяются на берегу реки, и сколько вас тонет, а река спокойно течет себе в далекое море. Что ты на это скажешь, старик?

— На это я скажу,— ответил Бурморт,— что смерть — не страдание, а сон желанный для того, кто все узнал о небе и о земле, о рождении и смерти. Покойно неживущему. А что люди скучно живут, так потому, что не любят друг друга, а сильно ненавидят. Будет же пора, когда и людям, и зверям, и птицам будет легче жить на этой земле, в этом свете. Ты же, ястреб, прилетай ко мне почаще, буду кормить тебя я хлебом, сыром, семенами. Не бей ласточек, куропаток, хохлашек-кур. Согласен ли?

— Нет, я не могу отвыкнуть от прежней разбойнической жизни, я с ней сроднился...

Так беседовали Пам и Ястреб.

Много раз они еще виделись и были друзьями. Ястреб научил Бурморта птичьему языку и мудрости птичьей...

Но от своей жизни не отвык он.

Только раз, рано утром, увидал старик ястреба, убитого стрелой из лука, и сильно опечалился... «Ах, друг мой,— говорил Бурморт,— хищникам не миновать ведь беды, не им дано долголетие жизни». Так говоря, он взял ястреба и снес к себе домой...

С умилением слушал я наивный рассказ пастуха-певца.

— Теперь покажи ты мне книги Пама.

Он меня увел в чулан и там вытащил из кожаного мешка деревянные квадратные дощечки, исписанные древнезырянскими и староиндейскими знаками. Прочитал я эти знаки и ушел в лес, здесь, на берегу ручья, выплакал я все горе мое, глубоко проникшее в душу, ни одной горечи не осталось в моем сердце... Спокойно взглянул я на Великую Природу.

Чтобы любили Бурморта грядущие поколения, перевел я с деревянных дощечек его жизнь и странствия, а также и думы, и песни его.

ЖИЗНЬ ПАМА БУРМОРТА

I

На севере далеко, у великих рек, близ чащи дремучей, жил Пам Бурморт. Блуждая по лесам у светлых озер, он слезы лил, не зная сам почему. Люди не знали, о чем он тоскует и со страхом и жалостью глядели на него. Бродя по белому ягелю в сосновом бору, смотря на прозрачные ручьи, внимая пению клеста красногрудого и шуму темно-зеленого леса, он напоследок догадался, о чем сердце его щемило. Он изверился в прежних богах — матери земли и матери солнца, в боге крутящегося вихря, лесов и вод глубоких. Потускнели образы прежних лучезарных богов, живших на молчаливых горах, в тихошумящих лесах и в водах быстротечных. Грустно на сердце стало у Пама.

Его отец, Пан-сотник знаменитый, бежал за Уральские горы пред проповедью христианства, а он, сын волхвов, оставался на родине своей в печали и одиночестве. Небесные знаки — созвездия неба — влекли его куда-то на светлый юг, за лесом лежащий, на берега теплых морей; и птицы показывали ему дорогу к солнцу каждую осень, летая на зиму в полуденный край с берегов холодного моря.

Долго ходил Пам из конца в конец по родной стране, от ручья к ручью, из одной рощи в другую, на многострунных гусях играя; и был у волхвов он, у тунов мудрых, в лесах оставшихся, и слушал их долгие речи о старых богах и дивных чарах их. Но тоска души все возрастала. Следил за восходом солнца, и закат его провожал унылым взглядом. Смотрел на звезды и на пастыря ночи, на бледноликий месяц; грусть владела его душой.

Тогда-то, простившись с лесами родными, сел на плот он, сколоченный из бревен сосновых, и пустился в плавание по хребту мирнотекущей реки. Он плыл между лесами дремучими.

Друзья детства — звери и птицы — его провожали. Бурый медведь, косматый житель леса, вышел на берег, лось с огромными рогами, робкий заяц выскочил из-за куста. На берег вышли они испить воды из прозрачной реки и глазами провожали волхва, плывущего на волнах к широкому устью реки.

Дерева шумели прощальным приветом, и черный

ворон, летя к востоку, гортанными звуками предвещал желанный конец дальнему плаванию, а звонкий ручей, текущий с песчаного холма навстречу Паму, служил счастливой приметой в далеком пути. Жители леса в белых кафтанах с длинными волосами, заплетенными в косы, с топорами в руках, с берега смотрели на Паму, задумчиво сидящего на бревнах сосновых: он, покорный судьбе и волнам спокойно текущей реки, в далекое странствие пустился; его влекла непонятная сила в светлые страны теплого юга.

И долго странствовал Пам, много он видел рек, гор и лесов, любуясь красою земли; много скромных деревьев и гордых многошумных городов прошли мимо него. Никто не утешил его в этом сказочном мире: не находил он человека, который бы нарисовал ему картину неба и земли.

Много раз менялись времена года, и звезды зодиака спускались под землю и подымались обратно, пока Пам прибыл в один дремучий лес и встретил там хижину, где дни свои проводил старец, своей мудростью знаменитый.

Рано утром при восходе солнца положил дорожный посох свой Пам в угол приветливой хижины, стоящей на холме среди сумрачных елей. Войдя внутрь избушки, седого старика увидал он, читающего книгу на деревянном столике.

С грустью в голосе обратился Пам к старцу седому:

— Я к тебе пришел. Расскажи ты мне, где конец земли, высоко ль небо голубое и кто хозяин в этом чудном мире.

Разговорился старик, много он расспрашивал Паму и, наконец, сказал:

— В глубине всего бездонная преисподняя — там огонь. Над огнем — вода, над водою — круг земной. Вот чаша эта — вот земля, ты с краю идешь к середине, куда спустился с хрустальных небес город великий, и светлый, и счастьем полный. Если хочешь войти в этот город, останься со мною и в трудах проводи годы и дни, отсчитанные тебе.

Пленился Пам речами старца и остался у него в лесу дремучем.

Реки покрылись льдом, снег толстым слоем налег на холмы и ложбины. Но солнце снова с юга поднялось на севере, и лед по рекам спустился кусками к далекому морю.

Птицы запели в лесах. Воскресла прежняя грусть в

сердце Бурморта, старая печаль овладела его душой. Он ночью встал и оставил хижину старца и вдоль горы многохребтистой спустился к морю далекому. Леса прекратились, и морской ветер подул в лицо: к концу земли он подходил. Вот и синее море пред ним предстало полукругом далекой синей равниной.

На берегу морском чайки летали, шумя крылами, и в волнах ловили рыб морских. С высокого берега спустившись, рыбацьи хижины Пам увидал близ звонких ключей.

Старый рыбак перевез его с берега морского на остров, волнами моря окруженный. На острове был город, многолюдный, жизнью шумящий. В городе том, в палатах светлых жил ученый старик, о котором слава разносилась волнами моря за синий горизонт в другие страны.

С посохом в руке поднялся по гладким ступеням Бурморт в тихие покои ученого старца. Долго глядел с удивлением на Пама ученый старик.

— Ты не Гиперборей ли — ты так угрюм, так странно одет?

— Да, с конца земли я иду, желая узнать, что за чудный замок этот мир и кто хозяин в нем, столь непонятном доме.

Старик улыбнулся и сказал:

— Останься у меня. Покойно в моем доме и радостно на нашем острове. Над нами ходит светлый Гелиос — всевидящее солнце, а волны синего моря несут нам сказания и песни разных народов.

Остался Пам на острове, волнами моря окруженном, в тихих покоях ученого старца.

Раз сидели они на берегу, и старик сказал:

— Земля висит в светлой пустоте, как во храме лампада. Солнце в волнах эфира — и нет конца им. Жизнь — радость, твоя душа в твоём теле. Живи и радуйся, Пам, на острове мира.

Так жили они, смысл жизни постигшие в радостях ее.

Долго жил на прекрасном острове Пам. Тоска сердца долго молчала, но она не потухла, а воспламенилась с новой силой. И Пам рано утром, когда все спали, уплыл на лодке обратно на берег обширный и продолжал свое странствие к востоку.

Луна много раз совершала свой круг около земли, как Бурморт, идя от народа к народу, пришел к великим горам, которых вершины исчезали в облаках и к звездам устремлялись своими снежными головами. То были «небесные» горы.

После долгих трудов перешел Пам великие горы и очутился в сказочной стране, в краю чудес, где жизнь текла широкою волною.

У подошвы горы протекала священная река, а на берегу ее росли широколиственные деревья. Светло было в воздухе и жарко в долинах. Разноцветные птицы оглашали воздух нежными звуками в густой тени непроходимых лесов. Человекоподобные существа прыгали на деревьях, змеи висели на ветвях их.

В этой священной стране встретил Пам седого старика, который жил в лесу под деревом густолиственным; он был одет в рубище, в руках держал самую старую книгу земли.

Когда Пам передал ему заветную свою печаль, старик ответил ему:

Из обломков нашей земли и солнца будут новые земли, иные солнца, другие люди, и прежде было так. Этому нет конца и нет числа ничему. Всюду простор и досуг в светлом храме мира. Жизнь, что волны моря; волны переменны, море вечно. Ты же, человек, ничего больше не желай; думай так, как идет все в мире, тогда мир будет послушен тебе.

Так толковал старик. Пам с изумлением слушал его и, одевшись в рубище, стал вместе с ним жить, читая «лесные» книги.

Так долго прошло. Волшебная луна много раз поднималась над землею, обливая мир серебристо-белым светом, а за луной и солнце золотистое вращалось, обдавая мир бодрящим, живительным светом. Испокон веков так вращались эти небесные боги и будут продолжать свое движение до самого конца жизни на земле. Старик и Бурморт сидели у тропика мира, смотрели по ночам на знаки зодиака и размышляли о самом ценном, что существует. Тихий шелест широких листьев в роскошном лесу вторил их мыслям.

Старик спросил Пама:

— Тоскуешь ли, Бурморт?

— Тоскую опять. Возникнут новые люди, говоришь ты, из обломков земли, но эти люди не мы.

Тогда старик поднялся с Памом на высокую гору и, ставши на ее вершину, указал ему на далекие синие леса, на синее море, на белые туманы над темной долиной, на звезды далекие на высоком своде, а под утро — на восходящее солнце, царя и источника жизни земли и сказал:

— Все это Майи, кажущееся; существующее неуловимо, как душа, оно убегает от нас, как тень; но оно едино

и вечно и страдает, и блаженствует, выражаясь в разных планетах, в разных людях, под разными покровами. Сущность ее одна.

Одна душа — она блаженствует, она и страдает, и ты не говори: «Другие люди после меня будут жить». Живет одно, не переставая, одно существует.

Понял ли, Пам? Если понял, иди на Север, в свою родину, ничего больше не узнаешь ты на земле; за то и тоска уснет на веки в сердце твоём.

Все, что видишь ты,— пересечение твоей души с тем, что существует. Это видимая сторона. Сторона же невидимая неизвестна тебе. Также никогда не видим мы другого бока Луны, также никогда не видим мы бесконечного, потому что в наших глазах оно всегда кончено.

О, если бы понял ты все это, оставили бы тебя все печали мира, так облака не касаются вершины небесных гор!

Не окончательно, но знаем мы, что есть, но вполне знать Его нельзя, хотя думай ты о нем постоянно. Нет ничего лучше Его, нет ничего краше Его. Оно в тебе. Ты голос его слышишь. Слушай Его всегда, и насытится твоя душа гармонией Его слов. Ты к нему постоянно шел, потому что ты слышал голос Его, но не знал, где Он. Он в тебе, но не весь — так на своде небесном не все звезды для тебя сияют... Но все же видишь солнце на небе и к нему стремись, постоянно стремись, постоянно гляди на небо, тогда поймешь, что живешь ты в небе... Часть любви, часть, потому что ты — часть прекрасного целого!.. Ты в лоне Его живешь всегда!

Старик дал Паму посох, и тот сошел с горы и отправился на север. Он шел обратной дорогою, покидая далекие горы. Ему не страшна была гроза природы, сквозь тучи он видел лик солнца истины, и сладостный покой никогда не оставлял его души.

Проходя сквозь селения, города, блистающие разными цветами, сочетаниями красок и линий, он бесстрашно стою шел на север, ничем не увлекаясь, постигший мысли и дела людские.

Так вернулся он в свой лес родной, на берега мирно текущих рек, к простым людям бесшумной страны.

Выбравши холмик песчаный в лесу дремучем, на берегу звонкого ручья, построил себе белый домик и спокойно стал проводить дни свои, определенные судьбою.

Утешая словом приходящих к нему людей и травами исцеляя их от болезней, в часы досуга глядел он на утрен-

ную и вечернюю зарю, на восходящее солнце, на нежный свет луны, слушая пение клеста и шум ручья, и спокойно было на сердце у него; он говорил:

— Что есть, то за этими красками и звуками обитает. Счастье и страдание — звуки мировой гармонии, всеобъемлющей души, единой и вечной. Спокоен тот, кто слушает мир. Мир слушает того, кого мысли согласны с течением вещей и событий мира. Я на небе. Я вечен, только покровы мои переменны. Я мировая душа. Бодрствую иногда, порою дремлю я. Вся красота в мыслях моих. Мысли мои — думы праматери звезд и планет. Благословен вечноживущий.

Долго жил Пам, светлый, как утренняя заря, бодрый и свежий, как смолистый воздух его лесов. Он насытился годами, живя на шаре земном.

Его слова остались в шуме леса дремучего и в звоне быстротекущего ручья, на севере, на пармах песчаных.

Я слушал шум этого ручья, и сердце с тех пор успокоилось мое.

II

Напоследок, когда осталось несравненно меньше жизни, чем она прошла, решился Бурморт посетить своего отца, изгнанного за каменные горы, и утешить его прощальным словом.

Утром рано вышел он из хижины своей и оседлал рыжую лошадку, пасущуюся на лугах, и отправился по родине своей через дремучие леса.

Он прибыл на холм, на котором возвышался старый бор; со склонов этого холма брали начало две речки, текущие в разные стороны.

У подошвы его была избушка знаменитого охотника Йиркапа, который на волшебных лыжах охотился на быстрых оленей.

Злые колдуньи чарами погубили его. Тело Йиркапа утонуло в реке. Долго Бурморт глядел с печалью на его приветливую лесную избушку с маленькими окошками. Напрасно сосны своими ветвями шумели и ударяли в окна и в стены: хозяина не было внутри, и пустынно было кругом.

От этого холма на дремучую Парму приехал Пам. Здесь жил Иоль, старый волхв, в еловой котловине, окруженной богами севера. Он стал жаловаться Паму:

— Народ изменяет нам, принимает новую веру. В се-

лах древние кумирницы горят вместе с богами, а на полянах строятся новые храмы новому богу. Не пора ли тебе, Бурморт, ополчиться за отца своего?

Бурморт ему сказал:

— От морей идут сильные народы по большим рекам на меньшие их притоки и гонят пред собою слабые племена. Защитники старого! Бегите к верховьям рек, в болота непроходимые, в лесные чащи и на пармы высокие севера далекого!

Послушались племена. Убежали к верховьям мелких речек, в дремучие чащи, в болота непроходимые и сохранили там старых богов и старые предания... К чему бороться с течением светил небесных и с железной волей судьбы?!

Простившись с Иолем, прибыл Пам в одно село. И сюда стали стекаться и простые люди, и мудрые туны — послушать его мысли великие. Звонкие ручьи и птицы небесные распространяли о нем молву по всей стране, по большим рекам и по малым притокам.

Он их учил о солнце далеком и о звездах, яркоблистающих на синем своде, о жизни народов, сеющих хлеб на земле.

Он говорил:

— Не ссорьтесь, други, между собою, будьте милосердны. Кто хочет принять новую веру, не мешайте, кто желает остаться при старом, не притесняйте. Вы — братья, одно небо на вас глядит, на одной земле вы живете.

Для понятливых еще он прибавлял:

— Пока я не был в отдаленной Индии, все непонятно было в таинственном мире. Смотрел ли на солнца диск золотой, прикрытый тонкими облаками, чувствовал отца я, но не знал, кто Он... А божественный круг катился все далее и далее по небу... Зажигались ли звезды темною ночью, или серебристая луна поднималась по лазурному своду, слезы лил я в сердечном томлении и не знал, о чем тосковала моя душа, чего бесконечно жаждала она и всюду искала... Великий старик, живущий у тропика, против небесных зодиаков, раскрыл завесу тайны мне, и понял я все в светлом мире... Душа человека — арфа, и разные звуки раздаются в сердце — то отзвуки Парабрамы, вечно живущего в лоне своем. Его, Его... Он же жив и не умрет Он, потому что никогда не рождался...

Народы, слушая его, сказали:

— Ен послал нам его для усмирения враждующих племен.

Как далекие облака, показались каменные горы. Они были облиты пурпурными лучами зимнего восходящего солнца. Олени быстро мчали и везли Пама, одетого в пи-мы и малицу, к его отцу, который жил на холодных берегах Оби.

Увидал он домик отца своего и пролил слезы горькие.

«Ты здесь живешь, изгнанник мой, на севере далеко: любовь к богам своим и к старине величавой сделали из тебя страдальца.

Пока странствовал по земле я в поисках мудрости, ты здесь, верный себе, оставался в стране бед и несчастий. Эти звезды далекие над темными лесами увлекли меня».

Долго глядели друг на друга с удивлением сын и отец.

Наконец, Бурморт сказал:

— Пан-сотник знаменитый, прекратим слезы и расскажем друг другу, что каждый испытал с тех пор, как мы расстались.

— Да, я Пан-Сотник знаменитый, таким я был, но не теперь. Сын мой, я унижен, оскорблен перед самим собою, перед народами, пред дальними потомками...

Ошибся я... во многом ошибся... За что карает так меня судьба, которая сильнее богов — это узнал я в печальной жизни своей.

За любовь мою к северу унылому, диким народам, полночным богам, за верность и стойкость... Ошибся я...

Я первый волхв был в своей стране, народ был поданным моим. Мое слово было для него громом небесным. Боги управляли нами. И что же? Я изгнан народом, я помилован, меня хотели казнить за то, что отказался я креститься в новую веру. Боги прогнаны к другим народам. Новая вера, иноземная, воздвигла трон свой в стране предков моих. Сын мой! Видал ли на земле, обошедши ее, печали большей, нежели моя? Ты так много видел, что поседел раньше времени, скажи мне правду.

Ты сам знаешь, какая у нас вера возвышенная была. Великий Ен, кроткий старец в белом одеянии, родоначальник людей и богов, сидел на высоких горах и на небе голубом, в своих чертогах.

Он зажигал звезду при рождении каждого человека и гасил ее после смерти, вел небесный счет земным делам.

Солнце и луна, дети его, далекие боги, спокойно ходили по небу, созерцая дела земные. Солнце догоняло луну, луна убегала от солнца — веселые дети Бога-Старика, играли они на своде небесном.

Разноцветная радуга — бык великого Солнца — спуска-

лась на зеркальные реки земли и пила прозрачные струи истоков земных. Ее выгонял сын Солнца с облачных равнин на глади земные, на речки и ручейки мирной страны.

Богиня-птица Каленик летала каждую осень и собирала птиц в стаи, чтобы на зиму перелетели они к южному морю Саридзь. Великий Ен своей чудной кистью провел полосу по небу, чтобы знали пернатые свою дорогу из северных лесов к южным горам.

А Войпель, сын севера, чудесный ветер, а мать земли и другие боги!

О, сколько их было у нас, все они служили нам, волхвам...

Что же они не защищают нас, о Бурморт, чего они испугались?

Я хотел защитить святую старину и — унижен навеки!

О, я не могу вспомнить без содрогания, когда Стефан тащил меня к проруби, чтобы испытать себя и меня водою... а народ смеялся надо мною... я не шел, знал, что утону... Потом, загоревшаяся изба, вижу ее, как теперь... Опять Стефан тянет меня в огонь, кто, мол, раньше из нас сторит, у того вера неправильная. Он знал заговоры против огня и против воды, а я не знал, и вот погребло дело мое... Народ хохотал надо мною, над прежним отцом... О, как я унижен... Где же правда судьбы?

Нет правды — Ен оставил меня.

Заговорами меня перехитрили.

Рок молчит, и вот я сам хочу быть судьбою. Подниму народы Сибири и изменю все на старое в стране предков моих.

И ты, Бурморт, помоги мне.

Тогда Бурморт встал, молча взял отца за руку и направился с ним на берег Оби великой, которая невдалеке от избушки Пан-Сотника протекала в своем царственном величии.

Туны за ними последовали.

Когда они пришли к Оби, которая была широка, как море, Бурморт сказал:

— Взгляни, отец, на глядь мировой реки, ей имя — Дед. Она течет с далеких южных гор, тысячи рек других слились с ней, не удержав своих имен и не сохранив вида своего. Так малые народы соединяются с большими, забывая свои имена, оставляя старые нравы и обычаи.

Много заливов у бурного моря, но всех оно в себя включает. Так всемирная религия торжествует над религиями малых народов. От несовершенного человек пере-

ходит к совершенному, по ступеням жизни стремится к небесам, туда, туда...

Отец! Печаль твоя велика: такую испытывали только великие люди! Но все же, бороться нужно ли тебе? Не каждый ли день звезды поднимаются с востока из-за моря и опускаются на западе, скрываясь за кругом земным. Тот, которому имени никто не знает, устроивший законы для неба, направит и дела земные. Он Сам знает, о чем волнуетесь вы, мудрые туны. Вы видите семь звезд на небе. Не вы ли вращаете их около оси мира, которая продета от южного полюса мира к северному? Отчего вы так испугались из-за грядущей судьбы народов?

Дети закричали от страха, когда луна покрылась тенью земли!

Милые, утешьте себя, ибо меньше детей вы в делах земли!

Пойдемте на холм, чтобы еще высказал я вам слово, которое я слышал от старца, сидящего под широколиственным деревом у тропика мира.

Вы видите эти дальние леса, звезды золотые и бледный рог луны, вы видите лицо природы — это призрак, призрак в своих красках и звуках!

Существующее ускользает от наших чувств, но мыслится лишь отчасти. Оно — душа, части которой — мы. Мы — существующее. Мы вечны, сознающие — «я»... Вот я кое-что постигаю, но многое ускользает...

В уме остаются — закономерность, вечность, бесконечность и «я».

Чуть-чуть не постигаю я всего! Все же не все!

Встаньте на колени!

Молитесь! Пусть ваша душа сольется с миром. Обнимите все. Целуйте землю и слезами облейте ее.

Плачьте, плачьте бесконечно...

Плачьте!

Вы — вечное страдание...

Плачьте...

Вы — сущность...

И душа волхвов слилась с душою Бурморта и с душою Вселенной...

И плакали они бесконечно...

И светлело, и светлело в их душе...

Плачьте

Вы — боги... Еще шаг...

Наконец прошла и меньшая часть жизни, которая оставалась у Пама Бурморта. Кончились дни, данные ему природой. Он взял лопату и стал рыть себе могилу между сосной и елью сумрачной.

«Долго я жил на этой звезде, называемой Землею. Теперь усну в лоне ее. Прощайте вы, три прекрасные звезды! Будете ли вы сиять тогда, когда новые люди откроют свои глаза и взглянут на мир на новой земле при новом солнце? Не знаю, но пока хочу вздремнуть я здесь, на мягком ложе».

Когда Бурморт уснул, его ученики поставили камень с надписью над его могилой. На камне было начертано:

«Здесь спит Бурморт, обошедший круг земли. Он встанет через века на новой планете, которая произойдет из обломков старой, для устройства жизни существ и для продолжения странствий по Вселенной».

На могилу часто являлись ученики Бурморта. Там же иногда бывал престарелый отец его Пан-Сотник.

«Сын мой, мой учитель, ты спишь? Спи спокойно. Душа исцелилась моя от печалей.

Твои слова сожгли мое сердце, дав ему высшую радость и невиданный покой. Я узнал себя и Природу Великую. Скоро я лягу, друг мой, рядом с тобою... и отдохнем мы с тобой долго и сладко».

ЦАРЬ КОР

I

Желтобагровая луна вышла из-за далеких гор Каменного пояса земли и залила своим светом город Искор, высящийся как птичье гнездо на недоступной скале, окруженной у подошвы темными лесами. Серые стены и высокие башни по углам покрылись светло-желтым багрянцем. Острые копья и сабли воинов городской стражи заблестали блуждающими огнями в лучах восходящей из-за темных гор луны.

Двускатные крыши домов внутри стен города тоже покрылись лунным светом и дали длинные тени на безмолвных улицах.

Но тишина в городе не прерывалась, и жители мирно спали, забыв радости и заботы повседневной жизни. Никто не проснулся от того, что ворвались в окна, через прозрачную слюду, снопы лунных лучей и осветили полы и стены, и белые печи. Только в одном высоком тереме горели огни зажженных факелов и изливали потоки света из окон на молчаливо-пустынные, темные улицы. Там пир был большой: благодушный царь Кор угощал ночной порой любимцев своих и героев народа. За большим столом на сосновых скамьях сидели его вельможи славный Бурмат, Качаморт знаменитый, отважный Порсьюр, и дети царя тут же были — старший Редигар, странствовавший по Биармни, и младший — красавец Мичаморт. В красном кафтане посреди их восседал рыжебородый могучий царь Кор. Ендová с пенистой брагой ходила из рук в руки, не спеша и не медля, а за нею серебряные ковши с заморским вином. Стол был наполнен яствами, дарами севера: там были птицы всех родов (рябчики, тетерева...) и рыбы с Колвы, с реки Вишеры и многоводной горной Печоры (семга, нельма, сига, щуки) спокойно лежали на столе. В углу певец сидел, на ветхой домбре он играл старые величавые песни о древних богатырях, также о подвигах царя Кора. И пел певец, играя на домбре:

Наш могучий Кор прекрасный,
Богатырь рыжебородый
Золотом кудрей блистает.
Некогда он шел войною
На вогулов и на йэгра.
Он пошел в страну востока,
С ним без счета наше войско;
Шли рекой, горами, пармой,
Все к востоку, дальше в горы —
Кор искал своих врагов там.
Лук, копьё в руках держал он.
Между синими скалами
Близ стремнин, ущелий мрачных
Отдаленных гор Уральских
Он нашел, неутомимый,
В ельнике густом вогулов.
Он нагнал их, вождь бесстрашный,
На вершинах сизоликих
Гор туманных, пред Сибирью.

Богатырь остяцкий Сямдей,

Князь вогульский Беренделя
Бросили копье в героя,
Вострой саблей замахнулись.
Не дремал и пермский витязь,
Как олень, вскочил он быстро,
Как песец, вспрыгнул приморский,
Кор сразил копьем вогула,
Выстрелом убил другого,
Кто вождем считался йэгра
И царем земли Остяцкой.
Это видел месяц в небе,
Солнце радовалось битве!
Слава Перми укрепилась
За горами голубыми,
В золотой стране востока:
Покорились царю Кору
Остяки, вогулы, угра.
Обь река, Иртыш прозрачный,
И Тобол узнал о Перми,
О владеньях царя Кора
У истоков светлой Камы,
Желтой Иньвы, красной Чаньвы
И других потоков горных,
Нам известных, безымянных,
Что текут все в страны юга,
К Саридзь — морю за равниной,
Стаи птиц куда стремятся
Темной осенью дождливой.

Так пел певец, и внимали ему гости царские. Веселье возросло на пиру у царя Кора после звуков домбры и великих слов певца.

Быстрее переходили из рук в руки ендова с белопенной брагой и серебряные ковши с кипящим заморским вином. Голоса и смех крепчали среди пирующих. Но вот опять раздался голос певца, и зазвенели струны домбры:

Воспою я Редигара,
Сына царского прославлю,
Как он был в земле далекой
В светозарной Биармии,
Что лежит там в устье Эжвы —
По Двине цветет великой,
Упираясь в берег моря,
У студеных волн Саридзя

Города стоят златые.
Редигар наш светлоликий
По теченью рек спустился
И дошел до дна Двины он,
Ветру и водам послушный.
Белокрылый парус лодки
Вел его на север темный
К птице Каленик поближе,
В город Кардор отдаленный.
Редигар здесь без боязни
Посетил царя Рамдая,
Видел деву Гариану,
Дочь царя в сосновом доме.
Жертвы приносил Рамдай там
Вместе с дочерью прекрасной,
Молил бога он Юмалу
О здоровье Редигара,
Прочил дочь свою он замуж
За него, за сына Кора,
Что пришел из стран востока
Из страны зари румяной
С синей Камы, с гор великих.
Ручку белую дала тут
Дочь Рамдая, Гариана,
Редигару, князю Перми.
«Ты, мой муж, судьбою данный,
Погости у нас немного,
До ущерба девы неба,
До конца луны осенней,
От цветенья земляники
До поры черники сладкой.
От брусники ярко-красной
И морошки пестроцветной,
Что растет в сырых болотах,
До полета птиц небесных,
От студеных волн Саридзя,
Улетающих в край теплый,
В край счастливый, светозарный;
За полетом птиц воздушных,
Как услышу шум их крыльев,
Гоготанье, клик и радость,
Я отправлюсь за тобою
В страны дальние востока
По волнам лесистой Эжвы,
По притокам неизвестным

В область Камы, в город Искор». И привел он эту деву, Редигар светлокудрявый; Все дивилсь Гариане. «Цвет Двины, дочь Биармин, Синеглазый, белолицый,— Говорили наши жены,— Лунный серп один на небе, В царстве Коми Гариана Всех затмила нас красую».

Так пел певец, то умолкал он, то снова струны домбры в руках его дрожали, и всем было весело, и герои волновались, охмеленные вином и брагой. Когда кругом все веселились и величались своими подвигами, один среди пирующих не хмелел и не веселился. Это был младший сын Кора — Мичаморт. Он давно был поражен стрелой любви лучезарного сына солнца Шондыпи.

Он встретил в лесу Тариалу, дочь жреца Бараморта, и полюбил ее. Но не ответила взаимностью Тариала, ее не тронули слезы и вздохи царского сына. Эта дева оказалась недоступнее и тверже скалы, на которой возвышался зубчатый город отца Мичаморта. Царь Кор обратил внимание, веселясь, на своего побледневшего сына, который не смеялся и не хвалился ничем на великом вечернем пиру рыжебородого пермского царя. Царь Кор заметил печаль на лице своего сына, но еще медлил спросить его о причине его грусти, не привыкший быстро решаться на что-нибудь, но любя обдумывать то, что он скажет и как спросит. Между тем луна выше и выше поднималась по небу, рисуя на стенах терема светлые и темные фигуры — тени деревьев, узоры их ветвей, вечно шумящих около царского дома.

Так пир продолжался.

Но вот вдруг двери распахнулись, и в пиршественной комнате показался страшный жрец, слуга бога Войпеля, пам Бараморт, покрытый совиком, украшенный мехами соболя, горностая, на нем звенели железные и медные кольца, он был со стальными ножами, лезвия которых блеснули в лучах факелов. Снявши лисью шапку, он показал всем свою седую голову, а потом, подняв руки к небу, сказал громовым голосом:

— Великий царь многогорной Перми, твой сын опозорил мою дочь сегодня до восхода всех карающей луны, в священном лесу бога Войпеля. Сын севера, грозный ве-

тер, чуткоухий Войпель разгневался, и все прочие боги и богини. Вечерняя жертва моя не принимается богами, дым идет не к небу, а долу. Сквозь багровое пламя и сквозь прозрачные воды священных сосудов в кумирнице увидал я печальную судьбу нашей великой страны, поражения и несчастья нашего народа. Во всем виноват твой сын Мичаморт, обесчестивший дочь мою, ворвавшись в мой дом в священном лесу и застав ее там одну без меня. Когда же я вернулся к домашнему богу Воршуду, я встретил дочь свою в слезах, в изорванной одежде, а преступник уже скрылся в тени священных деревьев. Спешите, спешите, царь Кор, умилоствитив богов, ибо страшна их ненависть к людям. Прекратите пир и веселье, спешите к жертвам и к молениям в жилище богов... Вот, вот, идет беда, летит и мчится на черных крыльях она... Отсрочьте времена, которые не медлят.

Так говорил жрец Бараморт, воздевая руки к небу, звеня железными и медными кольцами и лезвиями ножей, и, высказав все, вышел из дома царя, оставив всех в глубоком молчании, как громом пораженных предвещаниями страшного волхва о несчастьях пермской стране.

Царь Кор сидел, облокотившись на свои могучие руки, голова его поникла, рыжая борода лежала на столе; Мичаморт смотрел испуганными глазами на своего отца, Редигар на Мичаморта, вельможи переглядывались и молчали. Наконец, славный Бурмат, лучший из воинов царя Кора, обратился со словами к нему:

— Благодушный царь Кор, не следует нам печалиться и прекращать так внезапно наш пир. Напрасно жрец ворвался не вовремя. Мы не знаем, что было, и не приснилось ли ему, старому, во сне или наяву все, что наговорил он здесь: ведь наш волхв уже больно стар. Если же Мичаморт провинился, не следует сердиться на него: он слишком еще молод. Да и велика ли беда и чудо ли это, что царский сын, который прекрасен, как цветок весенний, дерзнул на простую деву... Горе только в том, что случилось это в священном лесу, полном тайн и чудес, где живут старые богини, но боги любят царя Кора, и примут его жертвы, а богини не разгневаются на юного Мичаморта и предадут забвению все, что случилось сегодня до восхода луны.

Так говорил Бурмат, а за ним и другие все заговорили и стали порицать жреца и оправдывать Мичаморта.

Царь Кор поднял голову и обратился к певцу со словами:

— Утешь ты меня, певец вдохновенный, музыкой великих песен и слов священных, спой нам о богах и о Перми великой.

И запел снова Вэрморт, перебирая пальцами струны из сухожилий оленя:

Боги страшные на небе,
Вы раскройте ваши уши
И внимайте звукам домбры,
Звукам песен нежнозвучным.
Заклинаем, мы зовем вас
Не к печали, а к веселью —
В лунном свете желто-бледном
Отдалите смертный час наш,
Удлиняйте нити жизни,
Скоро, скоро дни проходят
Человека в этом мире.

Еи великий, мать солнца,
Мать луны, та божья утка,
Что летает в синем небе,
И бог страшный, бог крылатый,
Трехголовый, светозарный
Солнца лик, незримый ночью,
Днсм летящий над землею.

Вниз глядят они оттуда
Терпеливо и спокойно
Сквозь хрусталь чертогов неба.
Порошат порою снегом
Наши горы и долины,
Иногда же умывают
Лик земной небесным ливнем
Так старательно, с любовью.

Ведают и суд и правду
На земле иные духи:
Грозный Войпель, величавый,
Вихорь горный, чуткоухий,
Жертвы ждет он и молений,
Под землею Куль — бог мрачный,
Тени душ он принимает,
Жребий грешникам готовит,
Мать земли-Му нам питает
В этом свете бело-черном
Всех детей, людей-малюток,
Ей рожденных не без боли
От супруга бога Солнца.

Боги наши любят Кора,
Благодушного владыку
Всех земель по синей Каме.
Не печалься, грозный воин,
Боги все с тобою рядом
Отразят удары сабель,
Отклонят удары копий,
Стрел не бойся смертоносных:
Мимо прожужжат, как пчелы.
На скале твой город чудный
Окружен лесами — пармой;
Побоится чужеземец
В страну скал и гор великих,
Безызвестных рек глубоких
Воинов толпу приблизить;
Остановится вдали он,
Поглядит, махнет рукою
И назад вернется вскоре,
Испугавшись синей выси,
Мрачных гор, потоков шумных.
Не печалься, Пермь родная,
Ты прикрыта от народов
Расстояньем темным, дальним,
Камнем серым и лесистым,
Рек узором, бездорожьем,
Кратким летом, шумом бури,
И сугробов пеленою,
Мрачной, вязкой, непроходной,
Долгой зимней непогодой.
Будь в лесах, в горах красуйся,
У верховьев маловодных
Рек излучистых и темных,
У ключей, поющих звонко,
У ручьев, шуршащих в парме,
О сказаньях чудно-тайных
Дел великих, незабвенных
Витязей гористой пармы,
О преданьях светозарных
Старины певуче громкой,
Дел минувших песнопений;
Стародавних струн дрожанье
Слышим мы в лесах еловых,
Меж ветвями в красных борах,
На полянах, меж цветами,
Где ромашка и шиповник

Утешают наши взоры —
Здесь красуйся, Пермь золотая,
Не стремись на юг волшебный,
К северу лишь направляй ты
Пальцы ног твоих могучих,
Всей ступней ходи по пармам
Травянистых тундр; не бойся
Волн студеных океана:
Полюбили боги наши
Север тихий и прекрасный,
Не хотят они отсюда
Ни к востоку, ни на запад,
Ни на юг огнисто-светлый
Уходить по доброй воле
Без велений высших рока,
Миром правящего вечно.

Так играл Вэрморт, десять струн домбры громко дрожали, и слова певца утешили царя Кора, он поднял голову и стал пить брагу, и его примеру последовали все гости.

Заря уже румянилась за Полюд-горою, за Помяненной, и за вершиной Кваркуша, когда гости разошлись из дома царя Кора. Он остался один с Мичамортом и спросил его о случившемся.

— Два дела сделал я, — сказал Мичаморт. — Одно доброе, другое злое. За первое похвали, за второе накажи. Я был у лесистого верховья реки Колвы, между дикими скалами, там, высоко над рекой, в трещине скалы, увидел пещеру, а внутри ее огромное яйцо увидел я. Его снесла великая птица Рык. Оно, как серый камень, лежало на дне пещеры темной, я погладил его, но не разбил, а сам осторожно вышел оттуда, хворостинами и валунами прикрыл вход в пещеру, чтобы дикие звери и неразумные люди не разбили яйцо великой птицы; с тех гор каменистых спустился я по волнам быстрой, многоводной Колвы; не доходя до нашего скалистого города, на лесистом берегу встретил я Тариалу у ручья, с шумом изливающего свои воды поверх разноцветных камней в спокойно текущую Колву. Я уже давно любил эту деву и, выйдя из лодки, погнался за ней, она убежала в темный лес страшного Войпеля, чуткоухого бога Шуа, и добежав до избы своего отца, вошла в нее, а я за ней по пятам туда же пришел, и здесь употребил насилие, потому что тоска извела мою душу и любовь помutilа мой разум. Свершив

злодеяние, я быстро скрылся за деревьями, она же, стоя на крыльце, кричала и звала отца. Вот все, что случилось, отец мой!

Рыжебородый Кор, выслушав своего сына, сказал ему: — Хорошо, иди спать, может быть, боги помилуют нас.

Мичаморт ушел в свой дом, а царь Кор долго сидел у окна в своем тереме, обуреваемый разными мыслями и томимый тяжелым предчувствием. Уже солнце засияло из-за синих гор, которые, как дальние облака, поднимались на востоке, а царь Кор все еще не спал. «Надо умиловать богов, принести им черного быка, с белым пятном барана и золотую утку, успокоить жреца, взявши замуж дочь его Тариалу за Мичаморта, затем усилить нужно войско мое, стоящее в лесах у Покчи!» Так он решил в уме и с этой мыслью ушел в свои покои, чтобы отдохнуть после шумной ночи.

II

Не успело солнце прокусить ухо луне, не прошло еще то время, которое разделяет зрелый возраст серебристой луны, глядевшей на город Искор с любовью, от ее бледной старости и ущерба, как ужасная весть потрясла жителей города на высокой скале. Какой-то народ приближался к их городу на конях, вооруженный луками, жестокий, беспощадный. Царь Кор с сыновьями и с вельможами поспешил выйти на стены города и с высокой башни увидел вдалеке воинов в красных кафтанах, в меховых шапках, на лихих конях, вооруженных длинными копьями и острыми саблями. Копья и сабли блистали в лучах солнца, кумачевые кафтаны их как жар горели на полянах среди зеленых лесов. Неизвестный народ приближался, а пермское войско пред ним бежало.

Еще два ряда холмов разделяли ужасных врагов от города.

Храбрый Кор, богатырь пермский, велел сыновьям и Бурмату, и Порсьюру бежать к пермскому войску, вдохновить его к битве в темных, непроходимых лесах между холмами. А сам он глядел и глядел на врагов в ярко-красном кумаче и соображал о защите скалы и города Искора. «Неужели исполнятся пророчества старых жрецов, которые говорили еще в моей юности, что не жильцы мы здесь, что на севере, к студеному морю, в травянистые тундры мы должны направить пальцы ног своих?»

Пусть будет, что угодно богам великим, я же буду защищаться до последних сил в своем каменном гнезде, на скале высокой, над которой только коршуны и ястребы летают. Не оставлю его я, старый ворон, без ужасной битвы у стремнин, в чещерах горных, на крышах башен и домов».

Пермяне, ободренные Редигаром и Бурматом, вступили в битву с несметным войском врагов. Редигар, вооруженный копьем и саблей, выехал на поляну и звал на борьбу грудь на грудь, на единоборство незнакомцев в красных кафтанах. Навстречу ему выехал человек огромного роста на гнедой лошади; они ударили друг друга копьями и искры полетели от стали кольчуги, но всадники остались неподвижны в седлах, как будто они были сделаны из скалы; кони их столкнулись с разбегу так сильно, что оба опрокинулись на бок, сабли, как молнии, заблестали над головами витязей.

В это время вопль раздался в обоих войсках, и крики, как удары, потрясли голубой воздух, и эхо ответило им из ближних и дальних лесов и со склонов скалистых гор.

Войска бросились друг на друга, как тучи сталкиваются на небе и стрелы молний потрясают землю, недвижно все внемлет кругом, чем кончится борьба стихий.

Звон кольчуг, свист стрел из лука, стук сабель и копий, ржание коней, стоны умирающих и победные крики, треск падающих срубленных деревьев наполнили поляны, берега рек и лесные трущобы. Крыша неба дрожала от битвы, а земля стонала, скорбя о детях своих, так яростно истребляющих друг друга...

Битва, как огонь, быстро распространилась с берега реки на поляны и холмы, затем перешла в леса и в девственные трущобы... Бились воины у корней деревьев, на ветвях их и на качающихся вершинах...

Царь Кор смотрел на сражение с высокой башни, со скалы, посылал из города время от времени подмогу к ослабевающим витязям Перми; но вот жаркий полдень настал, пекло горы и долины, озаряя неистовые дела людей; тут царь пермский с грустью увидел, что войска его ослабели, подломились колена его богатырей, витязей славных, устали их руки сечь несметное число врагов, которые как будто из земли вырастали, умножаясь в числе, и все шли вперед и вперед. Крепкие вожди Перми положили свои головы за страну Коми; к закату солнца остат-

ки войск прибежали к скале и, как мыши, стали взлезать, ползти на высокую гору, под защиту стен и башен города, а неизвестные враги подступили к Искору и со всех сторон окружили красным кольцом высокий город.

Темная ночь наступила, жители Искора зажгли огромные костры по краям скалы и с оружием в руках ждали врага, а вдалеке, во мраке лесов, волки и лисицы завывали, обрадовавшись трупам воинов, над вершинами сосен и елей кружились в темноте черные вороны и остроглазые коршуны. В полночь облако покрыло город и великий шум наполнил уши пермян. То было не облако, а птица Рык; она своими крыльями покрыла город и человеческим голосом сказала: «Времена исполнились, город неприступный будет взят врагами, все погибнут, кроме вдохновенного певца Вэрморта, царя Кора благодущного, несчастного Мичаморта и его невесты!» Сказав, птица снялась с города, она на этот раз не прикрыла его могучими крыльями. Черные дни настали для Перми, дни бедствий, несказанных печалей.

Царь Кор не скоро решался на что-нибудь, но решившись, твердо стоял на своем. Он хотел защитить город, пока жив. С восходом солнца со всех сторон ползли на скалу неизвестные люди в красных кафтанах, в меховых шапках с красным верхом; как стрижи, они укрывались в пещерах скалы и в трещинах ее, и дальше поднимались, хватаясь за утесы, за углы камней, за высохшие кусты можжевельника. Кор велел бросать на них бревна, лить горящую смолу, камни, пепел; валились с шумом гиганты-сосны, сумрачные ели и белые березы на головы врагов, смола лилась на них огненными потоками... И падали неизвестные воины с утеса вниз в каменистую долину и в ущелья — так птенцы птиц валяются с деревьев, снятые из гнезда шаловливыми мальчиками и брошенные в воздух между древесными ветвями. «Это не люди, а злые гоги-магоги, загнанные великим царем македонян в каменные горы, — говорил вождь красных войск, глядя на битву из своей золотой палатки. — Чего они хотят? Мы голодом уморим их, это львиное гнездо». И снова лезли на скалу широколицые, узкоглазые люди в кафтанах и снова падали вниз, в бездну, оглушенные бревнами.

С ущерб луны до серповидного новолуния, а отсюда до светозарного зрелого возраста прекрасной богини, покровительницы пермских лошадей и коров, и от зрело-

го возраста до рокового нового ущерба в беге жизни мира длилась осада скалистого, каменного города. Враги уже приуныли, просили своего вождя повернуть назад, в степи вольные, к малым детушкам и к женам миловидным: «Довольно бились мы здесь, в этих диких горах, в пустынных ущельях, где никаких нет богатств, и поживиться нечем, да и народу мало в этой дикой лесной местности, у быстрых неприветливых рек»,— говорили они. Но вождь их еще медлил, приведенный роком в темные северные страны, к простым народам. А пермские певцы между тем ободряли воинов царя Кора, они пели песни о сладости и жажде битвы, стоя на городских башнях и стенках:

Защищайте, защищайте
Пермь великую и Кора,
Благодушного владыку
Быстрой Камы, светлой Колвы,
Желтой Иньвы многодарной,
Рек великих, изобильных
Рыбой белой, рыбой красной,
Чешуйчато-золотистой,
Желтоперой, серебристой.
Меткие стрелки, мужайтесь,
Натяните ваши луки:
Звон тетивы так приятен,
Сладостно жужжанье стрелы;
Защищайте страну белок,
Красных и пушистых урпи,
Горностая и лисицы,
Землю гор и рек прозрачных,
Где свободно все летают
Птицы божьи в темных пармах,
Рябчик серый, сонный тетер,
Куропаток кротких стая.
Помощь к вам придет с востока,
Войско с запада примчится,
Не робейте, дети Перми —
Умереть приятно дома,
Сложить голову за город,
Где вы жили, проживали
По сегодня там счастливо,
Проводили дни златые,
Наслаждаясь звоном песен,
Изумрудом зимних сказок

И толазом лучезарным
Прибауток, слов народных
И сказаний дней минувших;
Ваши жены, детки ваши
Просят, молят вас о том же.
Тучи стрел не страшны парме —
Сабли не берут ведь храбрых,
Копья страшны для пугливых.
Да не бойтесь узкоглазых
Желтолицых незнакомцев,
Воинов в кафтанах красных;
Дождь пойдет и прекратится,
Черный день сменится ясным,
Так и битва приумолкнет,
Саранча, поевши хлебы,
К югу снова удалится.
Будь смелее, царский воин,
Отражай удары рока.
Так поем мы песни битвы,
Воспеваем сладость смерти.
Защищайте, охраняйте
Перь великую и Кора,
Город чудный, дом нагорный
Светоч Перми многославной!
Ты не бойся вражьих козней,
Не попасть им, желтолицым,
Узкоглазым незнакомцам
В этот город пестроцветный,
В терема с пурпурной крышей.
И под сень кумирниц наших
Боги неба не допустят
Врагов Перми одолеть нас,
Так мужайтесь, чада Коми,
Охраняйте, защищайте
Перь великую и Кора.

Так пели певцы, стоя на стенах и на вершинах башен, и возбуждали народ к битве. Жрецы читали заклинание, черные, губительные заговоры произносили они, глядя на восток и на запад, обращаясь к богам неба и земли.

Могучий ливень полился с неба после их заклятий, и возмутились все потоки и горные ключи, понеслись они с шумом со скал лесистых, с вершин холмов в темные долины, прямо на войско иноземцев, и те отбежали далеко

от города, ручьи и реки затопляли равнины и гнались за врагами мутными, гневными волнами.

Птица Рык тогда сидела на темени Уральских гор и глядела на небо, ожидая, что скажет великий бог Енмар — бессмертных и смертных владыка: погибнуть ли Перми или спастись.

Отец неба и земли молчал, читая золотую книгу судеб о царствах и народах, о минувшем и грядущем.

Тогда птица Рык сказала: «Великий Бог, сидящий в золотом дворце на железной крыше неба, неужели мои пророчества не сбудутся и презренны будут твои постановления, небесная книга разве не верно пишет о делах матери земли?»

Услыхавши эти слова великой птицы, сидящей на темени Уральских гор, Енмар решил предать город мечу и огню, на то была его воля, таковы были начертания небесной книги.

Прекратился небесный ливень, и спустилась с облаков на землю многоцветная радуга Эшка-Мэшка; вытянув длинную шею, головою уткнулась она в потоки и испила все воды ручьев и речек, и обнажились зеленые равнины от темных вод пенисто-бурных, и возвратились к городу неведомые враги на конях в кумачовых одеяниях. Они поднялись на стены в темную осеннюю ночь, когда пермяки меньше всего их ждали. Взяты были городские стены, башни разрушены таранами, город оказался в пламени огня.

Царь Кор и его войско еще сражалось на крышах, уцелевших у входа высоких кумирниц... Но падали пермские люди один за другим от ударов сабель. Последний час настал для города. На высокой скале коршуны уже клевали птенцов в самом гнезде.

Вместе стояли Кор и Мичаморт, а за ними светлый песнопевец Вэрморт, дрожащий, с домброю в руке. Еще высоко поднимал свой меч царь Кор и рубил головы окружавших его терем врагов, и Мичаморт ему помогал, но вот облако прикрыло его: птица Рык налетела и взяла к себе на хребет Мичаморта и царя Кора, а за ними вдохновенного музыканта Вэрморта. Высоко поднялась великая птица и, как утренняя заря, перелетела через вражьи головы, через скалы и леса, и только когда пролетала над священным лесом бога Войпеля, распутив крылья, как две белые тучи, спустилась к жилищу жреца Бараморта и взяла его к себе на спину и светлокудрявую дочь его Тариалу; для посева грядущих племен взяла она Мича-

морта и Тариалу. На север полетела таинственная птица Рык, к верховьям Вычегды и положила здесь, на высокой горе с синей лесистой вершиной Джеджим-парма, людей, которых перенесла она с великой Камы: царя Кора, Мичаморта, Тариалу, Вэрморта и жреца бога Войпеля. «Здесь живите,— сказала она,— глядите на север, до моря дано вам жить, до студеных волн океана». Сказав, с шумом, подобным дождю и буре, вверх она поднялась, в голубые поля небесных пространств и сквозь синий воздух улетела на высоты дальних Уральских гор.

Зажили в шалаше том на Джеджиме царь Кор и Мичаморт со своей Тариалой, с ними же были жрец и Вэрморт, певец лесов. Кор советовал Мичаморту собрать народ, живущий по берегам желтой Вычегды и построить город на парме; всех туземцев, пьющих воду с притоков Вычегды, обложить данью, составить царство крепкое в лесных труппах. Но к ним пришел старик седой (был он или бог, или пам лесной, этого не знали ни Мичаморт, ни царь Кор) и сказал им: «Не нужно нам войска и царства не нужно, мы живем здесь вольно, как звери лесные, как птицы воздуха. Южные народы, все пожирая — и злаки, и зверей, и руды каменные,— идут все на север, но еще не скоро придут к нам, пока живем мы на свободе, дети великого Ена». Так сказал неизвестный старик и скрылся. Мичаморт послушался его, царь же Кор, тоскуя по синей Колве и своем городе, каменном гнезде, скоро умер в парме под елью высокой, а Мичаморт зажил жизнью новой, подражая рыбам и птицам, а не южным хищным народам, которые сами страдают и другим не дают покою в окраинах мира.

Певец Вэрморт ходил по лесам, он пел и плакал, играя на домбре:

Грозно-страшное случилось —
Птица Рык перенесла нас
Через горы, реки, доли
В землю дальнюю, на север,
К берегам песчаной Эжвы,
На вершину Джеджим-парма.
Плачу, плачу я о Каме,
Светлой речке тихоструйной,
Реки слез я проливаю
О минувшем, о великом
Лучезарном царстве Кора,
О скале темно-сенистой.

Пестроцветный, ненаглядный,
Где ты, где ты, город Искор,
Несравненный на востоке
Изумруд меж гор туманных,
Меж камней он темно-цветных
Выглядит топазом светлым!
Драгоценность средь пустыни,
Сердце жизни, светлый город,
Тебя в пепел превратили
Злые люди, те южане!..
Плачу, плачу, одинокий,
Реки слез я проливаю
О тебе, мой милый Искор,
Не забуду никогда я
Светлый образ лучезарный.
Буду петь я славу Перми,
Оглашать долины, горы,
Звуки домбры прозвучат здесь
В получение дальним людям
И потомкам в назиданье,
Как страдал наш Кор великий
Ради славы отдаленной.
Город взят был для того же,
Для певцов грядущих дальних,
Чтобы струны их дрожали,
Раздавались песнопенья
О минувшей славе Коми;
О делах великих, страшных,
Для потомков непонятных.
Пармы темные, услышьте
Мои стоны, песни домбры,
Мои слезы передайте
Всем грядущим поколениям —
Ничего не забывайте
О делах великих Кора.
О страданиях горных Перми
Плачу я и неутешен,
Реки слез я проливаю.

Так пел певец, и слова его сохранились в темных пармах, в светлых борах, в пении птиц, в шепоте лесов.

От них узнал я это старое преданье о царе Коре.



Примечания

Рассказы

Жизнь Фалалея (Рассказ из зырянского быта). Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 5—28.

Охотник Максим. Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 37—47.

Парма Степан. Опувл.: в газете «Архангельск», 1910, №№ 169, 170; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 48—55.

Старик Матвей. Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 56—60.

Удалец и музыкант Степан Васильевич. Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 67—74.

Из иньвенских былей. Опувл.: в газете «Северное слово», 1912, №№ 47, 48; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 80—90.

Агафья. Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 91—108.

Из дневника Александра Петровича Маслова. Опувл.: в газете «Вологодский листок», 1911, № 276; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 109—116.

Марья Севастиановна Оплеснина. Опувл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 117—121.

Василий Кудряш. Опувл.: в газете «Вятская речь», 1910, №№ 152—154; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 122—137.

Нялай. Опувл.: в жур. «Вестник знания». Альманах третий. С.-Петербург, 1911, с. 197—211; в газете «Северное утро», 1911, №№ 52, 54.

Страничка из жизни северной деревни. Опувл.: в газете «Архангельск», 1910, №№ 190—192; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 138—144.

Из жизни охотников на Вишере. Опувл.: Известия Архангельского общества изучения Русского Севера, 1911, № 3, 1 февраля, с. 200—204.

Дарук Паш. Опувл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы коми морта. С.-Петербург, 1908, с. 15—23.

Дочь пармы. Опувл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы коми морта. С.-Петербург, 1908, с. 24—30.

Дарья Родионовна. Опувл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы коми морта. С.-Петербург, 1908, с. 31—38.

Придаш. Опувл.: К. Ф. Жаков. Из жизни и фантазии. С.-Петербург, 1907, с. 50—56.

Ипатьдор. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 5—11.

Эжол. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 12—17.

Коквицы (От). Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 18—22.

Устьвым (Емдин). Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 23—28.

Серегово. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 29—39.

Шойнаты. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 40—47.

Ыджидвидз. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 48—55.

Вишера. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 56—62.

Корткерос. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 70—76.

Локчим. Опувл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 77—81.

Очерки

Пильвань. Опувл.: К. Ф. Жаков. Очерки из жизни рабочих и крестьян на севере. С.-Петербург, 1906, с. 6—32.

На Богословский завод. Опувл.: К. Ф. Жаков. Очерки из жизни рабочих и крестьян на севере. С.-Петербург, 1906, с. 33—52.

Холуницкий завод. Рассказ Аркадия Лескова. Опувл.: К. Ф. Жаков. Очерки из жизни рабочих и крестьян на севере. С.-Петербург, 1906, с. 53—70.

У иньвенских пермяков. (Бирюк Соликамского уезда). Опувл.: «Архангельские губернские ведомости», 1910, № 223, а также отдельное издание: К. Жаков. У иньвенских пермяков. 1902—1910 г., сентябрь. Архангельск, 1910.

По Иньве и Косе (у пермяков). Этнографический очерк. Прочитан на заседании отделения этнографии Русского географического общества 20 декабря 1902 г. Опувл.: «Живая старина», вып. IV, год 13-й. С.-Петербург, 1903, с. 409—421; Я. Камасинский. Около Камы. Этнографические очерки и рассказы. Москва, 1905, с. 89—110.

Этнологический очерк зырян. Прочитан на заседании отделения этнографии Русского географического общества 13 октября 1900 г. Удостоен серебряной медали этого общества. Опубл.: «Живая старина», вып. 1, год 11-й. С.-Петербург, 1901, с. 3—36.

Сказки, предания

Вишера. Рассказы охотника. Опубл.: «Живая старина», вып. 1, год 17-й. С.-Петербург, 1908, с. 93—95.

Сказка Йорем. Опубл.: «Живая старина», выпуск 1, год 17-й. С.-Петербург, 1908, с. 95.

Тювэ. Опубл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 63—65.

Доренька. Опубл.: «Живая старина», вып. 1, год 17-й. С.-Петербург, 1908, г. 96—99.

Настасья Адовна. Опубл.: «Живая старина», вып. 2, год 17-й. С.-Петербург, 1908, с. 232—234.

Рак-Молодец. Опубл.: «Живая старина», вып. 2, год 17-й. С.-Петербург, 1908, с. 234—238; Сказки народов СССР. Избранные. Советский писатель, М., 1939, с. 287—295.

Простак. Опубл.: «Живая старина», вып. 2, год 17-й. С.-Петербург, 1908, с. 238—240.

Кум-шкот. Опубл.: «Живая старина», вып. 2, год 17. С.-Петербург, 1908, с. 241—242.

Рос. Опубл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы коми морта. С.-Петербург, 1908, с. 10—14.

Золотая сказка. Опубл.: «Архангельские губернские ведомости», 1911, № 13, а также отдельное издание: К. Жаков. Золотая сказка. Сказка серебряная. Гулень на небе. Бегство северных богов. Архангельск, 1911.

Сказка серебряная. Опубл.: «Архангельские губернские ведомости», 1911, № 15, а также отдельное издание: К. Жаков. Золотая сказка. Сказка серебряная. Гулень на небе. Бегство северных богов. Архангельск, 1911.

Гулень на небе. (Сказка о ленивце). Опубл.: «Архангельские губернские ведомости», 1911, № 22, а также отдельное издание: К. Жаков. Золотая сказка. Сказка серебряная. Гулень на небе. Бегство северных богов. Архангельск, 1911.

Бегство северных богов. (Сказание). Опубл.: «Архангельские губернские ведомости», 1911, № 33, а также отдельное издание: К. Жаков. Золотая сказка. Сказка серебряная. Гулень на небе. Бегство северных богов. Архангельск, 1911.; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург, 1913, с. 177—185.

Майбыр. Опубл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы коми морта. С.-Петербург, 1908, с. 39—55; П. К. Жаков. Майбыр. (Мой-

данкыв). Комиён лёсьодіс Попов П. М. Коми книга лэдзан ин. Сык-
тывдін кар, 1923.

Джак да Качаморт. Оубл.: «Архангельские губернские ведомости»,
1911, № 166; К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. С.-Петербург,
1913, с. 61—66.

Агаман Шыпича. Оубл.: К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра.
С.-Петербург, 1913, с. 75—79.

Тунныръяк. Оубл.: К. Ф. Жаков. В хвойных лесах. Рассказы ко-
ми морта. С.-Петербург, 1908, с. 5—9.

Уриила. Оубл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках за Памом Бур-
мортом. С.-Петербург, 1905, с. 114—124.

На Печоре. (Предание о Паме). Оубл.: К. Ф. Жаков. На севере
в поисках за Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 125—132.

Жизнь Пама Бурморта. Оубл.: К. Ф. Жаков. На севере в поисках
ва Памом Бурмортом. С.-Петербург, 1905, с. 133—148.

Царь Кор. Оубл.: в журнале «Вестник знания». Альманах вто-
рой. С.-Петербург, 1911, с. 65—86; К. Жаков. Царь Кор. (Чердынское
предание). Архангельск, 1911; К. Ф. Жаков. Под шум северного вет-
ра. С.-Петербург, 1913, с. 159—176.



СОДЕРЖАНИЕ

Каллистрат Фалалеевич Жаков 5

Рассказы

Жизнь Фалалея (Рассказ из зырянского быта)	48
Охотник Максим	70
Парма Степан	80
Старик Матвей	87
Удалец и музыкант Степан Васильевич	91
Из иньвенских былей	98
Агафья	107
Из дневника Александра Петровича Маслова	123
Марья Севастиановна Оплеснина	130
Василий Кудряш	134
Нялай	147
Страничка из жизни северной деревни	156
Из жизни охотников на Вишере	163
Дарук Паш	169
Дочь пармы	174
Дарья Родионовна	178
Придаш	183
Ипатьдор	188
Эжол	193
Коквицы (От)	198
Усть-Вымь (Емдин)	201
Серегово	205
Шойнаты	212
Ыджыдвидз	217
Вишера	222
Корткерос	227
Локчим	232

Очерки

Пильвань	236
На Богословский завод	260
Холуницкий завод. Рассказ Аркадия Лескова	276
У иньвенских пермяков (Бирюк Соликамского уезда)	291

По Иньве и Косе (у пермяков). Этнографический очерк	298
Этнологический очерк зырян	314

Сказки и предания

Вишера. Рассказы охотника	354
Сказка Йорем	356
Тювэ	357
Доренька	359
Настасья Адовна	363
Рак-Молодец	365
Простак	371
Кум-шкот	374
Рос	376
Золотая сказка	379
Сказка серебряная	381
Гулень на небе (Сказка о ленивце)	383
Бегство северных богов (Сказание)	385
Майбыр	393
Джак и Качаморт	404
Атаман Шыпича	409
Туннырьяк	413
Уриила	416
На Печоре (Предание о Паме)	424
Жизнь Пама Бурморта	429
Царь Кор	439
Примечания	457

Жаков К. Ф.

Ж 23 Под шум северного ветра. Рассказы, очерки, сказки и предания.— Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1990.— 464 с.

ISBN 5-7555-0273-0

В сборник вошли избранные рассказы, очерки, сказки и предания Каллистрата Фалалеевича Жакова (1866—1926)— выдающегося представителя коми народа, одаренного писателя, философа, этнографа, фольклориста, лингвиста. С легкой руки доморощенных идеологов труды К. Ф. Жакова долгие годы находились под запретом, а на его имени лежало клеймо «буржуазного философа». Но время — судья справедливый, оно возвращает нам Жакова.

Издательство старалось по возможности сохранить особенности письма, присущие началу века.

87.3(2)+63.5(2)

Ж $\frac{4702010101-054}{M 128(3)-90}$ 14—90 м

Каллистрат Фалалеевич Жаков

ПОД ШУМ СЕВЕРНОГО ВЕТРА

Рассказы, очерки, сказки и предания

Редактор П. М. Столповский. Художественный редактор В. Б. Осипов. Технический редактор А. Н. Вишнева. Корректоры М. М. Лужикова, Т. И. Форопонтова, Н. Ф. Габова, А. А. Надуткина.

ИБ 1404

Сдано в набор 26.07.90. Подписано в печать 06.10.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 25,92. Заказ № 6719. Тираж 15000. Цена 2 руб. Коми книжное издательство. 167610, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229. Головное предприятие Коми республиканского полиграфического производственного объединения. 167610, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.